

ЮРИЙ
РЫТХЭУ

КОНЕЦ
ВЕЧНОЙ
МЕРЗЛОТЫ

РОМАН

«Современник»
Москва · 1982

С(Я)

С (Як)
Р95

Рытхэу Ю.

Р95 **Конец вечной мерзлоты: Роман.**— М.: Современник, 1982.— 431 с. В вып. дан. авт.: Рытхэу Юрий Сергеевич.

Роман известного чукотского писателя возвращает читателя к годам становления Советской власти на Чукотке, трудному и сложному периоду в истории нашей страны, повествует о создании первого на Чукотке революционного комитета. Через весь роман проходит тема нерасторжимой братской дружбы народов.

Р 70303—013
М106(03)—82 226—82 4702660000

ББК84Я
С(Як)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

...оных немирных чукч воинною оружейною рукою наступить и искоренить вовсе...

*Сенатский указ от 3 февраля 1742 года.
ЦГАВМФ. Экспедиция Беринга, д. 2, л. 245.*

По делам видно и Правительствующему Сенату уже известно, что чукоцкий народ немало в подданство не приведен.

*Предложение Ф. И. Соимонова Сенату.
ЦГАДА, ф. 199, № 528, тетр. 6, л. 33—34*

Она снова приснилась ему в полуночный рассвет, когда вместе с небом заполнялась светом еще заснеженная земля; в час, когда на обнажившихся проталинах в предрассветном хорькании важенки рождали телят.

Армагиргин долго не открывал глаз, переживая видение, усилием воли удерживая красочный, полный горячего волнения сон, где он несся по тундре, словно раззадоренный близостью оленухи бык. Но сон уходил, таял, словно вешний снег под лучами солнца, оставляя лишь ускользающее воспоминание.

Армагиргин высунул голову в чоттагин¹, и свежий воздух ворвался в смятые, прокопченные дымом жирника легкие, оживил кровь.

Протерев пушистой оленьей шерстью гноившиеся глаза, Армагиргин разглядел у костра сидящих на корточках жён. Они, покраснев от натуги, раздували огонь. Та, что ближе ко входу, была родом из чаумских

¹ Чоттагин — холодная часть яранги.

чукчей. Стадо Армагиргина заметно выросло с тех пор, как он взял Нутэнэут в свою ярангу. Как женщина она скоро ему наскучила, но, помня об олених, что привела Нутэнэут в качестве свадебного подарка, Армагиргин обращался с ней если не ласково, то, во всяком случае, сдержанно, даже одурманенный веселящей водой, он никогда не бил ее.

А вторая — Гувана — долго была любимой женой, и он тосковал по ней в том достопамятном путешествии в Якутск, когда задумал склонить голову перед Солнечным Владыкой и положить к подножию русского престола все чукотское население от Колымы до Каменного Носа.

Давнее воспоминание всколыхнуло память. Да... не удалась поездка... совсем не удалась...

Встретили Армагиргина, тогда еще молодого и ловкого, в Якутске торжественно, с великими почестями. Сам губернатор вышел на крыльцо огромного каменного дома, похожего на вылезший на сушу айсберг, и в знак особого расположения протянул руку чукотскому королю. Однако Армагиргин не стал пожимать руку губернатору, он принял к ней губами, как учил его исправник Кобелев.

— Как поживает мой брат? — со слезой в голосе спросил король. — Здоров ли? Благополучны ли его жена, дети?

Губернатор поначалу не понял, о каком брате идет речь, но Кобелев разъяснил ему, и хозяин якутской земли сообщил чукотскому гостю, что Его Величество Император Всея Руси живы и здоровы, в добром здравии и государыня императрица.

Армагиргин удовлетворенно хмыкнул, утер слезу умиления росомашьей оторочкой нарядной кухлянки, затем проследовал в губернаторский дворец, поразивший его богатством и пышностью. По сравнению с ним его собственная яранга, одна из самых больших в тундре, казалась нищенски ничтожной.

Полы в губернаторском дворце были покрыты огромными лоскутами пестрых шкур. Ноги топили в мягком коротком мехе, похожем на нерпичий. В зале с высокими окнами, светлом и просторном, как вольная тундра, Армагиргина и его свиту усадили на мягкие сиденья,

поставили перед ними вареное мясо, рыбу и множество других, неведомых чукчам, блюд.

Пот заливал глаза, растекался по ногам, спине и груди, вызывая нестерпимый зуд. Хотелось скинуть кухлянку, подставить голое тело теплomu воздуху, волнами идущему от высоких изразцовых печей, но... ни у самого короля, ни у его свиты, если не считать исправника Кобелева, не было нательной матерчатой одежды. Надо было терпеть. И Армагиргин терпел, стойко перенося все эти муки.

Губернатор с нескрываемым любопытством разглядывал чукотского короля. Несмотря на непривычное окружение и жару, Армагиргин держался с подобающим ему достоинством, говорил громко и внятно, то и дело упоминая имя «брата своего», российского императора. По всему было видно, что хотя он и поражен величием губерниаторского дома, но относится к губерниатору, как к равному себе, как к лицу, всего лишь находящемуся на службе «у русского брата».

— Твоего царя я признаю полным моим государем... Пусть русский царь дает мне отличие или какой подарок, чтобы чукчи — и чаунские и носовые — повиновались мне... — голос чукотского короля звучал уверенно, даже несколько властно. — Все повеления нового государя я и мои родовичи будем исполнять свято. Но и русские должны принять наши условия. Прежде всего вы не будете строить на нашей земле ни крепостей, ни каких других своих поселений. Вы позволите нам держаться при ссорах и торговых сделках своего обычая. И только в случае наших жалоб вмешиваться в наши дела. Вы должны защищать нас от всех притеснений наравне с русскими.

Вера, обычай, нравы и одежда наши да останутся неприкосновенными.

Я обещаю платить ясак государю императору по своей возможности и непринуждению.

И я, заботясь о благе чукотского народа, решился всеподданейше умолять Его Императорское Величество Всея Руси принять меня и весь мой чукотский народ в вечное и покорное ему подданство¹.

¹ Стрелков Е. Д. Материалы к истории чукоч. — «Сборник трудов исследовательского общества». Якутск, «Саха-Кескилья», вып. I, 1925, с. 16.

Армагиргин говорил по-чукотски, а исправник Кобелев читал по бумаге по-русски.

Губернатор принял бумагу, украшенную вместо печати оттиском большого пальца и рисунком оленьего тавра Армагиргина.

— Я непременно передам бумагу Его Величеству, — обещал губернатор, впиваясь в лицо Армагиргина светлыми, словно вываренными глазами.

Армагиргина и его свиту проводили в предназначенный для них дом, где в спальном комнате стояла широченная кровать со множеством подушек.

В комнате толпилась масса народу. Каждый хотел что-то сказать чукотскому королю, и Армагиргин, уставший от длительной беседы, не понимал слова, он чувствовал себя словно в большой вороньей стае.

Кобелев принес штоф дурной веселящей воды. Армагиргин выпил, с удовольствием ощутив, как покидают его сомнения и усталость, как вместе с веселящей водой вливается в него бодрость и крепость духа. Среди множества толпящихся, с любопытством рассматривающих его людей Армагиргин заметил полную, грудастую женщину, подобострастно прислуживающую ему и Кобелеву. Лицо у женщины было круглое, ласковое, улыбочное. Подходя к Армагиргину, она нараспев говорила:

— Ми-лай! Ми-лай!

Армагиргин игриво ущипнул ее за грудь. Она дробно рассмеялась, словно рассыпала цветной бисер. Тогда Армагиргин выпростал из дорожного мешка связку белых песцовых шкурок и протянул ее женщине. Но Кобелев отобрал подарок.

— Пошто ей такое? — он укоризненно покачал головой.

— Хочу одарить ее, — возразил Армагиргин.

— Одной сиводушки¹ за глаза хватит, — отрезал исправник.

И верно, Дуня довольствовалась сиводушкой и позволила Армагиргину ласкать себя в мягких волнах губернаторских перин.

На следующий день губернатор снова призвал Армагиргина к себе. На сей раз он передал чукотскому

¹ Сиводушка — песец с некачественным, пегим мехом.

королю царские подарки: расшитый золотом кафтан с золотыми наплечниками, расшитые галуном штаны, белую батистовую рубашку, кортик в серебряных ножнах и большую красивую бумагу, в которой говорилось от имени брата, Солнечного Владыки, о даровании Армагиргину царских милостей, подарков, а также выражалась уверенность в том, что он, Армагиргин, вместе с поименованным своим народом будет отныне верой и правдой служить русскому государю.

Кое-что в царской бумаге Армагиргину не понравилось, но он промолчал.

Получив подарки, он с помощью Кобелева тут же облачился в золоченый кафтан, батистовую рубашку, расшитые галуном штаны. Тугой воротник непривычно сдавливал горло, штаны стесняли движения, не давали шагнуть широко. Но Армагиргин терпел.

В большом зале, куда проводил его Кобелев, Армагиргин встал рядом с губернатором, гордо оглядел собравшихся здесь людей: чиновников, духовенство, и вдруг... в проеме меж двух высоких колонн он узрел похожего на него чукчу. Чукча был в мундире, при кортике и — в оленьих торбасах. Похожий на него человек стоял с посиневшим от натуги лицом и глупо ухмылялся. А рядом с ним, с этим человеком, возвышался якутский генерал-губернатор почти в таком же кафтане с ярко-голубой орденой лентой через плечо. Армагиргин поначалу испугался. «Кто это? Что за человек? Зачем он здесь? И почему губернатор стоит с ним рядом?» Но потом сообразил, догадался, что видит перед собой свое собственное отражение.

После торжественного обеда, за которым высокому гостю позволено было орудовать вместо вилки ножом, из опасения, что вилок он может проколоть себе язык, Армагиргин пожелал прошесть в новом одеянии по улицам губернского города, чтобы все, особенно якуты, которые часто обижали его сородичей, видели, какими высокими царскими милостями удостоен чукотский король, повелитель оленных и морских жителей от Колымы до самого Каменного Носа, где кончается чукотская земля.

На улице было студено. Армагиргин чувствовал, как мороз тысячами игл впивается в тело, пронизывает его насквозь. Видно, матерчатая одежда совсем не грет,

С трудом прошествовав по улицам городка, он вернулся в дом, в свою спальню с широкой мягкой кроватью. Дуня помогла ему раздеться, согрела его. Потом аккуратно сложила в большой сундук непривычное одяние.

Зачастил к Армагиргину отец Дионисий, давний знакомый, объездивший тундру с походным алтарем от Колымы до мыса Дежнева. Священник хорошо знал чукотский язык и увещевал Армагиргина, кося глазом на Дуню:

— Ох, грех это! Великий грех!

Армагиргин, взбадривая себя дурной веселящей водой, возражал отцу Дионисию:

— Грех — обманывать, воровать, таяться при еде, не накормить и не приютить путника, обидеть ребенка и старика...

— И прелюбодейство — тоже великий грех! — поднимал вверх палец с синим кривым ногтем отец Дионисий.

Он вел долгие речи о могуществе и доброте тангитанского¹ бога. По словам священника выходило, что русский царь, теперь доводившийся Армагиргину братом, был не кем иным, как наместником бога на земле... Армагиргин и сам понимал, что теперь у него нет иного пути, как принять русскую веру. И в конце концов, сложенный уговорами и водкой, он согласился креститься.

Впервые в жизни тундровый житель входил в храм тангитанского бога.

Сначала в дымной полутьме он ничего не мог разглядеть. Вокруг, словно комариный звон, гудел приглушенный говор. Потом, когда глаза свыклись с темнотой, Армагиргин увидел перед собой отца Дионисия, облаченного в роскошную, сияющую золотом ризу. Все в храме божьем блестело и переливалось в мерцающем свете множества свечей.

Люди подходили к изображению лица божьего, чем-то напоминающего Армагиргину знакомого эскимоса с острова Имаклин, целовали раму, шептали священные заклинания.

От волнения сердце Армагиргина готово было выскочить из груди. В глубине души он уже жалел, что

¹ Тангитан — общее название чукчами чужеземцев — европейцев и американцев, обладателей огнестрельного оружия.

согласился креститься. «Может, все это ни к чему: заигрывания с далеким русским царем, с губернатором, затея с крещением?.. И как же свои боги, такие привычные, понятные?..» Армагиргин с опаской покосился на икону. У алтаря он заметил огромный медный сосуд, похожий на котел.

— Варить что-нибудь будут?— кивнув на сосуд, шепотом спросил Армагиргин Кобелева, стоявшего рядом.

— Вас будут крестить в нем, ваше сиятельство,— ответил исправник.

С ужасом поглядывая на купель, Армагиргин уже не слушал слаженного священного песнопения молодых якутов, учащихся епархиального училища.

Отец Дионисий заметил растерянность Армагиргина, подошел и ласково коснулся его мягкой рукой:

— Бог милостив...

Бог... Кто знает, каков он окажется для чукотского тундрового человека? Когда Армагиргин уезжал, старый родовой шаман Эль-Эль предостерегал его от принятия русской веры. Подобием человеку тангитанский бог не внушал доверия и священного трепета. К тому же он часто изображался болезненным страдальцем, приколотенным к деревянной крестовине. Что же это за бог в таком жалком обличье?

Размышления Армагиргина прервал отец Дионисий. Он подвел чукчу к священному сосуду, продолжая протяжно, словно изголодавшийся за зиму тундровый волк, подвывать. Изредка, как бы в помощь ему, вступал якутский хор, и ровное пение молодых голосов отчаянно тревожило душу.

Армагиргин, уже не владея собой, опустил веки... Бритой макушкой он ощутил холодные капли, струйка воды скатилась на лоб, упала на верхнюю губу. Армагиргин невольно слизнул ее и снова открыл глаза. Отец Дионисий уже протягивал ему крестик на тонкой металлической цепочке. Армагиргин наклонил голову и, вдев шею, почувствовал холодок стылого металла.

После крещения дни покатались как снежные комья. Пропитанные дурной веселящей водой, нарастающей слабостью, они слились в один тягучий утомительный ряд. Дуню куда-то услали, и вместо нее Армагиргину прислуживал теперь одноглазый якут с таким хитрым выражением лица, что эта хитрость оставалась

при нем даже тогда, когда он спал в соседней комнате на большом сундуке.

Губернатор уже не звал его во дворец, реже приходил отец Дионисий, позабыли новообращенного и широкоскулые якутские князья, охочие до водки, как и сам Армагиргин. И только верный исправник Кобелев да вечно ноющие земляки по-прежнему окружали чукотского короля.

Пора было ехать домой, в тундру, тем паче что надвигалась весна. Скоро тропутся реки, зарыхлится снег, обнажатся каменные склоны и по ним уже не смогут пройти деревянные полозья легких нарт... Да и самих оленей у короля почти не осталось: одних они съели, других обменяли на дурную веселящую воду. Скорее, скорее домой...

Губернатор с радостью распрощался со своим беспокойным гостем. Проводить его пришли все именитые горожане: купцы, священнослужители, чиновники. Был даже юкагирский князек в потертой замшевой кухлянке, украшенной огромным крестом. Князек, приняв за икону поясной портрет государя императора, истово было закрестился, но отец Дионисий строго одернул его. Тот смутился, принялся испуганно озираться по сторонам, потом, увидев, что никто из присутствующих не обратил на него особого внимания, успокоился и стал слушать прощальную речь губернатора, которую старательно переводил исправник Кобелев.

Губернатор от имени брата чукотского короля — русского императора — говорил об исправной, верной службе жителей далекой окраины царю, версе и отечеству.

И вот наконец Армагиргин со своей свитой тронулся в путь. Закачалась по обеим сторонам нарт родная земля, засвистел в ушах ветер. Вот она, тундра! Что может быть прекрасней ее? Мысленно Армагиргин жалел людей, добровольно избравших такую страшную, непонятную жизнь в душных каменных мешках, без радости перекочевок, без свежего вольного ветра, без быстрого бега оленей....

Вот и родное стойбище. Пробыв дома несколько дней, Армагиргин отправился на север, в другие тундры — надо было сообщить о дарованной чукчам царской милости. Но странное дело, хозяева северных и

северо-восточных тундр и слышать не хотели об этой «милости». Глава чаунских чукчей Леут отвел Армагиргину самую ветхую ярангу. Даже угощение дурной веселящей водой не расположило владельца огромных стад. Леут с усмешкой слушал рассказы Армагиргина о пребывании в Якутске, о верном друге чукчей исправнике Кобелеве; откровенно насмехался над облаченным в мундир с кортиком эрмэчином¹.

Армагиргин вернулся в свое стойбище раздосадованный. Надежды его рухнули. Не быть ему главою всей чукотской земли... Не помогли ни уговоры, ни царский мундир, расшитый золотом, ни крест, ни какие другие знаки отличия, полученные от якутского губернатора.

Иногда, по вечерам, хлебнув дурной веселящей воды, он надевал свой мундир с кортиком и, воображая себя русским царем, властно повелевал домохозяевами, требуя, чтобы те называли его «Ваше величество Солнечный Владыка». Жены подчинялись ему. Однако другие, даже исправник Кобелев, упорно не желали оказывать чукотскому королю таких почестей.

— Пошто дуришь, оленья морда? — отмахивался от него исправник.

...Прошло много лет. Натальный крест свой Армагиргин давно потерял, мундир с кортиком обветшал, запылится — о нем несостоявшийся чукотский король вспоминал редко. Наследственное стадо его с годами таяло, как таяла мужская сила, здоровье и уважение сородичей. Теперь о его королевском звании чукчи говорили лишь с усмешкой и тайным злорадством.

Давно помер исправник Кобелев, другие люди появились в Марково, старинном казацком селении, и в Ново-Марининском посту, что в устье Анадыря, на топком, рыбном берегу лимана.

Марково — самое ближнее к стойбищу Армагиргина селение. Оттуда чаще всего и наезжали в стойбище русские. Когда-то, по просьбе Армагиргина, губернатор послал туда лекаря Черепихина. Но тот в первый же год обменял весь запас медицинского спирта на пушнину и занялся делом куда более выгодным — торговлей,

¹ Эрмэчин — глава оленного стойбища. Дословно — сильнейший.

предоставив жителям тундры, как и прежде, самим заботиться о своем здоровье.

Так и текла жизнь чукотского короля — текла бесцельно, и эта бесцельность с годами становилась пугающей, словно чернеющая на пути бездонная пропасть.

Насладившись запахом дыма, густым ароматом варившегося мяса, Армагиргин кашлянул, давая знать женщинам, что он проснулся и готов к утренней трапезе.

Гувана проворно вскочила, метнула на маленький тундровый столик деревянное блюдо-корытце, наполненное нежными оленьими ребрышками, тающими во рту, колбасой — прэрэм, сваренной в крепком бульоне, нежно-розовым костным мозгом, опаленными на углях оленьими губами... Эти и без того лакомые кусочки были щедро сдобрены тюленьим жиром и украшены вареной зеленью.

Но сегодня, против обыкновения, Армагиргин почему-то не набросился на еду. Нехотя пожевав одного, другого, потребовал чаю.

— Отчего это чай такой? — накинулся он на Гувану, едва отхлебнув из поданного ею стакана.

— Заварки нет... Старый вывариваем да траву добавляем... — оправдываясь, пробормотала женщина.

— Что? Заварки нет? Сами вылакали, ненасытные! — вскипел Армагиргин. — Беречь надо... для хозяина! — Он замахнулся, хотел было ударить жену, но, вспомнив вдруг свой утренний сон, видимо, передумал.

— Где та женщина? — грозно спросил он застывшую в ожидании удара Гувану.

— Какая женщина?

— Что с голодного стойбища пришла. Как зовут ее?

— Милюнэ. У Теневиля остановилась, — едва слышно выдохнула Гувана.

— Подай мне мундир с тангитанским ножиком!

Гувана растерялась, осмелилась даже поднять на мужа глаза: «Что это с ним? Зачем ему понадобился мундир?» Но спросить она не решилась, принесла, молча положила перед хозяином.

Мундир был стар и ветх (вот-вот треснет по швам), кортик, или тангитанский ножик, как называл его Армагиргин, совсем заржавел.

Яранга Армагиргина стояла чуть впереди остальных



жилищ стойбища, по-над крутым берегом скованной льдом и засыпанной снегом речки. Пастух Теневиль жил в одной из задних яранг. Кто-то сказывал, что парень не в своем уме — что-то царапает на обертках чая да на обломках дощечек. Будто бы изобретает что-то вроде тангитанского письменного разговору. Своих оленей потерял, теперь и хозяйских порастеряет...

* * *

Теневиль только что вернулся из стада. Парень сильно устал от изнурительной беготни за важенками, убегающими по талому снегу, по влажным проплешинам, залитым вешней водой.

Он наслаждался отдыхом и покоем у мехового полога. В ожидании еды разглаживал старые чайные обертки, на которые были нанесены какие-то ему одному понятные знаки.

Пришло это к нему года два назад... словно озарило...

Теневиль знал, что у тангитан, кроме устного разговора, есть еще разговор, начертанный на бумажных листах. Сшитые вместе листы эти назывались коротко — книга. Слышал Теневиль от стариков, что разговор этот — такая же природная особенность белого человека, как и его светлая кожа, обильная растительность на лице... У каждой тангитанской породы свой начертанный язык — у американцев свой, у русских — свой... Теневиль, стремясь проникнуть в сокровенную тайну обозначенных слов, подолгу разглядывал значки на товарных ярлыках, чайных обертках, табачных бандеролях. Он украдкой прикладывал к уху печатные слова в надежде услышать хоть какой-то звук. Но ничего не было слышно. Он уходил в тундру, чтобы ни один посторонний шум не мог помешать ему уловить тихое рокотание тангитанского разговора, но... бумага молчала. И тогда его осенило: начертанный разговор — это просто-напросто обозначения слов. Если парисовать маленького человечка, а рядом с ним оленя — это будет оленный человек, а человечек рядом с моржом — морской охотник.

В первый же вечер Теневиль покрыл собственными значками-рисунками две длинные оструганные доски,

предназначенные для новых полозьев. Свои значки он выдавливал острием ножа. Потом он выпросил у бывшего лекаря Черепяхина огрызок карандаша, который берег пуще глаза, и стал писать на настоящей бумаге — чайных обертках, табачных бандеролях. Иногда он выманивал их, а чаще всего получал в подарок от друзей, которые с любопытством следили за его странным чудачеством.

Молодой шаман Эль-Эль, взявший имя покойного отца, попробовал было высмеять пастуха, но тот долго и терпеливо объяснял ему, что придет время и он, Теневиль, запишет значками шаманские заклинания, подобно тому, как русские священники хранят свои тангутанские заклинания в обшитых кожей священных книгах. Мало-помалу шаман оставил Теневиля в покое — в конце концов парень никому не делал вреда. Пусть живет, как хочет...

И вот теперь, сидя у мехового полога, Теневиль думал о том, как запечатлеть на особом листочке, где он вел запись всех примечательных событий, неожиданное появление в его яранге дальней родственницы. Беспокоило то, что значков у него в запасе было явно маловато, чтобы рассказать обо всех бедствиях, которые претерпела Милюнэ в пути.

В Крепости, когда-то поставленной русскими казаками, издавна селились малооленные, а то и вовсе потерявшие свои стада люди. Они занимались рыбной ловлей, вялили кету, кислили в ямах улов для собачьего корму, в зимнее время ставили капканы на песца и лисицу. Жили бедно, голодно. Каждую зиму вымирали они целыми семьями от голода и болезней. Прошлой осенью скончались брат и мать Милюнэ, оставив ее круглой сиротой. Случилось это потому, что рыба перестала доходить до их стойбища. Владельцы больших сетей, японец Сооне и русский промышленник Грушецкий, перегородили Анадырь и стали единовластными хозяевами всей анадырской рыбы. Жители Марково и других селений пожаловались было властям, но... все осталось по-прежнему...

Пришлось Милюнэ отважиться, покинуть голодное стойбище и отправиться к Теневиллю.

Теневиль посматривал на девушку и дивился, как это при таких тяготах и невзгодах смогла она сберечь

красоту и добрую ясную улыбку. За те немпогне дни, что прожила Милюнэ в стойбище, многие парни заметили ее... Да и не только парни.

Милюнэ и Раулена, жена Теневиля, вполголоса переговаривались у костра, обсуждая свои женские дела, а Теневилю пытался изобразить историю девушки на берегу голодной реки Анадырь. Все они — и Теневилю, и Раулена, и Милюнэ — были людьми одного рода, и предки их ранее жили в стойбище Армагиргина — в долине тихой реки Танюрер.

На миг свет в распахнутой двери померк, и в просе показался странно одетый человек.

— Какое! — удивился Теневилю.

— Кыкэ! — в один голос воскликнули женщины.

— Это я! — громко произнес Армагиргин, и все тотчас узнали не только голос, но и его самого в рваном мундире, обвешанном позеленевшими металлическими пуговицами и круглыми плоскими железяками.

Он прошел в глубину чоттагина и важно опустился на оленью шкуру. Оглядел женщин и, задержав взгляд на Милюнэ, сказал:

— Раулена да Милюнэ — родичи пушистых грызунов...

Трудно было понять, какой таинственный смысл крылся в словах хозяина стойбища, и обитатели яранги промолчали.

— Я говорю, — продолжал Армагиргин, — что имена ваши от грызунов... — И тут он заметил шлепастые в руках Теневиля чайные обертки. — Откуда у тебя чайная бумага? — подозрительно спросил Армагиргин. — Чаю в стойбище нет, опивки заваривают.

— Милюнэ немного принесла, — виновато сказал Теневилю.

— Так, значит, и живете, — буркнул Армагиргин, — хозяин опивками довольствуется, а вы настоящий чай пьете...

— Да только одна пачка и была, — оправдывался Теневилю, — делиться нечем...

Странное чувство было у пастуха к своему хозяину. Он уважал старика, в душе даже побаивался его, но все чаще и чаще думал о том, как несправедлив бывает Армагиргин, без вины наказывая своих пастухов, лишая их свежего мяса, новых шкур для кухлянки...

— Помнить падо стариный обычай, — наставлял пастуха Армагиргин, — коли что появилось — первым делом с хозяином поделись... А тебе и вовсе не грех о том помнить — из жалости держу в стойбище, без-оленного. А коли забыл — смотри, вот они, царские знаки, при мне...

Армагиргин говорил, искоса поглядывая на Милюнэ. Какая девушка! И откуда только берутся такие, в нищете да в грязи? Иной раз бредешь по тундре, где вроде бы ничего не должно быть, и вдруг попадаете тебе на пути цветок, да такой, что остановишься и — дух перевести не можешь от восхищения... Вот так и Милюнэ... Глаз не оторвешь... Покойный шаман Эль-Эль говорил, будто молодая женщина старому телу новые силы дает...

Теневиль молчал, виновато опустив голову. Да и что он мог возразить Армагиргину? Его правда — нет у Теневиля своих оленей, нет жизненной опоры... Не будь милостив хозяин, глотать бы ему сухую юколу на берегу голодной реки...

Армагиргин принял из рук Раулены большую фарфоровую чашку, оплетенную проволокой, чтобы не развалилась на куски, и шумно втянул в себя пахучий напиток. Да, только дурная веселящая вода может сравниться с крепким наваристым чаем.

Милюнэ ловила на себе цепкий, откровенный взгляд Армагиргина. Ей казалось, что она бежит по ледяной реке, преследуемая голодным волком, ноги уже не идут, подгибаются от слабости, а волк все ближе и ближе, уже слышно его тяжелос, зловонное дыхание...

Армагиргин пил чай, оглядывал чоттагин со скудной утварью и все же чувствовал в глубине души нечто вроде зависти к Теневилу. Он дивился этому чувству: ну чего завидовать тому, у которого ничего нет? Может, он завидует его молодости, беспечности, а может, тому, что в его яранге две молодые женщины?

— Однако, что будешь делать с женщиной? — спросил он.

— С какой женщиной? — не понял Тепевиль.

— С пришедой. С Милюнэ.

— Пусть живет у меня, — сказал Тепевиль.

— Второй женой берешь? — усмехнулся Армагиргин.

— Рад был бы, но пуста моя яранга, оленей своих не имею,— ответил Теневиль.

— Об этом и я тебе толкую,— обрадовался Армагиргин.— Что зря женщины пропадать? Пусть перебирается в мою ярангу... Будет мне новой женой...

Армагиргин расправил грудь, и в отблеске костра сверкнули зеленые, постаревшие медали.

— Отчего ты не радуешься?— весело спросил он Милюнэ.

Девушка молчала. В эту минуту она и впрямь напоминала испуганного, затравленного волком зайчонка.

— Такое счастье приходит человеку не каждый день,— продолжал Армагиргин, чуя внутреннее сопротивление Теневиля.— Войдя в мою ярангу, ты сделаешь своего родовича Теневиля и моим родственником. Появятся у него олени, станет он владельцем стада, и никто больше не будет попрекать его бедностью... Бумага у него будет... для забавы...

Армагиргин не сдержался и усмехнулся. Он встал, подошел к девушке, положил ей на плечо руку:

— Собирайся...

Послышалось глухое, едва сдерживаемое рыдание.

— Поплачь, поплачь...— Армагиргин ласково погладил ее по волосам.— И первая моя жена плакала, и вторая, Гувана.— Армагиргин снова опустил на шкуры, попросил еще чаю.

Милюнэ с отвращением взглянула на старика в чудной, полуистлевшей одежде, с ржавым ножиком на боку и заплакала в голос.

— Теневиль, не отдавай меня... Не хочу я к нему... Я буду тебе верной рабой, возьми меня в жены...

Армагиргин искренне удивился, оставил в сторону чашку с чаем.

— Неразумное говоришь, девушка,— сказал он.— Теневиль себя с женой еле прокормить может, на что ты ему? А у меня сыта будешь, кэркэр¹ себе сошьешь...

— Ничего мне не надо...— еще громче зарыдала девушка.

Армагиргин залпом допил остывший чай, выкрикнул резко:

— Собирайся!

¹ Кэркэр — женский меховой комбинезон.

Милюнэ подняла полные слез глаза и умоляюще посмотрела на Теневиля. Потом перевела взгляд на Раулену, застывшую у костра.

— Теневиля, что ты молчишь?— подала голос Раулена.

Теневилю жаль было эту красивую с черными, влажно поблескивающими угольками глаз девушку, дрожащую сейчас, будто напуганный охотником звереныш.

— Не пойдет она за тебя!— Теневиля заслонил собой Милюнэ.

Армагиргин на минуту опешил. Что это? Как он смеет перечить? Он, беднейший из его пастухов?

— Ты, мышеед, видать, ума лишился, порастерял на свои значки?— вскипел Армагиргин.— Я сказал: Милюнэ будет жить в моей яранге — значит, будет... Идем, женщина!

— Она не пойдет,— решительно повторил Теневиля. Он старался говорить спокойно, всячески скрывая выползающий из глубины души страх. Еще сегодня утром он и думать не посмел бы так разговаривать с хозяином. А теперь — вот, говорит... И дороги назад ему уже нет. Это все равно что перепрыгнуть зияющую пропасть, туда — прыгнул, а обратно уже не решаешься...

— Мыркырчгыргын!¹ — выругался Армагиргин.— Вои из моего стойбища!— Он замахнулся было, чтобы ударить Теневиля, но тут мундир, дарованный от имени Его Величества якутским генерал-губернатором, с треском развалился и упал к ногам, прямо на земляной пол с желтыми ледяными пятнышками собачьей мочи. Под мундиром у Армагиргина ничего не было, и он неожиданно предстал голым перед двумя испуганными женщинами и Теневилем. Видно, одежда многое значит для человека. Вместе с мундиром с Армагиргина спала вся его сила и смелость, и он почувствовал вдруг, что не взять ему сейчас этой женщины, что нищий пастух Теневиля одержал над ним верх.

— Мэй! Мэй!— послышалось на улице.— Черепак приехал!

Армагиргин сгреб со стены яранги вывешенную для

¹ Мыркырчгыргын — чукотское ругательство.

просушки камлейку¹ Теневиля, торопливо напялил на себя и выскочил вои.

— Спасибо тебе, Теневиля,— сквозь слезы благодарил Миллюнэ.

— Худо нам теперь будет,— пробормотал Теневиля.— Хозяин обиду хорошо помнит... И тебя все равно не оставит в покое.

— Что же делать-то?

— Уезжай отсюда, если и вправду не хочешь стать третьей женой Армагиргина. В Марининский пост поезжай. Там много народу. Живут не больно богато, но еда всегда есть. На прибрежной тундре года три назад поставил ярангу мой двоюродный брат Тымнэро. Пока у него поживешь.

Миллюнэ в знак согласия низко наклонила голову.

— А вы здесь как жить будете?

— Худо станет, тоже переберемся на Пост,— ответил Теневиля.— Видно, никогда больше не будет у меня своих оленей. Да и на Посту много грамотного народу. Может, удача выпадет — узнаем тангитанский письменный разговор, а уже через него улучшим наш чукотский... Не горюй, Миллюнэ, надо жить, раз уж мы появились на свет...

* * *

Модест Черепяхин, бывший лекарь, торговал с чукчами просто: осенью он получал закупленные во Владивостоке и в Номе товары и тут же раздавал тундровым чукчам и береговым рыбакам в кредит. Людям не надо было думать, где взять песцовые и лисьи шкурки, пыжики и выпоротки² — все потом, когда будет... В несколько дней Черепяхин избавлялся от своих товаров и, посмеиваясь, смотрел, как другие купцы утепляли склады, нанимали сторожей, заводили какие-то специальные договоры-обязательства. Конечно, у тех, других, размах был пошире, чем у Черепяхина, однако и лекарь в иные годы получал немалую прибыль. Он завел себе отличную собачью упряжку, напял хорошего каюра и,

¹ Камлейка — верхний балахон из ткани или оленьей замши для защиты от снега меховой одежды.

² Выпороток — сорт оленьей шкуры.

как только устанавливался санный путь, объезжал верховья реки Анадырь. Куда бы ни заявился Черепяхин — повсюду у него были должники, повсюду он чувствовал себя не то что желанным гостем, а скорее хозяином.

На всем побережье свободными от долгов были, пожалуй, лишь несколько владельцев стад, таких, как Армагиргин. Но и с ними он умел ладить: привозил им подарки, поил бесплатно дурной веселящей водой, которую всегда имел в запасе, угощал табаком.

В стойбище Армагиргина Черепяхин уже побывал в пору долгих, зимних ночей, забрал по долгам пушнину и еще до наступления зимних пург уехал к себе в Марково. Нынешний его приезд был неожиданным.

— Здорово, Ваше величество! — приветствовал хозяина стойбища Черепяхин.

Армагиргин давно уже понял, что торговец подсмеивается над ним, говорит неискренне, без должной уважительности, но все же каждый раз ответно спрашивал:

— Как поживает мой брат Николай?

— Худо с твоим братом, — мрачно проговорил Черепяхин, входя следом за Армагиргином в ярангу.

— Заболел? — встревожился Армагиргин.

— Хуже...

Армагиргин вспомнил разговоры о большой драке с ружьями и пушками между тангитанами и решил:

— На войне погиб?

— Если бы так... Скинули царя, нету его больше у российского народа...

— Как — скинули? — растерянно пробормотал Армагиргин. — Кто же осмелился?

Армагиргин представлял Солнечного Владыку, российского царя, восседающим на высоком золоченом сиденье. Выходит, нашлись такие злые люди, которые взяли да и стащили его оттуда.

— Как же это случилось? — недоумевал Армагиргин. — Что же будет? Как вы, русские, жить будете без власти? Это мы, чукчи, привыкли вольно, а вы?

— Нынче у нас демократия, народная власть, — туманно пояснил Черепяхин. — В Петрограде власть перешла к Временному правительству...

Армагиргин никак не мог уразуметь новость. Ему

почему-то виделось, как у подножия российского трона — золоченого сиденья царя — толпится множество Терзевилей с чайными обертками в руках...

— Бедный мой брат! — сочувственно покачал головой Армагиргин и с удивлением ощутил, как по его щеке покатились слеза.

Глава вторая

Пост Ново-Маринск (старое название города Анадыря), являвшийся центром всей Анадырской округи, насчитывал несколько десятков построек. Население поселка в основном было русское. Но проживало также несколько десятков семей чукчей, чуванцев, камчадалов, занимавшихся главным образом охотой, рыбной ловлей, каторством-извозом...

Жихарев Н. А. В борьбе за Советы на Чукотке. Магадан, 1958, с. 36—37

Две ажурные металлические мачты, воздвигнутые на прибрежном тундровом холме Анадырского лимана, придавали Ново-Маринскому посту новый облик. И откуда бы ни приближался путник — со стороны ли верховьев реки, с моря или из-за одинокого скалистого острова Алюмка, торчащего посередине лимана, с северной стороны — он видел эти мачты, вознесенные в небо, еще более подчеркивающие убожество анадырских жилищ — врытых в землю домишек и нескольких яранг на возвышенном деряптом берегу, неподалеку от русского кладбища с покосившимися крестами.

Поселение разделяла тундровая речка Казачка, берущая начало у подножия горы Святого Дионисия к югу от Анадырского лимана.

Радиомачты были поставлены Российско-Американской компанией по сооружению всемирной телеграфной линии через всю Америку, Берингов пролив, Азию — в Европу. Но после успешной прокладки подводного кабеля по дну Атлантического океана надобность в постройке трансаянской телеграфной линии отпала, и в память об этом великом проекте кое-где на северо-востоке остались такие вот мачты и серые бетонные строе-

ния для аппаратуры и жилья обслуживающего персонала.

И мачты, и эти низкие бетонные коробки вызывали у анадырских чукчей боязливое любопытство: с их помощью черный, заросший до ушей тангитан Асаевич, которого местные жители прозвали обезьяной, ловил слова. Лишь единственному из чукчей Тымнэро удалось войти внутрь радиостанции, и он долго помнил охвативший его затаенный страх в полумраке, испещренном разноцветными мигающими огоньками, какие-то ручки, мерцающие круги из блестящей красной меди.

Тымнэро возил на радиостанцию уголь с другого берега Анадыря, из копей, где в подземелье рубили горючий камень для отопления домишек Ново-Марининского поста.

Вот и сегодня он поднялся спозаранку (благо дни были уже длинные), снарядил нарту и по наезженной колее пересек скованный льдом лиман. В колях с помощью сонного охранника погрузил три мешка угля и пустился в обратный путь.

Над Ново-Марининским постом висело низкое облако черного угольного дыма, хорошо заметное со льда Анадырского лимана. Жители деревянных домишек не торопились вставать — спешить здесь некуда: купеческие лавки открывались не ранее полудня, а уездное правление, располагавшееся в самом большом доме возле устья реки Казачки, в иные дни вообще оставалось под замком, ибо особо срочных дел у его начальника Царегородцева не было. Редко посещал присутственное место и секретарь Оноприенко, который целыми днями околачивался у своего дружка Ивана Тренева, местного коммерсанта, которого знали все от Ново-Марининского поста до далекого Уэлена, где торговали братья Каравы и американцы Карпентер и Томсон. У Тренева, занимавшего просторный дом, по самую крышу занесенный снегом, по вечерам собирались картежники уездного центра и под водочку и строганину¹ из жирного белого чира гоняли пулюку.

Тымнэро держал путь на высокие мачты. На душе против зимней мрачности было куда светлее: худо-бед-

¹ Стрoгaннa — блюдо из мороженой рыбы, наструганной острым ножом.

но, а зима оставалась позади, солнце вырвалось из-за горизонта и уже с каждым днем поднимается выше и выше. На крыше уездного правления появились первые, едва заметные сосульки.

Трудно было в этом году. Рыбы паловили мало. То-го, что оставалось в кислых ямах, наверняка не хватит до новой путины. И все это из-за того, что Сооне и Грушецкий перегородили реку. От мыса Обсервации аж до Второй бухточки протянули они свои пехода. Почти вся рыба доставалась им... Остальные довольствовались тем, что как-то миновало их сети...

С каждым годом все хуже и хуже жилось чукотскому народу на родной земле. Бывали времена, когда, спасаясь от голодной смерти, люди вынуждены были вместе с собаками рыться в таигтанских помойках.

Тымнэро вспомнил своих детишек — мальчишку и девочку, совсем еще крохотных. Девочка — та постарше, а сынок, которого так долго ждали, еще грудью сосет... Мысли о детях согрели Тымнэро.

Тяжело груженная нарта пересекла гряды прибрежных торосов, поднялась на матерый берег и проехала мимо дома уездного правления. Чуванец Кулиновский, служивший при правлении переводчиком, очищал от снега крыльцо.

— Амын, етти, паря! — приветствовал он Тымнэро. — Однако, мольч, погодка доспелась нонче...

Кулиновский говорил на старинном анадырском наречии, и смысл его слов был таков: «Здорово, парень... Однако, погода нонче хорошая установилась».

Тымнэро по-чукотски ответил:

— И впрямь погода хорошая. Надо бы на кромку съездить, может, нерпа вылегла.

— Добудешь нерпу, позови полакомиться свежатиной, — сказал Кулиновский, который, несмотря на близость к уездному начальству, жил бедно и частенько выпрашивал у чукотских охотников кусок мяса.

Тымнэро впрягся вместе с собаками и потащил нарту с углем вверх по косогору. Вот и радиостанция. Он толкнул обитую облезлыми оленьими шкурами дверь. В доме было тепло, ибо, по утверждению радиста, аппараты для ловли слов боялись холода. В комнате стояла большая кирпичная печь, выбеленная белой глиной, и другая, поменьше, сделанная из железной бочки. Асае-

вич держал ее раскаленной докрасна и ставил на нее чайник с оббитой, словно пораженной чесоткой, эмалью.

Радист сидел возле аппарата, спиной к двери, и смотрел на ползущую бумажную ленту — точки, тире, точки, тире...

Тымнэро подошел поближе и тоже уставился на ленту. Интересно, что означают эти значки, похожие на птичий след? Родственник Тымнэро, Теневиль из стойбища Армагиргина, хочет придумать для чукчей свой письменный разговор. Как-то он показывал свои значки-рисунки, говорил, будто придет такое время, когда и чукотский разговор положат на бумагу, когда не только у тангитанов, но и у чукчей, эскимосов будут свои книги.

Асаевич не слышал, как вошел Тымнэро. «Ввиду отречения государя от престола... старое правительство низложено...» — машинально читал он. Вдруг что-то словно по лицу хлестнуло: «...правительство низложено...» Он вскочил, поднес ленту к глазам. Нет, все правильно. «Ввиду отречения государя от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, который также отрекся, старое правительство низложено. Войска перешли на сторону нового правительства, образовавшегося из членов Думы, составившей Временный исполнительный комитет Государственной думы. Распоряжения его беспрекословно должны выполняться. По всем случаям, вызывающим сомнение, обращаться за разъяснением ко мне. Предлагаю поддерживать строгий порядок и спокойно продолжать работу.

За губернатора Чаплинский».

Асаевич дочитал телеграмму и дрожащими руками снял копию. И тут заметил застывшего в ожидании Тымнэро.

— Ты что подглядываешь, дикоплеший? — вскипел вдруг радист.

— Уголь варкын¹, — ответил Тымнэро, привычный к такому обращению. Тангитаны любили лаяться не хуже вздорных, никчемных собак, и Тымнэро давно научился не отзываться на их ругательства.

— Почему не постучался? Сколько раз тебе говорено? Да неужто вас ничему путному не обучить? Ди-

¹ Уголь есть.

кий и есть дикий, даром что человечье обличье имешь...

— Три мешок уголь варкып,— спокойно повторил Тымнэро.— Плата тавай, теньга тавай...

— Только и выучил — «теньга тавай», — передразнил Асаевич. — Теньга потом получишь. Ступай...

Тымнэро не шелохнулся.

— Пошто застыл как торос? — взъярился радист. — Сказано, ступай!

— Теньга тавай, плата тавай, — снова повторил возчик.

Телеграмма, лежащая в кармане Асаевича, жгла как раскаленное железо. Страшные, необычные слова, словно тысячи буравчиков, сверлили мозг. «Кому же отдать телеграмму? Начальник в отъезде... С кем посоветоваться?»

— Ну что стал, идол? На тебе деньги!

Асаевич сунул Тымнэро помятые бумажки, приказал:

— Отвезешь меня на нарте! Давай, шевелись, дикоплешный!

На ступеньках правления, уже очищенных от снега, покуривая, сидел Кулиновский. Двери по-прежнему были на запоре.

Асаевич потрогал замок, поймал на себе насмешливый взгляд чуванца-переводчика.

— Не пришли еще... — растерянно бормотал радист, глядя вслед удаляющейся упряжке Тымнэро.

Асаевич задумался. «Как поступить? Может, сбегать к Оноприенко домой? Или дождаться здесь?» Размышления его прервал человек, с ног до головы закутанный в оленью шубу.

— Здорово, радист, что хмурый такой? — Это был известный коммерсант Тренев, славившийся свободой суждений и даже некоторой смелостью.

Асаевич замаялся. Мелькнула мысль: «Тренев может дать дельный совет. Человек он знающий. Говорят, в свое время пострадал от правительства... За что только, неизвестно...»

— Да... Кое-что есть... — еле слышно выдохнул Асаевич.

Тренев хищно потянул носом. По всему видать, какие-то важные новости получил радист. В этой скудной

событиями жизни всякое слово, полученное по радио, ценилось дорого, и радист в уезде был лицом уважаемым. Надо постараться первому выведать о новостях.

— Ну, прощевай, Асаевич, пошел я чайком побаловаться со строганинкой. Вчера свежего чира прислали с Великой... А может, со мной пойдешь? Нонешние новости не стоят того, чтобы пренебрегать душевным и телесным комфортом...— Тренев любил говорить изысканно, к месту и не к месту употребляя малопонятные окружающим слова.

— Пожалуй, пойду с вами,— вдруг засуетился Асаевич, и Тренев понял, что радист «клюнул».

Тренев и Асаевич шли молча до самого дома, расположенного в центральной части поселка, чуть ближе к морской стороне. Издали дом, занесенный по самую крышу снегом, почти не виден. Откопаны были лишь два крохотных окошка, дверь да сверху торчала железная обгорелая труба.

— Зиновьевна!— крикнул из сеней Тренев.— Гости веду!

Агриппина Зиновьевна, жена Тренева, в засаленном китайском халате с драконами и какими-то экзотическими длиннохвостыми птицами, видно, только что встала. Она криво улыбнулась гостю.

Тренев не торопясь прошел в другую комнату и вернулся оттуда со стаканами и штофом водки.

— С морозцу!

Асаевич не заставил себя упрашивать. С того самого мгновения, как он двинулся вместе с Треневым от дома уездного правления, его не покидала мысль о том, что какая-то неведомая сила заставляет его поступать совсем не так, как надо, как он привык. Вместо того чтобы разбудить Оноприенко, секретаря правления, и отдать ему телеграмму, он идет в дом Тренева, человека сомнительного с точки зрения властей...

Тренев только пригубил свой стакан, Асаевич же выпил залпом.

— Дело есть...— сказал он и покосился на жену Тренева.

— Зиновьевна, выйди...

Женщина подняла на мужа удивленные глаза, пожалала плечами и демонстративно удалилась в спальню.

— Телеграмма пришла из Петропавловска,— запинаясь,

ясь, начал Асаевич, — царь отрекся от престола... великий князь тоже... образовано новое правительство...

— Так-так, — лицо Тренева переменилось, весь он как-то напрягся, словно в его тощее, хилое тело вдруг вставили стальную пружину. — Дальше что?

— Вот читайте сами, — Асаевич подал Треневу телеграмму и неожиданно почувствовал странное облегчение, словно свалил с себя тяжкий груз.

Тренев пробежал телеграмму глазами, повторил:

— Так-так... Так-так... Никто не знает еще в Анадыре?

— Никто.

— Никого не было на радиостанции?

— Никого. Хотя, постойте, этот чукча, который возит нам уголь... Тымнэро.

— Ну этот — не в счет, — махнул рукой Тренев. — А теперь... давайте обратно, на радиостанцию! И — слушайте меня... Царегородцеву, Оноприенко — ни слова. Вы должны понять: царского правительства больше нет. Пришло время демократических преобразований. Россия вступает в эру народоправства, свободы и твердой демократической власти...

— А что же все-таки будет? — Асаевич не выдержал, перебил Тренева.

Тот хотел было сказать что-то, но оборвал себя — на пороге спальни стояла Агриппина Зиновьевна, глаза ее были полны ужаса и недоумения. Она позвала мужа к себе, дрожащим от волнения голосом спросила:

— Ванечка, что же будет? Вспомни Петербург девятисот пятого!

— Теперь не то, — гордо ответил Тренев. — Теперь — царь сам отрекся от престола! Понимаешь, Груша — сам! Новые времена начинаются, Агриппина Зиновьевна, наши времена!

И Иван Архипыч поспешил вслед за радистом.

* * *

Петр Каширин, золотонскатель, человек наблюдательный и трезвый, не мог взять в толк, отчего это Тренев и Асаевич, крадучись, будто от кого-то прячась, поднялись на радиостанцию.

Петр Каширин считался чукотским старожилом. Одно

время он работал приказчиком у богатого торговца Караева.

— Петр Васильевич,— не раз говаривал Караев своему приказчику.— Нет настоящего хозяина на этой благодатной земле. Не гляди, что тут льды да снега.. Под ними лежат такие богатства, которые могут заставить расцвести и тундру. Мы берем нонче только то, что поверху лежит — пушнину. А настоящее процветание здешнего края — в его недрах. Американцы это поняли. Крупные капиталисты пушнинной не занимаются. Большая денга к денге льнет: поэтому-то богатые американцы щедры, когда речь идет о чукотском золоте.

Российский купец Караев мечтал освободить Чукотку от американских и прочих иностранных торговцев, золотоискателей, мечтал наладить здесь свою, российскую, промышленность. Поднять пушной, рыбный, охотничий промыслы.

— Дать грамоту этим людям, чукчам, эскимосам, чукчанам, дать им понятие о механизмах, научить их ремеслам — да они такое чудо тут сотворят, какое господа богу не снилось!

В те годы на Чукотке работали экспедиции некоего Вонлярлярского, получившего совместно с американцами исключительные права на разведку и добычу золота и других полезных ископаемых.

Петр Каширин прибил к ним. Искал уголь. Довольно скоро выяснилось настоящее лицо главного попечителя дела — Вонлярлярского. Царское правительство вынуждено было начать следствие. Выявились крупные хищения. Золото от старателей скупалось по дешевке и отправлялось в Америку. В Петербург же шли донесения о крайней скудости природных богатств Чукотки и невыгодности дальнейших их разработок. Свидетелем по делу Вонлярлярского перед следственной комиссией выступил Петр Каширин. В отместку за это Вонлярлярский не заплатил ему ни гроша.

Однако неутомимый Петр Каширин на свой страх и риск продолжал изыскания, памятуя о рассуждениях Караева о будущем расцвете чукотской земли.

Летом 1915 года Каширин вернулся из очередной своей поездки в верховья реки Волчьей. На последние имевшиеся у него деньги он отправил частную теле-

грамму на имя Приамурского генерал-губернатора и в Иркутское горное управление с просьбой разрешить ему, в лице повouchреждаемой компании Каширина-Стивенсона, разработку золотоносных россыпей Аладырского уезда. Никто не ожидал, да и сам Каширин не сразу поверил: Совет Министров России дал разрешение «допустить золотопромышленников Каширина и Стивенсона к разведкам золота, платины и полезных ископаемых, по статье 308 Устава горного именованных, на Чукотском полуострове».

Правительственная телеграмма из Петербурга всколыхнула сонный Ново-Мариинск. Начальник уезда Царегородцев вызвал Каширина и долго допытывался, кто стоит за его спиной, кем на самом деле является Стивенсон.

Джим Стивенсон... Горячая голова, мечтатель, заступник обиженных, учитель Каширина по золотоискательскому делу. Еще в 1910 году он взял под свое покровительство русского паренька Петра Каширина и открыл ему великую тайну — месторождение золота за знаменитым Чилкутским перевалом, в местах давно копанных и перекопанных. Ранней весной 1910 года Джим Стивенсон и Петр Каширин поднялись на Чилкутский перевал. Перед ними лежал снежный склон, а внизу расстилалась долина, широкая и полая. Надо было спустить вниз двое тяжело груженных саней с горным снаряжением, продовольствием, инструментами и взрывчаткой. Первые сани спустились благополучно, а вторые сшибли Стивенсона. На второй день у него отнялись ноги. Весна отрезала обратный путь через Чилкутский перевал. Петр ловил рыбу, пытался охотиться, однако ни свежая уха, ни дичь уже не могли поднять Стивенсона. Умер золотоискатель второго мая 1910 года.

Каширин похоронил друга в высоком сухом галечнике и соорудил над ним крест из полозьев саней. И в память о нем прибавил к своей фамилии фамилию американского парня Стивенсона.

Убедившись, что никакого Стивенсона на самом деле не существует, Царегородцев разразился руганью.

— Холопская твоя рожа. Прикрылся иностранным именем — Стивенсон! Может, Стивенсону и дали бы концессию, но тебе... Ты кто такой?



— Я — русский, — спокойно проговорил Каширин. — И как русский человек прошу предоставить мне право разведки и разработки подземных сокровищ Российского государства...

— Пошел вон! Ишь, чего захотел... — окончательно законной власти Анадырского уезда.

Каширин тоже не сдержался, кинулся на Царегородцева:

— Продажные гады! За полушку готовы русскую землю продать!

В тот же день в Петропавловск была отправлена телеграмма о нанесении оскорбления представителям законной власти Анадырского уезда.

Однако власти Анадырского уезда плохо знали Каширина. Он не уговорился даже после того, как ему все же разрешили производить изыскания и старательство. Короткое северное лето недолго держало золотоискателя в тундре: все остальное время он жил в Анадыре, общался с беднейшими обывателями, с чукчами и чуванцами. Зная чукотскую речь, он вмешивался в торговые сделки, уличал торговцев в надувательстве, писал жалобы за неграмотных, посылал прошения... И вскоре заслужил доверие почти всех бедняков.

Петр Васильевич поглядел вслед уходящим к радиостанции Асаевичу и Тренину и поспешил в ярангу Тымнэро. Он шагал не спеша, чем-то похожий на тундровика — то ли походкой, то ли крепко сбитой плотной фигурой. Малахай был откинут. Широкое, скуластое лицо, поросшее густой бородой, открыто студеному ветру.

Каширин был в яранге нередким гостем. И все же каждый раз, при виде такой удручающей нищеты, у него сжималось сердце, горький, тугой комок подкатывал к горлу. В холодной части яранги, в чоттагине, обитали собаки. От разошедшихся бочек несло острой вонью. Шатер-крыша был составлен из лоскутков моржовой кожи, обрывков брезента, кусков жести и фанеры. В глубине чоттагина виднелась передняя стенка полога, сшитая из облезлых оленьих шкур, испещренных множеством заплат. Подушкой служило длинное, отполированное телами бревно-изголовье. Из полога торчали головки детей — мальчишки и девочки. Слезающимися глазенками они с любопытством следили

за тангитаном и о чем-то шептались между собой. Жена Тымнэро, облаченная в меховой кэркэр, вынесла в чоттагин чайник и принялась разливать кипяток по плохо вымытым чашкам. Каширин давно уже преодолел брезгливость, он мог спокойно жить в яранге, есть из длинного деревянного блюда, которое давали потом лизать собакам, пить чай из чашек и погрязнее этих.

Каюр уже распряг собак и в задумчивости стоял перед жалкой кучкой замерзших прокисших кетин, соображая, как накормить ими свою небольшую, но прожорливую упряжку.

— На кромку льда пойти надо, — сказал Тымнэро. — Может, нерпу добуду. Рыба кончится, собачкам конец придет.

— Да, без собаки худо чукотскому человеку, — посочувствовал Каширин. — Одна надежда — нерпу добыть. Пожалуй, и я с тобой схожу к воде.

— Пойдем, может, вдвоем больше добудем! — обрадовался Тымнэро.

В дыры крыши пробивались солнечные лучи, и множество солнечных зайчиков рассыпалось по грязному земляному полу с замерзшими лужицами собачьей мочи, оленьей шерстью, обглоданными костями.

— Что летом делать будешь? — спросил Каширин. — Может, подашься со мной на Волчью? Глядишь, заработаешь на домик и поставишь настоящее человеческое жилье...

Тымнэро отрицательно покачал головой:

— Чем плоха яранга? Главное, чтобы горели жирники, чтобы было тепло, чтоб пища была...

— Скромные, однако, у тебя желания, — задумчиво произнес Каширин. — Что там случилось на радиостанции? Асасевич и Тренев забегали, как потревоженные тараканы.

— Какая-нибудь новость, — равнодушно ответил Тымнэро, прихлебывая горячий кипяток. — Ты мне лучше скажи, могу я купить плитку чаю, хватит тут? — Тымнэро показал деньги.

— Полплитки дадут.

— Значит, сегодня настоящего чаю попьем, — обрадовалась жена Тымнэро. — Приходи, Кассира, чай пить.

— Приду, — машинально согласился Каширин, продолжая думать о странном поведении радиста и Тренева. — А как твой родич, все изобретает письменность?

— Давно не было вестей от Теневиля, — ответил Тымнэро. — Однако, не на чем ему чертить. Бумаги нет.

— Пошлем ему бумаги, пусть старается наречь, — обещал Каширин. — Ты вот скажи — понимаешь, что он пишет?

— Немного понимаю, — ответил Тымнэро и достал откуда-то из глубины чоттагина гладко оструганную дощечку. Поднеся ее под солнечный луч, Тымнэро показал ряды значков, чем-то напоминавших Каширину японские иероглифы.

— Здесь давние вести, — сказал Тымнэро. — Нерадостные. Вот видишь олень лежит? Копытка была, подошли олени. Хозяин сильно сердился, бил Теневиля. От битья голова болела. А дальше вести повеселее — сука оценилась, прибавилось в упряжке собак. Теневиль собирается в Ново-Мариинск, меня навестить...

К своему собственному удивлению, Каширин легко прочитал или догадался о знаке, обозначающем Ново-Мариинск — на дощечке чем-то острым были выцарапаны изображения железных мачт радиостанции.

— Надо же! — изумился он. — А что — придет время, и собственная грамота будет у чукчей.

— Коо, — с сомнением покачал головой Тымнэро.

Послышался скрип снега, и в чоттагин вошли Асеевич и Тренев. Они, конечно, не ожидали увидеть здесь Каширина и в замешательстве остановились в дверях.

— Еттык, — удивленно проговорил Тымнэро. Эти люди никогда не входили в чукотские жилища.

Испуганные ребяташки скрылись в полог. Туда же юркнула и жена Тымнэро. Неожиданный приход таигитанов не предвещал ничего хорошего.

Тренев с Асеевичем переглянулись.

— Упряжка готова? — спросил Тренев.

— Запрячь недолго, — ответил Тымнэро. — Однако, собачки устали, отдохнуть надо.

— Дело государственной важности. Надо поехать в Угольные копи, позвать людей на сход.

— Так что же случилось, господа? — усмехнулся

Каширин. — Россия германца победила? Или миром покончили войну?

— Его Величество Николай Второй отрекся от престола, — отрезал Тренев.

— Шутишь? — глаза Каширина широко раскрылись. Такого он не ожидал.

— Истинно говорю, — Тренев в знак доказательства перекрестился.

Тымнэро прислушивался к незнакомым словам, переводя пытливый взгляд с одного тангитана на другого.

— Слышь, Тымнэро, — обернулся к нему Каширин, — царь-то наш, Солнечный Владыка, с трона того... сошел...

— Чего это он? Ослаб? — равнодушно спросил Тымнэро.

— Похоже, что ослаб, — согласился Каширин.

Тренев строго глянул на Каширина и процедил сквозь зубы:

— Дикарю-то это знать ни к чему, все равно не поймет... До поры до времени нет смысла оповещать местное население. Надо создать Комитет общественного спасения, охранять порядок, чтобы не было погромов, насилий, грабежей.

— Уж хуже того, что есть, вряд ли будет, — заметил Каширин, еще не пришедший в себя от такой новости. — Какая же власть в России нынче? Неужто германца-кайзера?

— Власть в Петрограде перешла в руки Временного правительства. Самодержавие пало, управление государством переходит в руки энергичных, понимающих людей...

— Уж не к тебе ли? — снова усмехнулся Каширин.

— Кого изберут — к тому и перейдет, — туманно ответил Тренев. — Вот для этого и нужно оповестить людей и собрать сход для избрания комитета... Давай, Тымнэро, запрягай собак, поезжай на тот берег. Передашь вот эту бумагу управляющему копиями.

Вскоре упряжка Тымнэро скрылась за торосами,

* * *

Народ со всех сторон стекался к зданию уездного правления. Люди, тесня друг друга, старались пробиться поближе к массивному, покрытому тяжелым

зеленым сукном столу, за которым восседал коммерсант Тренев, с красной повязкой на рукаве.

— Верно ли говорят, будто царь приехал в Петропавловск и оттуда дал телеграмму? — кричал широкоплечий шахтер в облезлой оленьей кухлянке.

— Кака телеграмма? — толкал его в бок рыбак Ермачков, мужичок неопределенного возраста с морщинистым, сухим лицом. — Представился амширатор, нового будут выбирать...

— А наследник? — отзывалась толпа.

— И наследник отперся от престолу... Не хочет царствовать. Отказывается.

— Чего он так доспел? Сдурел, однако... Кто ж добровольно от царства отказывается? Что-то напутал радист. Не пьян ли был, когда слушал-то?

— Тверезый, кажись... Шибко пуганный только. Вона, руки дрожат.

Тренев под рокот толпы заставил Асаевича встать на табурет и огласить полученную им радиogramму.

— Господа! — дрожащим от волнения голосом начал Асаевич.

— Не господа, а граждане! — демонстративно громко поправил его Тренев.

Гул на мгновение стих.

— Граждане Анадырского уезда! — Асаевич откашлялся. — Телеграфно сообщено следующее...

Люди внимательно выслушали телеграмму, подписанную Чаплинским, а за ней другую — уже от имени Петропавловского комитета общественного спасения, в которой предлагалось избрать такой же комитет и в Анадырском уезде.

Каширину удалось пробиться в первые ряды, и золотискатель с волнением внимал скупым строкам телеграмм, чувствуя за ними ветер больших перемен.

— Комитет общественного спасения будет осуществлять полноту власти в уезде, согласуя действия с Временным правительством в Петрограде, с правительством демократического большинства, — взял слово Тренев. — Самодержавие пало, да здравствует Конституция!

Многие не поняли, что значит Конституция, и загалдели, требуя объяснения.

— Конституция — это закон, дарующий народу

власть, — туманно пояснил Тренев. — Граждане, просим высказать свои предложения по составу комитета.

Каширин протолкнулся вперед, отстранил секретаря уездного правления Оноприенко, выкрикнул:

— Граждане анадырцы! Есть такое соображение — власть-то чья! Народная! А народ-то... он разный. У одних, значит, и сети и рыбалки, у других ничего, кроме старательского лотка. И еще — как местный народ? Будут ли они к новой власти причастны или нет?

— Понятие народа — понятие демократическое, — принялся объяснять Тренев. — Народ включает в себя представителей всех сословий, но в первую очередь тех, кто может нести ответственность за безопасность населения, печься о благе и иметь соображение...

— Ты говори прямо, Тренев, не юли, — сказал Каширин.

— Местное население по причине крайней дикости, невежества и склонности к пьянству не может быть привлечено к управлению краем...

— Посмотришь вокруг — одни трезвенники собрались, — зло заметил Каширин.

— Это к делу не относится, гражданин золотоискатель, — резко оборвал его Тренев. — Давайте выбирать комитет. Предлагайте, товарищи!

После долгих споров и пререканий в уездный комитет по настоянию Тренева были выбраны наиболее крупные промышленники и торговцы Ново-Марининска.

И тут вдруг рыбак Ермачков неожиданно предложил:

— Петра Каширина в комитет!

— И то верно! — поддержали его шахтеры с Угольных копей. — Пошто только купцов да бывших чиновников выбирать?

— Граждане анадырцы! — поднял руку Иван Тренев. — Комитет — переходной. Главная задача — охрана порядка, нормальной жизни, недопущение грабежей и всяких вольностей.

Он внимательно оглядел присутствующих. Откуда взялось столько оборванцев? Вот уж не ожидал, что шахтеры потащатся в такую даль... Поколебавшись, Тренев сказал:

— От трудящегося сословия предлагается золотоискатель Петр Васильевич Каширин.

Возбужденные, но несколько растерянные расходились по домам жители Ново-Марининского поста.

— Неизвестно, что еще будет, чем все это кончится,— разглагольствовал Ермачков.— А может, радист наврал? Кто знает, может, словеса эти в пургу попали да перемешались, всяко бывает...

В мартовской светлой ночи громко скрипел под ногами торопившихся по своим домишкам людей снег, а за лиманом, в отрогах Золотого хребта нарождался новый день.

* * *

Начальник Анадырского уезда Царегородцев подъезжал к Ново-Марининску со стороны Туманского мыса. Каюр Куркутский, местный человек чуванского рода, имевший родичей и знакомых по всей тундре, правил собаками и пел песню, в которой смешалось все—и радость возвращения, и прямые намеки на то, что высокий начальник будет щедр при расклате и сверх договора даст своему каюру бутылку огненной воды...

— Ладно, Ваня, будет тебе бутылка...— прервал его песню Царегородцев, мечтавший о скором возвращении домой, о горячей бане, чистой теплой постели.

— Спасибо, вот спасибо!— заулыбался каюр.— Я всегда думал, что ты широкий человек и душа твоя щедрая... Да не обойдет тебя милостью своей господь...

Куркутский перекрестился, не снимая рукавицы.

— Скажи, Ваня,— Царегородцев переменял позу на нарте, стараясь поудобнее устроиться на мерзлых рыбаках собачьего корма.— Какого же роду-племени ты человек? По наружности, кажись, на чукчу похож, а крестишься, да и по-русски вроде бы говоришь...

— Я—верноподданный его императорского величества,—весело ответил каюр,—слуга царю и православной церкви...

— Да не об этом речь,— нетерпеливо перебил его Царегородцев,—я спрашиваю про породу вашу. Язык ваш вроде бы русский, но черт знает чего вы туда понамышляли... Будто бы российский говор, а понять ни хрена нельзя. Да и обличье ваше... Иной раз поглядишь—дикарь дикарем—а в другом виде вроде бы русские. Одно утешение—бабы ваши больно красивы да ласковы,

— Это верно, — крикнул Куркутский. — Бабы наши, мольч, скусные...

— И что это за словечко такое «мольч»? Всюду вы его суете...

— Будет твоя воля, скажу землякам, чтоб «мольч» этого не говорили, — засмеялся Куркутский. — А порода наша российская. Происходим мы с дальних веков от Дежнева да Анкудинова и их верных сослуживцев, которые первыми пришли на чукотскую землю. Да с тех-то времен много лет прошло, порода оскудела да поразбавилась другой кровью — юкагирской, ламутской, чукотской. И речь наша замусорилась разными дикоплешими словами...

— Вот еще словечко — дикоплеший... — снова заметил Царегородцев.

— Это-то ничего, — слегка возразил Куркутский, — пусть живет.

Во время своей поездки Царегородцев понял, что исконно богатые чукчи, владельцы оленьих стад в тундре и байдарочные хозяева в прибрежных селениях не то что свысока относились к Куркутскому, но все же ставили его ниже себя и посмеивались втихомолку над его полурусской-получукотской речью.

В свою очередь Куркутский не упускал случая подчеркнуть перед ними свою принадлежность другому племени, свое отличие. Он громко ругал грязь в ярангах, неопрятность пищи, называя чукчей дикоплешими.

Царегородцев добрался до Хатырки, убедился в правильности донесений о том, что в этих местах хозяйничали американские и японские скупщики пушнины, обирая коряков и чукчей. Японские рыболовы перегораживали реки, закрывая доступ кете в нерестилища, к чукчам, жившим в верховьях рек.

Положение края было поистине ужасным: болезни, нищета, невежество. Многие, отчаявшись, целыми семьями уходили сквозь облака, заканчивая свои счета с жизнью.

Поездка не на шутку встревожила Царегородцева, и он решил, вернувшись в Ново-Маринск, немедленно подать прошение об отставке. Надо возвращаться в Россию, поселиться где-нибудь в маленьком городке, в чистеньком доме, где печи отапливаются не этим воню-

чим углем, а жаркими березовыми дровами, где по утрам слуга подает тебе настоящий кофе со сливками, горячие булочки, а на сковородке шкворчит яштарная яичница... И никаких тебе дикарей, изнуряющего бесконечного холода, который, казалось, навеки сковал эту неласковую, богом забытую землю, никаких обезумевших от беспробудного пьянства чиновников и алчных купцов, начисто утративших всякую цивилизацию. Угнетало и отсутствие газет... Невозможно понять, что творится в России. Победные телеграфные релиции об успехах на германском фронте и тут же — сообщения американского радио об измене, о предательстве, намеки на существование антиправительственного заговора, создание каких-то непонятных, несвойственных, как полагал Царегородцев, для института самодержавия учреждений вроде Государственной думы...

Справа на льду лимана показалась Аллюмка — одинокий остров, круто возвышающийся над торосами. Еще один поворот — и на бледном вечернем небе выступили устремленные ввысь ажурные мачты анадырской радиостанции.

Куркутский почмокал губами. Ему тоже не терпелось домой, в свою жарко натопленную избу за речкой Казачкой. Он уже до мелочей продумал свое возвращение. Отвезет он пассажира к его дому, сдаст на руки жене, получит свою бутылку и направит упряжку за речку. Пока будет ехать через Ново-Маринск, дома уже будут знать о его возвращении. Жена поставит вариться юхалу¹, а может, и пельмени будут, ежели мука не кончилась... Покормит Куркутский собак, уберет на крышу нарту и войдет в дом. Намучился в ярангах да в брезентовой палатке. На бутылку можно Анемподиста Парфентьева позвать. Тоже чуванского рода мужик, только болтлив больно. Ну на первые часы приезда такой и нужен — все новости зараз можно узнать.

Собаки почуяли жильё: за кладбищем уже виднелись яранги.

Тымнэро окликнул путников:

— Какомэй, никак Куркут?

— Это я, верно доспел, — на ходу отозвался Куркутский.

¹ Ю х а л а — вареная соленая кета.

Ему недосуг было разговаривать.

Несмотря на то что на воле было светло, во многих домиках Ново-Мариинска зажглись огоньки, и мутный желтый свет лег на посеревший от угольного дыма снег, смешиваясь с долгим весенним закатным светом.

Тымнэро глядел вослед нарте и думал, что же будет с Царегородцевым, с этим самым могущественным человеком Анадырского уезда, который, если верить тому, что случилось, лишен теперь и власти, и своего могущества.

Куркутский гнал собак от Свенсоновского склада — длинного приземистого здания из волнистого железа — по единственной улице Ново-Мариинска. Редкие прохожие шарахались от упряжки, однако никто не останавливался и не спешил поздравить с благополучным возвращением уездного начальника.

Дом, где жил Царегородцев, располагался почти вплотную к дому уездного правления. На крыльце правления толпились люди. Еще издали Царегородцев узнал Ивана Тренева, Матвея Станчиковского и своего давнего врага — Петра Каширина, которого он намеревался выслать с первым же пароходом в Петропавловск, а еще лучше — во Владивосток.

«Встречать собрались», — подумал Царегородцев, внутренне готовясь достойно ответить на приветствия, принять знаки верности и преданности.

Куркутский просунул остол с железным наконечником меж копыльев нарты, притормозил.

Вынырнувший откуда-то радист Асеевич вдруг закивал торопливо, поклонился:

— С прибытием, ваше благородие, с благополучным возвращением, ваше благородие...

Остальные молчали, хмуро поглядывая на бывшее уездное начальство. Царегородцев обернулся к Каширину, властно проговорил:

— Эй ты, пособи подняться!

Каширин только усмехнулся в ответ.

— Давайте я, ваше благородие, — вызвался Асеевич. — Извольте вот так.

Царегородцев поднялся, шагнул к крыльцу.

— Проще с дороги! — надменно бросил он оказавшемуся на пути Ивану Треневу. И тут вдруг заметил на рукаве коммерсанта красный бант.

— Это что такое? Вы что, опились тут до белой горячки? Где Оноприенко? А ты что тут застыл, как кусок замерзшего дерьма? — накинулся он на помощника начальника полицейского управления Матвея Станчиковского. — Отопри дверь!

Станчиковский сделал неопределенное движение, как бы намереваясь повиноваться окрику Царегородцева, но его опередил Каширин. Он выступил вперед, загородил дорогу бывшему начальнику уезда, сказал:

— Кончилась ваша, гражданин Царегородцев, власть. Нынче в Ново-Марининске, как и по всей России, власть нового демократического Временного правительства. Самодержавие пало.

— Кто тебе позволил прийти сюда?

— Я — член Комитета общественного спасения, — с достоинством ответил Каширин. — В интересах общества, сохранения спокойствия, а также для того, чтобы не дать иноземцам на разграбление окраины нашего Отечества, мы создали такой комитет. Отныне, Царегородцев, вы не начальник уезда, не представитель Его Императорского Величества и не ваше благородие, как вас тут ошибочно назвал Асаевич, вы — гражданин Царегородцев.

По мере того как Каширин говорил, выражение лица Царегородцева менялось; он пытался осмыслить происходящее, понять неожиданные перемены, случившиеся в Ново-Марининске во время его отсутствия.

— Ваш кабинет, бумаги — все опечатано впредь до особого распоряжения из Петропавловска, — сообщил Станчиковский.

Царегородцев тяжело повернулся, с трудом одолев несколько ступенек, тщательно расчищенных Кулиновским, и, сгорбившись, пошел к своему дому.

Через несколько дней в Петропавловск ушла телеграмма, переданная тайком от Комитета общественного спасения перепуганным Асасвичем:

«Опечатан в моей квартире домашний кабинет. В канцелярии опечатаны денежный ящик, шкафы с делами, бумагами, архив. Опечатаны склады с казенными припасами, экономическими товарами. Доступа без членов комитета нет. В канцелярии во время запытий



находятся члены комитета, через руки которых проходят все исходящие и входящие бумаги, телеграммы. Последние принимаются радиостанцией только с цензурной пометкой комитета. Даже частные мои телеграммы без пометки комитета не пропускаются... Председатель комитета требует предъявить на ревизию денежные книги, документы кассы специального сборщика, а также экономического капитала, стремится играть роль не контролера, а распорядителя... Царегородцев».

Чукотская весна семнадцатого года шла своим чередом, набирала силы. Исподволь таял и оседал снег, крыши ошестинились множеством ледяных сосулек, блестящих на ярком солнце. Собаки выбирали для лежек кучи шлака возле домов, которые нагревались на солнце и держали тепло до утренних заморозков, когда уже начинал образовываться наст — гладкая блестящая поверхность на снегу, отрада для каюра, облегчение для ездовых собак.

В оленьих стадах крепили новорожденные телята.

* * *

Возвратившись из стада, Теневиль сразу заметил, что кто-то недобрый побывал в его жилище. Полог был сорван с подпорок, жирник опрокинут. В чоттагине разворошен очаг, сдвинуты камни. Даже бревно-изголовье было сорвано с места и лежало наискось.

Милонэ сидела на шкурах и, плача, зашивала свой изодранный кэркэр.

— Что случилось? — встревоженно спросил Теневиль, подбирая разбросанные по земляному полу клочки шерсти.

— Опять приходил, — всхлипнула Милонэ.

— Сначала долго упрашивал, даже плакал, — принялась рассказывать Раулепа. — Сулил лакомую еду, пыжики, лахтачьи кожи. Потом стал говорить, что выкинет из яранги всех старых жен и сделает Милонэ единственной и самой главной женой. О своем брате тосковал. Что-то случилось с ним...

— С каким братом? — не понял Теневиль.

— С русским царем. Какое-то несчастье произошло с Солнечным Владыкой... Просил Армагиргин, про-

сил, — продолжала Раулена, — потом как схватит Милюнэ. Повалить хотел. Однако не смог. Слабый стал... Сильно разгневался, крушить все начал, кэркэр на Милюнэ порвал.

Милюнэ, не поднимая головы, всхлипывала, и голые ее плечи, покрытые синяками и царапинами, вздрагивали.

— Уполз он, — заключила Раулена. — Однако грозился, что не отстанет от Милюнэ. Пожалел бы ты ее, Теневиль, взял бы второй женой. Все равно ведь она живет в твоей яранге, ест тобой добытое, спит с нами в пологе...

Теневиль устало опустил на сдвинутое бревно-изголовье. Бедная Раулена! Доброе, щедрое сердце. Она готова даже разделить супружеское ложе, только бы помочь человеку. Что же делать? Одно ясно — нельзя Милюнэ оставлять в стойбище Армагиргина. Старик упорен и настойчив, он не оставит бедную девушку в покое. А идти ей в ярангу Армагиргина — значит обречь себя на вечное несчастье и рабство. Так как же быть? Приречного поселения, откуда пришла Милюнэ, больше нет. Ехать в Марково — тоже опасно, слишком близко от стойбища... Придется отвезти девушку в Ново-Марининск, к Тымнэро. Сейчас самое время. Отел закончился, до летовки еще далеко. Четыре песцовые шкурки припрятаны в тайнике да две лисицы-огневки. Держал, не соблазнился дурной веселящей водой, не отдал Черепаку.

Приняв решение, Теневиль успокоил женщин и начал готовиться к дальней дороге.

Армагиргин прослышал о его намерении и призвал к себе.

— Слыхал — ехать собрался? — вместо обычного «етти» сурово спросил хозяин стойбища.

— Собрался.

— Совсем уходишь?

— Нет, скоро вернусь, — ответил Теневиль.

— Кто же будет вместо тебя ходить в стадо? Родича какого-нибудь оставляешь?

— Жена моя остается в яранге, — спокойно ответил Теневиль. — Она будет шить вам зимний полог.

— А Милюнэ?

- Милонэ едет к своему родичу в Ново-Мариниск.
- Это кто же у нее там родич?
- Тымнэро.

— Этот инчий рыбосд? Да она там подохнет с голоду!

— Не подохнет. Работу какую-нибудь найдет... У тангитанов постирать да убрать... Поселок большой, неужто для одной женщины работы не будет?

— Да первый же тангитан потащит ее на постель! — прямо-таки простонал Армагиргин, чуя, что лакомый кусочек уплывает у него из-под рук. — На что ты девушку обрекаешь?.. Отдал бы лучше мне...

— Не хочет она...

Теневиль слушал и дивился. Странное дело: хозяин стойбища из всех сил сдерживает себя. Не кричит, не грозитя уморить голодом, заморозить в дырявой нечищенной яранге...

— Хочу дать тебе добрый совет, — снова заговорил Армагиргин, вкрадчиво, доверительно. Теневиль насто-рожился.

— Ныче не время в Ново-Мариниск ездить. Похоже, среди тангитанов большая драка назревает. Худо будет тем, кто попадется им под руку.

— С чего бы им драться между собой? — подозрительно спросил Теневиль. Ему хотелось угадать истинную цель «совета».

— Так и быть, скажу тебе тайну, — Армагиргин придвинулся к пастуху, понизил голос почти до шепота. — Свалили Солнечного Владыку!

Теневиль, пораженный этой новостью, огляделся в чоттагине. У самого входа, возле очага копошились жены Армагиргина.

— Как же это случилось?

— Черепак говорит, свалили его насильно, — сообщил Армагиргин. — Злые люди.

— Пришельцы?

— Свои же соплеменники, тангитаны, — махнул рукой Армагиргин. — Так что сейчас в Ново-Мариниск ехать опасно.

В большом сомнении вышел Теневиль из яранги Армагиргина.

Солнце высоко стояло в небе, ослепительно, горячее, плавящее своими лучами снег... А Солнечный Вла-

дыка сошел с золоченого сиденья. Лишился своего брата Армагиргин.

Весеннее стойбище было оживленно — из яранги в ярангу спешили люди, ребяташки играли возле высокого, вкопанного в снег столба, пытаясь забросить на его вершину чаат. Пастухи чинили расслабившиеся за зиму нарты, меняли деревянные полозья на металлические, чтобы можно было ездить по талому снегу, мокрой тундре и каменистым осыпям.

Если долго медлить — скоро придется отказаться от поездки в Ново-Мариинск — солнце топит снег, съедает нартовую дорогу.

Возле своей яранги Теневиль остановился в раздумье. Много лет назад, когда он еще жил в долине Танинюрера и его отец имел собственных оленей, проезжал там один человек, которого чукчи звали Вэйпом¹. Человек тот хорошо говорил по-чукотски. В то время Теневиль не обращал особого внимания на тайные разговоры в стойбище. Мальчишка уже тогда интересовался знаками, которыми Вэйп покрывал множество белых страниц. А говорили вот о чем — теперь это вспомнилось Теневиллю — Вэйп был сослан самим Солнечным Владыкой за великое дерзновение: попытку столкнуть царя с его золоченого сиденья. Люди стойбища смотрели на Вэйпа с удивлением, даже со страхом. И говорили еще о том, что царская власть и богатства Солнечного Владыки, его богатых слуг от великого царского стойбища Петербурга до Чукотки, должны быть переданы бедным и трудовым людям. Олени должны принадлежать тем, кто их пасет...

И тут-то догадался Теневиль, отчего Армагиргин так сдерживал себя. Если в царском стойбище власть перешла в руки бедных людей, то, быть может, в уездном центре Ново-Мариинске... А кто еще беднее Тымнэро да тамошних чуванцев-каюров Куркутского, Кулиновского?

Теневиль вошел в чоттагин своей яранги и громко сказал:

— Собирайся, Милюнэ! Завтра на рассвете едем!

¹ Вэйпом чукчи называли известного народовольца, впоследствии ученого, этнографа и писателя, советского общественного деятеля Владимира Германовича Богораза-Тана, отбывавшего на Чукотке ссылку.

Глава третья

Весной и летом 1917 года буржуазный Камчатский областной комитет стал активно готовиться к первому областному съезду представителей населения. На нем предполагалось избрать постоянный областной комитет, областного комиссара, обсудить вопросы экономической жизни. Буржуазия Северо-Востока стремилась закрепиться у власти, используя демократические формы представительства...

Время. События. Люди. Сборник. Магадан, 1967, с. 41

С каждым днем жизнь чукчей в Ново-Марининске становилась все хуже. Торговцы, напуганные неопределенностью, перестали давать в долг. Оленеводы близлежащих стойбищ откочевали подальше от набегов родичей и знакомых, которых по старинным обычаям надо было не только приветливо встречать, угощать, но и кормить их собак.

Тымнэро копался в яме, где всю зиму хранилась кислая, с прошлого лета запасенная рыба, в надежде найти прилепившуюся к земляной стене рыбку. Он водил по стенам лопатой, однако, кроме зловонной, пропитанной прокисшим рыбным духом земли, ничего не мог наскрести. И эту землю собаки пытались есть, грызли ее, смешивая с горькой слюной, а потом, корчась от боли, валялись на снег.

Жалко было смотреть на мучения кормильцев своих. Охота на краю припая, за островом Алюмка, принесла пока только двух нерп. Много ли это на четверых человек и двенадцать голодных собачьих пастей?

С властью в Ново-Марининске творилось что-то странное и непонятное. С одной стороны, существовал комитет, который собирался чуть ли не каждый день. Разговоры там велись громкие, оживленные, и Тымнэро, проходя мимо здания уездного правления, часто слышал возбужденные голоса. Явственно различался прощительный, лисий говорок Ивана Тренева, который совсем забросил свои торговые дела и повесил большой замок на дверях лавки. Красный бант на рукаве он давно снял, зато завел специальный мешок из перпичей кожи для бумаг. По вечерам у него по-прежнему

собирались торговые люди Ново-Марнинска, пили, играли в карты, о чем-то до хрипоты спорили.

Иногда к Тымнэро захаживал Петр Васильевич Каширин. Он пил слабо заваренный спитым чаем кипяток, жаловался:

— Погубят они Чукотку, эти говоруны! Слышь, о чем они запели? Товару в нынешний год Владивосток не даст, с Камчатки тоже нечего ожидать, черт разберет, какая там власть. Вот и хотят американцев призвать да наладить с ними торговлю — и на пушнину, и на оленей, и даже на землю...

— Как это землю продавать? — удивлялся Тымнэро, представляя, как американцы торгуют у него пропитанную рыбьим жиром вонючую налипь в яме для кислой рыбы.

— Да земля, даже чукотская — это самый дорогой товар! — горячился Петр Васильевич. — Слышал, сколько отвалили американцы за аляскинскую землю? Миллионы! И не ассигнациями, а долларами. И это когда еще было... А теперь, поди, и того дороже... Нет, тебе не понять... Для Тренева теперь самое время Чукотку продать. Вот и рвут друг у друга власть, чтобы денешки себе в карман положить.

Тымнэро внимательно слушал Каширина, вежливо кивал головой, будто бы соглашался. На самом деле все эти рассуждения были далеки ему, не понятны. Правда, когда Каширин уходил и Тымнэро заползал в свой остывший за день полог, ложился рядом с женой, сон долго не шел к нему. Он думал о том, как можно торговать землей, тундрой, скованными льдом реками, горами, долинами, морскими берегами...

Иногда ему снилось, как тагитаны распродают чукотскую землю американцам. В Анадырском лимане на рейде стояли большие железные пароходы, парусно-моторные шхуны. А на берегу кипела работа — люди рвали лопатами тундровый дерн, береговой песок, гальку, глину, набивали мешки и грузили их на большие черные кунгасы. Рыбу никто не ловил — главной ценностью теперь была земля. Ее варили в больших котлах, как варят юхалу или мясо, ели сырой, приправленной нерпичьим жиром, и даже пекли из нее особый земляной хлеб.

Тымнэро просыпался, удрученный столь странным сном, высовывал голову в чоттагин и, посасывая пустую, но еще хранившую слабый табачный дух трубку, вспоминал рассказы дальних оленеводов о съедобной земле, якобы существующей где-то на границе с Якутней, в краю поднебесных островершинных гор. Бывало, что люди, изнуренные голодной жизнью, вдруг покидали родную тундру и отправлялись искать эту удивительную съедобную землю. Никто не возвращался из этого путешествия. Да и кто же покинет такое обилье еды?

Главная забота в яранге Тымнэро состояла в том, чтобы хоть как-то накормить детей и собак. Первых — потому, что они — продолжение жизни, вторых — потому, что без собак на Чукотке нет вообще никакой жизни.

В короткие минуты роздыха Тымнэро вспоминал собственное детство, время, когда, казалось, и не существовало забот о еде. Они кочевали тогда возле Таниюрера, красивой реки, поросшей ольхой, такой редкой на безлесной чукотской земле. То было счастливое время, единственный светлый проблеск в его многотрудной жизни. Нет, еще была одна весна, когда телились важенки, когда на теплых весенних проталинах рядом с подснежниками он познал женщину, молчаливую и нежную Тынатваль, которая потом, за годы совместной жизни, стала частью его самого.

Что же будет дальше?

Зачем понадобилось свергать со своего сиденья Солнечного Владыку, изменять заведенный порядок, когда каждый знал свое место, свое положение, свою надежду? Была и у Тымнэро собственная надежда. Мечтал он вырастить детей сильными, смелыми, каждому снарядить хорошую собачью упряжку, сына сделать лучшим каюром, а дочь выдать замуж за богатого оленевода, чтоб не знала не ведала она тяжкой, голодной жизни...

Сам бы Тымнэро чинил нарты, мастерил повые, растил смену для собачьих упряжек. И это была бы достойная настоящего человека жизнь.

А нынче из-за этой неразберихи нельзя даже купить порошу и дрови для старого дробовика. Скоро полетят гуси, утки. Можно выехать на дальние косы по-

охотиться. Русские хорошо платят за свежую дичь, да и самим не худо подкрепиться нежным птичьим мясом.

...Тяжкий дух в кислой яме выгнал Тымнэро на волю, и он уселся на краю, поглядел на лиман, на слегка потемневшие от солнца снежные склоны дальнего Золотого хребта, потом перевел взгляд на Ново-Мариниск, на домишки, освобождающиеся от снега, — хозяева откапывали их, чтоб отсыревший снег не испортил деревянные стены.

Отдышавшись, Тымнэро хотел было снова спуститься вниз и уже свесил ноги, но тут его внимание привлекла черная точка на белом снежном поле Анадырского лимана, напротив мыса Обсервации.

Это была собачья упряжка. И шла она с верховьев реки.

Собрав в старый проржавевший таз набранную вязкую землю, Тымнэро прикрыл яму китовой лопаткой и заспешил в ярангу: давно с верховьев не было вестей, а дальний гость — всегда новости, рассказы о знакомых и дальних родичах.

* * *

Комитет общественного спасения Анадырского уезда собирался на очередное заседание.

Члены комитета шумно входили в сени, громко топали ногами, отряхивая с торбасов и валенок липкий весенний снег, пробирались в накуренную комнату.

Неподалеку от председательского стола сидел радист Асаевич, бледный, растерянный. От многочисленных телеграмм, которые ему приходилось принимать и отправлять в последнее время, голова у него шла кругом. Он проклинал себя за то, что не отдал то злополучное сообщение законным властям, а поддался этому хитрецу Треневу. Тот же «Лис Трениев», как называли его в Ново-Мариниске, уговорил возглавить Комитет общественного спасения. А какой из него председатель? В этом, славу богу, быстро убедились члены комитета и посадили на его место Ивана Мишина, бывшего делопроизводителя полицейского управления. Когда смешили Асаевича, толковали о демократии и о том, что надо прислушиваться к голосу народа. Но больше почему-то прислушивались к телеграммам из Петропавловска, которые настойчиво советовали Комитету

общественного спасения оставить у власти Царегородцева... Эти телеграммы насторожили всех анадырских политиков, и в особенности Тренева.

В комнату вошел Петр Каширин, и все как-то попристихли, словно бы сжались. Какая-то внутренняя сила была у этого человека, не имевшего за душой ничего, кроме кайла, остро отточенной лопаты да старательского лотка. Каширин прошел в глубь комнаты. Все молча, недружелюбно проводили его взглядами, полными открытого презрения и ненависти.

Асаевич невольно обратил внимание на его торбаса и с завистью подумал, ему такие чукчи ни за что не сошьют. Не зря, видно, старатель ходит в грязные чукокотские яранги, водит дружбу с углекопами на другом берегу лимана.

Последним в комнате появился Мишин, низкорослый лысоватый мужичок, которого за глаза пренебрежительно называли просто Ванькой, хотя, став председателем, он тотчас принял важный величественный вид, надулся, словно пузырь. Даже голос у него заметно изменился. Мишин положил на стол тощий потертый портфель, сказал:

— Господа!

Каширин громко крикнул, насмешливо посмотрел на председателя. Именно Мишин скрыл от него высочайшее разрешение на разведку и добычу золота на реке Волчьей. Бывший царский делопроизводитель отвел взгляд в сторону, поправился:

— Граждане! Приближается лето. Вместе с этим перед нами встают большие трудности. Продовольственные запасы в уезде истощены, а источники их восполнения остаются до сих пор неизвестными. У нас нет связей с торговым домом Чурина из Владивостока. Братья Караевы, находящиеся на мысе Восточном, на наши запросы не отвечают. Анадырскому уезду в таком положении угрожают голод и беспорядки...

— Одна надежда на рыбу, — сказал Станчиковский, пристально взглянув на анадырских рыбопромышленников — молчаливого флегматичного японца Сооне и благообразного, похожего на дьякона Грушецкого.

— Моя имей опизатерства, — с удивительной для него быстротой отозвался Сооне, — моя давай рыба компания, мой своя рыба нет!..

— Сооне-сан, — заговорил сытым басом Грушецкий, — прав. У каждого из нас есть свои обязательства перед компанией, и выловленная нами рыба, если бог се нам пошлет, будет полностью отправлена заказчику.

С места, теребя бородку, поднялся Тренев.

— Граждане, — заговорил он негромко, но с какой-то удивительной проникновенностью. — Новая Россия ждет помощи от деловых людей, от людей, готовых поступиться личным благополучием во имя спасения общественного порядка. Мы все ждем от промышленников и коммерсантов деловых предложений.

Все, однако, молчали.

Тренев понимал, что ни один из них не отважится на то, чтобы сказать действительно дельное. Все они — даже те, кто корчит из себя настоящих хозяев, — на самом деле лишь представляют крупные торговые фирмы, связь с которыми в теперешних условиях была весьма затрудненной.

Иван Мишин оторвался от замусоленных бумажек, которые он для пушей важности навалил на стол, и громко спросил:

— Кто первый?

— В чем первый? — переспросил Каширин.

— В том, чтобы, значит, поступиться личным, — растерянно пробормотал Мишин, повторяя слова Тренева.

— Да речь не об этом, — перебил его Грушецкий. — Гражданин Тренев, видимо, хотел сказать о том, что надо изыскать другие источники для продовольственного снабжения. Могу вам указать на такие источники — близкие, надежные и весьма обильные. Рыбопромышленным оборудованием, сетями, лодками, кунгасами и катерами нас может снабдить Япония, — продолжал Грушецкий, — а все остальное даст Америка.

— А за какие шиши? — усмехнулся Станчиковский.

— За ту же рыбу и пушнину. И если хотите знать мое мнение, гражданин Тренев, — Грушецкий кивнул в сторону торговца, — то именно нынешнее наше положение открывает огромные возможности. Американцы готовы пачать широкие работы по разведке и добыче полезных ископаемых Чукотского полуострова. Наше географическое положение обязывает нас реально смотреть на эти перспективы...

Тренив слушал Грушецкого с тайной завистью: тот прямо сумел сказать о том, что Тренив сам вынашивал в эти месяцы.

— Граждане! — Все обернулся на голос.

Это был Каширин.

— Граждане! — повторил он. — Да вы думаете о том, что говорите? В России — свобода! Свобода для всего народа, как это заявлено. А это значит, что весь народ должен решать, как жить дальше. Почему же у нас в Ново-Мариинске этого нет? Отчего это у нас у власти все те же люди — Мишин, Асасвич, Царегородцев...

— Петропавловск предписывает, — вскрикнул Мишин, — чтобы в уезде была крепкая власть. Вот здесь у меня телеграмма, подписанная Добровольским и Емельяновым...

— Эти господа хорошо мне известны, — оборвал Мишина Каширин. — Они как были царскими слугами, так ими и остались. И многие из вас, знаю, спят и видят Его Величество возвратившимся на престол. Но этого, господа, не будет! Народ не допустит! И того, что вы предлагаете, господин Грушецкий, тоже не будет. Народ не позволит продавать Россию по кускам...

— С голоду подохнет ваш народ! — зло бросил Грушецкий.

— Не подохнет! — отрезал Каширин. — Сколько лет голодали, терпели — еще год потерпим, но Россию свою продавать не дадим! Да вы спросили, господа хорошие, хоть одного чукчу или эскимоса — что им надобно? Это же их земля! Господин Грушецкий и господин Сооне, спрашивали ли вы позволения переселить реку?

— У нас есть лицензии, закононо выданные господином Царегородцевым, — сухо ответил Грушецкий.

— От имени его величества, которого теперь нет! — торжествующе заявил Каширин. — Значит, ваши лицензии законной силы не имеют. Это пустые бумажки!..

Сооне-сан в испуге завертел коротко остриженной головой.

— Граждане! — Мишин поднялся со своего председательского места. — Наш комитет законно избран жителями Ново-Мариинска, и сомнений в его полномочиях, кроме как у гражданина Каширина, не имеется. **Что**

же касается привлечения дикарей к управлению, то просвещенные государства, как известно, этого не делают для блага самих же дикарей. По причине их особого пристрастия к спиртному, полной непригодности к управлению и непонимания сущности верховной власти.

— А не лучше ли запросить по этому важному вопросу Петропавловск? — предложил Тренев. — У них есть связь с Хабаровском и Владивостоком. Они-то уж знают, как поступать.

— Вы что же, ничего не слыхали? — обернулся к нему Каширин. — Хоть Петропавловский комитет и называет себя новой властью, но он не спешит расстаться со старыми порядками. Ясно ведь, что Емельянов и Добровольский — это те же чиновники с пуговицами, которые держатся за старые порядки. А мы должны стоять на своем. Сейчас нас немного. Но с пароходом наверняка придут наши люди...

— Это какие такие ваши люди? — подозрительно спросил Мишин.

— А те, которые передадут власть чукчишкам и чукчанам, — процедил сквозь зубы молчавший до сих пор Царгородцев.

— А я официально ставлю на голосование комитета предложение об аресте господина Царгородцева и всех старых чиновников как уездного, так и полицейского управлений! — сказал Каширин.

В комнате воцарилась тишина.

Японец зашевелился и простонал:

— Моя борьной, моя ходи домой... Моя очень борьной...

Сооно поднялся и, спотыкаясь о торбаса и отсыревшие валенки, стал пробираться к выходу.

— К чему такие крайности, гражданин Каширин? — примирительно заговорил Тренев. — Ежели мы всех начнем сейчас арестовывать да сажать в тюрьму, кто останется? Надо быть снисходительными и терпеливыми. Искать пути сотрудничества и объединяться на основе общей идеи...

— Объединишь волка с оленем, — проворчал Каширин.

Однако предложение было сделано, и Каширин настаивал на голосовании. Большинство высказалось

против, а остальные воздержались, в том числе и Иван Тренев.

— Следующий вопрос, который нам надо обсудить, — продолжал деловитым тоном, словно ничего особенного и не случилось, Мишин, — это выборы делегатов на съезд представителей в Петропавловск.

— Послать Каширина! Пусть там митингует! — слышались голоса.

— Хотите избавиться от меня? — усмехнулся Каширин. — Но ведь я обратно вернусь... и от своего не отступлюсь...

* * *

По Ново-Мариинску прокатился слух, мгновенно обрastaвший чудовищными подробностями: Каширин поднимает восстание против Временного правительства; со стороны Туманской идут вооруженные луками и стрелами чукотские отряды; эскимосский полк с многозарядными винчестерами снаряжается в Уэлькале; из Марково уже движутся на нартах оленные пастухи, добывшие где-то пушки.

Сам Каширин загадочно улыбался. Он частенько говорил о чем-то со своим другом Аренсом Волтером, норвежцем, долгое время служившим матросом на американских судах. Несколько лет назад он был списан на берег здесь, в Ново-Мариинске, капитаном, которому не понравились его проповеди о всеобщем христианском братстве. Поначалу Волтер намеревался основать на Чукотке баптистскую общину, но встреча с Петром Кашириным постепенно переменяла его взгляды.

— Ваня, скажи — что будет? — пыталась Агриппина Зиновьевна мужа.

Но Тренев ничего определенного сказать не мог. В Ново-Мариинске никто толком не знал, что происходит в Петропавловске, во всей России... Сообщениям радио верить было нельзя — телеграммы противоречили одна другой. По всей видимости, и в Петропавловске шла ожесточенная борьба за власть.

— Насчет Каширина все — враки, — успокоил жену Тренев. — Никакого восстания дикарей не предвидится. Кушка у них тонка.

Легкий на помине Каширин постучался в домик Тренева.

— Здорово, коммерсант! — иронически приветствовал он хозяина, зная, что Тренев любит величать себя именно так, тем самым как бы подчеркивая свое отличие от других мелких торговцев.

— Здравствуйте, гражданин Каширин, — настороженно отозвался Тренев.

Золотоискатель был не частым гостем у Тренева, не принимал участия в ежевечерних пьяных сборищах. У него был свой круг знакомых: местные рыбаки, отбившиеся от кораблей матросы, группировавшиеся вокруг Волтера.

— По делу я к тебе пришел, — сообщил Каширин. — Кумачу нужно... аршин двадцать.

— На что тебе столько? — удивился Тренев. Красный кумач в основном шел на женские камлейки и на отделку и расходился довольно туго. — Камлейки будешь шить?

— Не на камлейки, а на флаги и лозунги, — пояснил Каширин. — Праздничное шествие будем проводить Первого мая.

— Пасхальное, что ли? — заинтересовалась Агриппина Зиновьевна.

— Ага... — улыбнулся Каширин. — Красная пасха...

— Откуда ж такой обычай? — с любопытством спросил Тренев.

— От международного пролетариата. От рабочего люда.

— Чудное говорите, Петр Васильевич, — пожалала плечами Агриппина Зиновьевна. — Кто же будет праздновать здесь, в Ново-Мариинске?

— Рабочие будут праздновать и туземное население. Там, где есть угнетатели, — есть и угнетенные...

Тренев отмерил ткань.

— Я могу и так дать, — задумчиво произнес Тренев, взвешивая на руках ворошок царских ассигнаций. Сейчас самое время прослыть щедрым, тем более царские деньги теперь, по всей видимости, обесценились.

— Нет уж — возьмите, — твердо сказал Каширин. — Нам милостыня не пужна.

Ранним майским утром жители Ново-Мариинска увидели странное шествие, приближавшееся со стороны яранг к зданию уездного правления.

Кто-то из баб истошно закричал:

— Идут, идут разбойники! Дикари двинулись!

На крыльцо правления выскочил Станчиковский, затем Царегородцев и Грушецкий. Японец Сооне украдкой выглядывал из полуотворенной двери.

Под колонной, посаженные на длинные палки, реяли красные полотнища. Впереди важно вынагивал Каширин. Кулиповский и Волтер держали длинное полотнище, на котором чем-то белым было написано: «Вся власть трудовому народу и туземцам!» «Да здравствует революция! Долой царских чиновников и эксплуататоров».

Обнаружив ошибку в последнем слове, Тренев внутренне усмехнулся.

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Вставай на борьбу, люд голодный! —

пел Петр Каширин. Волтер вторил ему.

Демонстрация приближалась. Из домов выходили люди — рыбаки, служащие торговых компаний, каюры — многие из них вливались в праздничное шествие.

У крыльца уездного правления Каширин повернулся к собравшимся и, покраснев от натуги, выкрикнул:

— Долой царских прихвостней и кровопийц трудового народа!

— Надо бы его заарестовать за нарушение общественного порядка, — злобно произнес Станчиковский.

— Не имеем права, — сказал оказавшийся рядом Тренев. — Свобода слова и демонстраций гарантируется Временным правительством.

— С этой свободой как бы он и вправду не поднял свой «люди голодный». Народ озлоблен, жрать нечего. Поднеси спичку — вспыхнет.

— Вот и надо дать им возможность выпустить пар, — сказал Тренев, пряча улыбку. — Пусть митингуют, тешат себя.

Между тем процессия остановилась у устья Казачки, где из снега торчали борта зимовавшего кунгаса. Взбравшись на кунгас, Каширин простер руку над толпой, сказал:

— Товарищи! Сегодня впервые в жизни Чукотка празднует Первомай, праздник трудовых людей всего мира! Мы собрались здесь, чтобы напомнить некоторым людям — настоящая сила в наших руках, и нам долж-

на принадлежать власть. Оглянитесь вокруг. Какая нищета и несправедливость окружают нас! Из революционного Петрограда к нам пришла весть о свержении самодержавия, об установлении народной власти. Это значит, что в край холода и голода пришла новая жизнь. Царские чиновники не должны больше чинить произвол, торговцы не должны грабить и обманывать местное туземное население. А на самом деле — что мы видим? Люди, которые должны сидеть в тюрьме или на каторге замаливать свои грехи перед народом, — свободно разгуливают по Ново-Марининску. Мало этого, они еще и входят в комитет! До сих пор торговцам, всякого рода коммерсантам и промышленникам принадлежат товары, невода, склады. А по справедливости их должны передать народу. Дорогие сограждане Анадырского края и всей Чукотки! Смертельная опасность нависла над нашим краем. Враги новой России из алчных своих побуждений, ради сохранения своих привилегий готовы продать Чукотку и все окраины нашей родины иностранному капиталу. Не дадим в обиду родную землю!

— Не дадим! — подхватил Ваня Куркутский,

— Не дадим!

— Не дадим!

Каширин спустился с кунгаса, снова встал во главе колонны, и демонстранты по льду лимана двинулись вдоль гряды торосов. У коммерческих складов шествие закончилось. Люди начали расходиться по домам. Каширин и еще несколько человек направились к домику Арсена Волтера, где запасливый норвежец приготовил нехитрое угощение — огромного замороженного чира и довольно светлый самогон собственной выгонки.

Каширин аккуратно свернул флаги и транспаранты, спрятал их в кладовую, прикрыл для верности линиями оленьими шкурами.

— Нам еще пригодится красное знамя.

За строганиной Ермачков расспрашивал Каширина о будущем, с недоверием покачивал головой.

— У нас будет пролетарская республика! Погодите немного, дайте расшевелить народ. Эх, ну почему Тым-пэро не пришел? — горячился Каширин.

— Темный он совсем, — авторитетно пояснил Ермачков. — Забитый да робкий.

— Именно такие и составляют главную силу рево-

люции,—заявил Каширин.—Гнев скручен в их душах подобно стальной пружине.

Первомайская демонстрация напугала анадырский комитет—никто не хотел собираться на заседания, отсиживались по домам, чего-то выжидали.

* * *

Каширин спешил к яранге Тымнэро.

В светлой ночи далеко светился огонек костра, горевший в чоттагине.

Проходя мимо домика Тренева, Каширин услышал звуки граммофона. У торговца, как всегда, были гости.

Каширин прошел мимо торговых складов, спугнул японца Сооне, метнувшегося от него, словно заяц от волка. Из отверстия в крыше яранги к бледному небу тянулся столбик дыма, внутри слышались приглушенные голоса.

На длинной цепи, поодаль от хозяйских собак, отдыхала гостевая упряжка. Собаки лежали тихо, уткнув морды в животы—видно, вымотались за долгую дорогу.

—Амын егги, Кассир,—радушно встретил Тымнэро гостя.

—Сколько я тебе говорил—зови меня лучше Петром, какой я тебе кассир?—заметил Каширин, глядя на незнакомого ему чукчу в замшевой камлейке и молодую красивую женщину в кэркэре, смущенно опустившую глаза при появлении гостя.

—Мои родичи приехали,—сообщил Тымнэро.—Это Теневиль, а женщина—Милюнэ. С верховьев они, из стойбища самого Армагиргина.

—А-а,—протянул Каширин,—вон ты каков, пишущий Теневиль! Как поживает брат Солнечного Владыки?

—Живет,—просто ответил Теневиль, разглядывая с любопытством удивительного таигитана, который без брезгливой гримасы вошел в ярангу и, главное,—хорошо говорил по-чукотски.

Уловив во взгляде оленного чукчи изумление, Каширин пояснил:

—Давно я на чукотской земле. Разговору научился в Уэлене, когда работал у Караева, потом—когда школу строил.

— А разве на нашей земле есть школа? — удивился Теневиль.

— Школа-то есть, да не учат там, — вздохнул Каширин.

Летом 1915 года по решению губернатора в Уэлен был отправлен сруб для школы. Каширин вместе со своим другом Ваней Лариным подрядились собрать это здание. Собрать-то собрали, да в тот год обещанный учитель не приехал. Ванюша Ларин уплыл обратно во Владивосток, а Каширин подался искать золото.

— Слышал я, — обратился Каширин к Теневиллю, — что ты письменный чукотский разговор придумал. Это что же, ты буквы изобрел, азбуку?

Эти слова были не понятны Теневиллю, но он гордо пояснил:

— Мой чукотский разговор только для нашего языка.

— А ну, покажи!

Теневиль вытащил из своего дорожного мешка гладкую дощечку, отскобленную до бумажной белизны. Каширин взял ее и придвинулся к пламени костра.

Знаки были выдавлены на мягкой древесине чем-то острым — то ли шилом, то ли гвоздем. Иные походили на схематические изображения людей, животных, предметов, но больше было каких-то непонятных, странных значков, напоминающих китайские или японские иероглифы. Несколько раз попадались изображения двух радиомачт Ново-Марининска, знакомых Каширину по дощечке, принадлежащей Тымнэро.

— Любопытно, — пробормотал он. — А прочитать написанное можешь?

— Я же писал, почему не могу? — удивился несообразительности тангитана Теневиль.

Он взял дощечку:

«Пришла весть от Черпака о Солнечном Владыке. Будто сошел он с золоченого сиденья. Уехал Черпак. Сильно стал пить Армагиргин и хотел взять Миллонэ...»

— Миллонэ — вот она, — кивнул Теневиль на девушку, оторвавшись на миг от чтения.

— Ну, ну читай дальше, — нетерпеливо воскликнул Каширин.

«Однако Миллонэ не хочет быть женой старика и единственное спасение для нее — ехать в Вьэн».

Теневиль отложил дощечку.

— Да-а, брат,— задумчиво протянул Каширин,— надо же сообразить такое. Выходит, ты сотворил письмо для чукотского языка. Кто же кроме тебя и Тымнэро еще знает его?

— Раулена — моя жена,— ответил Теневиль, — да вот Милюнэ начала учить.

— Трудное это дело,— заметил Тымнэро.— А нужен ли для чукчи письменный разговор? Может, ни к чему он?

— Нужен! — убежденно произнес Каширин.— Будет у чукчей, эскимосов, чуванцев свой письменный разговор. Свой, понимаете? Не тангитанский — а свой! Может быть, скоро все люди Чукотки начнут изучать твою, Теневиль, грамоту! Дело к этому идет, друзья!

Тымнэро и Теневиль внимательно прислушивались к взволнованной речи Каширина. Теневилью его слова пришлись по душе. А Милюнэ вдруг словно чего-то испугалась.

Каширин пристально вглядывался в Милюнэ. Красавица! И откуда только берутся такие здесь, в холодном краю, в грязных и дымных ярангах?

— Погостевать приехала?

— Насовсем,— ответил за девушку Тымнэро.— Сирота она, а мне дальняя родственница... Может, кто из тангитанов возьмет ее в услужение?

— Да ты что? — Каширин снова посмотрел на Милюнэ.— Такую красу на растерзание анадырским волкам отдавать!.. Постой-ка, кажись, Треневу нужна служанка. Потолкую с ним. Хоть и лисоватый он, по все же семейный... А ты, Теневиль, обратно когда поедешь?

— Солнце дорогу съедает, скоро бы надо... — ответил Теневиль.— Однако поторгую маленько...

— Возьмешь меня? В Марково мне надобно, да в Усть-Белую, с людьми поговорить. Делегатов на большой сход в Петропавловск выбрать нужно.

— Возьму, чего не взять — нарта все равно пустая, вдвоём веселее ехать.

* * *

Утром того дня, когда Милюнэ надо было показать жене Тренева, Тынатваль наставляла ее:

— Главное в тангитанской жизни — чистота. Любят

они все мыть да скоблить. Раз в неделю жарко нагревают особую деревянную ярангу — войди внутрь — сваришься. В этой яранге хлещут себя связками березового стланика. От этого они и белые. Особенно телеса. Снаружи не так, а вот доведется увидеть тебе голого тангитана, так он такой белый, будто и впрямь вареный.

Женщины сидели у едва тлеющего костра в чоттагине, ожидая мужчин, которые пошли на переговоры к Ивану Треневу.

Тынатваль подарила Милюнэ матерчатую рубашку под кэркэр, нагрела воды и заставила помыть лицо, шею, обтереть руки. Достала редкий гребень и, причесав густые, лоснящиеся волосы, заплела в две толстые аккуратные косы.

— И еще хочу тебе сказать — тангитапы охочи до женщин. Как звери кидаются, без слов. Только рычат сквозь зубы. Будь начеку.

— Ну, считай, что мы тебя просватали! — громко объявил Каширин, входя в чоттагин. — Агриппина Зиновьевна берет тебя в услужение, будет тебя кормить, приоденет соответственно да еще раз в месяц товарам будет платить.

Тымнэро и Теневиль тоже были довольны. Теневиль, с помощью Каширина, который из всех сил торговался с коммерсантами, вызывая к их совести, взял за пушнину хорошую цену. И даже получил в придачу толстую конторскую книгу с сотней чистых страниц и непочатый карандаш.

— А ты, Милюнэ, собирайся, поведем тебя на смотрины, — сказал Каширин девушке.

С замиранием сердца Милюнэ шла следом за широко шагавшим Кашириным. Лишь сейчас она могла вблизи рассмотреть тангитанское стойбище, застроенное маленькими, будто выросшими из-под земли домишками. Среди них торчали два-три больших деревянных здания, одно из которых было увенчано крестом, как церковь в Марково. Снег в Ново-Мариинске был грязный, закопченный угольным дымом, запачканный калом собак. Возле каждого дома высилась мусорная куча. От угольного дыма першило в горле. Милюнэ с опаской поглядывала на своего спутника, такого непохожего на марковских тангитанов. Этот и говорил по-чукотски, и

ярангой не брезговал, и лицо у него было не худое, а широкое, обрамленное черной с проседью бородой. Такому человеку по его обличью иметь бы большую семью, детей и даже внуков. Но у Петра Каширина не было никого, одинок он был, как отбившийся от стада олень...

Дом Тренева встретил Милюнэ громкими голосами:

— Рыбья твоя душа! Нет у тебя мужской твердости, даром что штаны носишь! — Голос был неприятный, пронзительный.

— Что за шум, а драки нет? — сказал Каширин, распахивая дверь и пропуская Милюнэ вперед.

Агриппина Зиновьевна, раскрасневшаяся, с растрепанными волосами, стояла в тесных сених и бранила мужа. Иван Тренев по своему обыкновению тербля бородку и еле слышно частил:

— Так-так-так... Так-так-так...

— А, Петр Васильевич! — Агриппина Зиновьевна обратилась к Каширину. — Явилась! Что же это творится? А?

— Об чем речь? — спокойно спросил Каширин.

— Да о том, что вы заставили моего мужа торговать в убыток! — крикнула Агриппина Зиновьевна. — Сейчас весна, товару мало, а он отдает за песка две плитки чаю! Вы хотите по миру нас пустить!

— Успокойтесь, Агриппина Зиновьевна, — сказал Каширин так, словно ничего особенного не произошло. — Две плитки черного чаю — это еще не все счастье на земле. Лучше поглядите-ка, какую работницу я к вам привел... — Он слегка подтолкнул вперед засмущавшуюся Милюнэ.

— Входите в комнату, — пригласила Агриппина Зиновьевна.

Она искоса взглянула на чукчанку. С первого взгляда ничего в ней особенного не было — обыкновенная чукотская девушка в кэркэре, застенчивая и робкая. Но потом, когда Агриппина Зиновьевна стала пристально рассматривать будущую свою работницу, она не могла не увидеть ее красоты. Доброе, мягкое, чуть округлое лицо, черные, слегка увлажненные глаза, светящиеся каким-то теплым, внутренним светом.

— Как тебя зовут? — спросила Агриппина Зиновьевна.

— Микигыт? — перевел вопрос Каширин.

— Милюнэ...

Голос был глубокий, мягкий.

— Что это значит?

— Заяц вроде бы,— пояснил Каширин.— Да что имя, вы на нее поглядите!

— А можно Машей звать?— вступил в беседу Тренев.— Зайчихой такую прелесть звать как-то... не очень... Словом, Маша было бы для нее неплохо... А, Груша?

— Ну что же, можно и Машей звать,— согласилась Агриппина Зиновьевна.— Только вот делать она, видно, ничего не умеет.

— Да научите ее в два счета!— горячо заговорил Каширин.— Это же такой сообразительный народ! Вы только представьте себе, Иван Архипыч, ейный дядя грамоту чукотскую изобрел!

— Петр Васильевич, вы в своих симпатиях к дикарям черт знает до чего можете договориться,— со снисходительной улыбкой заметил Тренев.

— Ну вот— не верит!— сокрушенно развел руками Каширин.— Вы мне скажите, Агриппина Зиновьевна, что надо делать, а я ей переведу.

Милюнэ поняла, что главные ее обязанности: ходить на лиман и на снежницы за пресной водой, держать запас горючего черного камня в железном ящике возле печи, поддерживать огонь в большом каменном очаге, выгребать из поддувала горячую золу и выносить из дому.

— Стирать покажу как,— сказала в заключение Агриппина Зиновьевна.— Жить она будет на кухне, там можно закуток отгородить.

Пока Агриппина Зиновьевна учила Милюнэ орудовать совком и кочергой, мужчины курили, неторопливо разговаривали.

— Поручение комитета почетное и важное,— солидно говорил Тренев.— Я даже вам несколько завидую— вы избраны делегатом, вам поручено подобрать еще двух представителей. Может статься так, что вы вернетесь в Ново-Мариинск полномочным хозяином Анадырской округи, а то и всей Чукотки.

— Хозяином Чукотки является прежде всего народ,— ответил Каширин.— Вот этого главного никак не может понять ни ваш комитет, ни Петропавловск. В

этом-то и был смысл свержения самодержавия. Главная идея — народовластие.

— Конечно, конечно, — демократия, — закивал головой Тренев, — так-так-так... Но избранный народом комитет олицетворяет, так сказать...

— Ни хрена он не олицетворяет, — отрезал Каширин. — Вы поглядите на эти рожи: Асаевич — как был лакеем, так им и остался; Царегородцев, Бессекерский, Мишин — одна шайка... Ведь главная сила осталась за Грушецким, Сооне и за теми, кто владеет лавками и складами. Есть ха-ро-шая идея!

— Какая же? — насторожился Тренев.

— Отобрать все склады, товары, рыбалки и передать их народу! — резко сказал Каширин. — Только народ имеет право владеть ими.

Тренев испуганно огляделся, но быстро взял себя в руки и с вымученной улыбкой ответил:

— Для вас народ — это нечто идеальное... А вы поглядите вокруг. Ну, кому вы отдадите склады? Пьяницам и картежникам? Смею вас уверить — через два дня во всех складах будет пусто и начнется такая анархия, что не приведет господь...

— Боятесь? — усмехнулся Каширин. — Вижу, что боитесь. А народ, он не такой, как вы думаете. Царя-то кто скинул? Неужто чиновники да адвокаты? Или офицеры, продававшие Россию немцам? Не было бы напора народа — до сих пор Николай сидел бы на престоле... Чую, в России происходит совсем не то, что в нашем Ново-Маринске. Чую — есть сила, только не знаю какая.

Тренев внимательно слушал Каширина и часто, дробно приговаривал свое:

— Так-так-так... Так-так-так... Вот с первым народом поплывете в Петропавловск, оттуда во Владивосток. Своими глазами посмотрите...

— В Петроград бы, — вздохнул Каширин. — Там главное дело делается.

— Можете и в Петроград податься, — сказал Тренев, словно именно от него зависело, куда направиться Каширину.

Каширин поднял глаза на Тренева.

— Знаю, костью я застрял у вас тут поперек горла... Лишь бы уехал — куда угодно: в тундру, в Петропав-

ловск, во Владивосток, в Петроград. Только бы глаза не мозолил, не мешал вам. Но я скажу вот что, гражданин Тренев: я уеду — другие приедут. И такие, которые лучше моего знают, что делать, с какого краю взяться за жизнь, чтобы все тут перевернуть. Тогда вспомните меня. А покуда — верю, что вернусь с крепкими людьми, с настоящей верой в лучшую долю таких, как она вот — Милюнэ, Маша...

Милюнэ с Агриппиной Зиновьевной вошли в комнату. Каширин широко раскрыл глаза и от удивления цокнул языком.

— Королева! — выдохнул Тренев, увидев Милюнэ в стареньком платье Агриппины Зиновьевны.

— Ну, Милюнэ, — хмыкнул Каширин, — затмила ты всех ново-маринских красавиц!

— В бане помоем — будет у меня самая лучшая горничная в Ново-Маринске, — заявила Агриппина Зиновьевна.

* * *

Проводив Теневиля и Каширина в дальний путь, Милюнэ перебралась в домик Треневых, заняв угол в кухне. Агриппина Зиновьевна устроила ей постель на досках, настелив оленьих шкур и набросив сверху старое лоскутное одеяло, показавшееся Милюнэ таким роскошным, что первое время ей даже жалко было укрываться им. Хозяйка потребовала, чтобы Милюнэ больше не носила кэркэр, и та ходила теперь в облезлой заячьей шубейке, повязывая голову матерчатым платком. Сначала, с непривычки, было студено — особенно мерзли ноги, живот, но весна набирала силу, с каждым днем становилось теплее.

Работы оказалось не так уж много. Через несколько дней Милюнэ уже умело растапливала большую печку, разводила огонь в плите, ставила самовар и на небольшом медном подносе, украшенном драконами и длиннохвостыми птицами, несла утреннюю еду в комнату. Агриппина Зиновьевна любила завтракать в постели, капая на простыни чаем и сладкой патокой — меляссой.

Потом Милюнэ доедала остатки барского завтрака, тщательно вылизывала блюдо с меляссой. Вроде бы вдоволь было еды в доме, но она постоянно ощущала

легкий голод и странную пустоту в желудке — непривычной была тангитанская пища.

Самой тяжелой работой казалась Милюнэ стирка. Сначала на плите в большом, вмазанном прямо в камень чугунном котле грели воду, потом кипяток выливали в длинное деревянное корыто и замачивали в нем белье, натирая его скользким серым камешком, выделявшим обильную пену. Эта-то пена и смывала, как догадалась Милюнэ, грязь. Однако после всего этого надо было еще нести тяжелое мокрое белье к проруби и там полоскать его, освобождая от остатков мыла. Руки стыли в ледяной воде, кости ныли до самого плеча. А в довершение всего белье надо было развесить на длинной веревке, натянутой от угла крыши к столбу. Белье прихватывало морозом, и оно гремело, как железное. Мороз быстро высушивал его, и к утру оно было сухое, чистое, пахнущее далеким тундровым ветром.

Сильно поразила Милюнэ и хозяйская постель. Вот бы полежать на такой! По самому низу прямо на железную пружинящую сеть были настелены оленьи шкуры. Сверху, на шкуры, положен толстый мешок, набитый птичьими перьями, мягкий, как мыльная пена. Мешок этот накрыт белыми простынями. Одеяло на хозяйской постели стеганое, сверху гладкое, как бы покрытое легким невидимым льдом. На одеяло тоже надевалось белое покрывало. Вот в какой неге и близине почивали хозяева Милюнэ.

В первую ночь, точнее ранним утром, хозяев разбудил истошный крик новой служанки. Путаясь в завязках подштанников, Тренев выбежал в кухню. Там, голая, словно выточенная из темноватого старого дерева, насмерть перепуганная, стояла возле своей кровати Милюнэ.

Дрожа от страха, она показала на постель, потом на стену над ней. По стене полз крупный, упитанный ападырский клоп, знаменитый тем, что его ничто не брало — ни страшные морозы, ни серный дым. Другой, раздавленный, лежал на матрасе.

— Какие огромные вши! Я боюсь!

Тренев послунывил палец и осторожно снял со стены ползущего клопа, демонстрируя и свою храбрость, и полную безвредность «этих огромных тангитанских вшей».

— Видишь? Не бойся, не съедят они тебя.

Утешая девушку, он не сводил с нее тяжелого, откровенного взгляда. Горячая кровь поднималась снизу, вспоминались рассказы о тундровых женщинах, таких доступных, ласковых, нагишом разгуливающих в теплом меховом пологе. Воровато оглядевшись, он приблизился к Милюнэ, протянул руки, чтобы обнять ее, но громкий скрипучий голос Агриппины Зиновьевны заставил его метнуться в сторону.

— Ну, что там случилось?

Тренив заторопился в комнату и, укладываясь рядом со своей рыхлой, грузной супругой, сказал коротко:

— Клопов испугалась, дура.

Первые дни Милюнэ довольно часто ходила в ярангу Тымнэро и рассказывала Тынатваль о странных обычаях тангитанов, о вшах-великанах, кусавших по ночам не хуже голодных собак, о любви к чистоте, доходившей до смешного — Агриппина Зиновьевна особой щеточкой полировала десны и зубы.

С едой у Тымнэро по-прежнему было худо. Ваня Куркутский поделился остатками прошлогодней рыбы, и подруга угостила Милюнэ кислыми рыбьими головами.

Когда Милюнэ вернулась в тренивский домик, Агриппина Зиновьевна повела носом, как собака, почувывая оленье стадо, приблизилась и сердито сказала:

— Чем это от тебя пахнет?

— Рыпа, — испугалась Милюнэ.

— Вонюща какая! — хозяйка даже сплюнула с отвращением. — Не смей больше соваться в ярангу! Завтра же в баню пойдешь!

Баня Тренивых стояла на берегу Казачки, и дверь открывалась прямо на прорубь, пробитую с самого ледостава.

Милюнэ с утра натаскала с Казачки воды, наполнила большой, вмазанный в печь котел, две железные бочки, зажгла огонь. Несколько раз в баню приходил сам хозяин, пробовал пальцем воду, брызгал на камни, наложенные грудой с другой стороны плиты, там, где одна над другой возвышались чисто выскобленные деревянные полки.

В бане становилось жарко.

В самом же доме Тренивых готовилось угощение. Хозяйка варила нерпичьи лапы — накануне Тымнэро

удалось подстрелить на кромке льда двух перн; готовила студень, а сам Тренев закопал в снег двух больших чиров, привезенных с реки Велпкой, и поставил в сугроб бутылки с водкой.

После полудня в баню направились Тренев и Грушецкий, прихватив с собой ведро квасу и березовые, с осени заготовленные веники, которые хранились в сених под потолочными перекладками. Снимая их оттуда, Милюнэ невольно вдохнула до боли знакомый запах березового стланика, напомнивший ей о безвозвратном, навсегда ушедшем детстве. Она прижимала лицо к жухлым, ломким листьям и тихо плакала, вспоминая яранги на высоком берегу реки Танюрер, дым очагов — легкий, ароматный, не то что здешний — тяжелый, угольный.

В баню невозможно было войти. Сухой, колючий пар перехватывал дыхание.

Грушецкий и Тренев раздевались в предбаннике. Милюнэ, ожидая приказаний, сидела у полуотворенной двери и с изумлением глядела, как раздевались тангитаны. Сначала они скинули шубы, шапки и валенки. Потом — выждав немного, будто привыкая к жару — сняли и все остальное. Большое, полное тело Грушецкого поразило Милюнэ своей белизной. На этой белизне особенно четко выделялись синие, узловатые вены. Грудь тангитана, тоже белая, будто даже прозрачная, поросла редкой, курчавой бородкой, хотя на лице растительности никакой не было. Мужчины, видимо, чувствовали себя спокойно и вовсе не обращали внимания на Милюнэ. Она не выдержала, отвернувшись в смущении.

— Дикая, а стыд имеет... — усмехнулся Грушецкий.

Вскоре оба тангитана скрылись в густых клубах пара. Послышался свист рассекаемого распаренным веником горячего воздуха, крик и восторженные возгласы. Милюнэ хотелось заглянуть в жаркую комнату и увидеть, что там творится, отчего так радуются эти бесстыжие тангитаны. Она уже было привстала со своего места, но тут ее едва не сшиб Грушецкий, словно стрела, пущенная из лука, выскочивший из горячего облака. Он промчался мимо, Милюнэ в страхе отпрянула: следом за Грушецким выскочил ее хозяин и с громким воплем тоже погрузился в студеные воды еще покрытой льдом Казачки.

Милюнэ в ужасе заметалась по предбаннику. «Что это с ними? Никак, ума лишились в такой-то жар?» Но вот тангитаны снова вихрем промчались мимо нее, и опять слышались хлесткие удары веников по разгоряченному телу, шипение воды, которую Грушецкий то и дело выплескивал на раскаленные камни, вскрики и возгласы удовольствия. Милюнэ от изумления и невольного страха долго не могла прийти в себя. Она, сжавшись в комочек, замерла в углу на лавке и широко раскрытыми глазами смотрела, как мужчины время от времени пробегали мимо нее к проруби, как пулей летели назад в баню, как с жадностью осушали большие металлические ковши с квасом, настоящим на тундровой морошке.

Каждый раз, когда голые Тренев и Грушецкий оказывались в предбаннике, она силилась отвернуться, но, словно в каком-то оцепенении, не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Наконец они вымылись, оделись в чистую матерчатую одежду и, теперь уже не торопясь, со вкусом допивали остатки кваса.

Пришла Агриппина Зиновьевна с большим эмалированным тазом. Она велела мужчинам убираться, села на скамью и с помощью Милюнэ, уже немного пришедшей в себя, принялась снимать одежду.

— Ты тоже будешь мыться,— сказала Агриппина Зиновьевна.

Милюнэ разделась. Хозяйка внимательно оглядела ее, провела ладонью по матово-смуглой коже живота, вздохнула:

— Атлас, шелк. Ну и девка...

Стена горячего воздуха остановила Милюнэ на пороге. Верхушки легких ошпарило горячим паром. В глазах защипало.

Агриппина Зиновьевна взяла ее за руку и потянула за собой, приговаривая:

— Идем, идем, не бойся...

Сгибаясь под парным облаком, Милюнэ прошла в глубь жаркой комнаты и уселась на самую низкую ступеньку, где, как ей показалось, было чуть легче дышать. Понемногу она освоилась и начала таскать на верхнюю полку, где, будто огромная рыбина, выброшенная на сушу, распласталась хозяйка, попеременно то горячую

воду из котла, то холодную из бочки. В движении она, к своему удивлению, чувствовала, что в этом жарком горячем воздухе вовсе не так уж и плохо.

Агриппина Зиновьевна замочила в тазу березовый веник, позвала Милюнэ:

— Иди сюда! Вот гляди — бей меня вот так, так и так!

Мокрый веник гулял по распаренному женскому телу, и Милюнэ невольно вздрагивала.

Она несколько раз легонько хлестнула хозяйку.

— Не так! — закричала Агриппина Зиновьевна. — Бей изо всех сил!

Милюнэ повиновалась, удивляясь тому, что чем сильнее она бьет, тем больше удовольствия получает хозяйка.

— Давай! Давай! — кричала Агриппина Зиновьевна, поворачиваясь к Милюнэ то одним плечом, то другим, то спиной, то животом. Судорожные подергивания тангитанской женщины пугали бедную Милюнэ, но стоило ей ослабить удары, как Агриппина Зиновьевна требовала, чтобы ее били как можно сильнее. И Милюнэ, обливаясь потом, застилавшим глаза, снова принималась хлестать ее изо всей мочи.

Наконец, вздрогнув всем телом, Агриппина Зиновьевна обмякла, расслабилась.

— Довольно, Маша...

Отдышавшись в предбаннике и осушив полведро квасу, хозяйка показала Милюнэ, как мыться, и даже соблаговолила окатить ее холодной водой. В отдельном сверточке она принесла для служанки поношенное, но чистое белье.

Напялив на свое вымытое до скрипа тело матерчатую одежду, Милюнэ почувствовала себя такой легкой, что, казалось, разбежись — и взлетишь, как птица в весеннее, пронизанное солнцем небо.

* * *

В доме Тренева уже шел пир. За столом тесно сидели изрядно захмелевшие гости.

— Хлебни-ка с бани, — Тренев поднес Милюнэ налитую до краев рюмку.

Милюнэ беспомощно огляделась. Она в жизни не

пробовала веселящей воды, хотя вдоволь насмотрелась на пьяных. Она побавалась действия этого напитка, но отказаться от хозяйского угощения не решалась...

— Дурень ты, — Агриппина Зиновьевна отобрала рюмку. — Научишь пить, потом хлопот не оберешься.

— Вы совершенно правы, — заметил Грушецкий, — дикарь быстро привыкает к спиртному. Оно для него как наркотик. Потому душу готов отдать за глоток.

— На ней, на водке, и держится вся чукотская торговля! — воскликнул больше всех опьяневший председатель комитета Мишин.

Милюнэ вышла в кухню. Отсюда ей хорошо был слышен разговор за столом.

— Задумка с Кашириным — это здорово, — громко сказал Мишин. — Я распорядился послать в Петропавловск сообщение, что в Анадырском уезде полное спокойствие и народ целиком на стороне Временного правительства.

— Погоди радоваться, — предостерег Оноприенко. — Каширин не таков. Вернется и по-прежнему будет воду мутить. Одна надежда, что в Петропавловске одумались и установили твердую власть.

— Но какую власть? — усмехнулся Тренев. — Кому она принадлежит?

— По мне любая хороша, только бы порядок был в промышленных и торговых делах, — заявил Грушецкий. — Сейчас надо установить твердые торговые отношения с американскими фирмами. Только в этом наше спасение.

— Братья Караевы воспротивятся, — угрюмо произнес Мишин. — Я с ними знаком. Крепкие мужики, знатоки в торговых делах, но патриоты, не приведи господь. Они там на мысе Дежнева спят и видят, как бы вытеснить с Чукотки всех американцев. Да и торгуют они не по-нашему.

— Как это понимать? — спросил Оноприенко. — Я им выправлял бумаги: вроде все у них законно.

— Законно-то законно, но подло бьют конкурентов. Платят много дикарям, да еще льготный кредит дают, — пояснил Мишин.

— Но дикарь — тоже вроде бы человек, — вмешалась в разговор Агриппина Зиновьевна. — Погляди-ка на мою новую горничную... Маша! Маша!

Милонэ сообразила, что это ее зовут. Трудно привыкать к новому, незнакомому имени.

Она вошла в комнату и остановилась в дверях.

— Ну, что, видели, господа? — торжествовала Агриппина Зиновьевна.

— И где же вы раздобыли такую прелесть? — спросил Онопрненко.

— В королевстве Армагиргина, — ответил Тренев. — Привез ее дальний родич нашего каюра Тымнэро.

— Хороша, хороша, ничего не скажешь, — Машин встал и потрепал девушку липкой ладонью по щеке.

— Ладно, ступай, Маша, — величественно кивнула хозяйка.

Как глядели на нее тангитаны! Как пронизывали острыми, колючими, словно ледяные сосульки, взглядами. Точно так же смотрел на нее и Армагиргин...

Уйти бы сейчас в ярангу Тымнэро, посидеть у вольного пламени, не заключенного в каменный мешок, согреться теплым дымом, послушать знакомый чукотский разговор.

— Машка! Неси строганину!

Милонэ кинулась в сени, достала слегка подтаявшую рыбу. Тепло уже. В тундре появились проталины, и маленькие телята прыгают вслед за оленухами, смешно взбрыкивая ножками. Речки и озера набухли водой и вот-вот тронутся, зажурчат, заискрятся на солнце...

Милонэ усилием воли сглотнула подступивший к горлу тугой комок и, стараясь казаться спокойной, внесла тазик со строганиной гостям. Как тонка тангитанская матерчатая одежда! Сквозь нее все чувствуешь, словно ничего на тебе нет. И эту сильную, жаркую руку, огнем обжигающую тонкую девичью кожу.

Милонэ торопливо поставила блюдо и вышла на кухню. Устало опустившись на жесткую лежанку, вытерла вспотевший от волнения лоб и снова услышала:

— Машка! Самовар!

Это было чудовищное сооружение — огромное, тяжелое. Самовар стоял на краю плиты, горячий, с синими угольями в дырчатом поддоне. Милонэ ухватила его обеими руками и потащила в комнату.

Гости понемногу расходились. Оставались лишь игроки в карты. Они смачно курили, пили чай и лишь изредка произносили непонятные слова.

Играл музыкальный ящик, возбуждающий у Милюнэ любопытство и страх. Когда крутили ручку — внутри что-то поскрипывало и стонало, будто страдал человек. Из трубы доносился хриплый женский голос.

Милюнэ поела остатков из разных тарелок, помыла посуду и, не раздеваясь, прилегла на лежанку.

То засыпала, то вдруг вновь открывала глаза, прислушиваясь: женщина из ящика больше не пела. Уже под утро поняла, что гости разошлись, разделась и залезла под лоскутное одеяло.

Что же будет с ней дальше?.. Одно хорошо... еды тут много... Она даже припасла мятую жестянку, куда складывала пищевые остатки для Тымнэро. Вспоминались голодные годы на берегу большой реки, детство, рано умершие родители, радуга над рекой, плещущаяся рыба в неводе, тальниковые заросли по берегам родного Танюрера и материнские песни... И еще думалось о будущем, о завтрашнем дне, когда начнется все сначала — тяжелые ведра с водой, стирка, черный пачкающий уголь, зола, при легком дуновении запорашивающая рот и ноздри... А что же дальше? Что будет дальше?

Слезы накатывались изнутри и тихо капали на лоскутное одеяло, о котором еще несколько дней назад Милюнэ не могла и мечтать... Но что будет дальше?

Тишина стояла над Анадырским лиманом, над ушедшим Ново-Марининском. Тяжело дышали супруги Треневы, стонали во сне, видно переживая заново банное удовольствие.

Вдруг Милюнэ почудилось, что кто-то вошел в кухню. Это был хозяин. Он ощупью пробрался к котлу с талой водой, зачерпнул ковшом и долго пил, икая и кряхтя. Он был в исподнем и придерживал рукой спадавшие белые штаны с завязками у щиколоток. Напившись, он сунул ковш в котел. Легко звякнула жесть.

Милюнэ, сердцем чужая опасность, смотрела на хозяина сквозь полузакрытые глаза.

Тренев воровато оглянувшись на дверь, шагнул к лежанке. Милюнэ вся напряглась, затанов дыхание. Тренев навалился сразу, мешком упав на девушку. Он шарил руками по ее телу, старался откинуть одеяло. Милюнэ, крепко стиснув зубы, боясь разбудить криком Агриппину Зиновьевну, отпихивала его.

— Ты что? Ах ты... Так-так-так... — пыхтел Тренев. — Дикарка... Ах ты...

Со стола полетела пустая бутылка, за ней — жестяная кружка.

Тренев подбирался все ближе. Спасительное одеяло, отделявшее Милюнэ от хозяина, сползло на пол. Самое противное было то, что Тренев пытался лизнуть в губы, обдавая запахом перегара, полупереваренной пищи, табака. Тошнота подступала к горлу Милюнэ, наполняя рот горечью.

— Ах ты, рыба душа! А ну, слезай с девки!

Тренев так и застыл на месте, словно прихваченный морозом.

— Слезай, тебе говорят! — властно повторила Агриппина Зиновьевна.

Тренев покорно сполз и, ни слова ни говоря, пошатываясь, поплелся к себе в комнату.

Глава четвертая

В отношении снабжения товарами и продовольствием Чукотка в 1917 году опять была отдана на откуп американским капиталистам. Камчатский областной комиссар телеграфировал краевому комиссару Русанову, что в качестве снабженца Чукотки может быть рекомендован Олаф Свенсон. В 1917 году Свенсон завез на Чукотку товаров и продовольствия на сумму 5784 доллара.

ЦГАДВ, ф. Р-2460, оп. 2, д. 53, л. 93

Тымнэро встретил Милюнэ у свенсоновских складов:

— На лед за водой больше не ходи. Опасно. Может, завтра, а может, сегодня тронется. Видишь, снегу почти не осталось, лиман прогнал до самой матерой воды, до анадырского течения.

Нартовая дорога до Угольных копей перестала действовать — узкая колея, обозначенная черной пылью и выпавшими из прохудившихся мешков кусками угля, исчезла под водой.

Весенние птицы пересекали испещренный талой водой лед Анадырского лимана и уходили в сторону залива Креста, на вольные пастбища, скалистые морские берега, чтобы вывести там новое птичье потомство.

Ранним утром Миллонэ разбудил глухой взрыв. Наскоро одевшись, она выскочила из дома.

Будто сдвинулась сама земля, весь низменный правый берег Анадырского лимана.

К лиману с криком бежали люди:

— Пошел лед! Лед тронулся!

Большие торосы, грядой возвышавшиеся у самого берега, стронулись с места; они громоздились друг на друга, ровняли галечный берег, тянули за собой всякий мусор: заржавевшие консервные банки, пустые бутылки, обрывки тряпок, куски облезлой шерсти, олений волос, собачье дерьмо — все, что долгую зиму лежало под снегом.

Жители Ново-Мариинского поста стояли на возвышении и смотрели на могучий ледоход. Грохот заглушал ликующие возгласы, громкий возбужденный разговор.

Наконец-то дождались! Освобождение Анадырского лимана ото льда означало, что по-настоящему кончилась полярная зима, пришло короткое, но долгожданное лето с пароходами, с новыми людьми, новостями, газетами годичной давности, различными товарами... Через месяц начнется страдная пора на Анадыре-реке — путина, великая рыбная ловля.

Комитет общественного спасения распределил рыбалки между промышленниками и частными владельцами сетей.

Сооне и Грушецкий остались при прежних рыбалках, хотя требовали отведения новых участков. Тренев осторожно намекнул другу, что нынче не время спорить и требовать. Лучше притаиться и довольствоваться тем, что дают. Из Петропавловска запросили: могут ли анадырцы предоставить рыбные концессии американцам. После бурного совещания было отвечено категорическим отказом: самим не хватает, чего тут еще делиться с американцами.

Миллонэ тайком от хозяйки бегала к Тымнэро.

В яранге к весне стало совсем худо. Ребятишки держались лишь теми объедками, что приносила Миллонэ. В редкие дни, когда Тымнэро удавалось добыть нерпу, в яранге жарко пылал костер, и большой котел, повешенный над огнем, хлопотал, испуская дразнящий запах вареной нерпятины. Миллонэ вместе с обитателями

яранги уписывала за обе щеки полусваренное кровото-
чащее мясо и рассказывала:

— Самая главная еда у них называется котлет... Берут мясо, срезают кости, а потом кусками суют в железную машинку навроде челюстей. Глотает машинка это мясо, жует, а с другой стороны выпускает...

— Что ты говоришь, Милюнэ? — Тынатваль сморщилась в брезгливой гримасе выпачканное кровью лицо.

— Правда! — уверила Милюнэ. — С другой стороны машинки выходит измельченное мясо. Разве только не переваренное и без дурного запаха. Затем из такого мяса с помощью моченого хлеба делают эти самые котлеты и жарят на толстой железной тарелке. Уж как ни голодная бываю, однако такое могу есть только сильно зажмурившись.

— И как нутро у них не выворачивает от такой еды! — осуждающе заметила Тынатваль.

— А то есть у них другая чуждая еда — длинная, как веревка, а изнутри пустая — макарон называется, — продолжала Милюнэ. — Вот это вкусно! Была бы моя воля, только эти макароны и ела!

Как ни не хотелось уходить из яранги, но надо было — Агриппина Зиновьевна не любила, когда Милюнэ отлучалась надолго.

После того дня, точнее утра, когда жена застала Тренева в постели Милюнэ, он делал вид, что не замечает девушку. Не до амурных дел было ему. Ожидали пароход из Владивостока или, на худой конец, из Петропавловска. Комитет как-то само собой прекратил свою деятельность: коммерсанты пропадали в лавках, пакуя пушной товар к отправке на материк, рыбопромышленники готовились к путины, частные рыбаки чинили сети, а Тымнэро обтягивал новой кожей свою крохотную байдару.

Обычно после ухода поздних гостей Милюнэ мыла посуду и слушала жаркие споры хозяев. Агриппина Зиновьевна в чем-то упрекала мужа, лезла с советами. Он будто бы защищался, оправдывался.

— Кончится дело тем, что ты останешься на бобах! Сейчас самое время лезть вперед, к власти! Все боятся, никто не знает, что будет дальше. А мое сердце чует — старое уже не вернется! Те, кто похрабрее да порасторопнее, — и вылезут.

— Что-то таких у нас на Анадыре не видать,— заметил Тренев.

— Вот и хорошо! Этим и надо пользоваться!.. Представь себе, Вань... Проходит смута, настает спокойствие и твердость власти, а ты — губернатор Чукотки. Хозяин от Анадыря до мыса Дежнева. Мы строим дворец. Приемная зала в коврах, электрическое освещение. Шампанское в высоких хрустальных бокалах. Ты — во фраке произносишь речь о свободе и демократии. Вокруг — шепот на русском и английском языках: это Тренев, сильный человек, светлая голова, умница... Вся пушная торговля в наших руках, Каширин копает для нас золото, дикари платят ясак... Зимой будем уезжать в Калифорнию или во Флориду... Эх, какую жизнь упускаешь, Вань!.. Может быть, это наш последний шанс.

— Погоди, Зиновьевна, погоди... Я выжидаю... Уж можешь мне поверить: своего не упущу. Надо только верный ход сделать. Вчера нового председателя выбрали... Желтухина знаешь? Мишин уезжать собрался...

* * *

Первый корабль вошел в Анадырский лиман светлой ночью. Обогнув остров Алюмку, моторно-парусное судно «Поляр Бэр» торгово-промышленной компании Гудзонова залива медленно, словно на ощупь, пробиралось к мысу Обсервации. Дно Анадырского лимана коварно, фарватер часто меняется, появляются не обозначенные на картах мели.

Судно стало на якорь против устья Казачки, приблизившись сколько возможно к берегу.

Разбуженный новым председателем комитета, коммерсантом Желтухиным, Тренев неторопливо одевался, обдумывая, как ему держаться с американцами.

Можно будет обойтись строго — внушить капитану, что заход в территориальные воды России без особого разрешения властей грозит штрафом... А можно вообще об этом не заговаривать, тем более что американцы никогда не спрашивали разрешения на заход в чукотские воды, считая это излишним... В Ново-Марининске английский знали двое — Тренев и бывший американский матрос Волтер.

Тренев тщательно побрился, опрыскал себя остатка-

ми одеколону, надел суконный сюртук и критически оглядел себя в зеркало. Кажется, все в порядке...

Глядясь в зеркало, Тренев представил себя во фраке, как мечтала Агриппина Зиновьевна, в цилиндре, в руках черная трость с белым набалдашником из моржовой кости. Именно из моржовой, не из слоновой.

На берегу его уже ждала лодка — утлое суденышко, щедро залитое черным варом. Лодка принадлежала Волтеру, и это означало, что и он поплывет на судно. Кроме Тренева в лодку сели Желтухин, Грушецкий и Бессекерский.

Шел прилив, и надо было грести изо всех сил, чтобы не промахнуться мимо корабля. Американская шхуна была хорошо знакома Треневу, только капитан на ней теперь новый. Вместе с капитаном представителей местной власти встречал у борта давний знакомый анадырцев Олаф Свенсон. Свенсон был одет как простой матрос. Он широко улыбался, махал рукой, и по его виду трудно было понять его истинное положение на корабле. Но именно к нему, Олафу Свенсону, сходились все торговые связи от северной Камчатки до устья реки Колымы. И так называемые коммерсанты, вроде Тренева, без Свенсона не обходились.

Олаф умел располагать к себе людей. Он не гнушался чашкой чая, поданной грязными руками эскимосской хозяйки, входил в яранги, не зажимая носа, знал эскимосский и чукотский языки в пределах, достаточных для торговых сделок. Он помнил все пожелания и заказы местных охотников и исполнял их с исключительной добросовестностью. У местных жителей частенько случалось так, что купленный товар почему-то на второй или третий день переставал нравиться. Свенсон менял его немедленно да еще приговаривал при этом, что если и эта покупка не подойдет, он готов еще раз обменять ее.

На все другие торговые и транспортные корабли местные жители обычно не допускались из «гигиенических соображений», но на корабль Олафа Свенсона, где в кают-компанию всегда был накрыт стол для чаепития, их приглашали с радушной улыбкой. И еще одно обстоятельство — Олаф Свенсон никогда лично не торговал спиртным и, во всяком случае на словах, был ярым противником спаивания местного населения. Тренев хо-

рошо помнил его поучения прошлых лет: «Вы рубите сук, на котором сидите. Охотник, ослабленный действием алкоголя,— плохой охотник. Если вы хотите иметь устойчивый источник пушного товару— продавайте ружья, капканы, приучайте охотника и членов его семьи пользоваться вещами цивилизованного обихода. Больше внимания женщинам! Привлекайте их яркими тканями, лакомствами, украшениями...»

Сам Свенсон поддерживал личные связи лишь с несколькими жителями прибрежных селений, остальные туземцы довольствовались легендами о добром, отзывчивом американце.

Обычно Олаф Свенсон не заходил в Анадырский лиман, предпочитая плавать в районе Берингова пролива, где были сосредоточены его фактории. Но в эту навигацию он сделал первый заход в уездный центр, чтобы разузнать о политическом положении края.

Гости прошли в каюту капитана. Свенсон еще раз радушно приветствовал их:

— Здравствуйте, господа! Вы превосходно выглядите! Тяготы полярной ночи идут вам на пользу. Расслаивайтесь, чувствуйте себя как дома...

Вошел стюард с огромным медным подносом, уставленным разнокалиберными бутылками и стаканами. Здесь были виски, джин, имбирное пиво и даже безалкогольное пиво для трезвенников. Таковых среди анадырцев не было, и большинство предпочло янтарное неразбавленное пшеничное виски.

Желтухин очистил калифорнийский апельсин и вонзил свои большие зубы в сочную мякоть. Сок потек между пальцами, закапал на засаленный рукав сюртука.

Пока гости насыщались фруктами, пили и закусывали, Олаф Свенсон говорил сам:

— Во-первых, позвольте вас, господа, поздравить с победой революции. С установлением новой демократической власти. Честно говоря, я ожидал, что это когда-нибудь случится. Россия нуждается в новом энергичном правительстве, не связанном с прошлым. Мы внимательно следим за развитием событий в вашей стране, желаем победы в войне и скорейшего возвращения к мирной жизни... Однако, судя по сообщениям наших газет, в России не достигнуто окончательной стабилизации. Идет противоборство различных партий, и какие-то больше-

вики во главе с Лениным пытаются захватить власть. Они подстрекают самые низменные, темные слои общества — заводских рабочих, неграмотных крестьян на захват власти, на уничтожение всякой собственности и передаче всех богатств так называемому народу...

Анадырцы, оставив угощение, слушали американца. Переводил Аренс Волтер.

— Но просвещенный мир и цивилизованное человечество внимательно следят за Россией, — продолжал Свенсон. — И я уверен, что пайдутся разумные силы, которые не дадут ввергнуть в окончательный хаос вашу страну... У меня есть полномочия от нашего правительства выслушать ваши пожелания и помочь, если пужно.

Свенсон умолк и снова дружелюбно улыбнулся.

Почесав в голове, Бессекерский спросил:

— Кто же они такие, эти большаки? И откуда они объявились?

— По-видимому, это течение в русской революции существовало и раньше, — ответил Свенсон. — Такие крайние намерения не являются чем-то новым и неожиданным. Еще в сочинениях древних авторов вы можете прочитать об идеальном обществе, где нет собственности... Однако, согласитесь, господа, все это очень утопично и противоречит человеческой природе.

Свенсон произносил слова со вкусом, наслаждаясь превосходством над этими жалкими русскими, явно растерянными, затаившимися в собственном страхе.

— Мое правительство обеспокоено положением огромного края, который практически остался без продовольственного снабжения, — продолжал Свенсон. — Оно изъявило готовность прийти на помощь. Однако, в связи с ухудшением общей конъюнктуры, транспортными затруднениями, неустойчивостью политического положения России, валютными ограничениями, торговля в этом году будет происходить на несколько иных условиях.

— И каковы эти условия? — спросил Грушецкий.

— О, для вас они, можно сказать, даже облегчены, — улыбнулся в ответ Свенсон. — Вам не надо думать о том, как переправить пушнину во Владивосток и Петропавловск — всю ее возьмут мои корабли через торговые пункты: в Ново-Мариинске — торговый дом Бессекерского, в бухте Провидения — факторию Том-

сона, на мысе Дежнева — факторию Карпендера. Через эти же три пункта все, кто согласится сотрудничать с нами, получают необходимые товары, кредиты... надеюсь, понятно, господа?

Свенсон обвел взглядом присутствующих. Да, господам было понятно. Однако другого выхода не было. Это означало, что если в прошлые годы у анадырских коммерсантов был хоть какой-то выбор цен и товаров, то сегодня и его нет. Все так называемые независимые торговцы Анадырского края переходили в услужение к Олафу Свенсону, а через него к могущественной компании Гудзонова залива.

— Вы, стало быть, и рыбу будете покупать? — осторожно спросил Грушецкий.

— Не всю рыбу, не всю, — поспешил с улыбкой ответить Свенсон. — Мы возьмем икру — тару привезет пароход из Сиэттла, малосольные лососевые пупки, а остальную рыбу советуем оставить себе — на корм собакам, для собственного потребления.

— Но это же как? — растерянно пробормотал Грушецкий. — Владивосток забирал у меня пластанную соленую рыбу, балыки... Куда же это теперь?

— Если можете переправить улов во Владивосток — ваша удача, — с прежней улыбкой ответил Свенсон. — Я могу посоветоваться с оптовыми покупателями на Аляске — может, кто-нибудь и возьмет соленую рыбу и балыки... Но не думаю, что они предложат ту цену, на которую вы рассчитываете.

Тренев заерзал на привинченном к палубе стуле, заговорил:

— Господа, — он пытливым взглядом обвел собравшихся, — мы тут все свои и можем высказываться откровенно. Я не понимаю вашей перешителности. Еще в прошлом году мы мечтали о тех днях, которые наконец-то настали для нас, — неограниченная торговля на Чукотке, никаких формальностей, пошлинных и таможенных ограничений. С одной стороны — Америка с ее огромными товарными запасами, нужными для Чукотки, с другой — Чукотка, готовая продавать пушнину, открыть тундровые долины для разведки золота и других полезных ископаемых... Все это еще вчера из ложного понятия чувства патриотизма было невозможно. Сегодня — мы присутствуем при зарождении свободного

рынка на Дальнем Севере, рынка, который сулит огромные прибыли и процветание этому краю...

Свенсон внимательно слушал и в знак согласия кивал головой.

— Думаю, все мы будем дружно сотрудничать в деле освоения Чукотского полуострова,— заключил Тренев.

Гости получили от Олафа Свенсона в подарок по бутылке калифорнийского сухого вина, фрукты, табак.

Аренс Волтер взялся за весла и погнал лодку по отливу к берегу, высадив пассажиров напротив чукотских ярапг, возле которых стояли чукчи, с надеждой поглядывающие на корабль тангитанов. Во всех других чукотских приморских селениях местные жители в большинстве своем сами торговали с американцами. Но в Ново-Мариинске дела обстояли иначе...

Тиммэро с грустью смотрел на уходящий корабль и с тоской думал о том, когда еще ему придется покурить настоящего американского табаку.

* * *

Олаф Свенсон любил эти синие, изогнутые берега, знакомые с молодых лет, когда он еще юнгой плавал на китобойце, провонявшем ворванью от трюмов до матросского кубрика.

Они били кита в Мечигменской губе, загоняя стадо морских великанов в узкий проход. Вода становилась красной от крови, и тяжкий дух медленно поднимался в стылое небо.

На берегу негры вытапливали из сала жир и по ночам уходили в чукотские ярапги в поисках женщин.

И сейчас еще в некоторых прибрежных чукотских селениях можно увидеть темнокожих и курчавых мужчин и женщин, напоминавших Олафу Свенсону его китобойную молодость.

Остался позади Анадырский лиман, и вода заметно изменила цвет — пресная мутная вода великой чукотской реки, вбравшей в себя влагу огромных пространств болотистой полярной тундры, редких лесов и горных склонов, сюда не доходила. Сколько же богатств таится в недрах этих почти безлюдных просторов? Проспекторы, которые чаще всего работали на свой страх и риск, таились друг от друга, иногда в

каюте Свенсона после обильного угощения вдруг развязывали языки и рассказывали такое, что дух захватывало. Именно это и было теперь главным, что интересовало Олафа Свенсона и его покровителей в Гудзон Бей компании.

История пока еще не описала подробно намерения американских деловых людей проникнуть на земли Чукотки.

Первой попыткой такого рода был проект калифорнийского эсквайра, бывшего русского торгового уполномоченного на Амуре Перри Коллинса. Предполагалось проложить телеграфную линию из США через Британскую Колумбию, Аляску, Чукотку и Восточную Сибирь. Эта линия должна была соединиться с уже действовавшей линией телеграфной связи «Москва — Николаевск-на-Амуре» и замкнуть вокруг земного шара Всемирную телеграфную линию. Один из деятелей этого проекта — инженер и журналист Джордж Кеннан — широко печатал в американских газетах и журналах увлекательные очерки о дикой красоте Дальнего Заполярья, Чукотки и Камчатки. Была образована «Российско-Американская телеграфная компания». Главный штаб азиатского отряда изыскателей и строителей располагался в Гижиге. В некоторых пунктах были поставлены металлические мачты, заготовлены столбы, прорублены просеки.

Но проекту Перри Коллинса не суждено было сбыться, так как тем временем, пока шли подготовительные работы, успешно завершилась прокладка телефонного кабеля по дну Атлантического океана. Европа соединилась с Америкой надежной линией связи. Надобность в азиатской линии отпала, и работы пришлось прекратить.

В начале двадцатого века был выдвинут другой проект — не менее грандиозный и впечатляющий — постройка железной дороги из Азии в Америку с туннелем под Беринговым проливом.

Французский инженер Лойк де Лобль по заданию американского железнодорожного магната Генри Гарримана изучал Аляску и дно Берингова пролива. В газетах время от времени появлялись описания проекта железнодорожной линии — «Париж — Нью-Йорк». Предполагалось создать синдикат «Транс-Аляска-Сибирь»,

Железную дорогу намеревались построить в направлении Красноярск — Якутск — Верхнеколымск — мыс Дежнева общей протяженностью пять тысяч верст. В виде компенсации за понесенные затраты Россия должна была передать синдикату на 90 лет помимо полосы отчуждения под рельсовые пути, железнодорожные постройки и устройство телеграфа еще по 8 миль с каждой стороны дороги. На эти земли концессионеры предполагали получить все права государственного владения, их общая площадь должна была составить сто двадцать тысяч квадратных верст.

Свенсон хорошо помнил слова, сказанные тогда на заседании американского конгресса сенатором Беве-риджем и напечатанные в газетах: «Мы создадим опорные американские пункты по всему миру. Вокруг этих пунктов вырастут великие американские колонии, в которых будет развеяться наш флаг».

Но этот план нарушила первая русская революция 1905 года.

Последний проект — Компания по изысканию и разработке полезных ископаемых, созданная под негласным покровительством самого императора Николая Второго и императрицы Александры Федоровны, — был погублен алчностью царских чиновников и прежде всего самого Вонлярлярского, руководившего экспедицией.

Все данные геологических изысканий, карты, планы проектов остались в руках американцев.

Теперь история сама предоставляла Америке реальную возможность овладения Чукоткой и Камчаткой.

Капитан вышел на палубу, спросил:

— Будем заходить в Уэлькаль?

Свенсон молча кивнул, потом сказал:

— Сэр, идите ближе к берегу. Вам тут гут исчезо опасаться, я хорошо знаю эти места.

Склоны гор уже покрылись зеленью, испещренной яркими полярными цветами. Из-под снежинок и ледников в море падали прозрачные струи водопадов. Стаи птиц низко тянулись над морем, устремляясь на скалистые гнездовья. То и дело по курсу выныривали нерпы и, высоко высовываясь из воды, с любопытством рассматривали идущий в светлой ночи корабль. На горизонте киты пускали фонтаны и редкие льдины смешивались очертаниями с низкими облаками.

Каждый раз, выходя после зимы в первое плавание по знакомым морям — Чукотскому и Берингову, — Свенсон поражался обилию жизни в этих, казалось бы, холодных водах. И это обилие жизни в глубинах студёных бодрило, рождало смутные надежды.

Человек из Вашингтона, встретившийся с Олафом Свенсоном в Номе, был немногословен: поддержать любое движение, любую политическую группировку или даже личную диктатуру, выступающую за отделение Камчатки и Чукотки от бывшей Российской империи. Это первое. Второе — ни в коем случае не демонстрировать свою заинтересованность, тем более заинтересованность государственного департамента. «Всё остальное произойдет естественным путем», — туманно изрек человек из Вашингтона, провожая Олафа Свенсона в плавание.

Откровенно говоря, Свенсон не нуждался в подсказках: за многие годы он изучил все, что касалось политических проблем этого края. Начало было положено покупкой Аляски. Но это только начало.

Полуночное солнце, искупавшись в ледяных водах Берингова пролива, медленно поднималось в небо, стягивая с кончиков своих лучей пронизанные блеском капли.

Стюард подал толстую глиняную кружку с крепким кофе.

— Принесите бинокль, — попросил Свенсон.

Безмолвные берега, ярко освещенные встающим солнцем, подступили вплотную к кораблю. Они волновали Олафа старыми воспоминаниями.

Поднеся к глазам окуляры, время от времени прихлебывая быстро остывающий кофе, Свенсон принялся рассматривать берег, прибойную черту, на которой вперемежку с тающими льдинами белели кости морских зверей — моржей, лахтаков, а кое-где к гальке подступала зеленая тундра, из земли торчали челюстные кости китов: чулки и эскимосы ставили их в честь своих предков, связанных родством с обитателями морских пучин.

Впереди по курсу виднелась коса, отделяющая от моря мелководную лагуну. Прибой белой полосой ласкал чистую гальку. Когда-то здесь было большое эскимосское поселение. Свенсон еще помнил последние яранги, исчезнувшие лет десять назад. Люди вымерли от не-

известной в этих краях болезни — трудно поверить — от детской кори. Обыкновенная детская корь оказалась смертельной для этих, казалось, способных противостоять любому натиску природы людей.

Свенсон поставил на палубу недопитую кружку с кофе и обеими руками взялся за бинокль. Да, сомнения больше не было — на другом берегу лагуны паслось оленье стадо.

Свенсон заспешил на капитанский мостик.

* * *

Приближаясь на шлюпке к берегу, Свенсон вспомнил о давнем разговоре с братьями Ломен, когда-то поручившими ему закупить на Чукотке оленей с тем, чтобы развести их и на Аляске.

После того как белые охотники свели на нет огромные стада карибу, аляскинская тундра опустела. Правда, там никогда не было домашнего оленеводства, но знающие люди говорили, что чукотский олень не только приживется на Аляске, но будет чувствовать себя намного лучше, ибо пастбища здесь тучнее и гнуса поменьше.

Однако купить живых оленей оказалось не так-то просто. Повинуясь каким-то смутным суевериям, чукотские оленеводы наотрез отказывались продавать живых оленей, зато предлагали сколько угодно мяса и шкур. Самые щедрые посулы ни к чему не привели. Переговоры о покупке оленей зашли в тупик, и надо было искать другой выход.

Шлюпка мягко ткнулась носом о гальку. Свенсон первым спрыгнул на берег, стараясь не замочить ног, и оказался лицом к лицу со своим старым знакомым Кашириным.

— Хэлоу, мистер Каширин, — стараясь скрыть удивление, поздоровался Свенсон.

— Хэлоу, мистер Свенсон, — Каширин пытливо поглядел на американца. — Плаваете? И куда, позвольте вас спросить?

— Из Ново-Мариинска на мыс Дежнева, — учтиво ответил Свенсон. — Мы предварительно встретились с местными властями и поставили их в известность о предстоящем маршруте. А вы-то что тут делаете? — по-

интересовался в свою очередь Свенсон.— Оленеводом стали? Или продолжаете мыть золото?

— Не угадали, мистер Свенсон. Я — уполномоченный Анадырского уездного комитета. Вместе с двумя избранными делегатами еду в Ново-Марининск, а оттуда на съезд в Петропавловск.

— Весьма сожалею, — сказал Свенсон, — но мне совсем в другую сторону.

— Да мы на вас и не рассчитываем, — ответил Каширин. — Нам главное добраться до Уэлькаля. Оттуда на вельботе доплывем до устья Анадыря.

— Вот в Уэлькаль мы вас доставим, — обещал Свенсон. — Но прежде нам бы хотелось запастись свежим оленьим мясом. Мистер Каширин, согласитесь, что на свете нет ничего лучше оленьих языков?

— Это точно, — ответил Каширин.

Три дня назад вместе с оленьим стадом Армагиргина, спасавшимся от тундровых комаров и овода, Каширин пришел на берег этой лагуны. Позади был долгий и трудный путь по горам и тундрам южной Чукотки. Два представителя местного населения — чукча Тынанто и ламут Дулган, — избранные на сельских сходах, заскучали и просились обратно.

Узнав, чьи это олени, Свенсон уважительно заметил:

— Как же! Я много слышал о чукотском короле Армагиргине. Буду рад с ним познакомиться.

Яранги оленеводов располагались на небольшом возвышении, на берегу речки, впадающей в лагуну. В прозрачное голубеющее небо поднимались струйки дыма, на мягком мху, на свежей траве играли ребятишки, одетые в летние кухлянки, украшенные орнаментом и длинным белым волосом с шеи матерого оленя. Женщины кормили младенцев, выставив тугие, смуглые груди.

На низком тундровом берегу впереди толпы, собравшейся встречать пароход, стоял старик. Колени его, обтянутые нарядным пестрым камусом, заметно дрожали. На худое, дряблое тело был надет старый засаленный то ли мундир, то ли кафтан, тщательно заштопанный оленьими нитками, залатанный замшей. На ветхом поясе под животом висел морской кортик. На плечах старика виднелись диковинные погоны, из-под левого свешивались сильно потемневшие, похожие на медвежьи жилы, аксельбанты.

— Амын стти! — дрожащим голосом поздоровался старик, протягивая Свенсону руку.

— Ии, — подобающим образом ответил американец. — Тыс-тык.

— Какомэй! — удивленно воскликнул чукча. — Да ты по-нашему говоришь? Я думал, только один такой тангитан есть — Кассира, — кивнул Армагиргин в сторону Каширина.

— Кит-кит¹, — скромно сказал Свенсон. — Мой чукотский разговор скуден, как обмелевшая речка.

— Друзья общаются не только словами, но и сердцами, — заметил Армагиргин, жестом приглашая гостей следовать за ним.

В обширном чоттагине хозяйской яранги пылали два костра. Над огнем висели котлы — в одном варилось нерпичье мясо, в другом — оленина. Молодой парень разбивал каменным молотком оленьи ноги, раскалывал кость, вынимая оттуда розовый костный мозг, обсасывал его и складывал в деревянную миску для гостевого угощения.

У пологов уже были разложены белые оленьи шкуры, на которые и уселся гости.

Свенсон положил перед Армагиргином подарки и торжественно произнес:

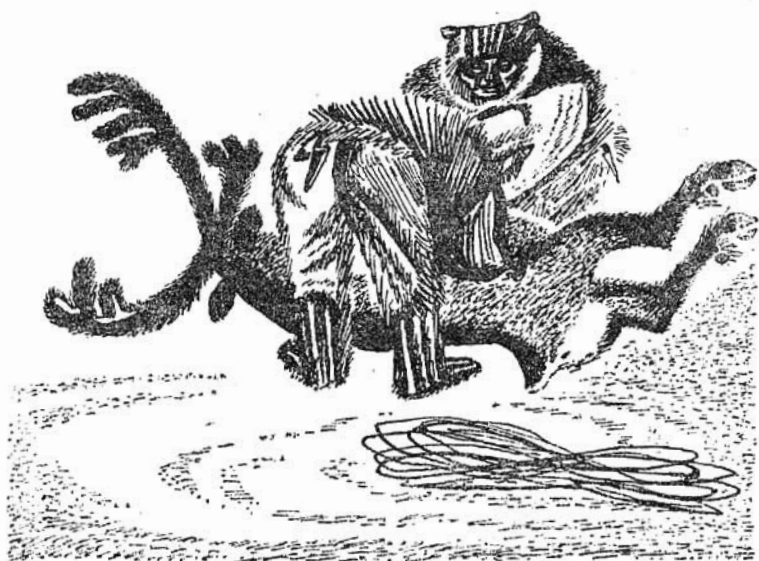
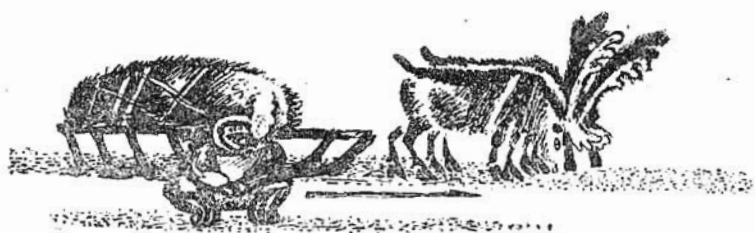
— Мы не предполагали встретить вас на морском берегу и поэтому не подготовились. Позвольте преподнести вам эти скромные подарки как знак уважения к вам и к вашему высокому званию — эрыма.

Эрым и эрмэчин на чукотском языке значили многое. Прежде всего — сильный, сильнейший. Эрмэчину не надо было одерживать верх на весенних состязаниях великого праздника Килвэй, он знал совсем другую силу. Он имел — власть! Власть над богатствами тундры, над людьми, кормящимися вокруг его тучного оленьего стада.

Армагиргин, сохраняя свое достоинство, небрежным кивком велел унести подарки, и на опустевшее место тотчас было положено несколько связок горностаев и пыжиков.

— Мои скромные отдарки не стоят твоего уважения, — сказал Армагиргин.

¹ Кит-кит — немпожко (чук.).



Свенсон велел сопровождающему его матросу взять шкурки.

Потом подали в двух длинных деревянных корытах оленье мясо, перпичьи ребрышки и розовый костный мозг, заботливо обсосанный парнем.

Свенсон вытащил из-за голенища складной нож и принялся за еду. Он ел как заправский чукча, отрезая мясо перед самым кончиком носа, громко чавкал, выражая этим явное удовольствие, и ни о чем не говорил, соблюдая обычай.

Каширин посматривал на него сквозь пахучий пар и едва заметно улыбался.

Американец ловил на себе пытливые взгляды Каширина, злился: «Чему радуется этот горе-золотонискатель? Правда, он говорил, что является уполномоченным Анадырского комитета и даже едет на какой-то съезд...» Армагиргин с наслаждением ел кровоточащее перпичье мясо — мясо морских зверей было сытнее оленьего. Чтобы почувствовать желудочную истому, иной раз надо чуть ли не четверть оленя съесть. А перпятину требуется куда меньше, она дает ощущение сытости и внутренней силы.

Армагиргин был доволен. Давно не знала его яранга столь высоких гостей. С приездом Свенсона настроение его заметно улучшилось. Это настоящий тангитан! Богатый, щедрый, знающий цену пушному товару... Кассира принес в стойбище худые вести о новой власти. Интересно, что скажет этот... Кассира говорит о том, что все бедные люди должны объединиться и отнять у богатых их добро... Ну да, оборванцы всегда мечтали поживиться за счет хозяина. Но мечта эта никому не мешала, потому что каждый здравомыслящий человек понимал: глупости это несусветные. Богатый рожден богатым, бедный — бедным... Какне из них хозяева... А может, Кассира с ума спятил?.. Собрал какой-то сход в Марково, оторвал от семей, от родного селения двух несчастных людей — Тынанто и Дулгана — везет их куда-то...

Армагиргин нетерпеливо взглянул на Свенсона. «Может, этот что знает?» Американец был увлечен едой. Негоже отрывать его. За чаем надо будет расспросить.

Но вот трапеза закончилась. Свенсон белоснежным носовым платком вытер засаленные губы, убрал в кар-

ман нож и принялся за чай. Хозяин набил трубку мягким, как гагачий пух, виргинским табаком, с удовольствием затянулся. Настало время беседы.

— Что слышно о моем брате? — вкрадчиво спросил Армагиргин.

— К сожалению, я не имею чести быть с ним знакомым, — растерялся Свенсон.

— Вы, видно, не знаете, что брат мой — император Николай, — несколько сухомерно пояснил Армагиргин и добавил: — У меня есть бумага.

— Прощу прощения, — засмутился Свенсон. — Я просто запамятовал. По сообщениям американских газет, ваш брат вместе с семьей живет в Тобольске, во глубине России... Но сейчас у власти Временное правительство...

— Об этом мне Кассира говорил, — заметил Армагиргин. — Не думает ли мой брат возвратиться на свое золоченое сиденье?

Свенсон заерзал на белой оленьей шкуре

— Видите ли, тут такое дело... Мои познания в чукотском языке слишком скудны, чтобы обсуждать этот вопрос.

Свенсон искоса глянул на Каширина.

— Я думаю, мой брат найдет в себе силы вернуться, — убежденно сказал Армагиргин. — Когда люди увидят, что без него худо, они сами призовут обратно Солнечного Владыку. Начинается какая-то смута. Добро бы тангитаны меж собой ссорились да власть делили, а то ведь и моим соплеменникам разум мутят, вселяют в них несбыточные надежды, сулят им невозможное.

Говоря это, Армагиргин в упор смотрел на Каширина, но тот не отводил взгляда, не прятал глаза.

Свенсон попытался перевести разговор в другое русло. Ему не следует вмешиваться во внутренние дела России, обсуждать политические вопросы.

— Тундры на том берегу пролива обширны и пустынные, — начал он, — пастбища тучны и просторны. Но оленей там нет, не водится друг тундрового человека на том берегу...

— Слышал я об этом, — кивнул Армагиргин. — Тамошние люди давно хотят переселить нашего оленя на свою землю...

— Так в чем же дело?— спросил Свенсон.— Я знаю, найдутся люди, которые хорошо заплатят за живых оленей...

Армагиргин задумался. Он помнил, как несколько лет назад один из богатых владельцев оленьего стада вознамерился было пойти на такую сделку, продать часть своих оленей. И тут же пришлось возмездие. Погибли не только его стада, но и весь род, целых три стойбища. На том месте и по сей день гниют жерди опустевших яранг, белеют многочисленные оленьи рога — ибо тот, кто создал оленей, не желает, чтобы они переселялись на другую землю.

— Есть вещи, которые во имя жизни своих соплеменников совершать не дано никому, — важно проговорил Армагиргин, прервав свои раздумья. Свенсон понял: лучше ему не возобновлять разговор о покупке оленей ни с ним, ни с теми, кто покоит веков паст оленей.

Зато на просьбу продать оленье мясо Армагиргин отозвался охотно. Он даже подарил Свенсону десяток оленьих ног со сладким костным мозгом, мешок нежнейших языков и связку прэрэма — оленьей колбасы, редкого тундрового лакомства.

Когда погрузили мясо на корабль, Каширин обнаружил исчезновение своих спутников — Тынанто и Дулгана, делегатов на съезд, избранных на тундровых сходах.

Каширин обошел все яранги, — делегаты словно в воду канули. Он расспрашивал пастухов, женщин, детей, но те или упорно молчали, или же отговаривались многозначительным чукотским «ко-о-о...».

Догадку Каширина подтвердил Теневиль.

— Сбежали они, — сказал он. — Еще днем ушли.

— Что же мне делать? — растерянно пробормотал Каширин, не ожидавший такого подвоха.

— Коо, — пожал плечами Теневиль. — Их теперь не догнать, не найти в тундре.

— Может, ты поедешь? — спросил его Каширин.

— Как я могу поехать? — возразил Теневиль. — Работать много надо. Хозяин еще не забыл моей отлучки весной, когда я отвозил Милюна в Ново-Маринск. А мне нужны шкуры для зимней одежды. Нет уж, ищи другого, я не могу.

Каширину отвели место в кают-компании, постелив ему на прохладном клеенчатом диване. Сон не шел, и Петр Васильевич поднялся на палубу. Там в складном парусиновом кресле сидел Олаф Свенсон и смотрел на удаляющиеся берега Чукотки.

— Не спится, мистер Каширин? Не принимайте вы близко к сердцу. Может, это к лучшему, что дикари сбежали. Мне доводилось наблюдать их в городах. Поверьте, они попросту страдают от непривычной и чуждой обстановки. Жалко на них смотреть. А тут — политический съезд! Нет, вы не можете со мной спорить, тут вы ошиблись — рано еще чукчам и эскимосам ввязываться в политику. Да они и не хотят. Посмотрите хотя бы на Армагиргина. Для своего общества он, видимо, умен и мудр, но вы обратили внимание, как он смешон, и даже жалок, в этом шутовском мундире, когда пытается играть роль российского вельможи... Нет-нет, как хотите, это не для них... Дикарь останется дикарем...

Каширин молчал. Он не торопясь набивал трубку. Потом уселся на крышке трюма рядом со Свенсоном, закурил.

— Мистер Свенсон, — откашлявшись, заговорил Каширин. — Чукчей и эскимосов я видел не только в общении с тангитанами, с торговцами на берегу, на палубах кораблей, я их видел в повседневной жизни. Это совсем другие люди, нежели в общении с нами. То, что они иногда дурашливы и якобы непонятливы — не более как маска, защита собственного достоинства. Их жизнь необыкновенно трудна, прямо, скажу, героична. Никто, пожалуй, на нашей грешной земле не живет в постоянном страхе перед голодом и холодом. Но в то же время как они жизнелюбивы, добры, умны! Мы сами виноваты в том, какими они предстают перед нами. Они как бы играют ту роль, какую мы придумали для них.

— Вы что же, хотите сказать, что они перед нами притворяются? — усмехнулся Свенсон.

— Если хотите — да, — ответил Каширин.

— Ну что же, — заметил после некоторого раздумья Свенсон, — если эта игра устраивает обе стороны, почему бы ее не продолжать?

— Но всякая игра рано или поздно падает, да же самая увлекательная, — сказал Каширин.

Свенсон повернулся к Каширину.

— Что вы имеете в виду?

— Чукчи и эскимосы, все местные жители Чукотки догадываются о великих переменах, происходящих в России. Есть даже те, кто уверен, что эти перемены рано или поздно отзовутся на их собственной судьбе. Да, может быть, вы правы, в сегодняшнем их положении участие в политической жизни преждевременно... Но они полноценные люди и сами должны решать свою судьбу. Мне кажется, русская революция во многом отличается от американской.

— Я бы этого не сказал, — заметил Свенсон. — Пока что русская революция слишком робка, пожалуй, даже неопределенна. Война с Германией продолжается, и новое русское правительство выдвинуло лозунг о войне до победного конца. А это — при нынешнем соотношении сил — может привести к полному истощению России, к обнищанию народа...

— У русской революции найдутся другие силы, — отрезал Каширин.

— Вы имеете в виду большевиков?

— Кого? — переспросил Каширин.

— Экстремистскую партию, которую возглавляет русский адвокат Ленин. Они называют ее большевистской, — пояснил Свенсон.

— Не знаю, — с сомнением покачал головой Каширин. — Но, понимаете, если уж в мою голову пришли такие вот мысли, значит, они пришли и к другим, лучше организованным умам. Расскажите, что происходит в России на самом деле...

— Я могу дать вам газеты...

— Знаю я ваши газеты, — усмехнулся Каширин. — Уж лучше вы сами...

— Но это будет мое личное мнение, — предупредил Свенсон Каширина. — По-моему, то, что произошло в России, рано или поздно должно было произойти. Дело шло именно к этому. Старый строй не соответствовал задачам, которые стояли перед русским народом, перед русским государством. Царизм должен был рухнуть. Однако сейчас самое главное — построить то общество, которое обеспечит наибольшие возможности для дел-

вых людей. Деловые люди знают, что делать. Они будут опираться на опыт Соединенных Штатов Америки, самой богатой страны в мире...

— Богатой, да не для всех,— прервал его Каширин.— Вот теперь выслушайте мое мнение. Я думаю, революция продолжается. Не кончилась она. Раз правительство временное, значит, еще не все решено. Да и не согласен трудовой человек — а таких, как я, у нас миллионы — довольствоваться ролью рабочей скотины для делового человека. А окраины России? К примеру, Чукотка, Камчатка? Что будет с ними? Может, история дает первый и последний шанс для их развития? Слышал я и раньше о Ленине. Не знаю... может, они, эти большевики, и есть те, кого я ищу?

— Насколько мне известно, большевики пытаются взрастить на русской почве идеи немецкой социал-демократии, претворить в жизнь экономические идеи немецких ученых,— сказал Свенсон.

— Да, мистер Свенсон, все запутано, и надо самому поглядеть и разобраться... Только вот что скажу — такие, как я, не допустят, чтобы Чукотку, Камчатку или другие окраины России деловые люди отдали в чужие руки. Не допустим, мистер Свенсон!

Ранним утром, когда солнце оторвалось от тяжелой воды Берингова пролива и устремилось вверх, Каширин сошел в Уэлькале, сухо попрощавшись с Олафом Свенсоном. Свенсон, вопреки своим прежним намерениям, решил не заходить в эскимосское селение. Он стоял на капитанском мостике, наблюдая, как приближается к берегу шлюпка, отвозящая Каширина. Вот золотоискатель преодолел прибойную черту и растворился среди толпящихся на берегу эскимосов.

Свенсон поймал себя на мысли о том, что таких, как Каширин, действительно много. И они, как ни крути,— сила!

* * *

Погода ухудшилась. Иногда на пароход напал туман, и приходилось плыть в сырости, словно продираясь сквозь развешанные для просушки простыни. Вахтенный отбивал в судовой колокол склянки, давая сигнал встречным судам. Звон меди был тускл и быстро гаснул, падая на свинцовую воду. Иногда корабль натывался на

плавучую льдину, и тогда судно от кнля до самых вер-хушек мачт вздрагивало.

Свенсон просыпался и прислушивался, как льдина, шурша, проходила вдоль борта.

Перед входом в Берингов пролив туман рассеялся. Открылись острова Диомиды. Они лежали на воде как гигантские зеленые звери, очернившиеся скалистыми берегами, усеянными тысячами птиц.

Свенсона разбудили близкие выстрелы. Торопливо одевшись, он вышел на палубу и увидел вельботы охотников. Два судна уже плыли пересекающимся курсом.

Здесь, в Беринговом проливе, заметно ощущалось дыхание Ледовитого океана. На горизонте виднелся пак, сливающийся в сплошную белую черту. Но в проливе было довольно чисто, если не считать отдельных плавающих льдин, на которых охотники и были спящих на солнце моржей.

Слева по борту, чуть севернее, нависла массивная скала мыса Дежнева, тянущаяся на северо-запад к Уэлену. В двух часах ходу, на низком галечном берегу располагалось чукотское селение Кэнискун, где находилась основная чукотская база Гудзон Бей компани, фактория под управлением Чарльза Карпенстера. Туда и держал курс корабль Олафа Свенсона.

— Лечь в дрейф!

Корабль замедлил ход, остановился. Матросы завели на ближайшую льдину якорь.

Люди в вельботах гребли длинными упругими веслами.

Один из вельботов был из Наукана, эскимосского селения на мысе Дежнева, другой — из Уэлена. Свенсон различил на задних кормовых площадках их владельцев — эскимоса Ерока и чукчу Гэмалькота, людей значительных, крепко стоящих на ногах. Оба — и чукча и эскимос — считались приближенными Свенсону и искренне радовались встрече со своим давним другом, радовались возможности поговорить с новым человеком, выпить крепкого кофе, может, даже стаканчик бренди, злать накуриться ароматным виргинским табаком.

Оба вельбота почти одновременно пристали к льдине, к которой пришвартовалась шхуна, и Ерок с Гэмалькотом поднялись на палубу, широко улыбаясь и еще издали здороваясь со Свенсоном и капитаном,

— Хэлоу, мистер Олаф, хэлоу, мистер Отто, хау а ю?

— Амын еттык, хуанкута санахакья!— по-чукотски и по-эскимосски ответил Свенсон.— Я рад вас видеть в добром здравии. Как ваши жены, дети? Здоровы? А старый Мильгын умер? Ай-ай,— покачал головой Свенсон.— Он был хороший мореход. Моряки с многострадальной «Карлук» его помнят. Идемте, идемте за мной!

Ведя в кают-компанию гостей, Свенсон распорядился одарить табаком команды обоих вельботов.

Охотники с нескрываемой завистью проводили своих эрмэчинов, скрывшихся в чреве тангитанского корабля.

— Что тут у вас нового?— спросил Свенсон, наливая в стаканы виски.

— Что может быть нового?— усмехнулся Ерок.— Все идет по-прежнему. Охота нынче добрая, все снежные хранилища забиты мясом и жиром моржа. Ждем гостей с американского берега— будем много пить и танцевать.

— А как в Уэлене?— обратился Свенсон к Гэмалькоту.

Уэлен считался административным центром Чукотского полуострова, и в этом селении обитали представители русских властей.

— В Уэлене спокойно,— ответил Гэмалькот.— Однако разговоров о новой власти много.

— У вас тоже сменилась власть?— поинтересовался Свенсон.

В Уэлене жил представитель Анадырского уезда, пекий Хренов, исполнявший обязанности полицейского пристава, таможенника и судьи. Особого рвения к служебным делам Хренов не проявлял, и Свенсон с удовлетворением услышал от Гэмалькота весть о том, что Хренов продолжает свою деятельность, точнее бездеятельность, что никакого нового комитета в Уэлене нет.

Теперь положение на Чукотском полуострове для Свенсона было более или менее ясно.

— А как Караевы?— задал он последний вопрос Гэмалькоту.— Надеюсь, они здоровы?

— Здоровы,— кивнул головой Гэмалькот.

Караевы представляли в Уэлене владивостокскую торговую фирму.

Получив подарки, гости спустились в вельботы и на-

правились к белеющим в проливе льдинам с черными телами моржей.

«Поляр Бэр» изменила курс и вошла в небольшой залив, вернее излучину, защищенную мысом Дежнева.

С рейда на небольшой возвышенности хорошо были видны приземистые яранги и отсвечивающие на солнце гофрированным железом склады Гудзон Бей компани. Когда искали место для торговой базы, перебрали несколько пунктов, пока не остановились на этом малолюдном селении. Здесь неплохая якорная стоянка. До побережья Ледовитого океана всего около десяти морских миль. Кроме того, в Кэнискун можно было зайти, не объявляясь русским властям, — от Номы при полном парусном вооружении и помощи машины — около полусуток.

Здесь Свенсон намеревался сойти на берег, он переоделся, натянув на ноги высокие резиновые сапоги.

Чарльз Карпентер приплыл на личной кожаной байдаре. Он помог Свенсону сесть на узкое деревянное сиденье.

— Вы снова пополнили, мистер Карпентер, — осуждающе сказал Свенсон, оглядев своего агента.

— Полярная ночь, — беспомощно развел руками Карпентер. — Ходить некуда, в пургу неделями сидишь взаперти, не смея высунуть носа на улицу.

— В следующий раз завезу вам гимнастические снаряды, — пригрозил Свенсон, легко спрыгивая через пенный вал прибоа на берег.

Он с улыбкой поздоровался с жителями Кэнискуна, преимущественно стариками, старухами и женщинами с малолетними детьми — все взрослое мужское население было на охоте.

— Груз придется самим доставить на берег, — виновато сказал Карпентер, — некому сейчас работать.

— Ничего, — ответил Свенсон. — Сгрузим своими силами, покроем брезентом, а вернутся охотники — переташат на место.

Чарльз Карпентер жил при своей лавке. Дом его наполовину был ярангой. В полоте обитали его жена — чукчанка Элизабет и дети. Сам же Чарльз Карпентер располагался в комнате, обставленной европейской мебелью и освещаемой большой керосиновой лампой с прозрачным резервуаром.

Приветливо поздоровавшись с принаряженной Элизабет, с умытыми и причесанными ребятишками, Свенсон прошел на половину Карпентера и, усевшись в кресло, недовольно заметил:

— Сколько раз я вам говорил: поселитесь вместе с семьей. Хотите, мы привезем настоящий трехкомнатный дом?

— Извините меня, мистер Свенсон. Я не раз намекался хотя бы Элизабет поселить здесь в комнате, но не могу... Не переношу запаха морского зверя... К тому же она... что ни говори... дикарка... Такое ощущение, будто в зоопарке живешь.

— Смотрю я на вас, мистер Карпентер, и удивляюсь,— улыбнулся Свенсон, глядя в большие, бесцветные глаза кэникунского торговца,— откуда у вас такая... щепетильность?

— Сам не знаю,— добродушно засмеялся Карпентер.

Кэникунская фактория славилась прекрасными горячими источниками. С помощью чукчей Чарльз Карпентер соорудил небольшой бассейн, напоминавший Свенсону могилу, вырытую в черном тундровом дерне, отвел туда два потока — один с горячего ручья, другой с холодного. Карпентер купался и зимой, благо вода всегда была теплая. В его домике-яранге все блистало чистотой, даже дверца железной печки была отполирована толченым кирпичом. С утра до вечера все его многочисленное семейство скребло, мыло, чистило комнату своего отца и повелителя.

Ел Карпентер тоже отдельно от семьи. Сначала ему прислуживала Элизабет, потом старшая дочь.

Все эти слабости и привычки Карпентера Свенсон хорошо знал и открыто осуждал торговца за его отвратительное пренебрежение к местным жителям.

— Скоро уже двадцать лет, как вы здесь, а ни одного слова ни по-чукотски, ни по-эскимоски произнести не можете! — упрекал его Свенсон.

— Пробовал, — виновато оправдывался Карпентер. — Ничего не получается. Такие варварские языки — слушать и то певмоготу. Я, знаете, стал замечать — как послушаю их разговор, голова целый день болит. Свенсон, помолчав, заговорил о делах фирмы.

Карпентер, не заглядывая в бумаги, ибо в его мозгу

царил такой же образцовый порядок, как и вокруг, дал полный отчет о деятельности фактории; доложил о пушном товаре, что скоплено на складе, о должниках...

— Весь товар, который вы получите, немедленно рассредоточьте среди агентов, не скупитесь давать в долг, откройте широкий кредит,— наставлял Свенсон.— Сейчас для нас главное — удержать покупателя, оставить за собой рынок, не потерять связей.

Элизабет подала ужин — жареного гольца, заливное из лапт молодого моржонка и оленьи бифштексы.

Свенсон принялся за еду.

— Как быть с Карасвым? — после долгого молчания спросил Карпентер.

Свенсон ответил не сразу.

— По всей видимости, они сами будут искать со мной встречи,— проговорил он наконец.— Из-за этой революции они остались с пустыми складами... Послушайте, если Карасвы будут обращаться к вам, можете и их ссудить товарами. На любых условиях...

Плотно поужинав, Карпентер и Свенсон вышли из дома-яранги поглядеть, как идет разгрузка.

— После еды необходимо движение,— поучал Свенсон.— Способствует пищеварению. В нашем возрасте надо думать и об этом.

На берегу уже выросли груды ящиков, мешков и тюков. Между ними играли в прятки кэйнскунские ребяташки и вместе с ними дети Чарльза Карпентера, одетые в летние кухлянки, перпичьи торбаса, но голубоглазые и светловолосые. Один из них, тот, что постарше, вовсе был рыжий и резко выделялся среди черноголовых сорванцов.

— Много огнестрельного оружия,— заметил Карпентер, наблюдая, как матросы тащили на берег продолговатые тяжелые ящики.

— Там, где война или пахнет ею, мой друг, оружие становится самым ходким товаром,— улыбнулся Свенсон и добавил:— Советую этот товар пока запрягать подальше... Думаю, он скоро понадобится...

— Магляльыт! Рэмкыльыт!

Рыжеволосый отпрыск Карпентера бежал с пригорка.

— Едет нарта со стороны Уэлена! — сказал он почукотски.

На границе галечной косы собаки остановились — дальше, по камням, им не пройти.

Двое мужчин в хорошо выдубленных кухлянках подошли и учтиво поздоровались.

— Я рад вас видеть! — громко приветствовал их Свенсон.

— Охотники сообщили о вашем прибытии, — строго сказал старший Караев. — Почему вы не зашли в Уэлен? У нас ведь договоренность. В противном случае все это, — Караев показал на кучу выгруженных товаров, — будет считаться контрабандой.

— Извините меня, господа, — улыбнулся в ответ Свенсон. — Но наш корабль сначала сделал заход в Ново-Маринск. Надеюсь, вы в курсе — в России новая власть, Временное правительство, соответственно, переменилась и местная власть. В Ново-Маринске создан Комитет общественного спасения, и этот комитет любезно просил меня заняться снабжением побережья Чукотки от Ново-Маринского поста до устья реки Колымы.

Караевы переглянулись.

— Нам ничего не известно об этом, — сказал старший.

— Более того, мы в комитете, — продолжал Свенсон, — обсудили и такой вопрос: если русским коммерсантам будет угодно, то Гудзон Бей компани, от чьего имени я веду торговлю, готова на приемлемых условиях снабжать вас нужными товарами.

— Так что же, в этом году парохода из Владивостока не будет?

— Если и будет, то отнюдь не с товарами, — улыбнулся Свенсон. — Я собирался завтра утром зайти в Уэлен. Буду рад, если вы составите мне компанию на моем корабле.

* * *

Каждый раз, приплывая в Уэлен, Олаф Свенсон чувствовал странное волнение. Вроде бы обычное чукотское селение — яранги располагались на косе, протянувшейся строго по линии широты. С запада и востока косу обрамляли довольно высокие мысы. За косой — обширная, но мелководная лагуна с зелеными берегами,

Яранги в Уэлене стояли в два ряда, обращенные входами на запад, на ту сторону, откуда меньше всего дули ветры. Среди приземистых серых, а то и вовсе черных жилищ выделялись два-три домика европейского типа.

Свенсон стоял на мостике вместе с Карасвыми и глядел вперед. Вчера они до поздней ночи обсуждали торговое и экономическое положение края. Говорить о политике Олаф Свенсон категорически отказался:

— Политическое положение России — это внутреннее дело вашего государства, — повторил он несколько раз, добавив при этом, однако, что он готов сотрудничать с любой властью, соблюдающей интересы взаимовыгодной торговли.

Ледовый припай, несмотря на конец июня, все еще держался у берега Уэлена. На этом льду и собрались встречающие. Люди были одеты пестро, иные даже ярко — сказывались оживленные торговые связи с американцами.

Отто Свердруп осторожно повел «Поляр Бэр» к ледовому берегу, и встречающие прочно закрепили ледовые якоря. Трап перебросили с низкого борта шхуны прямо на лед.

Уэлэнцы встретили Свенсона радостно. Каждый считал своим долгом протиснуться вперед, пожать ему руку. Многие довольно свободно говорили по-английски. Старушки бросались его обнимать. Со стороны можно было подумать, что встречают близкого родича, возвратившегося после долгого путешествия.

— Хэлоу! Хэлоу! Ии! Ии! — раскланивался Олаф Свенсон.

Да, он любил это селение, потому что именно здесь в давней молодости он познал туземную любовь. Кто знает, может быть, среди этих молодых парней, многие из которых носили на себе следы смешанной крови, есть и его сын или дочь... Сама Нутэнэу скончалась, говорят, лет семь-восемь назад. Давно была замужем, но каждый раз, встречая Свенсона, она в затаенной нежности прятала глаза, и волнение охватывало Олафа, человека уже степенного, давно женатого и имевшего взрослых детей в Номе.

Караевы повели гостя в свой домик, возле которого в полицейской фуражке стоял исправник Хренов. Здо-

ровааясь со своим старым знакомцем Свенсоном, Хренов чувствовал себя тоскливо, словно в одиночку вышел в пустынный тундровый простор.

На возвышении сияла большими окнами школа. Она была поставлена два года назад по распоряжению губернатора. Собирал эту школу Петр Каширин.

— Школа работает? — спросил Свенсон.

— Учителя нет, — ответил старший Караев. — Приезжала одна дама, попробовала, но ничего у нее не вышло: ее не понимают, и она не понимает. Уездный центр обещал прислать Михаила Куркутского.

— Я слышал, что в стойбище Армагиргина есть чукча, который изобрел чукотскую грамоту, — сказал Свенсон. — Может быть, она подойдет?

— Возможно, — пожал плечами старший Караев. — Одно ясно — прежде чем учить грамоте, надо эту грамоту создать.

— Может быть, новое правительство энергично возьмется за дело просвещения, — сказал младший Караев, как две капли воды похожий на брата. — Мы возлагаем большие надежды на переворот в России. Но, к сожалению, у нас нет никаких известий о характере перемен... мы не знаем, что делать...

— Я встретил в стойбище Армагиргина Петра Каширина, бывшего вашего приказчика, — с улыбкой сообщил Свенсон. — Он ехал в Петропавловск вместе с двумя делегатами на какое-то учредительное собрание.

— Петька Каширин! — удивился Караев-старший. — Хотя чего тут удивляться? Он всегда отличался весьма смелым образом мыслей.

— По-моему, он даже член этого самого Анадырского комитета, — добавил Свенсон. — Правда, должен вам сказать, что делегаты... сбежали от него, отказавшись от политической деятельности.

Свенсон широко улыбался, как бы приглашая собеседников посмеяться над этим забавным происшествием.

Но Караевы оставались серьезны. Они думали о том, что будет дальше: в этом году им не дожидаться парохода из Владивостока. Оставалось одно: договориться со Свенсоном, который в нынешней обстановке являлся хозяином положения.

Пришлось не только взять у Свенсона товар, но и дать обязательство расплатиться пушниной или, как бы-

ло записано в соглашении, «эквивалентным товаром, валютой или же золотом».

...Свенсон, по обыкновению, сидел на палубе в своем парусиновом кресле и смотрел, как исчезали за поворотом мыса яранги и домики Уэлена, и вместе с ними уходили в глубь памяти воспоминания о молодости, о том прекрасном времени, когда даль будущего была захватывающе прекрасна в своей нескончаемой протяженности.

* * *

Петр Васильевич Каширин добрался до Ново-Маринска в самый разгар ожесточенных споров в комитете.

В ожидании парохода из Владивостока руководство комитета пыталось возродить порядки, существовавшие при Царегородцеве. Мало того, и сам Царегородцев и Оноприенко были введены в состав комитета.

— А где же делегаты?— с ехидцей спросил Каширина Желтухин.— Где представители народа?

— Они уполномочили меня,— зло бросил Каширин, и сам удивился тому, что сказал.— В настоящий момент представители местного населения еще не готовы принять участие в съезде,— продолжал, смелея, Каширин.— По причине незнания языка, а также невозможности отлучиться: пасут оленей.

Желтухин пытливо всматривался в загорелого, похудевшего Каширина, подавляя поднимающуюся в душе муть неприязни к этому непонятному мужику, вечно готовому заступиться за обиженного и обделенного.

— С первым пароходом поедешь в Петропавловск,— строго сказал Желтухин.

— Ну это мы еще посмотрим,— огрызнулся Каширин.— Надо сначала здесь оглядеться.

В Ново-Маринске, который все чаще называли теперь Анадырем, жизнь текла прежним руслом — словно и не отрекался государь император от престола, словно и не было в России никаких перемен.

На рыбалках Сооне и Грушецкого все было готово к путине, и первые рыбы уже попались в сети, свидетельствуя о приближении косяков тихоокеанской кеты. Остальным рыбакам были отведены места еще более худшие, чем в прошлые годы. Местные жители — чу-

ванцы и чукчи — ходили жаловаться в комитет, но жалобы их оставались без внимания. Кроме того, по предложению Царегородцева были учреждены специальные билеты на право вылова рыбы для рабочих каменно-угольных копей и «прочих инородцев», как было записано в решении. Обо всем этом Каширин узнал от Аренса Волтера, который также подпадал под определение «прочие инородцы».

— Видишь ли, Аренс,— угрюмо сказал Каширин.— Людской род делится на сытых и голодных. Это самое главное различие. Так говорил мой друг Иван Ларин. И объединение людей должно идти по этому признаку — по одну сторону сытобрюхие, по другую те, у которых пусто в желудках.

Прежняя пищета и голод царили в яранге Тымнэро. Сам хозяин лежал больной, а рядом с ним стонал, не раскрывая глаз, крохотный сын.

Исхудавшая до невозможности Тынатваль сидела у погасшего очага и тихонько напевала:

«Из дальней ледяной дали приближались черные люди-тэрыки в одежде из черных шкур. И шерстью обросли их лица, и вокруг ртов их запеклась черная кровь. Рыщут и ищут они человеческую плоть, чтобы насытиться ею, испить горячей красной крови. Они приближаются к нашей яранге, и нет силы, которая бы остановила их... Из дальней ледяной дали приближаются черные люди-тэрыки...»

Женщина даже не подняла головы, когда Каширин вошел в чоттагин. Он потоптался у входа, давая знать о своем приходе, громко кашлянул.

Тынатваль продолжала свою тягучую песню, раскачиваясь из стороны в сторону.

Зашевелился меховой занавес полога, и в чоттагин высунулся взлохмаченный Тымнэро.

— Етти, Кассира,— хрипло сказал он.— Этки¹. Заболел я, жена тоже, и сын вот лежит... Еды нет, огня нет... Глаза закрою — путь сквозь облака вижу...

— Ты это брось! — прикрикнул на него Каширин.— Какая дорога сквозь облака? Настоящая жизнь только начинается... А ты, Таня (так он называл Тынатваль), перестань скуливать! Брось про свою чертовщину петь!

¹ Этки — плохо (чук.).

Каширин выскочил из яранги, во весь дух помчался к домику Аренса Волтера.

Волтер сидел за столом и что-то паял. Едкий зеленый дымок поднимался над его головой.

— Аренс! Человек погибает! — выкрикнул Каширин. — Спасать надо! Собирайся, еду возьми, примус... — Каширин рассказал другу о семье Тымнэро.

— Гордость их губит, — мрачно произнес Волтер. — Ведь я его встречал, спрашивал, может, чем помочь, а он все отвечает — хорошо, хорошо...

Волтер собрал кое-что из своих запасов и даже откуда-то достал банку сгущенного молока.

— Продукты есть, — сказал он, — но, может, им доктор нужен?

— Верно, — сняв шапку, почесал затылок Каширин. — Фельдшера надо позвать. Пойдем к нему.

— Если он трезв, — угрюмо заметил Волтер.

Подумав, они все же решили завернуть к фельдшеру. Но тот, как и предполагал Волтер, был пьян, он даже не мог понять, что от него требуется. Бормотал что-то несвязное, тупо уставившись на посетителей. Волтер безгласно оттолкнул его, выругался:

— Сволочь! Пошли, Петр... от этой свиньи...

Вскоре в яранге зашумел примус. Каширин сварил суп.

Тынатваль отчужденно сидела возле полога и наблюдала за тангитанами. Она оживилась только тогда, когда в ярангу бочком вошла Милюнэ со свертком скудной еды.

— Хозяйка следит, не разрешает мне ходить сюда, — призналась она Каширину.

— Знаю я эту гадину, — пробормотал Каширин, сосредоточенно помешивая в котелке ложкой.

Накормили больных. Волтер раздобыл тюленяного жира для мохового светильника в пологе. В яранге стало повеселее.

Каширин смотрел, как Тымнэро жадно, обжигаясь, ел непривычную тангитанскую еду, и укоризненно говорил ему:

— А ты — сквозь облака... Мы сейчас должны не сквозь облака, а через жизнь, к новому будущему. Такое время пришло. А ты — сквозь облака...

Посидев немного, Каширин с Волтером ушли. Они

отправились на берег лимана, где люди Грушецкого и Сооне ставили с кунгаса большие ставные невода. Анадырский лиман перегораживался во всю ширину. Ваня Куркутский молча наблюдал за ставкой неводов.

— Видал, что делают?— заметил Каширин.

— Видать-то видаю, а што толку?— буркнул Куркутский.— Мои-то цобацки, моляч, голодать будут. И так-то бегают в тундру, мышей давят, у песка еду отбирают. Дикие стали цобацки-то, доспели совсем от голода.

— Ты о собаках погоди,— прервал его Каширин.— А люди? Почему люди молчат, глядя на все это?

— Говори не говори, все одно — сила-то, она у того, у кого большая сетка и невод,— безнадежно махнул рукой Куркутский.— Можно сети поставить на Русской кошке, но там ветрено, да и рыбка негустая. Что поймем — самим на юхалу не хватит.

— Надо собрать комитет и все это,— Каширин показал на кунгас,— по-другому сделать. Все должно быть общественным. И кунгас, и сети, и невода... Сообща работать, сообща делить добытое...

— Да ведь только дикие чукчишки такое делают,— усмехнулся Куркутский.— Сообща на кита охотятся, вытащат животину на берег и делят ее по кускам.

— Они вовсе не поровну делят,— ответил Каширин.— Я-то знаю, жил в Уэлене. Гэмалькоту, значит, как владельцу вельбота — весь китовый ус, а с добытого моржа — клыки. А клыками да китовым усом можно со Свенсоном крепкую дружбу дружить. Надо людей на сход звать да разбираться в делах комитета. Похоже, вернулись мы назад, к царской власти...

— Да навряд ли мы от нее далече и не отходили,— заметил Куркутский.— Как были при ней, так и остались.

— Да уж верно,— угрюмо согласился Каширин.

Кунгас с рыбаками отходил все дальше от берега, и на воде оставались большие продолговатые поплавки, отмечая ловушку. Иногда до берега доносились громкие, дружные возгласы рыбаков.

* * *

Утром Каширина разбудил Волтер.

Всегда спокойный и невозмутимый, Аренс был силь-

но взволнован, говорил быстро, путая русские и английские слова. Каширин понял: что-то случилось с Тымнэро.

Летний ледяной дождь хлестал по лицу. Желто отсвечивали лужи, а тундру, на которой стояли чукотские яранги, совсем развезло, и в раскисшей жиже тонули сапоги.

— Я пришел к ним, а мальчишка совсем плох стал. И Тымнэро плачет, и Тынатваль, и второй ребенок... Что-то надо делать.

— Знаешь, — Каширин остановился, отворачивая лицо от секущего дождя, — ты все-таки фельдшера разбуди. Выволоки его, что хочешь с ним делай, но приведи в ярангу. Я все думаю: зря вчера не позвали... Надо заставить, отрезвить его...

Еще издали Каширин слышал какие-то звуки, доносившиеся из яранги Тымнэро. Он остановился, прислушался. Глухие удары отмеряли ритм. Голос поющего то прорывался сквозь шум дождя, то вдруг угасал, таял. В Ново-Мариинске, насколько знал Каширин, шамана не было. Может, кто из тундры приехал?

В чоттагине царила полутьма. Она усиливалась пасмурностью дождливого дня. Сначала трудно было понять, откуда идет пение и удары шаманского бубна. Приглядевшись, Каширин заметил на своем обычном месте возле очага Тынатваль. Она ублаживала на руках дочь.

Камланне шло в пологе, за опущенным меховым занавесом.

Каширину и раньше приходилось видеть шаманское действо. То было в глухой тундре, на полдороге от Уэлена в бухту Эмма. Но чтобы Тымнэро вдруг... Даже не верится... Говорили же сами чукчи, что шаманство — это нечто необычное, предназначенное судьбой, подаренное Высшими силами...

Каширин стоял в полутемном чоттагине, не зная, что делать. Он понимал, негоже так грубо вторгаться в священное дело чужого человека, но и уйти он не мог.

Тынатваль, казалось, не заметила прихода Каширина. Она слушала пение мужа и изредка, как бы откликаясь ему, подавала голос.

Каширин опустился на китовый позвонок. Голос Тымнэро то нарастал, то угасал... Он странно обволакивал,

вызывая изнутри непонятные тревожные чувства, беспокойство, глухой отзвук далеких, неясных мыслей. Каширин стряхивал с себя это непривычное состояние, как бы возвращаясь к самому себе, но какая-то неведомая сила властно притягивала его. Ему даже казалось, что он подпевает Тымнэро, мерно покачиваясь в такт с Тынатваль, ушедшей в свое горе.

В чоттагине не было ни единой собаки. Все они разбрелись по берегу лимана, по тундре в поисках пищи. В общем-то так было в каждой яранге, в каждой семье, где была ездовая упряжка. Но там всегда оставалась любимая собака, щенята или брюхатая сука... А здесь — пусто, как в тундре перед первым снегом, как в море перед приходом тяжелого ледового покрова.

Пронзительный, быстро потухший стон поколебал меховой занавес полога, умчался через открытое дымовое отверстие в серое, сочащееся дождем небо.

Тынатваль вздрогнула, встревоженно оглянулась на полог и застыла в напряженном ожидании. Олений мех заколебался, и в чоттагин вывалился обнаженный по пояс Тымнэро. Оглядевшись, сказал:

— Он ушел...

Женщина запричитала, забилась в истерике, разметывая остывший пепел костра.

— Кто ушел? — переспросил Каширин.

— Мой сын ушел сквозь облака, — внятно, но как-то бесцветно и покорно произнес Тымнэро. — Навсегда...

Он опустился рядом с Кашириным, тяжело вздохнул.

Каширин не знал, как вести себя, как утешить убитого горем отца. Но вдруг Тымнэро улыбнулся. Каширину показалось, что это просто блеснул солнечный луч сквозь разорванную тучу, но слабая, будто бы виноватая, улыбка на лице Тымнэро все разрасталась.

— Теперь ему хорошо, — твердящим голосом сказал Тымнэро. — Он больше не страдает.

— Умер он, что ли? — простонал Каширин.

— Сквозь облака ушел...

Горечь и гнев захлестнули Каширина. Он обнял Тымнэро, уткнулся в него лицом и глухо, по-мужски зарыдал.

— Ты не плачь, Кассира, — утешал его Тымнэро. — Не жалею моего сына. Ему там хорошо. Он несется сквозь облака, а дождь остается на земле. Расступают-

ся перед ним тучи, солнечный луч ласкает его, мягкий пух облаков... Не плачь, Кассира, не жалею моего сына...

Каширин чувствовал, что Тымнэро пытался гладить его своей неумелой заскорузлой рукой.

— Не плачь... там он, наверно, найдет то, чего ты ищешь на земле. Мир без слез, без голода, без обид... Хорошо, что он идет туда молодым. Почему мы так цепко держимся за эту землю, что-то ищем, копошимся, словно черви на куске гнилого мяса? Почему печалимся, когда близкий наш находит туда дорогу? Может, нам всем уйти сквозь облака?

Каширин оторвал лицо от плеча Тымнэро.

— Нет!— решительно проговорил он.— Нет!

Тымнэро испугался и отодвинулся от него.

— Нет!— продолжал Каширин.— Лучший мир здесь, на нашей грешной земле! И мы его добудем своими руками. Вот увидишь, Тымнэро. Понимаешь— на земле, тут, в этой яранге, далеко в тундре, на Чукотке, Камчатке, во всей нашей большой России!.. Сволочи толстобрюхие! Доколе же простой человек помирать будет? Нет, братцы, такого больше не должно быть. Не должно!

Испуганная такой переменной в настроении Каширина, Тынатваль поднялась с земляного пола, прижимая к себе дочь, и принялась приглаживать свои спутанные, присыпанные пеплом волосы.

Послышались шаги, и в ярангу вошел Аренс Волтер, чуть ли не силком тащивший за собой фельдшера.

— Ну, кто тут с поносом аль с чесоткой?— усмехнулся фельдшер, демонстративно зажимая нос.

Каширин мгновенно вскочил, яростно сжал кулаки, шагнул вперед. На скулах его заходили желваки:

— Мразь поганая... Сволочь... Твое дело лечить людей... В каждой яранге больные лежат... с голоду пухнут...

— Послушайте, господа... Я...— забормотал фельдшер. Договорить ему Каширин не дал— большой тяжелый кулак с силой опустил на лысоватую, покрывшуюся от испуга бисеринками пота, голову фельдшера.

Волтер с недоумением смотрел на своего друга.

— Помер Тымнэро сын,— объяснил ему Каширин.— Пошли отсюда!

Следом за ними из яранги выскочил и на смерть пе-

репуганный фельдшер. Засеменил рядом, то и дело повторяя: «Господа, господа, послушайте...» Тымнэро и Тынатваль не понимали гнева Каширина... Они в растерянности стояли посреди яранги, судорожно прижимая к себе маленькую дочурку.

* * *

Дождь перестал, и со стороны верховьев над Ново-Марининском открывалось светлое, чистое небо. Вместе с отливом в Анадырский залив уходили тяжелые, пропитанные влагой тучи.

Волтер и Каширин вошли в здание уездного правления.

Желтухин удивленно поднял голову, сухо спросил:

— В чем дело?

— Требуем чрезвычайного схода,— отчеканил Каширин.

— Нужды нет,— председатель комитета снова устался в свои бумаги.

— Ежели комитет не соберет схода, то соберем его мы,— пригрозил Каширин.

— Кто это — вы?

— Я, Аренс Волтер, рабочие Угольных копей, рыбаки, каюры, моряки... Этого народу в нашем Ново-Марининске хватает...

Председатель искоса взглянул на возбужденного, готового в любую минуту взорваться Каширина и стоящего за ним Волтера,— неопределенно выдавил:

— Согласовать бы надо...

— Нечего согласовывать!— вскипел Каширин.— Досогласовывались уже до того, что детишки мрут! Зовите народ, говорить будем!

Печаль сближает людей.

Тымнэро готовил своего сына в путь сквозь облака. Тынатваль старательно шила из лоскутков погребальную одежду. Ей хотелось, чтобы сын достойно предстал перед теми, кто ушел раньше. Слезы падали на выделанную мездру, растекались темным пятном; вспоминались родственники, знакомые, что встретят се сына там, за облаками. Их было гораздо больше, чем оставшихся на земле... И, может быть, прав муж: по ту сторону мальчику будет лучше...

Вошла Милонэ с привычным узелком собранных ею

объедков и молча присоединилась к Тынатваль, взявшись за торбаса усопшего.

Тымнэро отдавал последний долг уходящему сквозь облака, совершая обряд вопрошания. Смерть в чукотских семьях была так часта, что каждому было известно, что надо делать. Взяв у жены палку для выделки шкур, Тымнэро угнездил один конец под головой покойного, а середину положил к себе на колени, соорудив таким образом нечто вроде рычага. Он мысленно спрашивал сына и, прислушиваясь, тихонько приподнимал его голову. Если голова поднималась легко — значит, усопший дал утвердительный ответ, если нет — отрицательный. Вопросы были простые, как проста была жизнь мальчика. Он «пожелал» взять с собой небольшой кусок сахара, треснутое фарфоровое блюдо, из которого пил чай, кожаную пращу и острогу.

Полагалось спросить и о том, нет ли зла у уходящего на тех, кто еще оставался на земле. И здесь ответы были простые и ясные: откуда может быть зло у совсем еще маленького человека? Много ли добра видел ушедший? Скорее, у него надо просить прощения за то, что не было у мальчугана настоящей жизни...

Сквозь тонкий меховой занавес полога Тымнэро слышал женские голоса, редкий всхлип Тынатваль, приглушенный голос Милюнэ.

Эти голоса врывались в безмолвие печали, напоминая о жизни, возвращая Тымнэро из синей дали пути сквозь облака.

Потом послышался мужской голос, и Тымнэро выдернул палку из-под головы умершего сына. Тот больше не хотел отвечать на вопросы, высказав все.

Движение гадательной палки становилось все заметнее — последняя связь истончалась. Наконец — и она оборвалась еле слышным вздохом отца.

Тымнэро выполз в чоттагин и увидел Куркутского. Чуванец пришел выразить соболезнование. И, как это водилось среди чуванцев, эскимосов и других жителей чукотской земли, он ничего не сказал о случившемся, только заметил, что погода улучшается, солнце начинает выглядывать из-за туч. Это было намеком на то, что дорога уходящего сквозь облака ничем не омрачена и путь его проходит согласно предназначениям Высших сил.

Куркутский присел на китовый позвонок. У него не было такой откровенной неприязни к чукчам, как у других анадырских чуванцев, гордившихся своим родством с древними русскими пришельцами.

— Ты послушай, Тымнэро, что было сейчас в комитете,— принялся рассказывать Куркутский.— Похоже, с властью трясушка. Кассира арестовал Царегородцева, Опоприенко и посадил их в сумеречный дом... Сказано — пока пароход не придет. С пароходом он их в Петропавловск отправит, а может, и дальше — в главный сумеречный дом... Пушай, говорит Касенра; оне там сидят и не притесняют народы...

Куркутский с благодарным кивком принял из рук почерневшей от горя Тынатваль чашку горячей воды вместо чаю и продолжал, обращаясь к Милюнэ:

— Твой-то хозяин, Тренев Ванька, возьми да и поддержи Кассиру и Волтера. Иначе им вдвоем ни за что бы не одолеть Желтухина... Вона какие дела-то среди тангитанов случились...

Сумеречный дом... Тымнэро не раз проезжал мимо него. Он стоял на левом берегу Казачки, недалеко от устья, впритык к высокому дернистому тундровому берегу.. Дом как дом. Внешне он выглядел даже получше некоторых анадырских домишек, во всяком случае с ярангой не сравнить. Окошечки крохотные, как и у всех, но еще забраны частой железной решеткой. Дверь в том доме была внушительная — кованым железом перехваченная. В сумеречный дом помещали убийц, воров... Правда, в тихом Ново-Мариинске такие люди объявлялись не часто, но, будучи единственной тюрьмой на всем протяжении Чукотского уезда, анадырский сумеречный дом почти никогда не пустовал.

Наказание лишением свободы представлялось Тымнэро самым страшным. Бывало, что зверя приходилось держать в неволе, но каково человеку... И каждый раз, проходя мимо сумеречного дома, Тымнэро невольно ускорял шаг, словно боясь, что какая-то сила затянет его туда, в сумрак неволи, в сумерки жизни...

Светлым вечером нес своего покойного сына Тымнэро на гору, откуда открывались дали, весь Анадырский лиман с его разветвлениями, зеленые берега и уходящая к дальним горам тундра. Отец нес сына в ноше за спиной, будто шел к оленьему стаду за высокие мач-

ты. На радиостанции, низко склонив голову, вслушивался в птичий голос занебесного разговора радист Асеевич. И странно подумалось опустошенным горем умом — а не говорят ли там, за облаками, этим языком, тонким и пронзительным, не знающим преград.

Тымнэро поднялся на вершину сопки и остановился. Снял свою печальную ношу и осторожно опустил на мягкий, нетронутый мох, еще хранящий тепло дневного солнца.

Посидел, бездумно глядя на Анадырский лиман, бесконечный простор залива за островом Алюмка.

Вытащил нож и аккуратно разрезал одежду мальчика, обнажая его тощее, словно сушеная юкола, тело. Оно почернело, и в черноте кожи отчетливо белели прилипшие оленьи шерстинки. Тымнэро соорудил маленькое каменное убежище для тела и положил сына головой к восходу. Одежду еще раз порезал и сложил рядом, придавив камнем. Пристроил фарфоровое блюдечко, кожаную пращу, кусочек сахара, острогу.

Тымнэро все делал тщательно, невольно растягивая время последнего пребывания с сыном. Ведь, покопчив со всем, он должен уйти, не оглядываясь, навсегда...

Кажется, все сделано, Тымнэро еще раз осмотрел убогую могилку и обнаженное, такое беззащитное под этим огромным небом тельце сына.

На горизонте темнел дым — пароход входил в Анадырский лиман.

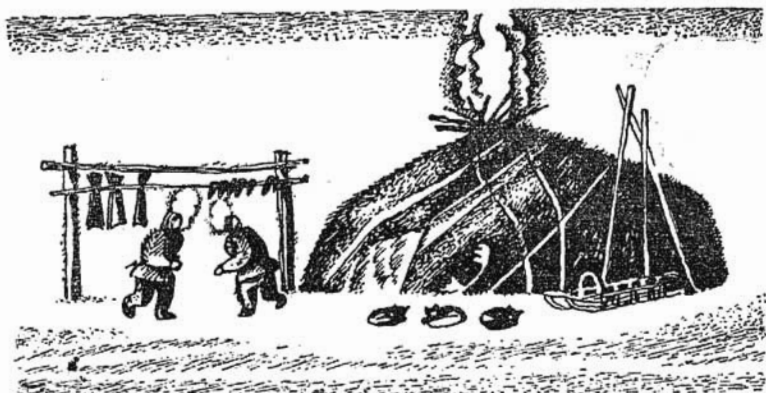
* * *

Каширин, прощаясь с Тымнэро, сказал:

— Я скоро вернусь... Знай и помни об этом — я скоро вернусь. Если не я, кто же еще должен вернуться? Мы вызволим тебя и твоих родичей из нищеты... Вот вспомнишь меня... Понял?

Тымнэро стоял чуть в стороне от толпы, провожавшей Каширина и двух арестованных, отъезжавших в Петропавловск. Он смотрел на черный купгас. На него во качающейся доске перебирались с берега арестованные. Последним взошел Петр Васильевич Каширин, надеявшийся скоро вернуться в Ново-Маринск.

Но этому не суждено было сбыться. Каширин навсегда покинул Чукотку.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Известие о Великой Октябрьской социалистической революции радиотелеграф принес на Северо-Восток (в Петропавловск) 26 октября 1917 года. Через несколько дней оно было передано Анадырскому уездному комитету, однако в искаженном виде. Большевики объявлялись в нем узурпаторами, захватившими власть в Петрограде против воли народа. Камчатская буржуазия использовала эту ложь, чтобы дезориентировать трудящихся относительно истинной сути событий в Петрограде и стране. В Анадырь это известие никаких изменений не принесло. У власти по-прежнему оставался буржуазный комитет общественной безопасности. Ни революционных организаций, ни коммунистов здесь не было, поэтому организовать трудящихся на борьбу за власть Советов было некому.

Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск, изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1974, с. 149

Агриппина Зиновьевна устала от вечной слежки за своим мужем, от холодов, рано нагрянувших в эту осень, от шушуканий по углам, скрытого соперничества и неопределенности.

Она сидела перед зеркалом в выцветшем китайском халате с желтыми драконами на зеленом поле и рассматривала свое помятое после сна лицо. Вот уже и мешки появились под глазами, словно оленьи тропы, протяну-

лись по щекам морщинки. За окнами выла первая в этом году пурга. Мысленно представляя, что сейчас происходит на улицах Ново-Маринеска, Агриппина Зиновьевна зябко поводила плечами, ежилась и с тоской вспоминала городские улицы Петербурга, Гостиный двор, где она служила в модном дамском заведении мадам Тимофеевой. Правду сказать, конец октября в Петербурге тоже не курорт, но все же... Манящие огни ресторанов, где веселятся нарядные дамы и господа в ярких жилетах, с сигарами в зубах... Автомобили шуршат шинами, проносясь по Невскому проспекту, лихачи жмутся к тротуарам, уступая место мотору... Как завидовала Агриппина Зиновьевна, звавшаяся в ту пору просто Грушенькой, одетым в меха дамам! Частенько воображала она, как ласкает ее обнаженные плечи небрежно накиннутое боа из мягкого пушистого соболя или белоснежного горносталя... Она исподволь присматривалась к своим богатым клиенткам, к их манерам, разговору. Дома, в своей комнатке, перед старым потрескавшимся зеркалом она повторяла запавшие в память слова, жеманно надувала губы, кокетливо шурлилась, старательно разыгрывая роль знатной госпожи.

С Иваном Треневым она познакомилась в кондитерской, на Невском. Одет он был странно — студент не студент и не чиновник. Потом выяснилось, что он мелкий служащий Петербургской таможни и бывший студент университета, изгнанный, как он сам считал, «за вольнодумство». Грушенька сразу же приглянулась ему: не белошвейка и не барыня, но отнюдь не просто девушка, из тех, что наводняли кондитерские Невского проспекта в этот час. Сначала Тренев решил было, что она учится на Бестужевских женских курсах, но потом, обменявшись несколькими ничего не значащими словами, понял, что ошибся.

Тем не менее они потянулись друг к другу, эти два одиноких человека, неожиданно нашедших себя в огромном сыром городе. Сочетались гражданским браком. Агриппина Зиновьевна не настаивала на венчании, ибо в то время еще уважала «вольнодумство» мужа. Вольнодумство это состояло в том, что по вечерам, просматривая газеты, Тренев во весь голос ругал царя, его окружение, Совет министров, социалистов и все политические партии. Грушенька слушала его с раскрытым ртом,

обмирая, кидалась к окну, плотно задергивала занавески, запирала дверь, чтобы ненароком не заглянула квартирная хозяйка — мадам Тимофеева, владелица заведения, где возвращали увядающей коже первоначальную юную свежесть.

Сейчас бы в салон мадам Тимофеевой... Разгладить эти морщинки, вернуть лицу былую красоту и румянец...

Как-то Тренев встретил на набережной старого университетского знакомого Камушкина, пригласил домой. Приятель носил форму горного департамента, и весь вечер он восторженно говорил о несметных богатствах Камчатки и Чукотки и буквально вскружил голову Грушеньке.

— А осенью можно уезжать в Калифорнию и до весны жрать апельсины и лимоны, — смачно говорил гость. — Дикарь там непуганый, все задарма отдает — и меха, и моржовый зуб...

Задарма меха... Эти слова запали в душу Грушеньки. Всю ночь она не сомкнула глаз, а утром решительно объявила: едем.

— Ты представь только, — соблазняла Агриппина Зиновьевна мужа, — кругом голые дикари, а ты в мехах...

— Тамошний дикарь голый не может, — заметил Тренев. — Там холодина страшная. Камушкин что говорил, помнишь? Извини, справляешь малую нужду, струя, так сказать, натурально на ходу замерзает.

Вскоре Таможенное ведомство вознамерилось послать группу ревизоров во Владивосток. Охотников ехать в такую даль оказалось немного, и начальство было весьма радо, когда Тренев сам вызвался войти в состав комиссии.

Во Владивостоке Тренев подал прошение с просьбой уволить его в отставку. Набрал товару и на попутном пароходе отбыл в Ново-Маринск, столицу Чукотского уезда.

Здесь его ожидало полное разочарование: таких как он — коммерсантов, оказалось хоть пруд пруди, а дикарь хорошо разбирался в товарах и пушнину даром отдавать не собирался.

Слов нет, теперь мехов у Агриппины Зиновьевны было вдоволь. Да и денег поднакопили, однако не так

много, чтобы кататься каждую зиму за апельсинами в Калифорнию.

Агриппина Зиновьевна пыталась разобраться в происходящих событиях, но все спуталось, перемешалось. Порой ей казалось, что настал долгожданный момент, когда ее Ваня может возвыситься... Но не тут-то было. Случалось нечто совсем неожиданное, и все шло прахом. После отъезда Каширина Тренев многозначительно намекнул жене, что и на сей раз не просчитался...

Когда наступит настоящее время? Может быть, теперь, в эту зиму? Сколько еще ждать? Усталость жмет сердце, сковывает руки и ноги, а тут еще возраст... Агриппина Зиновьевна искоса глянула на лежащего на постели мужа. Пренебрегать стал ею Иван Архипыч, скуп на ласки. И не оттого, что убавилось у Тренева мужской силы. Может, виной всему Милюнэ? Уж больно хороша девка, даром что дикарка. Вчера Агриппина Зиновьевна достала из сундука горностаевые накидки, две лисьи шубы, песцовые палантины, накинула на плечи служанки, чтобы осмотреть, глянула и обмерла — такая красавица, ну чисто царевна. И чем больше она торчит на кухне — тем краше становится. Нет, надо убирать ее из дому, а то и до беды недалеко.

Отставив зеркало, Агриппина Зиновьевна снова взглянула на мужа. Вчера допоздна сидели у Бессекерского, торговца, близкого к Грушецкому, пили настойку на моршке, ароматную, одуряющую, ели строганину из нежнейшего озерного чира и опять говорили, говорили, говорили. Бессекерский все призывал вооружаться, запастись патронами, сделать каждый дом настоящей крепостью.

— Кого боишься? — мрачно спросил его захмелевший Желтухин. — Каширин уехал, мутит воду где-нибудь на Второй речке во Владивостоке.

— А скорее всего, сидит в тюрьме, — засмеялся Грушецкий. — Никак не могу понять, неужто в России нет здравомыслящих людей для наведения порядка?

— А может, уже нашлись? — отозвался Тренев. — Что мы здесь знаем, в Ново-Мариинске, то бишь в Анадыре?

— А зря! — рявкнул вдруг Желтухин, и яркое пламя в тридцатилинейной керосиновой лампе подпрыгнуло. — Я говорю, — зря вы думаете, что с отъездом Каширина

здесь никого не осталось... Этот американский матрос мне что-то не нравится. И чего он тут сидит, на Чукотке, что ему тут надо на исконно русской земле? Есть у него вид на жительство?

— Так здесь, на Чукотке, нет черты оседлости;— усмехнулся Тренев.

— А ты, Тренев, не юли,— сквозь зубы процедил Желтухин.— Будут нас сгонять в один корабль, то и тебя прихватят. Ты думаешь, мы не видим, какую ты линию гнешь? Хочешь чистеньким остаться?

— Господа, господа!— Бессекерский заволновался, чуя назревающий скандал.— Давайте выпьем, господа! За новую Россию! За...

— Что ж ты его не поправляешь?— вновь накинулся на Тренева председатель комитета.— Не господа, а граждане, не правда ли? Или товарищи?

Агриппина Зиновьевна, встревоженная таким оборотом дела, вступилась за своего мужа:

— Пьяная рожа! Ты чего на людей кидаешься? Подумаешь, начальство... Как поставили, так и обратно спихнут... Вон как Мишина... Чуть не угодил — и под зад коленкой... И тебя так же, не радуйся.

Желтухин оторопел, выкатил глаза на Агриппину Зиновьевну, пробормотал:

— Ну и баба...

Треневы, с силой хлопнув дверью, тут же ушли.

Пурга уже начиналась, крутятся между домиками, завывая в печных трубах, унося на лиман снопы искр. В лицо била острая снежная крупа, и приходилось прятаться в высокий воротник. В душе Тренев был благодарен жене: как-никак она его выручила, но все же... Уж очень грубо она разговаривала с Желтухиным... Настоящей светской даме не пристало произносить такие слова...

Улегшись рядом с супругой в пышную уютную постель, Тренев отодвинулся к краешку, закрыл глаза и принялся мечтать. Особенно хорошо мечталось вот в таком состоянии легкого опьянения, когда мысли становились необыкновенно ясными, не путались и рисовали соблазнительные картины, которые никогда бы не пришли в отягощенную заботами трезвую голову. Чудилось же Треневу, что в конце концов какие-то внешние силы, ну, допустим, американцы или японцы решили

создать на северо-востоке особое государство. Чтобы оно было, с одной стороны, в меру демократическим, с другой — с твердой единоличной властью. Может быть, даже в виде конституционной монархии. И, чтобы это государство в глазах просвещенного мира вызывало симпатии, здесь должны быть учтены интересы и местного населения. В поисках человека, который мог бы возглавить такое государство, решающие силы обращают внимание на Ивана Тренева... Эх, жаль, не выучил в свое время чукотский язык!.. Хотя в Ново-Мариинске-то где его выучишь? Не будешь же ходить по грязным вонючим яраггам. Нет, это, видно, придется преодолеть. Тем более — чтобы стать во главе края, считаться предводителем народа. Может, соединиться с ним родственными узами? Жениться на чукчанке. На Милюнэ! Это ничего, что она служанка... Она ведь, кажется, родом из стойбища короля Армагиргина. В крайнем случае, родословную можно сочинить... Иван Тренев — правитель Чукотки! Звучит! Вместе с женой — Милюнэ, одетой в горностаевую мантию — он едет на большом пароходе с дружеским визитом в Америку, к самому президенту... А может, для начала в Японию. Микадо принимает его в Киото и замечает, что Милюнэ напоминает ему японку... Почести, почести, почести... И Милюнэ — красивая, нежная, покорная, молчаливая, не знающая ни одного грубого слова...

— Ну что разлегся, как свинья, прости господи! — прервала его грезы Агриппина Зиновьевна. — Или вставать не собираешься?

— Куда торопиться-то в такую пургу? — широко зевнул Тренев.

— Но встать же надо. Не будешь же целый день валяться.

Тренев молча сел на постели и невольно оглядел расплывшуюся фигуру жены, скрытую под складками зеленого халата.

— Вот, слушай, Ваня, об чем я подумала: надо что-то делать с нашей Милюнэ...

— А что? — насторожился Тренев.

— Девка в самом соку, хорошет со дня на день, как бы беды не вышло.

— О чем ты? — Тренев почувствовал в душе какую-то непонятную нарастающую тоску.

— Будто не понимаешь,— Агриппина Зиновьевна повернулась к мужу и насмешливо посмотрела на него сквозь прищуренные глаза.

Отчего он такой тощий? Вроде ест много. Вон как другие, прямо на глазах толстеют. А у Ивана тело поджарое, молодое, чего ему не заглядываться на Милюнэ...

— Замуж надо выдавать Милюнэ,— прямо сказала Агриппина Зиновьевна.

Стараясь казаться равнодушным, Тренев проронил:

— Это ее забота.

— Ну, нет!— отрезала Агриппина Зиновьевна.— Зря мы, что ли, ее мыли, чистили, к хорошим манерам приучали... Не дай бог какому-нибудь дикарю достанется...

В памяти Тренева мелькнули картины его мечтательного предводительства чукотским народом, и он с укоризной заметил:

— Ну какие они дикари... Не все же...

— Не все?— удивленно воскликнула Агриппина Зиновьевна.— Все как один! Вчера выливала Милюнэ на помойку ведро, так лабуты собак отпихнули, сами накинулись на помой. А помнишь летось байдара пришла из Уэлькаля? На которой Каширин приплыл? Старуху я там видала. Страшнее не бывает!

— Перестань!— простонал Тренев.

— А почему бы нам не посватать Милюнэ Станчиковскому? А? Человек он образованный, в уездном комитете видная фигура...

— Он же пьяница,— заметил Тренев.

— На Чукотке найти непьющего— все равно что ананас на снегу отыскать,— засмеялась Агриппина Зиновьевна.— Или вот— норвежец. Красивый мужик, здоровый. И помет будет хороший— представляешь, чукчанка и норвежец? А?

— Тыфу,— не сдержался Тренев.— Как ты рассуждаешь— помет... Да разве сука она, чтобы о ней так говорить?

— А что ты-то за нее заступаешься? Знаю-знаю, види у тебя на нее,— Агриппина Зиновьевна сердито погрозила пальцем.— Помню, как ты на нее кидался...

Милюнэ сидела на кухне. Самовар уже был готов, утренние лепешки испечены, а хозяйка почему-то не торопится с завтраком.

Кто-то постучал в дверь.

Милонэ выпла в тамбур, откинула деревянную щелкуну и впустила в сени запорошенного снегом человека. Это был Асаевич.

— Хозяева встали? — глухо спросил радист.

— Встали.

Асаевич прошел в кухню, еще раз стряхнул с торбасов снег, постучал в дверь, отделявшую хозяйскую спальню от кухни.

— Кто там, Машенька?

— Это я — Асаевич.

— Ой, извините, я еще не одета, — жеманно заулыбалась хозяйка, но все же широко растворила дверь, пропуская гостя в комнату.

— Не знаю, как и быть, — дрожащим голосом заговорил Асаевич. — Вот две телеграммы. Одна послана из Петрограда новым правительством и подписана — Ленин...

— Ленин? — переспросил Тренев.

— Похоже — так, — ответил Асаевич, — Ленин — странно звучит... Фамилия какая-то мягкая... И это название партии — большевики. Не большаки, не великаны — а большевики. А вот тут телеграмма из Петропавловска. В первой телеграмме говорилось о власти каких-то рабочих, крестьянских депутатов, о Всероссийском съезде Советов...

Тренев выхватил телеграммы из рук растерянного радиста и принялся читать.

— «...высшим носителем правительственной власти в области является областной комиссар, а на местах — уездные комиссары, утвержденные Временным правительством... Органом общественного управления в Петропавловске остается городская дума, впредь до образования земства Камчатский областной комитет несет обязанности земской управы и в лице своем замещает Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а на местах — волостные и сельские комитеты. Всякие посягательства с чьей бы то ни было стороны на эти органы власти будут искореняться самым решительным образом».

— Гражданин Асаевич! — посуровел Тренев. — Вам надлежит доставить телеграммы по назначению.

— Это куда же?

— В комитет. Нехорошо получается, гражданин радист... Адресом ошиблись.

Испуганный, растерянный Асаевич пробежал мимо Милюнэ и выскочил в крутящуюся снежную метель.

Тренев выглянул на кухню, увидел Милюнэ, занятую своими делами, и приказал:

— Подавай завтрак, Маша!

За завтраком Треневы говорили о телеграммах.

— Я слышал о большевиках,— признался жене Тренев.— Еще в пятом году, помнишь, в Петербурге? Это они там всю кашу заварили. Я-то, грешным делом, думал, что Ленин навсегда осел за границей и наукой занялся... А вот объявился... Надо же.

Тренев помолчал, наморща высокий с глубинными залысинами лоб, что свидетельствовало об упорной работе мысли.

— Представь себе, Груша, какие дела творятся в Питере, если даже такие, как большевики, хватают власть... Н-да... Черт знает, может, мы прогадали, что поехали сюда. Может, наша фортуна дожидается нас где-нибудь на Васильевском острове...

* * *

Представители уездного комитета, несмотря на пургу, собрались на совещание.

Кулиновский лопатой отгребал снег от дверей, но их тут же снова заносило. Чуть ли не для каждого нового посетителя приходилось заново откапывать вход.

Желтухин разглаживал телеграммы на столе и дул на руки, чтобы согреть пальцы. Дом не отапливали, и холодина был такой, что приходилось сидеть в полушубках и шапках. По углам комнаты белел снег, в стенах светились заиндевелые шляпки гвоздей. Когда же народу набралось много и в помещении чуть потеплело, с потолка закапало.

— Граждане,— заговорил Желтухин.— Нами получены две телеграммы. Я зачитаю сначала ту, что из Петропавловска, потом — из Петрограда.

Все слушали молча, вникая в каждое слово.

— Чего тогда собирали? Опять то же самое. Переворотов вроде бы много, а все по-прежнему,— заметил Ермачков, когда председатель, закончив читать, отложил телеграммы в сторону.

— Есть предложение, — сказал Желтухнн, — выразить нашу верность Временному правительству.

— Так Временного правительства в Петрограде уже нет, — возразил Грушецкий, — кому выражать-то?

— Ноиче любое правительство временное, — вставил Ермачков, — не ошибемся.

— Граждане, — поднялся Тренев. Он лихорадочно соображал, как быть. Все смешалось, словно в пургу. — Я так думаю — держаться.

— За что держаться? — насмешливо спросил Грушецкий.

— А я предлагаю вооружаться, — мрачно буркнул Бессекерский.

— Тебе вооружаться не надо, у тебя и так оружия полно, — ядовито заметил Грушецкий.

Бессекерский специализировался на торговле оружием и сбывал местным охотникам все, что могло стрелять. Он продавал русские кавалерийские карабины, трехлинейные винтовки, японские «арисаки» и американские винчестеры. На берегу лимана он выстроил склад из гофрированного железа, который анадырские остро-словы нарекли арсеналом.

— Ежели нам надо удерживать существующий порядок в уезде, то мы должны иметь на это вооруженную охрану, — продолжал Бессекерский. — Собрать отряд, вооружить его, обучить военному искусству и держать наготове.

— Граждане, — снова встал Тренев. — Это же смешно. Если придут американцы или японцы на военных кораблях с регулярными войсками, то они даже и глядеть не станут на наше войско.

— А наше войско не против них, — возразил Бессекерский. — Против большевиков.

Грушецкий засмеялся. Его густой, басовитый смех заполнил комнату.

— В нашем Ново-Марининске сейчас найти большевика так же трудно, как банан.

— А что это — банан? — с любопытством спросил Ермачков.

— Тропический фрукт, — пояснил ему Станчиковский. — И, наклонившись к уху Ермаčkова, добавил еще что-то, рыбак затрясся от смеха:

— Дык как же его едят?

— Граждане,— Тренив почувствовал необъяснимый прилив сил. Может, подействовали утренние мечтания, разговор с Агриппиной Зиновьевной.— Организовать дружину это, конечно, важно и, может быть, в соответствующих условиях полезно. Но поскольку зримого врага мы не имеем, то надобность в таком отряде отпадает сама собой. Граждане, быть может, я единственный среди вас, который своими глазами видел большевиков...

— Да ну!— не выдержал Ермачков.

— Заткнись, рыбод!— зашикал на него Станчиковский.

Тренив, чувствуя, что собравшиеся заинтересовались, воспрянул духом.

— Граждане,— заговорил он тише, но более проникновенно,— есть большевизм. Большевизм— это учение о равном распределении богатств, о всеобщем дележе. Выдумал его немецкий философ Карл Маркс, а Ленин...

— Так каков он из себя, этот большак?— с нетерпением прервал Тренива Ермачков.

Сидевший поблизости Станчиковский обернулся, громко рывкнул:

— Хлебнул с утра, так сиди и помалкивай.

— Это учение весьма привлекательно для лиц, не имеющих никакой собственности и с вожделением и завистью взирающих на тех, кто владеет каким-нибудь богатством в виде ли дела какого-нибудь или просто так деньгами. А так как таковых большинство в России, то учение с необыкновенной быстротой распространилось. Все смуты тысяча девятьсот пятого года от большевиков, и кровавые бунты происходили под их предводительством. Опасность большевизма в самой идее. Стоит этой идее запасть в гущу нашей толпы, как она зажигает ее, будто спичка, брошенная в стог сена.

Тренив мысленно отметил, что говорит необыкновенно красноречиво и образно.

— Чтобы предотвратить опасность большевизма в нашем уезде, где неимущих гораздо больше, чем владельцев, промышленников и коммерсантов, я предлагаю расширить состав нашего комитета, введя в него представителей местного населения из неимущих слоев. Такой жест с нашей стороны ослабит напряжение и вызовет доверие у народа.

— Был уже один — Кашпирин, и все знают, чем это кончилось,— заметил Грушецкий.

— Вот это да!— удивленно протянул Желтухин.— Начал за здравие, а кончил за упокой. А я вот рядом с дикарем сидеть не буду!

— С меня довольно и того, что снижу с пьяным Ермачковым,— брезгливо заметил Станчиковский.— Граждане, это даже как-то неестественно... Натаскают вшей, оленьей шерсти и еще черт знает чего. Да ведь сам не так давно говаривал, что привлечение дикарей к политической деятельности нежелательно.

— Развитие событий заставляет нас менять привычные представления,— туманно заметил Тренев, чувствуя, что его предложение поддержки не получает.

— Ты так и не рассказал, каков он, этот большак, а хвастался,— снова подал голос Ермачков.

— Это ты — большевик!— огрызнулся на него Станчиковский.

Ермачков вмиг протрезвел, ошалело уставился на Станчиковского и начал мелко-мелко креститься, приговаривая:

— Свят-свят-свят... Да ты что? Да как это так?

Желтухин пошуршал телеграммами.

— Граждане,— сказал он устало,— сейчас в Ново-Мариинске пурга. По всему видно, продлится она не один день. Торопиться нам некуда. Поэтому предлагаю разойтись по домам, подумать. Тем временем, может, придет какое-нибудь разъяснение.

— Граждане,— загремел своим басом Грушецкий.— Предлагаю до полного выяснения обстановки содержания телеграмм населению не разглашать. Зачем полусту волновать народ?

— И то верно,— согласился с ним Ермачков.— Зазря только этими большаками пугали, теперь мерещиться будут дикоплешие...

Один за другим скрывались в молочно-белой круговерти члены комитета, растревоженные не столько телеграммами, сколько загадочными большевиками.

Отворачивая лицо от секущего снега, Тренев пробирався к своему домику. На повороте он вдруг столкнулся с Тымнэро, родичем Милонэ-Маши. Чукча шагал сквозь снег весь белый, и лицо его вместе с редкими усами тоже было облеплено снегом. Тренев шархнул

в сторону, испуганный неожиданным его появлением.

Отряхиваясь в сенах, он все видел перед собой этого рослого чукчу, возникшего из пурги, словно порождение самой снежной бури.

* * *

Ушедший вперед на легких беговых нартах Армагиргин облюбовал место в узкой долине, между двумя высокими холмами. Горы защищали от ветров, а склоны были покрыты довольно тонким слоем снега, так что оленям легко будет добывать себе корм.

Быстрая езда по снежной целине на свежем пронизывающем ветру взбодрила Армагиргина. Для истинного оленевода нет ничего прекрасней перекочевки. Колышущаяся по обеим сторонам нарты тундра, свист вольного ветра, резвый, будто парящий, бег оленьей упряжки, манящая линия горизонта, у которой ослепительно белая гладь сливается с небом, вселяет в человека великую радость жизни, дает ему силы и бодрость духа. Оленевод кочевал всегда. На нартах он рождался, на нартах и умирал.

Армагиргин искренне жалел тех, кто лишен этого счастья, тех, кому неведомо сладостное чувство движения.

Хозяин стойбища сидел на нарте, поджидая растянувшийся аргиш¹.

Вот стадо обогнуло холм и направилось на нетронутое пастбище. Женщины принялись ставить жилища, располагая их позади яранги «переднедомного» — хозяина и главы стойбища. Пастухам было наказано забить несколько оленей для жертвоприношения и еды.

Подъехал Теневиль. В душе Армагиргина шевельнулось странное чувство то ли зависти, то ли еще чего-то. Он смотрел, как Раулена ловко распрягала ездовых оленей, ставила ярангу. Под неуклюжим меховым кэр-кэром угадывалось гибкое молодое тело. Армагиргин вспомнил Милюнэ и на миг представил себе, как ставила бы она его ярангу, вот так же сгибаясь под тяжестью жердей, сопротивляясь надутому ветром шатру-рэтэму. Да, он затаил обиду на своего своенравного пас-

¹ А р г и ш — олений караван.

туха, по сути отнявшего у него, может быть, последнюю радость жизни.

Жены Армагиргина — старая Нутэнэут, Гувана — тоже ставили хозяйскую ярангу. Так уж повелось испокон веков, что установка жилища была делом женщины, хранительницы семейного очага. Сначала возвели остов из почерневших деревянных жердей, потом поставили каркас, на него натянули рэтэм — огромную покрышку из обстриженных оленьих шкур. На самой макушке яранги, где пучком сходились жерди, оставалось дымовое отверстие. Оно же служило источником дневного света.

В эту пору сумерки наступают рано, и потому все спешили поставить яранги, внести утварь, повесить спальные пологи.

Пока Гувана укрепляла стенки только что возведенной яранги, обкладывала камнями и снегом полы тэнэма, Нутэнэут разостлала на снегу меховой полог и принялась выбивать его гнутым оленьим рогом-тивичином. Она как бы полоскала в чистом снегу оленью шерсть, выветривая из нее коготь жирника, людской пот, осевшие запахи пищи. Полог наполнился свежестью тундрового зимнего ветра.

Когда рэтэм покрыл жерди, Армагиргин, нагнувшись, вошел в чоттагин, чтобы добыть огонь из длинной ритуальной дощечки. Вообще-то у него было сколько угодно американских спичек, но так уже повелось: первый огонь в заново установленном жилище полагалось добывать древним способом. Такой огонь более чистый, только он и годится для разных священных обрядов.

В левом от входа углу, возле двери, уже были приготовлены закопченные камни очага, которые образовали круг, а внутри лежали ветки стланика, белые стружки растопки.

Армагиргин достал из священного мешочка дощечку с обуглившимися углублениями, трут, палочку из твердой породы дерева и лучок, с помощью тетивы которого вращалась палочка. Мелкая древесная пыль задымилась, мелькнул синий огонек, а потом появилось пламя, бережно перенесенное в очаг.

Увидев синий дымок над ярангой хозяина, остальные также зажгли свои костры.

Из стада притащили ободренные туши оленей.

Молодой шаман Эль-Эль вошел в чоттагин и громко спросил:

— Можем начинать?

Армагиргин молча кивнул и тяжело поднялся с бревна-изголовья. С каждым днем все труднее и труднее становилось поддерживать в себе бодрость, энергию. Неумолимо приближалась старость...

Безмолвная, погруженная в зимнюю спячку долина наполнилась возбужденным многоголосым гомоном, всполохами живительных вечерних костров. У подножия холма, над речкой, промерзшей до самого дна, на чистом снежном поле уже собрались пастухи на священное жертвоприношение Тэнантомгину — Верховному Создателю, великому богу, вездесущему, всепроникающему и не имеющему равных среди прочих богов. С той самой минуты, когда отец Дионисий окропил бритую макушку оленевода прохладной водой из купели, Армагиргин чувствовал себя виноватым перед Тэнантомгином и старался загладить вину щедрыми жертвоприношениями. Он и мысленно, а иной раз и вслух, когда рядом никого не было, обращался к богу, моля об оправдании. Что ему было делать? Такова жизнь. На краю земли, меж двумя тангитанскими державами Россией и Америкой надо было куда-то приткнуться, искать защиты и покровительства.

Армагиргин выбрал дружбу с русскими. Прошло время героического сопротивления, хвастливых сказаний, где русский казак всегда выставлялся в самом невыгодном и плачевном виде. Во всех сказаниях говорилось о великих победах, однако где следы этих побед? Наоборот, повсюду на чукотской земле повыврастали крепости, тангитанские деревянные дома, обнесенные высоким бревенчатым частоколом. Они стояли на древней чукотской реке Анюе, у села Островного, под самым носом у гордого и насмешливого Леута, по великой реке Анадырь, в верховьях ее и в устье... Но с другого боку был американец. Он бил кита в Беринговом проливе и, изголодавшийся в морском походе по женскому телу, врывался в яранги береговых жителей. Оттого в Уэлене, Инчоуне, Яйране — повсюду — полно светловолосых и голубоглазых, будто родившихся с осколком голубого неба в глазах. Американец торговал истово. Если надо — он возил все, что ни попроси у него. И

хоть американец был ласков и улыбчив, чукотскую землю он не считал своей. Еще издавна покойный исправник Кобелев, царство ему небесное, познакомил Армагиргина с «Положением об инородцах», где чукотскому народу было отведено сомнительно почетное место «не вполне покоренного народа». Зачем же покорять, ежели добровольно можно побрататься с русскими, с Солнечным Владыкой? Правда, не вышло... Не получилось... Опоздал...

Молодой Эль-Эль, мало похожий на шамана, робкий и застенчивый, вполголоса беседовал с Тэнантомгыном, обращая лицо свое ввысь, в побледневшее от яркой луны небо.

И зачем он смотрит вверх? Тэнантомгын — везде: и в небе, и под землей, и под толщей льда... Об этом говорят горячие источники. В их целительных водах находят облегчение и люди и звери. Больные копыткой олени, почуяв близость горячих ключей, из последних сил бредут к ним.

Эль-Эль благодарил Тэнантомгына за милости, ниспосланные живущим на земле, а Армагиргин по привычке шептал свои покаянные слова:

«Хотел я тебя побратать с тангитанским богом, что в человеческом обличье изображен на больших картинах — иконах. Не предательства я искал, а дружбы, не забвения твоих милостей, а лучшего понимания. Мыслил я так: если буду почитать и русского бога, и тебя, то мой бедный народ удвоит силы, умножится оленьи стада, уменьшатся пурги и ненастья, мхи тучнее будут расти на тундре, люди вдвое меньше будут страдать от происков злых кэле, меньше будут болеть. Радел я не о собственной славе, а о благе всего живущего вокруг оленей. Я говорю правду, не скрыть мне от тебя самых сокровенных мыслей, не убежать ни в высокие горы, ни в узкие ущелья, ни в открытое море, ибо ты вездесущ и всепроникающ... И открываюсь весь тебе такой, какой есть. Да, хотел я понять русского бога и даже одно тангитанское заклинание знал. Говорилось в нем о том, что бог есть отец и живет он на небесах... Только на небесах... А ты — повсюду... Ему возносят благодарность за хлеб, который он дает людям. Видишь — каков он перед тобой? Что хлеб против жирного оленьего мяса? Трава, да и только... Только ты даешь нам настоящую

еду, достойную настоящих людей — луораветланов. Я смиренно склоняю перед тобой свою старую, седую голову. Уже нет надобности стричь мне макушку, ибо поредел волосы так, что и без бритья макушка моя голая... Гнев твой я принимаю со смирением: не дал ты мне потомства, ибо предательство не может иметь продолжения в роду... Но укажи моему народу, как жить дальше? Смута отовсюду идет, дурные слухи, страхи наползают. Укажи и просвети нас, покажи настоящую дорогу...»

Младший Эль-Эль уже давно закончил священное действо, принес жертву не только Тэнантомгыну, но и множеству других, второстепенных богов, попросил хорошей погоды и мягкого мороза, а Армагиргин все был в состоянии глубокого размышления и, судя по движениям его губ, все еще беседовал с Тэнантомгыном. Иногда молодому Эль-Элю казалось, что Армагиргин гораздо больший шаман, чем он сам, прошедший сызмальства выучку у своего отца: в своих отношениях с Высшими Силами хозяин стойбища был неистов, старателен и благочестив. Иные отмечали, что это усердие от чувства вины: ведь в свое время Армагиргин принял русского бога.

О том достопамятном событии уже сложились легенды одна причудливее другой. В одних сказывалось о том, что сам Солнечный Владыка из дальнего своего стойбища, застроенного огромными каменными ярангами, приезжал на свидание с Армагиргином в Якутск и там называл своего чукотского поданного братом, одарив его одеждой, ритуальным ножиком, а также специальной бумагой, которая от долгого хранения в берестяном проткоочгыне¹ давно истлела и искрошилась.

По другим сказаниям получалось так, что Армагиргин получил от русского царя власть над всей чукотской землей, но враги его — чаунский эрмэчин Леут и другие отказались повиноваться ему.

Ведали также и о том, что Армагиргин вошел в сношение с русским бородатым богом и в знак полного повиновения надел на шею цепь, будто невольная собака.

Все это давно стало сказками, а на шее у Армагиргина висел родовой его божок — священная фигурка

¹ Проткоочгын — табакерка из бересты.

Ворона, служивший связующим звеном между Армагиргином, его родом и богами.

Погруженный в размышления Армагиргин шел к своей яранге.

У порога он обернулся к Эль-Элю, сказал:

— Пусть придет Теневиль.

Пастух сидел у полога и полировал зубами оленью кость, когда шаман передал ему приказание хозяина. Давненько не ели в стойбище Армагиргина настоящее свежее мясо: не разрешал хозяин забивать оленей. И вот наконец расщедрился — в каждую ярангу по целой туше! Интересно, зачем Теневиль понадобился Армагиргину?!

Вытерев пальцы о шерсть своих камусовых штанов, Теневиль нехотя поднялся и не торопясь направился к яранге эрмэчина.

Армагиргин сидел в одиночестве, за низким тундровым столиком и молча смотрел на дымящееся перед ним вареное мясо.

— Етти, — тихо приветствовал он Теневиля.

— Ии, — ответил пастух.

— Подойди ближе.

Теневиль подошел и, повинуясь жесту хозяина, уселся на бревно-изголовье.

Возле корытообразного блюда-кэмэны он заметил берестяной проткоочгын.

— Ешь, — коротко сказал Армагиргин.

Теневиль взял ребрышко и для приличия поглотил его — негоже отказываться от еды, когда предлагает хозяин.

Порывшись заскорузлыми пальцами в коробочке, Армагиргин вытащил куски истлевшей бумаги и разложил их на краю столика.

— Гляди, Теневиль, это царская бумага. Никто из нашего народа не понимает, что тут начертано. Да и ты не поймешь, ибо не учился ты тангитанской грамоте. Просьба моя такая — переведи эти значки на дерево. Выбери из моих запасов покрепче, чтобы долго хранилось. Видишь, бумага оказалась слабая, не выдержала.

Армагиргин бережно сложил бумагу в проткоочгын и протянул Теневилю.

— Хорошо, я постараюсь...

— Погоди,— остановил его Армагиргин.— Ты ешь. Мне нужно поговорить с тобой.

Теневиль взял еще одно ребрышко.

— Вот слушай... Ты с малолетства меня знаешь. А я давно приметил тебя. Ты человек не такой, как все в нашем стойбище, а может, у всего нашего народа... Я вижу — наверное, ты один в нашем стойбище не завидуешь мне и доволен своей жизнью. Так ли это?

Теневиль промолчал. И несмотря на то что хозяин говорил тихо, даже ласково, ему почудилось, будто прикоснулись к нему чем-то холодным и склизким...

— Сегодня я говорил с Тэнантомгыном,— продолжал таким тоном, словно беседовал он не с самим богом, а с соседом по стойбищу, старик.— Видно, он наказал меня за служение русскому богу, не дал мне потомства. Но Тэнантомгын посоветовал мне сделать тебя моим наследником, передать тебе мои стада, мое имя и мою силу над людьми... Вот только не знаю, что с этим делать,— Армагиргин кивнул на берестяной проткоочгын.— Сказывают, что Солнечного Владыки больше нет. Как быть дальше? Может, нам с русскими больше не по пути? А? Кого спросишь? Думаю, надо нам в Вьэн поехать, своими глазами поглядеть... Ты собирайся... А насчет наследства... подумай... я не тороплю...

* * *

Теневиль теперь не дежурил в стаде.

Он перебрал множество дощечек и остановился на белом податливом дереве. Расчистил его, обстругал ножом, а потом отполировал до матового блеска куском оленьей замши. Получилась поверхность несколько не хуже настоящей белой бумаги. Осторожно вынул полустлелые куски царской бумаги и аккуратно разложил их, подогнав друг к другу.

Трудясь над обрывками ломкой, желтой бумаги, Теневиль не переставал думать о том, что сказал Армагиргин. Это было страшно и непонятно. Вроде бы после всего случившегося хозяин должен был отомстить ему, может, даже изгнать из стойбища. Но не сделал этого. Почему? А может, месть в том и заключается, чтобы сделать Теневиля владельцем стада и хозяином стойбища. Но почему именно его? Есть ведь у Армагиргина и дальние и ближние родичи, которые только и ждут

его смерти в надежде поделитъ оленей. Да, Тэпантом-гын крепко наказал Армагиргина, лишив его потомства. Теневиль уважительно подумал о чукотском бoге, о его мудрости — предательство не должно передаваться из поколения в поколение...

Раулена, носящая в своем чреве будущего ребенка, присела рядом, заглянула в глаза мужу:

— Что тебе сказал Армагиргин? Ты стал скрытен и молчалив...

Разве можно сказать об этом женщине? Лучше проглотить язык. И, чтобы успокоить жену, Теневиль сообщил:

— Собираемся в Вьэн поехать. Посмотрим, что там делается. Увижу Тымнэро, Милюнэ... Каково им живется?

— Это хорошо!— воскликнула Раулена.— Я пошлю Милюнэ пыжик, а Тымнэро неблюй¹ на кухлянку.

— Они обрадуются подаркам,— заметил Теневиль, примериваясь, как расположить тангитанское письмо на дощечке так, чтобы оно поместилось целиком на одной стороне, да еще примостить в конце круглое тавро, внутри которого была нарисована двухголовая когтистая птица.

Раулена глянула через плечо мужа и ужаснулась:

— Какая странная птица!

— Иди погляди на снег!— встревожился Теневиль. Женщина, носящая в себе будущую жизнь, не должна смотреть на гадкое и неприятное — иначе это отразится на будущем ребенке, он может уродиться кривым, глухим — словом, с каким-нибудь изъяном.

Раулена вышла из яранги, поглядела на дали, утопавшие в синей мгле, на усыпанное звездами небо, на полную луну, поднимающуюся над горизонтом, на Млечный Путь — Песчаную реку, протянувшуюся через небосвод, и постепенно в ее душу входило умиротворение, спокойствие и блаженство. Какая красота, какая сила вокруг! В промежуточном пространстве между высотой и землей, от линии стыка неба и дальних гор — повсюду разлито это могущество и спокойствие. Хорошо, если бы оно передалось будущему сыну и он был бы так велик и силен, как сама природа.

¹ Неблюй — шкура молодого оленя.

Озябнув, Раулена возвратилась в чоттагин, где при свете плавающего в нерпичьем жиру мха муж переносил на дерево русские письма.

Теневиль вглядывался в каждую букву, стараясь уразуметь ее значение. Он работал специальным шильцем, которое сам смастерил для такого случая. Русские буквы напоминали ему то ярангу, то русский дом, лесенку, положенную набок байдарку, с сидящими в ней гребцами, человека, широко расставившего ноги, жаренную на нерпичьем жиру лепешку с дыркой посередине. Буквы стояли не сплошняком, они были отделены друг от друга промежутками. Причем одни знаки были выше, словно эрмэчины, другие — ниже.

Перенося знаки, Теневиль старался изображать их не только точно, но и красиво, чтобы они стояли как деревца на границе тундры и лесов.

Раулена сидела у костра и время от времени поглядывала на мужа, женское любопытство удерживало ее в чоттагине, ей казалось, что еще немного — и откроется Теневилею тайна русской письменной речи и он услышит слова.

— Ну как, понимаешь? — не выдержав, спросила Раулена.

— Нет, — вздохнул Теневиль. — Но все равно интересно. Ничего похожего на то, что сделал я.

— Может быть, то, что ты придумал, лучше тангитанского разговора?

— Не знаю, — с сомнением покачал головой Теневиль. — Они тут обходятся совсем малым количеством знаков...

— Может, оттого, что речь у них бедная?

— Может, — согласно кивнул Теневиль.

Две группы знаков особенно часто повторялись в царской бумаге, и Теневиль догадался, что это имена Армагиргина и русского царя. Так как перед одним словом повторялись с большой буквы сразу несколько — то оно, как предполагал Теневиль, и было именем Солнечного Владыки. В его собственных записях имя Солнечного Владыки изображалось так: знак Солнца — диск с расходящимися лучами, на особом сиденье — китовом позвонке.

Раулена уже дремала у потухшего костра, а Теневиль все трудился и трудился.

Уже под утро, когда сморенная сном Раулена крепко спала в пологе, высунув голову в чоттагини, Теневиль принялся переводить на деревянную дощечку царское тавро — тощую когтистую птицу с двумя головами, повернутыми в разные стороны.

Теневиль не просто выдавил на дереве каждую букву, но еще и обвел пачкающей палочкой, выторгованной во время последней поездки во В'ээн. Получилось несколько не хуже, чем на оригинале, и Теневиль долго любовался выделанной им дощечкой.

* * *

Аргиш Армагиргина, направлявшийся в Ново-Маринск, состоял из нескольких нарт. Вместе с хозяином ехала его младшая жена Гувана. В таком путешествии без женщины не обойтись: надо кому-то ставить на остановках ярангу, разжигать костер, готовить еду, следить за одеждой. В помощь Гуване хозяин взял еще двух молодых девушек, дочерей пастуха Кымынто.

Позади нартового каравана шло небольшое оленье стадо — для торго и для собственного пропитания.

Ехали не спеша, иногда останавливались на день, другой, чтобы дать отдых стаду, ездовым оленям, чтобы переждать пургу.

В Марково Армагиргин задерживаться не стал. Черепакнин ничего вразумительного сказать не мог, только жаловался на трудные времена, на неопределенность и неясность будущего.

Дальше путь шел по реке. Нарты легко скользили по ровному, убитому ветром снегу. По берегам росли деревья, высокие кусты — топливо для костров было достаточно. Иногда уходили в сторону в поисках оленьих моховищ, потом снова возвращались на реку, мощь которой чувствовалась даже сквозь толстый слой льда и снега.

На стоянках Теневиль спал в яранге Армагиргина, ибо своего жилища он не взял, оставил его Раулене.

Армагиргин был немногословен, но пугал Теневиля воспоминаниями о своем якутском грехопадении. В этих признаниях чувствовалась неизбывная тоска о прожитой жизни, об утраченных радостях, несбывшихся надеждах.

— Помнишь Вэйпа? — спросил однажды Армагиргин за вечерней трапезой.

Кто же не помнит Вэйпа? Такой человек не часто объявляется в стойбище Армагиргина и вообще на чукотской земле. Это был довольно молодой тангитац, с бородкой. Он хорошо говорил по-чукотски. Интересовали Вэйпа старинные сказания, шаманские заклинания, острые слова...

Люди говорили тогда, что сослан Вэйп в холодные края самим Солнечным Владыкой за то, что вздумал он заступиться за бедный народ. С чего это ему такое пришло в голову? Ведь сам-то он возил знатный запас чая и сахара и задабривал сказителей щедрыми подарками — связками табака, чаем, бисером...

— Пожалуй, такие, как он, и подняли смуту, — сказал Армагиргин. — Опасный, однако, был человек... Даже шаманить с Эль-Элем пытался... Влезал в темный полог и как бы невзначай зажигал свет. Все хотел вызнать, даже самое сокровенное...

Армагиргин помолчал.

— Он мне переводил царскую бумагу. Сказал — серьезная бумага и слова там значительные. Потом спросил: «А зачем тебе быть подданным русскому царю, зачем служить ему?»

«Действительно, зачем?» — мысленно повторил Теневиль.

— А затем, — словно отвечая на вопрос, продолжал Армагиргин, — чтобы защита была нашему народу. Чтобы не грабили, не помыкали нами, будто мы не люди. Время идет вперед, и жизнь тоже идет. Новые рождаются поколения, и они уже иначе смотрят на мир. В этом и смысл. А так для чего была бы эта мена людей? Тогда бы жили мы вечно, не уходя сквозь облака... Гляди — ружья стали другими. Раньше к нашим берегам приходили парусные шхуны, теперь — огромные железные корабли с огнедышащими машинами. Выдумывает человек, ищет умом выгоду. И нам надо искать себе выгоду... Оттого и обратился я к Солнечному Владыке. Однако его нет — что делать? Что делать теперь?

Теневиль не отвечал, ибо понимал, что вопрос обращен не к нему, беседуя с ним, Армагиргин как бы вслух рассуждает с самим собой, оправдывает себя.

Ново-Маринск открылся знакомыми Теневиллю мачтами радиостанции. Олений аргиш вышел из-за поворота реки прямо на мыс Обсервации, черными скалами обрывающийся в торосистый Анадырский лиман. Стадо, опасаясь собак, погнало вверх по замерзшей реке Казачке, в обход Ново-Маринска. Яранги поставили также на берегу реки, у подножия горы Святого Дионисия.

Поставили яранги, разожгли в жилищах костры и принялись за еду: если таигитанам нужно, приедут, а самим торопиться некуда, надо передохнуть после долгой дороги, обсушиться, переменить обувь, упряжь осмотреть, основательно устроиться — ведь жить здесь придется не один день.

Теневиллю хотелось поскорее увидеть Тымнэро, но Армагиргин не спешил, словно прибыл он не в центр Чукотского уезда, а на берег безлюдной тундровой речки.

За вечерней трапезой в чоттагине старик как всегда пустился в воспоминания о прошлом.

— Сказывал еще мой дед, что вот в этом самом месте, где стоит сейчас таигитанское селение, дикие олени вплавь переходили Анадырь. С отдаленных стойбищ собирались здесь чукчи, эскимосы, коряки, ламуты и копьями били плывущих оленей. Зверя было столько, что вода кровью окрашивалась. Тогда на рыбу и не глядели, заготавливали ее только для собачьего корма... Куда подевались те дикие олени — никто не знает. Ушли. Исчезли. Иногда попадают в тундре, уводят из стада домашних, но их теперь мало, совсем мало... Должно быть, таигитаны выбили ружьями...

За стенами яранги послышался собачий лай.

— Ну вот и первый гость, — спокойно произнес Армагиргин и поднялся.

Следом за ним из яранги вышел Теневиль.

На нартах, запряженных в собачью упряжку, сидел одетый по-чукотски чуванец, а с ним незнакомый таигитан.

— Амын еттык, — приветствовал гостей Армагиргин.

— Ии, — по-чукотски ответил чуванец и пояснил: — Я здешний житель, Михаил Куркутский, недавно в Но-

во-Мариинск вернулся, а этот человек — тангитанский начальник Желтухин. Он нынче верховная власть у нас.

— Новая, стало быть, власть вместо власти царя? — деловито спросил Армагиргин.

— Новая, — коротко подтвердил Куркутский.

— Однако твоего родича Ваню Куркутского я знаю, — сказал Армагиргин, обращаясь к чуванцу. Он старался показать, что новая власть его не интересует. — Хороший каюр. Где он, здоров ли?

— Это мой брат, — ответил Михаил. — Здоров он. Корюшку на лимане ловит.

— Что, мало летом рыбы запасли?

— Да... Худо шла рыба...

Желтухин стоял возле нарты, нервно подергиваясь и переступая с ноги на ногу.

— Власть замерзла, — заметил Армагиргин, — входите в ярангу, поешьте.

Желтухин что-то быстро сказал своему каюру.

— Тангитан спрашивает — по какой надобности и надолго ли прибыли в Ново-Мариинск? — перевел Куркутский.

— Скажи ему, — Армагиргин небрежно кивнул в сторону Желтухина, — что прибыли мы по своей надобности, на свою исконную землю и по старинному обычаю никого об этом не спрашиваем.

Смущаясь и запинаясь, Куркутский все же перевел слова Армагиргина, и тангитан как-то странно заморгал, словно вдруг в глаза ему попала зола от стрелявшего искрами жарко пылающего костра.

— Приехали мы в Вьэн, — продолжал Армагиргин, называя Ново-Мариинск старинным чукотским названием, — чтобы узнать от властей, что же произошло и как нам дальше жить. Мы все же считаем себя подданными российского государства, однако разное слышим, противоречивое...

Желтухин с облегчением вздохнул, принялся объяснять:

— В России произошел государственный переворот. Власть перешла к Временному правительству. Для сохранения спокойствия и осуществления государственной власти в Ново-Мариинске вместо начальника уезда, представляющего власть губернатора, избран Комитет

общественного спасения, который я имею честь возглавлять...

Куркутский переводил и дивился словам, которые произносил Желтухин. Он слышал о какой-то новой телеграмме, пришедшей в Ново-Мариинск. Она хранилась в особом железном ящике, ключи от которого Желтухин всегда держал при себе.

— Надеюсь, граждане оленеводы, поняли сказанное?— обратился Желтухин к Армагиргину.

— То, что ты сказал,— учтиво ответил Армагиргин,— мы поняли. Однако проживем немного здесь, слушаем других.

Он вышел проводить гостей и долго смотрел вслед удаляющейся упряжке.

Вдали, в темноте надвинувшегося зимнего горизонта виднелись огоньки Ново-Мариинска, пробивающиеся сквозь заиндевелые окошки.

— Надо навестить наших земляков, живущих здесь,— сказал Армагиргин Теневиллю.— Слыхал я, родичи тут у тебя. Съезди к ним, угости свежим оленьим мясом, одари шкурами.

* * *

Сам Армагиргин в Ново-Мариинск не поехал, но проследил, чтобы на нарту Теневиля положили свежееобдранную оленью тушу, пыжики, шкурки неблюя, немного пушнины для торга.

— Ты поживи у родичей,— наставлял он Теневиля,— погляди, каково им там, послушай их речи. Сходи к чуванцам. Отдай шкуру Ване Куркутскому. Скажи — от меня. Пыжик на малахай передай Анемподисту Парфентьеву. Человек он хоть и молодой, но умный и хитрый. Он все понимает, правда, не всегда вслух говорит...

Долго еще Армагиргин перечислял имена тех, с кем надо повстречаться в Ново-Мариинске. Оказалось, безвылазно сидевший в своем стойбище эрмэчин знал множество людей, помнил их и даже описывал их внешность.

Напоследок Армагиргин вытащил связку белых горностаев.

— Передай от меня Милюнэ,—сказал он со вздохом, взвешивая на руке легкий, почти невесомый мех.— Небось за тангитана замуж вышла. Пусть носит, как настоящая тангитанская женщина... Ну, а если она свободна... Скажи, что двери моей яранги всегда открыты для нее.

Видно, воспоминание о Милюнэ разволновало старика, и он, резко отвернувшись от Теневиля, шагнул в чоттагин.

В Ново-Марининск ехали на двух нартах.

Упряжные чуяли собак и неохотно шли вперед. На подходе к крайним домам оленей выпрягли, и второй каюр умчался на них в стойбище, оставив Теневиля одного. Немного передохнув, Теневиля взялся за нарту и потащил ее к яранге Тымнэро, стоявшей чуть поодаль от основного скопища домов.

Люди с любопытством разглядывали оленевода, некоторые окликали его, здоровались:

— Етти!

— Какомэй!

Высоченный тангитан, которого раньше Теневиля видел вместе с Кашириным, кинулся к нему, схватил правую руку и стал трясти, словно намереваясь вытряхнуть ее из рукава кухлянки. Пастух не сразу сообразил, что именно таким образом и здороваются тангитаны, для них схватить за руку лучшего друга — самое сердечное приветствие.

— Здравствуй, друг... Очень рад тебя видеть. Глэд-ту си ю! Верн мач!

Теневиля отнял руку и показал смятой рукавицей вперед:

— Тымнэро!—громко сказал он.

Возле одного из домиков его остановил знакомый голос:

— Теневиля! Етти, кыкэ!

Теневиля сразу и не узнал Милюнэ. Да, прав был в своих предположениях Армагиргин — похоже, Милюнэ стала тангитанской женщиной и следа не осталось от той забитой, отощавшей от скудной пищи девушки.

— Какомэй!—только и мог произнести Теневиля. Как же подашь такой жалкую связку горностаев? Одета она в матерчатое, теплое, опущенное рыжей лисой. На голове — цветастый платок. На ногах тангитанская обувь —

валенки. Словом, вся она с ног до головы настоящая тангитанка, и только чукотская речь выдавала ее тундровое происхождение.

— Маша! Маша!— послышалось изнутри дома, и на крыльцо вышла русская женщина.

Милюнэ тотчас откликнулась, и Теневиль с грустью отметил, что не только внешность, но и имя у нее стало иным.

Она заговорила с тангитанской женщиной быстро, словно всю жизнь говорила по-русски. Видно, рассказывала, кем приходится ей Теневиль, потому что русская смотрела на него уже с интересом и даже с некоторым любопытством.

Теневиль постоял немного, переминаясь с ноги на ногу. Нет, новый облик Милюнэ ему явно не нравился. Неожиданно для себя он вдруг резко, с какой-то злостью, схватился за свою нарту, недовольно буркнул в сторону девушки, все еще говорившей о чем-то с русской:

— Пошел я...

— Я приду вечером к Тымнэро!— крикнула вслед Милюнэ.

Тымнэро встретил Теневиля радостно:

— Етти! А я уже собрался ехать к вам в стойбище.

В этих простых словах, в широкой добродушной улыбке чувствовалась искренняя радость, от которой на душе сразу же становилось тепло. Это тебе не то что трясти руку.

Теневиль скинул с себя упряжь, подтащил нарту ближе к порогу. Тынатваль помогла внести в чоттагин оленью тушу, связки шкур. Потом мужчины убрали на подставку нарту и только после этого вошли в чоттагин, где уже пылал костер и Тынатваль варила в большом котле свежее оленьё мясо.

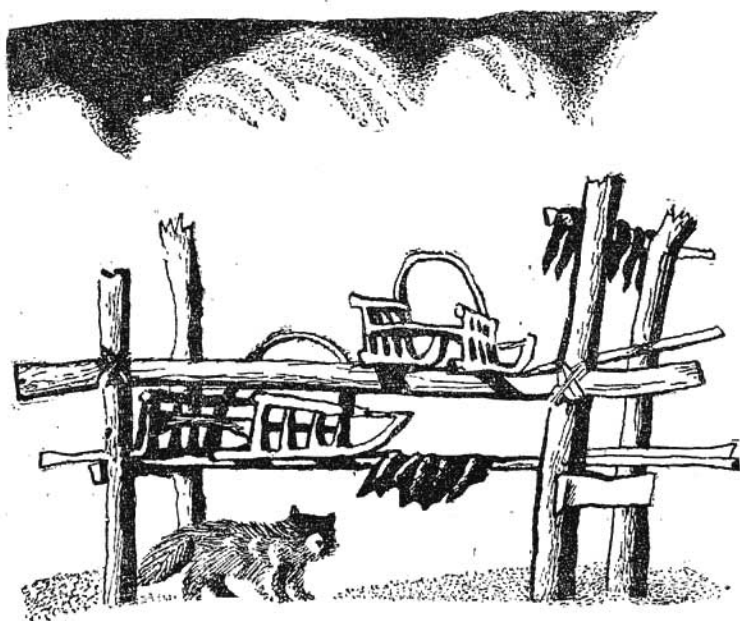
— Я рад тебя видеть,— сказал Теневиль.— Надеюсь, у тебя все хорошо?

— Сынок ушел сквозь облака,— спокойно, почти равнодушно ответил Тымнэро.

— Легка ли была дорога?

— День был ясный. Правда, с утра хмурилось, но потом, ничего, прояснилось.

— Хорошо, должно быть, ему там,— учтиво заметил Теневиль.



Тымнэро вытащил из засаленного кисета кусочек табачного корня и принялся крошить его на краю дощечки.

Теневиль с готовностью подставил свою трубку.

— Хорош все же русский табак, — сказал он. — В нем настоящий табачный дух и крепость.

— Однако русского табака осталось совсем мало, — сказал Тымнэро. — Нынче совсем не было русского товара — все американское. И табака в жестяных банках — полно. Вы гляди!

Тымнэро подал плоскую жестяную баночку американского табака. На одной стороне был нарисован человек в черном одеянии. На голове человека надет странный головной убор — высокий черный цилиндр, внутри которого можно было бы уместить по меньшей мере еще две головы. Такие банки Теневиль видел и раньше. Он думал, что этот человек изображен на табачной коробке неспроста: в цилиндре хранился либо запас табака, либо дым от него.

— И сахар тоже американский, — продолжал Тымнэро. — С виду такой же, но слабый и тает быстро. С русским куском можно полчайника выпить, а тут блюдец не успеешь глотнуть, глядь — сахар уж растаял...

Мужчины покурили, потом плотно поели. За чаепитием разговор пошел дальше.

— Армагиргин все спрашивает: что же на самом деле случилось в России, — сказал Теневиль. — Не верит, что скинули Солнечного Владыку.

— Говорят такое, — кивнул Тымнэро. — Хотя, честно тебе скажу, дела у меня до этого Солнечного Владыки никакого нет. Заместо старой царской власти тут комитет. Во главе его — Желтухин. Раньше был совсем незаметный человек, а вылез! Мне все казалось, что большим начальником станет Милюпин хозяин. Однако нет, старается держаться в тени, только иногда советы дает. Похоже, чего-то выжидает. Куркутский рассказывал, ссорятся тангитаны, особенно когда заседать начинают. Все чего-то делят...

— А случилась ли какая перемена в самой жизни? — спросил Теневиль.

— Да все осталось как было! — махнул рукой Тымнэро. — Неужто сам не видишь?

Теневиль помолчал. Действительно, что тут спраши-

вать, когда и так видно — перемен в Ново-Мариинске нет.

— От того, что власть меняется, нам, луораветланам, никакой пользы и никакого вреда — все по-прежнему, — продолжал Тымнэро. — Тут был один, который говорил о переменах. Да ты знаешь его — Кассира.

— А где он?

— Уехал, повез в сумеречный дом Царегородцева и Оноприенко... да что-то не вернулся. Сказывают, сам в сумеречный дом угодил...

— Как же можно? — удивился Теневиль.

— Могли и посадить, — сказал Тымнэро. — Он такое говорил, что даже мне страшно становилось... Всеобщий дележ, раздача богатства бедным...

— Да что ты говоришь! — Теневиль придвинулся к Тымнэро. — Разве такое возможно?

— Говорит — можно. Рассуждал он так: кем на земле создается богатство? Ведь оно само по себе из ничего не растет. Все делается трудовыми руками рабочего человека. А на нашей чукотской земле добывается охотниками или выращивается пастухами. Не будь охотников, не будь пастухов, откуда были бы мясо нерпичье да моржовое, кожи на покрышки яранг, олени, оленьи шкуры?.. Если бы женщины не шили, откуда бы были торбаса, кухлянки?.. Это, значит, на нашей, чукотской земле. А в России, говорил Кассира, рабочий человек делает все, что потом купцы сюда привозят — табак, чай, сахар, ткани, ружья...

— И даже ружья!

— Есть такие умельцы, — подтвердил Тымнэро. — Торговцы и другие нечестные люди захватили все эти богатства, мастерские, где делают ружья и другую железную утварь, пространства земли, где растет и сахар, и чай, и хлеб, захватили оленьи стада, байдары, вельботы и заставляют работать на себя трудового человека, который как бы в рабстве находится...

— Вроде пурэль?¹ — переспросил Теневиль.

Тымнэро кивнул.

— И если бедные люди поделят между собой эти богатства, это будет только восстановление справедливости, — заключил Тымнэро.

¹ Пурэль — раб (чук.).

Теневиль, пораженный рассказом своего родича, долго молчал. Он заново раскурил трубку, приняв пальцем табачные корешки и добавив туда сладкий и мягкий американский табак.

Выпустив первые кольца дыма, он осторожно спросил:

— Ну, хорошо — поделят все богатства между собой, раздадут оленей по ярангам, сахар, чай... Первое время, конечно, будет хорошо, навряд ли праздник будет, а дальше?

— Что дальше? — не понял Тымнэро.

— Дальше-то — что? Все съедят, искируют, сносят, а жить как?

Тымнэро внимательно выслушал вопрос и в сомнении покачал головой:

— Коо! Про дальнейшую жизнь Кассира не сказывал.

— Дальше можно и с голоду подохнуть, — заявил Теневиль. — Первыми помрут те, кто покладнее. Они все сразу съедят, сносят, скулят... Потом те, кто бережливее — но участь у всех будет одна: печаль пустых яранг и белые кости по тундре.

— Да-а, кэйвэ, — протянул Тымнэро, представляя весь ужас будущей жизни после всеобщего дележа. — Да и когда начнут делить, тут тоже без драки не обойтись. Одному захочется одно, другому другое... Этому больше, другому меньше достанется.

— Те, кто проворнее и сильнее, похваляют, что получше да побольше, — поддержал друга Теневиль, — и все останется по-прежнему — у одних больше, у других — меньше.

— Да еще оружием будут угрожать, — дополнил картину будущего всеобщего дележа Тымнэро. — Такой жадный народ. А тангитаны в драке дичают. Вон мне Милюнэ рассказывала, что и женщины тангитанские дерутся не хуже мужиков. За волосы хватаются и все норовят царапнуть, чтобы кровавый след на лице оставить.

— Слышали мы и про большую тангитанскую драку-войну, — вспомнил Теневиль. — Несметные полчища вооруженных людей выходят на открытое поле, вроде как в тундру, и начинают друг в друга стрелять, словно на моржовом лежбище. Иные даже из пушек палят —

огромных таких ружей, из которых анкаллы китов бьют.

— Да уж лучше подальше от них, от тангитанов,— заключил Тымнэро.

* * *

Милюнэ прибежала на следующее утро с узелком тангитанских лакомств, воскликнула радостно:

— Кыкэ, как я рада тебя видеть, Теневиль!

Теневиль вслушивался в звучание ее голоса и отмечал, что и голос у нее изменился, стал какой-то другой, словно бы пропитался интонациями тангитанского разговора.

— Почему Раулена не приехала?— спросила Милюнэ, развертывая на столике гостинцы.

— Тяжелая она,— солидно ответил Теневиль,— ребенка ждет.

Милюнэ вскинула голову, горестно вздохнула:

— Как я завидую ей... Взял бы меня второй женой, может, и у меня уже был бы ребенок...

— Разве тебе плохо живется здесь?— встревожился Теневиль, ощутив в душе неожиданную печаль.

Милюнэ не сразу ответила. Она задумчиво смотрела на Теневиля, на его загорелое лицо, редкие волосы на подбородке, черные усы... Каким будет ее муж? Жаркими ночами возле теплой кирпичной плиты ей чудились неведомые силы, волнами накатывающиеся откуда-то изнутри, из таинственных глубин ее тела. Она прислушивалась к ним, потом вдруг вспоминала раскрасневшееся, с жадно впивающимися в нее глазами, лицо Армагиргина, тяжелое дыхание и мокрый рот Тренева, и омерзение охватывало ее, словно она голым телом прикасалась к чему-то склизкому и противному.

— Мне хорошо живется,— тихо ответила она.— Видишь — я сыта и одета во все матерчатое. Постель теплая, возле самой плиты. Да и работа не тяжелая — помыть да постирать. Научилась готовить тангитанскую еду. Только вот солить еще не умею — то много соли кладу, то мало... Но все равно тоска. По тундре, по оленям, по чистому белому снегу, по запаху живого костра, в котором горит тальник...

— Замуж тебе надо,— заметил Теневиль.

— Надо,— вздохнула Милюнэ.— Только никто не сватает.

К Милюнэ действительно никто не сватался. Одни думали, что она тайная наложница самого Тренева, другие считали ее недосыгаемой для себя, ибо она жила в тангитанском доме, одевалась во все матерчатое и раз в неделю ходила в баню.

— А тебе Армагиргин подарок прислал,— Теневиль достал горностаевую связку.

Милюнэ взяла мех, засмущалась, не зная, принимать подарок или нет.

— Бери, бери,— улыбнулся Теневиль.— Старик посылает тебе как землячке.

— Скажи ему вэлынэкун¹. А шкурки пусть побудут у Тымнэро. Негде мне их хранить.

Милюнэ знала страсть Агриппины Зиновьевны к пушнине и поэтому опасалась, что хозяйка может попросту отобрать щедрый, воистину королевский подарок Армагиргина.

Тынатваль взяла связку горностаев и спрятала в замшевый мешок, где хранились священные одежды для путешествия сквозь облака.

— Пойду я,— заторопилась Милюнэ.— Хозяйка не любит, когда я надолго отлучаюсь.

Милюнэ ушла, и, глядя ей вслед, Теневиль повторил, уже обращаясь к Тымнэро:

— Замуж ей надо. Совсем созрела.

— Ии,— кивнул Тымнэро.

* * *

На третий день пребывания в Ново-Мариниске Теневиль решил поторговать. Возле лавки Бессекерского на лиманной стороне селения он увидел Кымынто. Старик лежал под торосом и стонал.

— Какомэй! Как ты тут оказался?

Теневиль нагнулся над земляком, и в нос ему ударил крепкий запах дурной веселящей воды.

— Со вчерашнего вечера подняться не могу,— ска-

¹ Вэлынэкун — выражение благодарности (чук.).

зал Кымынто, с помощью Теневиля садясь на снег.— Крепка здешняя дурная вода. Бисекер обещал еще бутылку...

Вместе с Теневилем Кымынто добрался до лавки торговца. Он заискивающе улыбался, кланялся.

— Что принес? Чем торговать будешь?— Бессекерский, как и большинство анадырских коммерсантов, знал десятка полтора чукотских слов, которыми прекрасно обходился в общении с местными жителями.

— Ничего я не принес,— виновато заморгал воспаленными глазами Кымынто.— Однако на твою щедрость надеюсь...

Бессекерский не понял старика и обратился к Теневилю:

— А что у тебя? Песец, лиса, пыжик?

— Песец, лиса и пыжик... Немного горноста́я есть,— ответил Теневи́ль.

— Давай, давай, показывай, что у тебя!— оживился торговец.

Теневи́ль разложил на длинном деревянном прилавке пушнину. Здесь были и свои шкурки и те, что дал Армагиргин.

— Вотка тавай,— кланялся Кымынто.— Хоросо, тавай вотка...

— Тавай, тавай,— раздраженно передразнил его Бессекерский,— иди отсюда, не мешай.

Торговец брал каждую шкурку, подносил к маленькому окошку, рассматривал, дул вдоль ости, заставлял ходить волной пушистую шерсть.

— Вотка,— канючил Кымынто,— вотка давай...

У Теневиля сердце сжималось от жалости к старику. Он знал, какую власть имеет над человеком дурная веселящая вода. Сам пробовал, но пока пристрастия к этому зелью не имел, однако хорошо понимал страдания других.

— Вотка, вотка,— заворчал Бессекерский,— сказано тебе — дуй отсюда, дикоплеший!

Кымынто уловил в голосе торговца раздражение и постарался улыбнуться, преданно, умоляюще.

Бессекерский увидел перед собой эту странную гримасу, в которой смешалось все — и пьяная дурь и подоби́е страсти, увидел широко раскрытые, полные немой мольбы глаза, и его передернуло от отвращения. Он вы-

шел из-за прилавка, схватил за плечи страдающего похмельным недугом старика и вытолкал его воп.

— Нет тебе вотки... Нету... Пушнина — нет, и вотка — нет... Заруби себе на носу...

— Так-так, — торговец уже вновь обратился к Теневилью. — Что же ты хочешь? Экимыл¹, чай, сахар, табак... Табак американский, видишь, какие красивые банки?

Кымынто в стойбище Армагиргина был далеко не последним человеком. В общем стаде у него ходило немало своих оленей, да и почитали его не только за это, но и за ум, за то, что старик знал тундру, был добрым, отзывчивым.

Теневиль сгреб с прилавка свои шкурки, запихнул в мешок.

— Ты что? Не хочешь со мной торговать? — удивился Бессекерский.

— Нет, — решительно мотнул головой Теневиль, — в другом месте поторгую.

— Вот гляди! — Бессекерский нагнулся и достал из-под прилавка большую, темного стекла бутылку с дурной веселящей водой. — Вся твоя будет!

Теневиль уже шел к двери, за которой все еще топтался Кымынто.

— Постой! Стой! — кинулся за ним Бессекерский. — Одно слово, дикоплеший! Вернись, оленья морда!

Теневиль помог Кымынто встать и повел за собой в ярангу Тымнэро.

Тымнэро сидел у костра и перебирал собачью упряжь.

— Сходи ты поторгуй, — попросил его Теневиль. — Я тебе скажу, что нужно купить. И для дяди Кымынто бутылочку дурной веселящей воды возьми.

Тынатваль подала Кымынто ковшик холодного оленьего бульону. Старик выпил, посидел несколько минут с закрытыми глазами, признался Теневилью:

— Когда ты уехал, нам тоже захотелось в Ново-Маринск. Набрали шкурок и пошли кто пешком, кто с нартой. Поторговали. Да и сами ападырцы толпой подались в стойбище. Сейчас, должно быть, там большое веселье.

¹ Экимыл — водка (чук.).

Тымнэро вернулся с покупками, Кымынто утолил жажду, и на нарте, запряженной собаками Тымнэро, отправились в стойбище.

Еще издали заметили полыхающие в зимней ночи костры, разожженные прямо на открытой тундре. Зарево освещало стойбище красноватым зловещим светом, темный дым смешивался с низкими тучами, вдавившими в снег остроконечные яранги.

Чем ближе к стойбищу, тем слышнее были глухие удары бубна, звук которого поглощался студеным воздухом, угасая вблизи от стойбища. Иногда прорывались какие-то вскрики, возгласы или протяжный вой, переходящий в заунывное пение.

Теневиль встревоженно прислушивался и терялся в догадках: что же могло случиться в стойбище?

Тымнэро потянул носом и заметил:

— Это наши анадырщики веселятся...

Перед входом в ярангу эрмэчина пылал большой костер, над огнем на треножнике висел дорожный котел. Сам Армагиргин сидел на беговой нарте, заметно опьяневший, голова его безвольно повисла. Время от времени он вскидывал голову и кричал молодому пастуху с бубном:

— Пой и танцуй! Пой и танцуй на потеху тангитанам! Все равно крепкой власти у них нет, зато вдоволь веселящей воды!

Пастух, еле стоящий на ногах, то и дело ронял бубен в снег, снова подхватывал его и затягивал старинную тундровую песню о молодых оленях, отбившихся от стада.

Тангитаны, приехавшие из Анадыря, веселые и раскрасневшиеся на легком морозце, подбадривали певца охрипшими голосами, хлопали в ладоши, словно били невесту откуда взявшихся комаров.

Теневиль соскочил с нарты, подбежал к Армагиргину.

— Како! Это ты прибыл! Гляди вокруг, Теневиль, как в старину! Когда жив был Солнечный Владыка, когда мои друзья, русские, были сильны и крепко держали власть... Как на Анюе!

Армагиргин имел в виду Анюйскую ярмарку, которую раньше ежегодно устраивали на границе между Якутией и Чукоткой. В этом местечке русские построили крепость, обнесенную высоким бревенчатым забором, и

церковь. Раннею весной, в длинные дни, когда солнце уже надолго поднималось над горизонтом, сюда съезжались русские купцы, иные даже пробирались из далекого Иркутска, преодолевая огромные расстояния по замерзшим рекам. Торговать с ними приезжали чукчи со всего полуострова и даже эскимосы с Аляски и острова Диомиды. Это было главное торжище на Чукотке.

«Как в старину!» Теневиль огляделся и увидел, что в стойбище нет ни одного человека, не хлебнувшего веселящей воды. И женщины, и мужчины — все были одинаково пьяны, улыбались русским гостям, которые тут же на снегу, при свете огромного костра торговали пушнину, пыжики, оленьи шкуры, мороженое мясо.

Кымынто помчался в свою ярангу за шкурками. Он, видимо, опасался, что на его долю уже не достанется дурной веселящей воды.

Теневиль заглянул в ярангу Армагиргина: там тоже шел торг.

Ему предлагали дурную воду, табак, но, удрученный этой дикой картиной, он бродил от яранги к яранге, не зная, что делать, что предпринять...

В раздумье он остановился у яранги Кымынто. Оттуда доносились какие-то приглушенные голоса, звон посуды. Войдя в чоттагин, при свете потухающего костра он увидел Кымынто. Старик, запрокинув голову, пытался вытряхнуть из бутылки остатки веселящей воды.

Из полога слышалась возня, какие-то вскрики. Теневиль приподнял переднюю меховую стенку: там на шкурах двое бородатых мужиков насиловали дочерей Кымынто.

— Кымынто! Кымынто! — Теневиль с силой тряхнул старика за плечи, и тот на некоторое время пришел в себя.

— Э-э, брось ты... Ничего с ними не будет... Девки попробовали веселящей воды, теперь — тангитанов... Им тоже хочется... — И он снова погрузился в забытие.

— Да ты что говоришь, Кымынто! — ужаснулся Теневиль и снова тряхнул пастуха за плечо. — Ты что говоришь!

Кымынто взглянул на Теневиля неожиданно прояснившимися глазами, сказал:

— Ну что кричишь-то? Они что, не люди? Им тоже хочется. И девкам моим и тангитанам.

Теневиль, удрученный увиденным, долго еще бродил вдоль стойбища, пытаясь урезонить своих сородичей, но никто не обращал на него внимания.

* * *

— Граждане, то, что произошло в стойбище Армагиргина,— позор для нашего уезда,— говорил Тренев, взявший слово на заседании комитета.— Если так и дальше будет продолжаться, то мы восстановим против себя всех чукчей и эскимосов. По существу, ограбили целое стойбище и оскорбили главу его, Армагиргина.

— Так Армагиргин — представитель царской власти,— усмехнувшись, заметил Бессекерский.— Что с ним считаться-то?

— Он не только представитель царской власти, а человек, который в отличие от нашего комитета имеет реальную власть,— заметил Тренев.

— Если бы у нас была вооруженная охрана,— сказал Бессекерский,— ничего подобного не случилось бы. Поставили бы несколько вооруженных людей на дороге — и все. А то ведь кинулись кто только мог. Прямо как саранча налетели, пушнину рвали друг у друга, дрались... Опозорились перед местным населением, уронили свое достоинство.

— А тебе бы только свои ружья сбыть,— подал голос Грушецкий.

Желтухин, как всегда, деловито разглядывал бумаги, разложенные перед ним на столе.

Утаенная несколько дней назад телеграмма все же стала известна: кто-то снял копию и распространил ее среди членов комитета. Телеграмма была подписана Лениным, и это имя, обросшее самыми невероятными легендами, вдруг стало реальностью.

В телеграмме говорилось о том, что Всероссийский съезд Советов выделил новое Советское правительство. Правительство Керенского низвергнуто и арестовано. Керенский сбежал. Все учреждения перешли в руки Советского правительства. 29 октября началось восстание юнкеров, которое в тот же день было подавлено. Керенский и Савинков с юнкерами и частью казаков добрались

обманным путем до Царского Села. Советское правительство мобилизовало силы для подавления нового коринловского похода на Петроград.

Желтухин зачитал еще и другую телеграмму, предписывающую создание Совета.

...А тем временем вверх по реке Анадырь уходил караван оленьих нарт, за которым следовало сильно поредевшее стадо. На горизонте еще долго были видны мачты Анадырской радиостанции, чутко улавливающей ленинские слова.

Глава вторая

Так как имущих классов в Анадырском уезде, как, например, фабриковладельцев, заводовладельцев, домовладельцев нет, а есть только коммерсанты-пушненики, у которых к весне весь капитал затрачивается на покупку пушнины и к тому же, по сообщению областного Совета, точные инструкции Совет получит от члена Совета Киселева — вопрос этот до прихода парохода оставить открытым, сообщив областному Совету, что налогов с пушнины на содержание Совета будет достаточно только на 2—3 месяца...

Ответ Анадырского Совета на телеграмму из Петропавловска-Камчатского. Гос. архив Магаданской области, ф. 36, оп. 1, д. 1, л. 60

Тымнэро спял с перекладкины, что возле самого дымового отверстия, последний кусочек оленьего мяса. Он весь почернел, прокоптился дымом костра, обветрился, но все еще сохранял едва уловимый запах настоящего мяса. Какой уж год весна оставалась самым тревожным временем: голод, истощение запасов рыбы, моржового мяса, а главное то, что это время — таяния снегов, исчезновения нартовой дороги, кончалась для Тымнэро работа, и он убирал на высокую подставку нарту и выпускал собак. Они бродили по помойкам, ловили вылезавших на теплый воздух свражек и мышей, словом, переходили на подножный корм.

Лед ушел из Анадырского лимана, и остров Алюмка, словно безмолвный страж морских рубежей Анадырского уезда, был хорошо виден с берега.

По древнему чукотскому календарю в это время, время начала лета, надо было принести богам жертвы, накормить их лучшими лакомствами, снять зимний полог и заменить его на летний, упрятать до следующих холодов зимнюю одежду.

С утра в яранге Тымнэро начались хлопоты, и вот они завершились жертвоприношением и скромным пиршеством в ознаменование наступившего лета.

Тынатваль уже скатала зимний полог и повесила маленький летний, в котором шкуры были сшиты шерстью внутрь. На костре варились остатки давно убитой нерпы — лапы и несколько позвонков, однако главное угощение дня — это кусок оленьего мяса, пролежавший несколько месяцев за деревянной перекладной у дымового отверстия.

Тымнэро положил кусок мяса на деревянную дощечку и вынул нож. Надо настрогать мяса для домашнего бога, который висел в углу спального полога. Ждет жертвенного угощения бог удачи, примостившийся в чоттагине в виде странного четвероногого животного — то ли собаки, то ли волка, то ли медведя. Наконец надо было бросить хоть несколько кусочков морским богам, тундровым и самому главному — Тэнантомгыну.

Дочка, облизываясь, наблюдала за отцом, орудующим остро отточенным ножом. Тымнэро поймал себя на том, что старается резать тонко, оставляя людям больше, чем богам. Он никогда не произносил молитв вслух, и на этот раз мысленно попросил прощения, объясняя это голодным взглядом девочки.

Искрошенное мясо Тымнэро положил на деревянное жертвенное блюдо, украшенное орнаментом, и вышел из яранги.

Бродячие собаки, среди которых были и его псы, насторожились и двинулись следом за ним к морскому берегу.

Пока Тымнэро шептал заклинания, собаки чинно стояли поодаль, словно догадываясь о значительности происходящего. Но едва только на землю были брошены первые кусочки мяса, как свора собак с лаем и рычанием кинулась подбирать их.

Тымнэро услышал за спиной смех и обернулся. Это был Куркутский.

— Ну что, накормил богов?— спросил чуванец, исповедующий русскую веру.

Тымнэро ничего не ответил: он не любил, когда чуванцы или другие тангитаны насмехались над исконной чукотской верой.

— Да ты не обижайся. Я понимаю. Однако... к тебе шел...

Они направились к яранге Тымнэро.

— Я к тебе с разговором,— сказал чуванец, отдавая для приличия крохотный кусочек оленьего мяса.— Братец мой затеял рыбалить совместно.

— Как это — совместно?— не понял Тымнэро.— Вместе с Сооне и Грушецким?

— Ты, однако, молч, ницыво про Советы не знаешь?

Тымнэро отрицательно мотнул головой. Он совсем запутался в тангитанских делах, и они его больше не интересовали.

— Тогда слушай,— Куркутский примостился на краешке бревна-изголовья.— Мой братец, Михаил, шибко дружит с матросом Волтером. Прознали они, что власть-то снова переменялась у нас в Ново-Мариинске, и теперь знаешь, как называется? Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Понимаешь? Теперь не комитет, а Совет у нас.

— А какое различие-то?— спросил Тымнэро.

Куркутский призадумался, помолчал немного.

— Различия-то, конечно, никакого... Но Волтер сказал Михаилу, если такая власть, то можно артель для рыбалки сделать. Понимаешь? Те, у кого нет сетей, нет места для рыбалки, объединяются и совместно ловят рыбу.

— А чем ловить?— усмехнулся Тымнэро.

— Сложимся и купим невод. Лодку свою Волтер дает. Сами наловим, сами и поделим рыбу.

— Места-то для нашей рыбалки нет.

— Вот это и главное,— оживился Куркутский.— Раз Совет солдатских, рабочих и крестьянских людей, то и место нам должны дать.

Тымнэро в сомнении покачал головой.

— Так что ты нынче к Сооне не ходи, давай к нам, в нашу артель. Артель рабочих, крестьянских и солдатских людей...

— А что это — солдатских? — поинтересовался Тымнэро.

— Военных, вооруженных людей, — пояснил Куркутский.

— Охотников?

— Охотников... На людей охотников... Да ты доспел, что ль? Не знаешь, кто такой солдат?

— Казак?

— Не казак, хотя и похож. Солдат — это вооруженный человек, который на войне стреляет во врага. Понимаешь? Ежели, значит, враги нападают на Россию, то солдаты идут навстречу и стреляют.

— И враги тоже стреляют? — испугался Тымнэро.

— Они-то и начинают, потом на них солдаты идут.

— А кто эти враги? Тоже тангитаны?

— Германцы, — объяснил Куркутский. — Тоже тангитаны, но не русские.

— Путаюсь я в них, — смущенно признался Тымнэро. — Что Волтер, что Тренев — все они тангитаны...

— Нет уж, — мотнул головой чуванец, — разница среди них есть, может, даже больше, чем у нас с тобой. Волтер вовсе не американец, как его называют, он родом из Норвегии, такая есть тангитанская земля. Сказывал он, где она, да я так толком и не понял. Дальше Колымы, за якутской землей и Россией.

— Разве не в сторону Америки его родина? — спросил Тымнэро.

— Нет, в другую сторону, — ответил Куркутский, — однако если верить тому, что говорят — будто наша земля вроде мячика, — то не все ли равно, в какую сторону.

— Как это — мячик? — Тымнэро удивленно посмотрел на гостя — вроде бы трезвый, да и пить в Ново-Мариинске нечего: почти всю дурную веселящую воду выпили, когда Армагиргин приезжал.

— Ты чего так смотришь? Не я же придумал, от людей слышал...

— Я и то думаю: если они дерутся вооруженными толпами, то и земля от этого округлиться может, — задумчиво произнес Тымнэро.

Куркутский укоризненно покачал головой: не пове-рил чукча, не понял ничего.

— Ну так как — будешь в артели нашей рыбу ловить? — еще раз спросил Куркутский.

— Не солдат я, — с сомнением сказал Тымнэро, — оружие мое неважное, да и стрелять никуда не хочу. Нету у меня врагов.

— Тьфу ты, — махнул рукой Куркутский, — не стрелять тебя зовут, а рыбачить вместе.

— Если у вас есть невод и сети, лодка, то почему не пойти?

— Значит — договорились?

— Коо, — опять засомневался Тымнэро.

Куркутский ушел, а Тымнэро остался в яранге в растерянности: что он там наговорил, этот чуванец? И про несходство народов, разных тангитанов, и про круглую землю, а кончил совместной рыбной ловлей... Как же они собираются ловить? Где сети и невод возьмут? Да и место рыбалки где? Все занято неводами Сооне да Грушецкого.

* * *

Михаил Куркутский занимался тем же, что и его старший брат — собачьим извозом и рыбалкой. Зимой ставил капканы у подножия горы Святого Дионисия на песца и лисицу.

Учительское звание чуванец получил от настоятеля Марковской церкви, где научился грамоте и счету. Церковное начальство посчитало возможным присвоить ему звание народного учителя с правом обучать чтению и письму представителей местного населения. Однако места в Ново-Марнинской школе не оказалось, и еще в прошлом году Михаил Куркутский, как было записано в распоряжении Царегородцева, «за ненужностью» был уволен.

Летом, когда нартовая дорога превращалась в талую воду и все анадырские каюры распускали собак на вольный выпас, учитель Михаил Куркутский превращался в рыбака. Обычно он нанимался к Грушецкому, и рыбопромышленник ценил его за знание чукотского языка, за сообразительность и тихий спокойный нрав.

Потому-то Грушецкий и обозлился, когда Михаил заявил ему, что в нынешнюю путину он не собирается у него рыбачить.

— Чем же ты будешь заниматься, лодырь?— спросил Грушецкий, презиравший заодно с чукчами, эскимосами и чуванцев.

— С братом буду рыбалить.

— Чем же неводить будете? Дырявыми штанами?— усмехнулся Грушецкий.— Или обзавелись снастью? Ежели есть снасть, то еще надо разрешение получить на рыбалку. Не дури, Миша, начинай работу. В эту пору, если рыба хорошо пойдет, так и быть, заплачу тебе больше. И ямы твои наполним кислой рыбой для собачьего корму. В Америку будем рыбу продавать, икру да малосольные пупки. Свенсон обещал дать хорошую цену.

Куркутский отрицательно покачал головой и не торопясь направился на берег лимана.

На берегу Аренс Волтер смонтировал свой баркас, прилаживал керосиновый мотор, который всю зиму ремонтировал в своем домишке, изредка заводил, пугая анадырцев непривычным ревом механического двигателя.

— Гляди, Михаил, какой у нас баркас,— похвалился Волтер.— Будет невод, можем ловить рыбу аж на Русской Кошке.

Единственное незанятое место для рыбалки находилось на далеко выдававшейся в море косе— Русской Кошке. Место было неудобное, далекое, да и не всякий год рыба подходила к тому берегу.

На следующий день Михаил с братом отправились к Сооне, торговать невод.

Японец сидел на крыльце своего аккуратного домика и на куске дерна, привезенного из тундры, раскладывал между пучками светло-голубого мха-ватапа разноцветные камешки.

Японец в отличие от своих бледнолицых собратьев-рыбопромышленников держался с местными жителями приветливо, вежливо. Завидя Куркутских, он еще издали начал кланяться.

— Здравствуй, хоросий дорогой гости!— заулыбался Сооне.— Хороси погода, хороси будет путина.

— Это, моля, еще как бог пошлет,— сказал Ваня Куркутский.

Сегодня утром к Сооне приходил его лучший рыбак Ермачков и сообщил, что сей год он отказывается нево-

дить для японца. Сооне попытался выяснить, в чем дело, и добродушный, бесхитростный Ермачков выложил все — и про артель, и про то, что надоело работать на чужую мощну.

Про мощну пришлось долго объяснять японцу, но тот наконец понял и вежливо выпроводил Ермачкова из домика, с улыбкой сказав на прощанье:

— Обратнo, Ермачкова-сан, не ходи... Моя тебе борыше не рюби.

— На хрена мне твоя косопузая любовь! — храбрился Ермачков, шагая к дому.

Сооне отодвинулся в сторону, высвобождая место на ступеньках чисто вымытого крыльца.

«Чистоту любит, — подумал про себя Ваня Куркутский, — а наряди его в кухлянку, ламут да и только, и притом из худородных, смешавшихся с якутами».

— Сооне-сан, — откашлявшись, начал Михаил, — пришли мы к тебе просить невода... Можем его укупить по сходной цене, а можем и в кредит взять и после пугины рассчитаться... А еще лучше, если ты нам дашь его в аренду...

— Кому? — вежливо спросил японец. — Вам рично?

— Не совсем лично, — ответил Куркутский, — а нашей артели, обществу рыбаков.

— Но моя сама рови рыбу, — сухо проговорил Сооне, — моя имей три невод — борыше нет.

— Врет, гад, — нисколько не стесняясь Сооне, сказал Иван брату.

— Тогда продай, — настаивал Михаил.

— Мой не продавай, моя не давай аренда, моя говори — пошер вон! — японец показал коротким холемым пальчиком с полированным ногтем в сторону тундры.

— Пошли, — Ваня решительно поднялся с крыльца и выругался.

— Я все понимаю, — многозначительно сказал японец.

— Смотри, допонимаешься, — погрозил кулаком Иван.

К вечеру собрались у Аренса Волтера.

Волтер был возбужден. Он сказал, что баркас готов, мотор работает и можно хоть завтра отправляться на Русскую Кошку.

— А бочки, бочки где мы возьмем?— забеспокоился Ермачков.

— Будем солить пластом,— предложил ингуш Масальгов.

Масальгов недавно поселился в Ново-Мариинске. Пришел он сюда с Севера. А до этого, приехав на Чукотку, пытался пристроиться к своему земляку, торговцу Гулиеву, но не ужился с ним и подался в тундру искать золото.

Однако ему, как и многим другим золотоискателям, не везло—богатства он так и не нажил, лишь увеличил число бедняков, осевших на Чукотке, которые вызывали у чукчей недоумение. «Бедный тангитан... Разве такое бывает?.. Тангитану на роду написано быть богатым...» Сам Масальгов в глубине души рассуждал примерно так же, однако на деле ничего у него не выходило, и он в своем горячем кавказском сердце затаил злость на богатых торговцев и рыбопромышленников.

— Пластом солить—и дешево, и хорошо,—объяснял Масальгов.—Клади рыбину на землю, сыпь соль, а на нее другую, и так, пока куча не вырастет в рост человека.

Невод достать не удалось, и решили ловить рыбу малыми ставными сетями.

Во второй половине июля 1918 года от берега Анадырского лимана отчалил баркас Аренса Волтера с артельными рыбаками, таща на буксире небольшую байдару Тымнэро.

На баркасе сидели братья Куркутские, Ермачков, Масальгов, Аренс Волтер и еще несколько рыбаков. Тымнэро устроился в своей байдаре.

Волтер долго возился с мотором, никак не мог его завести. Однако мощным течением баркас с байдарой несло именно туда, куда было нужно: мимо острова Алюмка, мимо зеленых берегов левого берега в синеющую ширь Анадырского залива.

Тымнэро оглянулся на низкий берег Ново-Мариинской стороны, на высокие мачты радиостанции. Яранга давно скрылась из виду, а впереди открывалась пугающая ширь океана. Для оленевода море всегда казалось таинственным, полным коварства и опасностей. Зимой, когда Тымнэро приходилось выслеживать нерпу или

лахтака, он чувствовал, как под толстым слоем льда мощно дышит океан.

Вот и сейчас он с затаенным страхом смотрел вперед, на безбрежный простор, и вместе со студеным ветром под летнюю кухлянку пробивался холодок.

Теперь он начинал жалеть о том, что поддался уговорам Куркутского, согласился вступить в эту артель рыболовов. Невода нет, только короткие сетки, которыми сподручно ловить рыбу в тихой воде где-нибудь в устье Казачки, но никак не дальше Кладбищенского мыса. А что, если случится сильный ветер? Русская Кошка выдается далеко в море, и волна там крутая.

Волнение стало чувствоваться уже за Алюмкой. Аренсу Волтеру удалось завести мотор, и баркас, как нес, поднятый пинком каюра, вдруг судорожно рванул. Хрупкая байдара зарылась в воду, едва не лишившись тоненького шпангоута.

Тымнэро в страхе вцепился обеими руками в деревянное сиденье. Брызги били в лицо, заливали байдару. Улучив момент, он схватил деревянный ковш и принялся вычерпывать воду.

Аренс Волтер встал на корме баркаса во весь свой богатырский рост и стал что-то кричать Тымнэро, судя по всему, ободряющее, может быть, даже веселое.

Но это не помогло Тымнэро. Вскоре он по пояс оказался в воде и жестами попросил Волтера остановить мотор. Куркутский пробрался на корму и сквозь шум стал объяснять:

— Эту штуку остановишь, потом заново не разбудишь, так что терпи! Мы смотрим за тобой. Однако если по-настоящему тонуть будешь, вытащим, не бойся!

Когда выбрались на галечный берег Русской Кошки, вид у Тымнэро был прежалкий: летняя камлейка разбухла от воды, штаны, насквозь пропитавшиеся влагой, сползли, оголив живот.

— Ну, паря,— сочувственно покачал головой Михаил,— тебе, молч, погреться и обсушиться первоначально надо.

Промок не один Тымнэро, и поэтому первым делом разоггли большой костер, набрав дров на восточной стороне косы, открытой морю. Дров было достаточно, и пламя взметнулось высоко в небо, вызывая любопытство плавающих близ берега белух.

— Однако, рыбка есть!—весело кричал Ваня Куркутский.—Раз белуха да нерпа ныряют, значит, кета пошла.

Поставили первую короткую сеть и не успели закрепить конец на берегу, как сеть задергалась и на гальку легли первые рыбины—жирные, отливающие серебром.

Одежда у костра быстро просохла, свежая жирная уха прибавила сил, и даже Тымнэро повеселел, начиная верить, что рыбалка будет удачной. Глядя на ныряющих у берега белух, Тымнэро жалел, что не взял ружье—запросто можно было бы подстрелить—и целый месяц кормить упряжку, а уж жира для светильника хватило бы и совсем надолго.

Сети вытаскивали то и дело. Улов был так велик, что люди решили сразу же приступить к разделке. Нашли выброшенные волнами доски, приспособили их и—пошла работа.

— Если и дальше так будет,—возбужденно говорил Ваня Куркутский,—то Грушецкому и Сооне придется худо. Другие рыбаки увидят, что мы можем обойтись без хозяев, уйдут от них, и останутся богачи с сухими неводами и пустыми бочками.

Масальгов вызвался угостить рыбаков невиданным блюдом, которое называлось шашлык. Он разрезал кетину на куски, нанизал их на выструганные палочки и положил между двумя камнями над жаркими углями. Вскоре рыба зашкворчала, закапала на угли топленным жиром.

— У нас на Кавказе,—рассказывал Масальгов,—такой шашлык жарят из молодого барашка... А барашка—это такая животина, ростом с собаку...

— Собаку едят, что ль, у вас,—брезгливо поморщился Ваня Куркутский.

— Да не собаку, а барашка! Эх, такая еда... пальчики оближешь! Я из оленины шашлыки делал... из моржатины, нерпы, даже из кита... Совсем не то! Барашка лучше!

Аренс Волтер и Михаил Куркутский сидели чуть поодаль.

— Почему местным жителям не организовать в такие вот трудовые объединения?—рассуждал Волтер.—Это ведь так просто.

Учитель с сомнением покачал головой:

— Это только на первый взгляд просто... Морские охотники-чукчи давно сообща бьют китов да моржей, потому что одному такого зверя не одолеть. И все же... в каждом таком объединении есть хозяин... Владелец байдары, вельбота или гарпунной пушки отдает большую часть добычи. Он может вовсе не ходить на охоту...

— Это верно,— кивнул Волтер.— Я вот все думаю... можно ведь байдару, гарпунную пушку сообща приобрести...

— Трудно это...— вздохнул Михаил.— Зачем я грамоте учился, зачем стремился к чему-то? Может, лучше жить, как все, как тот же Тымнэро... не думая ни о чем... сыт, и ладно...

— Да нет, не прав ты, друг... От жизни не отгородишься,— философски заметил Волтер.— Даже большим расстоянием. Делать что-то надо... Жаль, Каширица нет... Умница был парень... Тоже многого не знал, как и мы, но верил, крепко верил, чувствовал — не то что-то в нашем Ново-Марининске творится...

...Шла рыба. Рыбаки опасались, что не хватит соли. Ведь путина только начиналась.

В сторону Анадыря с моря прошла шхуна Свенсона. А еще через два дня большой черный пароход медленно продымил к острову Алюмка.

Проходящие корабли звали рыбаков в Ново-Марининск, сулили новости, свежий табак, чай... Но те не соглашались: пока оставалось хоть немного соли, пока шла рыба, уходить было нельзя.

Вскоре рыбы стало гораздо меньше, и рыбаки приуныли.

— То, что мы выловили, это только лазутчики. Они дорогу высматривали. Теперь пойдет настоящая рыба. Я-то уж знаю. Бывало, ступишь на косяк — буд-то посуху идешь,— подбадривал друзей Ваня Куркутский.

Рыбаки жили ожиданием руинного хода, коротая ночи у костра.

— Были бы анадырские рыбаки посмелее да объединились бы вот в такие артели, Грушецким да Сооие давно бы конец пришел,— мечтательно говорил Волтер, пристроившись возле пышущего жаром костра: в крохотной палатке Ермачкова места всем не хватало и спали там по очереди.



Ночи стояли удивительно теплые, тихие. Слышался плеск проходящей одинокой рыбы, но большого косяка все не было. Исчезли белухи и нерпы, и это не на шутку встревожило бывалого Ермачкова, который с каждым днем становился все молчаливее.

Еще накануне ничто не предвещало изменения погоды — лишь на самом горизонте к полупочы появилась темная полоса, похожая на черную жирную черту.

Тымнэро проснулся среди ночи, ощутив на лице холодные капли дождя. Костер угасал. Ветер трепал палатку. Волны выкинули сети на берег и подбирались уже к баркасу и маленькой кожаной байдаре.

Вслед за Тымнэро проснулись и остальные. Все молча кинулись убирать сети. Волтеру удалось оживить угасающий костер и приготовить горячую похлебку.

Старший Куркутский, обжигаясь варевом, рассуждал:

— Пошто так? Зимой скучаешь о юшке рыбной, об ухе, а три дня поел, уже надоела... Чисто баба эта рыба: когда ее нет — хочешь, а попробовал — тут же прискучила.

— Ты бабу с рыбой не равняй, — возразил дрожавший от холода и сырости Ермачков. — Баба всегда горячая; теплая, а рыба-то, она, брат, холодная...

Вместе с костром угасал и разговор.

К полудню немного утихло, и решено было снова завести сети. Ставили их с помощью маленькой байдары Тымнэро. Вставив два весла в ременные уключины, Тымнэро греб против низких волн, бьющих о кожаное дно.

Выйдя на берег, Тымнэро сказал старшему Куркутскому:

— Зря мы сети ставим...

— Однако, паря, не зря. Белуха пошла.

И вправду, между светлых барашков белели в воде спины морских животных, идущих вслед за косяками.

К ночи улов был приличным. Окрыленные удачей, люди легли спать, забравшись в крохотную палатку.

Уснуть, однако, не успели: мощный порыв ветра, сорвав колышки, унес палатку в море. И тут же, следом, — взвилась в воздух байдара Тымнэро. Он бросился было за ней, но... не успел, — мелькнув желтым кожа-

ным дном, она исчезла в кипящей тьме бушующего моря.

— Сети! Наши сети!— кричал Ваня Куркутский, носясь вдоль берега.

Сетей не было. Оставалась лишь половина дальней, поставленной под защитой низкого галечного мыса. Еще несколько минут — и добытый потом и кровью артельный улов, распластанная и засоленная рыба, аккуратно уложенная в штабеля, подхваченная ветром, разметалась по галечной косе.

Бушующие волны подбирались к баркасу, грозя разбить его. Вцепившись в борта, рыбаки с трудом оттащили его в глубь мыса. Люди молчали. Да и о чем они могли говорить? Всем было ясно: их мечтам не суждено сбыться. Артель осталась не только без улова, на который возлагалось столько надежд, но и без тех нехитрых снастей, что берегли пуще глаза.

Тымнэро вставал среди ночи и бродил в темноте, надеясь отыскать свою лодчонку.

* * *

Жизнь в Ново-Мариинске шла своим чередом, если не считать новых людей, недавно появившихся в селении, да странных событий в доме уездного комитета.

Тренев сказался больным и почти не выходил на улицу. Притихшая и даже будто поблекшая Агриппина Зиновьевна чутко оберегала покой своего супруга.

Изредка навевывались растерянные, приунывшие Грушецкий, Желтухин и Бессекерский, но Агриппина Зиновьевна гнала их, не допускала никаких разговоров о политике, о разных там комитетах, Советах...

Из обрывков долетавших до нее фраз Милонэ поняла: в Петропавловске произошло какое-то важное событие, кажется... снова вернулась царская власть... «Интересно, как это она будет возвращаться?— думала Милонэ.— Может, сам царь придет в Ново-Мариинск?»

Улегшись на свою лежанку за печкой, крепко зажмурив глаза, Милонэ видела, как по лиману несутся легкие олени нарты. Пар клубами поднимается над ун-

ряжками, снег комьями летит из-под копыт, гортанные звуки каюров разрывают тишину. И вот на передней нарте уже можно различить самого Солнечного Владыку точно в таком же мундире, в каком старый Армагиргин хотел Милюнэ сделать своей женой...

Но картина эта быстро тускнела, уходила в туман; тоска сжимала сердце Милюнэ: сколько времени уже прошло, а привыкнуть к новой жизни она так и не сумела. Внешне вроде бы все хорошо: она уже свободно объяснялась по-русски, научилась готовить тангитанскую еду не хуже самой Агриппины Зиновьевны. А уж о стирке да чистоте в доме и говорить не приходится... И сыта она, и спит в тепле, и хозяева вроде бы не обижают... Что еще надо? И все же каждый вечер, оставшись одна в своей кухоньке, Милюнэ чуть не плакала от тоски, от неясных желаний, от воспоминаний о тундре. Вдруг с неожиданной отчетливостью она видела давно забытые тундровые закаты, когда солнце катилось по холмистой линии горизонта, словно не желая уходить в темноту подземелья. Она тосковала о будущем, неясном, туманном и желанном...

Артельные рыбаки появились на исходе ночи, дня через два после бури. Они шли на веслах по приливу. Черный баркас, словно в смущении, бесшумно скользил под берегом.

Рыбаки молча высадились между тангитанским кладбищем и ярангой Тымнэро. Тымнэро поднялся к себе в ярангу, остальные пошли дальше, нехотя отвечая на расспросы встречных.

Грушецкий вышел на крыльцо своей конторы; громко крикнул:

— Ну что, рыбачки? Много ли наловили?...

Волтер подошел к Грушецкому, сунул ему под нос увесистый кулак:

— Катись отсюда, пока цел. Да смотри, тихо сиди...— процедил сквозь зубы.

— Убери руки!— вскинулся на него Грушецкий.— Потрепыхались, и хватит! Слыхал, что случилось в Петропавловске?

— Катись, говорю...

Тренев о тоской смотрел в окно.

«Да... положеньице... Слава богу, не увяз еще по самое горло в делах эти комитетов и Советов», — он мысленно похвалил себя за предусмотрительность и осторожность.

Весть о том, что в Петропавловск вернулась старая власть, напугала весь Ново-Мариинск. Бессекерский, получивший подробное письмо от своего друга с Камчатки, объяснил: суть переворота заключается в том, что власть взяли имущие люди, хозяева. Никаких представителей солдатских, крестьянских и прочих депутатов. Вынашивается план отделения полуострова от России и провозглашение Камчатской республики. Это означало: новые камчатские правители включают в состав своего государства и Чукотку.

«Опоздал, опоздал, — клял себя Тренев. — Ведь был такой момент, когда председатель растерялся и поверил телеграмме о расширении Совета... Вот тогда-то и надо было брать власть в свои руки... А теперь...»

За окнами сиял летний день. Коротко анадырское лето, но радостно такими вот ясными, тихими днями.

— Пойдем, Грушенька, в тундру, — неожиданно предложил Иван Архипович.

Агриппина Зиновьевна с удивлением поглядела на мужа — не рехнулся ли часом? В последние дни он был совсем плох...

— А что, Груша? Сейчас в тундре благодать. Комар кончился, морошка появилась, цветы... Ей-богу, пойдем, что нам киснуть здесь взаперти?

Что-то сладкое шевельнулось в груди у Агриппины Зиновьевны. Вспомнились воскресные прогулки в Озерки, Шувалово, а иной раз даже в аристократический Петергоф, где возносились к небу хрустальные струи фонтанов.

— Пойдем, Ванюша, — обрадовалась она. — Возьмем поесть. Пикник устроим.

Она тут же принялась хлопотать, покрикивать на Милюнэ.

Служанка едва догадывалась, о чем идет речь. Не было у ново-мариинских жителей обычая так просто ходить в тундру.

Ново-Марининские обыватели с недоумением и любопытством провожали взглядами странную процессию: впереди важно вышагивала Агриппина Зиновьевна, за ней — Иван Архипович в сюртуке, но в болотных сапогах, а позади красавица-служанка Маша.

Ермачков, выглянув из своей развалюхи, усмехнулся:

— Доспели... Обчужкотились совсем. Не иначе как мышинные кореньки пошли собирать. Нынче-то в самый раз...

Уже за железными мачтами радиостанции потянулась цветущая тундра. Красные ягоды морошки выглядывали из ярко-зеленой травы, сине-черная шикша сплошняком устилала кочки. Милюнэ, не разгибаясь, собирала ягоды, складывала их в большую жестяную кружку. Тангитаны тоже лакомялись ягодой, и вскоре губы и руки у них почернели от черничного сока.

На склоне холма Милюнэ разыскала мышинные кладовые и принялась палкой разрыхлять их, доставая оттуда сладкие корни — пэлкурэт. Как истая тундровая собирательница, Милюнэ ничего не брала себе в рот, складывая добычу в специальный матерчатый мешочек.

Трнев облюбовал место на сухом, пригретом солнцем пригорке и велел Милюнэ разложить скатерть, провизню.

Тангитавы прилегли на мягкий мох, наслаждаясь теплом и покоем тундры.

Агриппина Зиновьевна брала двумя пальчиками куски холодной рыбы и осторожно отправляла себе в рот. Милюнэ всегда удивлялась тому, как ела хозяйка. Иной раз за столом та клевала, как птичка, а то вдруг на нее нападал такой аппетит, что она хватала на кухне все, что попадало под руку.

— Не медведь ли это? — спросила Агриппина Зиновьевна, двумя пальчиками беря кусочек холодной рыбы.

С соседнего холма в ложбинку спускался кто-то с ношей сухого стланика за спиной.

— Это люди, — сказала Милюнэ.

— Какие-то странные, — встревоженно проговорил Иван Архипович.

— Женщина тащит на спине дрова, а за руку держит ребенка, — пояснила Милюнэ.

— Ну и глаза! Как бинокли, — то ли осудила, то ли похвалила хозяйка.

Меж тем тундровые путники приблизились, и Милюнэ узнала в них Тынатваль и Аяну — дочку Тымнэро.

— Да это жена Тымнэро, — сказал с удивлением Иван Архипович.

Женщина с ребенком остановилась поодаль.

— Пусть подойдут ближе, — милостиво разрешила Агриппина Зиновьевна, обращаясь к служанке.

Милюнэ подозвала Тынатваль, та сделала шаг, другой и снова остановилась.

В руках Тынатваль держала туго набитый морошкой кожаный туесок. Аяна уставилась на остатки господского пиршества. Агриппина Зиновьевна поймала голодный взгляд ребенка, собрала куски рыбы, хлеба и протянула девочке:

— Ешь, милая, не бойся.

Однако к ее удивлению девочка в испуге прижалась к матери.

— Что это она? Неужели боится?

— Она испугалась, — сказала Милюнэ.

— Чего же ей пугаться? — пожала плечами Агриппина Зиновьевна. — Неужто я такая страшная?

Иван Архипович встал с пригорка, подошел к Тынатваль и взял у нее из рук туесок с ягодами.

— Гляди, Груша, какая прелесть! Давай купим у нее эти ягоды. Спроси, Маша, сколько она хочет за них?

Милюнэ перевела вопрос хозяина, потом ответ Тынатваль:

— Берите так, если нравится.

— То есть как это — так? — он пристально посмотрел на служанку. — В подарок, что ли?

— В подарок, — кивнула Милюнэ.

— Нет, так не пойдет, — сказал Иван Архипович. — Я не могу брать даром у туземцев. Пусть возьмут этот хлеб, рыбу, — сказал он, кинув на обедки.

Милюнэ перевела предложение хозяина, и Тынатваль устало согласилась.

Одежда на ней была повседневная, лоснящаяся от сала и вся в лохмотках. Девчушка тоже была в жалких лохмотьях, худая и какая-то забитая. Смотреть на них было тяжело, и оба тангитана облегченно вздохнули,

когда Тынатваль, взвалив на себя увязанную кучу сухого стланика, пошагала прочь.

— Какая нищета! — вздохнула вслед им Агриппина Зиновьевна.

Миллионы испытывала неловкость от этой неожиданной встречи, от этого невольного унижения. И, пожалуй, впервые в душе у нее шевельнулось странное чувство, вроде бы даже ненависть к этим сытым, никогда не знавшим настоящего изнурительного голода людям. Она знала, что хозяева презирают ее родичей, не стесняясь ее, они обсуждают внешность, грязь, невежество, смешные обычаи и привычки чукчей. Агриппина Зиновьевна вообще была убеждена в том, что местные жители — это ближайшие родственники животных, непонятно почему имеющих человеческое обличье.

Солнце ушло на другой берег лимана, и Треневы собирались домой, насладившись тундровой тишиной, чистым воздухом. Агриппина Зиновьевна набрала большой букет цветов и шла, как всегда, впереди.

За мостом они встретили возбужденного Бессекерского.

— Ну где же вы были? — накинулся он на Тренева. — Упустили такой шанс, которого у вас, наверное, больше не будет.

— Что случилось? — с тревогой спросил Тренев.

— А то, что с аукциона продавали катера, кунгас и продовольственный склад, — выпалил Бессекерский.

Катера, кунгас и пустой склад ранее принадлежали уездному правлению и считались государственной собственностью. Последний Совет объявил это имущество общественным достоянием, хотя не раз коммерсанты предлагали передать его кому-то из них. Катера и кунгас в летнее время представляли большую ценность — на них поднимались с грузами до самого Марково, а прочный, хорошо построенный склад можно было сдавать в аренду, получая за это довольно большие деньги — в морозном и пуржистом Ново-Мариинске надежное укрытие ценилось дорого. Словом, тот, кто владел транспортными средствами, и был хозяином положения.

— Кто же купил? — спросил Тренев.

— Я купил! — веско проговорил Бессекерский.

— Все?

— Катер и кунгас. Второй катер и склад захватил Грушецкий... Эх, жаль тебя не было! Представляешь — купили бы мы вдвоем все это да на зиму упряжки четыре арендовали — стали бы настоящими хозяевами Анадырского края.

Дома Агриппина Зиновьевна велела поставить самовар и, сославшись на неожиданно вспыхнувшую мигрень, улеглась в постель.

Мужчины уселись на кухонные табуретки, продолжая беседу.

— У меня давняя задумка насчет транспорта, — продолжал Бессекерский. — В здешних условиях — это самое прибыльное дело. Понимаешь, ежели нам взять все катера и кунгасы, собачьи упряжки — такими делами можно ворочать! Глядишь, потом и шхуну можно приобрести у американцев...

— Так что же делать? — растерянно произнес Тренев. — Грушецкий нам обратно катер не продаст.

— Я и об этом подумал, — улыбнулся Бессекерский. — С одним катером он не больно развернется. Кунгас все равно нужен, а он-то у меня. Со временем и второй катер можно у него перекупить. Ну так как? Входите в долю? Акционерное транспортное общество «Бессекерский и Тренев» — перевозка грузов по рекам Чукотки, каботаж и собачий извоз? А?

Прогулка в тундру несколько успокоила Тренева, и он стал трезвее смотреть на происшедшее. Кто знает, как еще дальше дело повернется. Может статься, что возвращение старых порядков дойдет до того, что будет восстановлена монархия, и Бессекерскому с Грушецким придется обратно отдавать катера и кунгасы, как имущество государственное.

— Надо подумать, — уклонился от прямого ответа Тренев.

— Смотрите, Иван Архипович, — с ноткой угрозы произнес Бессекерский. — Упустите свою выгоду. Я предлагал вам сотрудничество из дружеских чувств. А охотники найдутся, стоит только клич бросить...

Бессекерский вышел, и тотчас на пороге появилась Агриппина Зиновьевна с полотенцем на голове.

— Почему не согласился? Чего ты ждешь?

Тренев на сей раз оправдываться не стал, лишь коса взглянул на жену и молча прошел в комнату.

Глава третья

Хозяев стойбищ, имеющих большое количество оленей, называли «майшачавтыват» — «большой оленевод»... И такое название присуждалось не обязательно самому богатому, но непременно главе, родоначальнику стойбища и прилегающих к нему соседних.

Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск, изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1974

Отсюда до Ново-Марининского поста было рукой подать — только перевалить через Золотой хребет. С установлением нартового пути — когда вынал снег и лед сковал речки и озера — возможность стала такой очевидной, что только строгий запрет Армагиргина удерживал людей. И хотя никто не мог ослушаться, хозяин стойбища каждый вечер ложился с тревожным чувством.

После той памятной поездки Армагиргин долго не мог прийти в себя, заглушить совесть, забыть обо всем. Да и как тут забудешь, когда у Кымынто родилась внучка — ясноглазая тангитанская девочка, громогласная, словно вобравшая в себя все пьяные крики и вопли тех зимних разгульных ночей вблизи от Ново-Марининского поста. И рад бы был Армагиргин откочевать от этого опасного места, но пришло время навещать именно эти пастбища.

Армагиргин одряхлел, но штанов из белого камуса пока не надевал. Возраст давал себя знать долгими бессонными ночами, тоской. Все чаще призывал Армагиргин к себе младшего Эль-Эля, но молодой шаман камлал как-то деловито, без того зажигательного вдохновения, которое было свойственно его отцу. Иной раз Армагиргин не выдерживал и попрекал шамана леньностью и малым усердием.

Младший Эль-Эль часто уходил в стадо, где поголовье священных оленей становилось из года в год все больше. Странное дело — когда нападала копытка или волчья стая похищали оленей, чаще всего священные оставались нетронутыми. Конечно, в этом ничего удивительного нет — священный олень охраняется богом, но все же... Не много ли священных оленей в стаде? Ведь жертвенное животное принадлежало шаману, и

Эль-Эль всегда был сыт, ибо чем труднее время, тем чаще приходилось приносить жертвы...

Армагиргин чувствовал в душе нарастающую неприязнь к шаману и, опасаясь собственного гнева, отсылал от себя.

Старик стал бояться одиночества. Когда удалялся Эль-Эль, приходил черед Теневиля.

Все стойбище заметило благоволение Армагиргина к молодому пастуху. Новорожденному сыну Теневиля хозяин передал частицу своего имени, назвав мальчика Армолем. Это было знаком особого покровительства. Наречение мальчика было обставлено с необычной пышностью, словно он был кровным родичем Армагиргина.

С тяжелым сердцем шел Теневиль в ярангу Армагиргина. Почему именно на него пала такая милость? Вон сколько кругом пресмыкающихся, готовых лизать лахтачьи подошвы эрмэчина, готовых услужить, сказать лестное, приятное слуху слово. Близкие друзья нынче искоса поглядывали на Теневиля, а другие стали излишне подобострастны... Исчезла прежняя теплота, откровенность и искренность.

А отказаться нельзя. Куда денешься с малым дитем?

Прежде чем войти в ярангу, Теневиль остановился, глубоко вздохнул и огляделся. Яркая полная луна сидела на зубчатой вершине хребта и заливала долину ровным бестеневым светом. Звезды дрожали от ночного холода. Где-то далеко заплакал ребенок. Теневиль прислушался: нет, это не Армоль. Он уже знал его голос, голос своего будущего. Странно, ведь раньше тоже была жизнь и какой-то смысл в ней, а нынче все пережитое казалось никчемным, пустым. Только сейчас и началась настоящая жизнь и существование в мире наполнилось смыслом, ибо есть связь с будущим, с тем временем, которое будет течь независимо от живущих ныне.

Налюбовавшись на звезды и дальние, освещенные солнцем отроги Золотого хребта, Теневиль шагнул в чоттагин хозяйской яранги.

Перед Армагиргином лежала доска с текстом царской бумаги. На низком столике стояли два моховых светильника для дополнительного света.

Армагиргин кивком головы показал на место рядом с собой. Теневиль сел.

Женщина подала кипяток, заваренный тупдровой травой.

— Гляди сюда,— Армагиргин показал на доску. — Ты никогда не задумывался, почему у царского орла две головы?

— Нет.

— Это должно что-то значить,— глубокомысленно заметил Армагиргин. — Зачем птице две головы? Ведь с двумя головами летать куда труднее, чем с одной.

— Может, это знак мудрости? — осторожно предположил Теневиль.

— Я тоже так думал,— со вздохом сказал Армагиргин.— Но не только это... Два взгляда, и оба в разные стороны. Видишь? Вот только который из них — вперед? А?

— Коо,— пожал плечами Теневиль.

— Спросить бы знающего человека...

— Это только в Ново-Маринске можно,— сказал Теневиль.

Армагиргин вздохнул. Всякое воспоминание о Ново-Маринске было для него слишком тягостным.

— Неужто нам своим разумом не отгадать это царское тавро? — с досадой спросил Армагиргин.

— Как же угадать? Чужой язык, чужой склад мыслей,— вздохнул Теневиль. — Я вот смекаю: чтобы понять тангитанский письменный разговор, сначала надо их речь изучить... А разве Кобелев не переводил содержание царской бумаги?

— Содержание бумаги мне известно,— ответил Армагиргин,— мне надо смысл тавра и значение двуглавой птицы уразуметь. И отчего она такая когтистая да тощая?

— Может, старая? — предположил Теневиль.

— А верно — птица-то старая,— пробормотал Армагиргин.— Она и должна быть старой, ибо должна говорить о древности рода. Орлы, сказывают, живут долго, как и вороны... А вот две головы? И почему в разные стороны?

— Чтоб взглядом больше охватить,— сказал вдруг Теневиль, сам несколько испугавшись своей догадки.

— А ведь верно! — Армагиргин изумленно посмотрел на пастуха, будто видел его впервые. — Чтобы взгляд охватывал большое пространство и вперед и назад, в прошлое и будущее. Чтобы ничто не ускользало от острых орлиных глаз... Сообразителен ты, Теневиль.

Армагиргин с уважением посмотрел на него, но от этого взгляда на Теневиля повеяло холодком.

— Помнишь разговор?

— Какой разговор? — отозвался Теневиль.

— Когда я тебе рассказывал о наследстве...

Теневиль молчал.

— Другой бы обрадовался, — с недоумением произнес Армагиргин. — Почему ты уклоняешься от прямого ответа? Если тебя это пугает, то скажи почему? Разве богатство так страшно для непривычного человека? Ведь каждый бедняк мечтает разбогатеть, я так думаю...

Армагиргин наклонился и пытливо посмотрел в глаза Теневилю.

— Может быть, бедняки и мечтают разбогатеть, но не так, — после некоторого раздумья сказал Теневиль. — Одно дело богатство получить ни за что, а другое — своими руками сотворить его.

— Так не бывает, чтобы богатство своими руками было сотворено, — веско сказал Армагиргин.

— Почему?

— Тогда бы бедных на свете не было, — сказал Армагиргин. — Богатство создается бережливыми, теми, кто удачлив и, главное — теми, кому оно подарено судьбой.

— Меня судьба обошла...

Армагиргин хитро прищурился:

— Отказываешься?

Теневиль молчал.

— А что скажет твой сын, когда узнает, от какого богатства ты отказался?

— Я постараюсь воспитать его так, чтобы он не был завистлив к чужому, — тихо, но решительно ответил Теневиль.

Армагиргин вздохнул, поднялся со своего места, подошел к костру и стал задумчиво смотреть на огонь. Потом вернулся.

— А теперь слушай меня внимательно. Прежде чем предложить тебе наследство, я крепко подумал. Я выбрал тебя из всех, потому что ты сообразителен и, может быть, даже по-своему мудр. И еще — справедливость в твоей крови. Я знал твоих предков. Я не хочу, чтобы после моей смерти стойбище Армагиргина разбредлось и исчезло с лица земли. А такое может случиться, если не будет твердой хозяйской руки. Я пекусь не о собственном богатстве, а о людях, остающихся после меня. Природа человека такова, что он в большей части неблагодарен, и поведение его нуждается в руководстве. Если стадо окажется без хозяина, его разворуют, растащат, убьют на мясо важенков и породистых быков, не говоря уже о ездовых оленях. Нужен человек не для праздного пользования богатством, а для руководства стойбищем.

Вкрадчивый голос Армагиргина пугал и даже будто усыплял Теневилля.

— Или у тебя на уме надежды на перемены в тангитанском мире? А? Запомни, Теневиль, тот мир чужой для нас. И образом жизни, и обычаями, и мыслями. Тангитан чертовски изобретателен, хитер в торговых делах, но наивен и груб. У него столько же презрения к нам, сколько у нас к нему... И все же он не такой человек, как мы. И не зря установлено: он живет своей жизнью, мы — своей. И пока не будем мы мешать наш образ жизни с ихним — между нами будет мир. Сами тангитаны это поняли. Ты помнишь древние сказания о Якунине, о битвах чукчей с тангитанами? А чем это кончилось? Каждый остался верен своим обычаям...

От долгого разговора Армагиргин утомился, несколько раз останавливался и глубоко вздыхал.

Теневиль слушал его и, внимая словам эрмэчина, думал о своем. Разве не было у него мечты иметь свое собственное оленье стадо? Была, и еще какая! Но это были только сны... В действительности у него было три ездовых оленя, выращенные за последний год и еще как следует не обученные. Первые его олени за многие годы... А тут Армагиргин предлагает все свое стадо. Почему же разум и все нутро противятся этому дару? Слишком много? Да ведь во сне было гораздо боль-

ше — и ничего. Только горькое разочарование при пробуждении...

— Знаю — трудную я тебе задал задачу, — ласково произнес Армагиргин, — а ты думай. Дураком ты был бы, если бы сразу согласился.

Чуткое ухо Теневиля уловило какой-то непривычный шум за стенами яранги, дальний собачий лай.

Насторожился и сам Армагиргин.

Собачий лай приближался.

— Неужто к нам? — удивился Армагиргин и направился встречать гостей. Вместе с ним вышел и Теневиль.

Упряжка уже подъехала, и с нарты вставал каюр, облаченный в длинную матерчатую камлейку. Вглядевшись, Теневиль узнал в нем Тымнэро, своего новомариинского родича.

— Какомэй, етти! — воскликнул он.

— Ии, — ответил Тымнэро. — Уэлькальские видели следы вашего стада, я и догадался приехать.

— Ну, заходи в ярангу, коли приехал, — позвал гостя Армагиргин и велел собравшимся пастухам распрячь и накормить собак.

По старинному обычаю гостя ни о чем не расспрашивали, пока он не согрелся и не насытился. А голодный Тымнэро будто прилип к деревянному блюду. Теневиль с жалостью глядел на него — да, в Ново-Мариинске чукчам сейчас гораздо труднее, чем им, в стойбище.

— Еды, однако, совсем не стало, — подтвердил Тымнэро, переходя от мяса к крепкому оленьему бульону. — Рыбалки считайте вовсе не было. Удалось осенью белуху подстрелить — вот и весь собачий корм.

Гувана заварила настоящего чаю из привезенного Тымнэро скола чайного кирпича.

— А что там с властью? — задал Армагиргин свой главный вопрос.

— Все вернулось, — махнул рукой Тымнэро. — Зазя только народ будоражили да сулили несбыточное. Про общий дележ да владение толковали. А дело кончилось тем, что даже царские катера и кунгас продали. Бессекерский купил их да Грушецкий. А что толку — товару совсем нет — возить нечего. Однако думают, что отберут катера и кунгас царские люди, когда при-

плывут следующим пароходом в Ново-Мариинск... Так что все вернулось к прежним порядкам. Правда, старого радиста убрали — не по нраву стал, новый теперь, Учватов, у них птичий разговор ловит.

Армагиргин поднял голову и посмотрел на Теневилья.

Поздним вечером Теневилья увел гостя в свою ярангу, и только там Тымнэро признался, что привела его в стойбище крайняя нужда.

— Морской охоты совсем не стало, — жаловался он. — Нерпа ушла, открытая вода далеко, по торосам до нее не добраться. Боюсь, и дочка помрет — для чего тогда жить?

Теневилья слушал Тымнэро и согласно кивал: и вправду — для чего жить, как не для детей. Это он хорошо понимал. Но чем помочь другу? Ведь у самого только ездовые олени...

И, словно услышав его тяжкие мысли, Тымнэро торопливо проговорил:

— Я кое-какой товар привез... Совестно мне торговать, как тангитану, но что поделаешь? Чай есть, немного сахару, небольшой куль муки и даже две бутылки дурной веселящей воды. Спасибо, Аренс Волтер помог, дал мне свой сахар... Хороший он человек, совсем непохожий на других тангитанов.

— Может, с Армагиргином потолковать? — с сомнением сказал Теневилья.

Не хотелось ему открываться перед Тымнэро, рассказывать о наследстве, которое предлагал эрмэчин.

— С ним только и толковать, — подхватил Тымнэро. — Как же без него, без хозяина?

Тымнэро совсем отощал, и смотреть на него было страшно — только глаза и горели на его черном костлявом лице.

Раулена наварила еще мяса, и Тымнэро не нашел в себе сил отказаться от дополнительного угощения. Он разделся догола, влез в полог и высунул голову в чоттагин, чтобы было свободнее.

— Эти тангитаны совсем взбесились, — рассказывал Тымнэро. — Орут друг на друга и даже дерутся, особенно когда отведают дурной веселящей воды. Страшно на них смотреть.

— А как же среди них Милюнэ живет? — спросила Раулена.

— Милюнэ хорошо живет, — ответил Тымнэро, — помогает нам, чем может. Но много ли объедков от двух тангитанов? Да и в еде они стали больно аккуратны, уже не пируют как раньше.

— А замуж она не собирается?

Тымнэро помолчал. Слышал он как-то разговор Тынатваль с Милюнэ. Вроде бы засматриваются на нее тангитаны, однако больше для удовольствия, не для жизни... Тымнэро заметил, что она стала разборчива, и уже, конечно, не всякий человек ей нравится.

— Пока незаметно, — ответил Тымнэро.

— Что же это она? — удивилась Раулена. — Вроде бы пора.

— Вроде бы, — согласился с ней Тымнэро. — Тангитанская жизнь, видно, ей нравится, не больно хочется уходить от хозяев. Сытно, тепло — отчего не жить?

— Все же она женщина, — заметила Раулена. — Женское свое должна взять.

— А может, она второй тайной женой хозяина-тангитана стала? — предположил Теневиль.

— Неужто? — встрепелась Раулена. — Это было бы неплохо для нее. Пусть вторая, но у такого богача!

Тымнэро с сомнением покачал головой.

— Не похоже... Больно властна хозяйка. Сказывала Милюнэ, раз Ванька хотел взять ее. Наваливался да все мокрым ртом возил по лицу — это так у тангитанов любовь начинается — значит, раскроют рот во всю ширь и вроде кусаются не кусаются, а принимают друг к другу открытыми ртами. Заменяют этим наше обнюхивание. Однако хозяйка прибежала да отколодила мужика... С тех пор не видит хозяин Милюнэ, мимо смотрит. Бойтся жены.

— Да, она, конечно, не очень-то к этому делу охоча, — заметил Теневиль. — Тут Армагиргин пытался ее взять, не захотела. Плакала, будто не мужика остерегалась, а самой смерти.

— Ну уж сравнил старика с тангитаном, — усмеялась Раулена. — Однако будет так жить, может и на всю жизнь яловой остаться.

— Найдется какой-нибудь тыркыльын¹, — с уверенностью произнес Тымнэро, — просто время ее не пришло, не появился настоящий человек...

— Хоть бы тангитан взял... — вздохнула Раулена. — Всю жизнь была бы сыта.

Сытость — вожделение человека, долго лишенного этого благодатного ощущения. Ведь сколько ни ел Тымнэро, а разумом он все еще был голоден. И только мысль о том, что это беспрестанное насыщение может для него плохо кончиться, заставила Тымнэро устало произнести:

— Ратан²...

Следующим утром он проснулся на рассвете от желания облегчиться. К своему удивлению, он не обнаружил рядом в пологе Теневилья и подумал, что оленивод ушел в стадо.

Тымнэро натянул на себя нижние пыжиковые штаны, торбаса, накинул легкую кухлянку и вышел из яранги. Присаживаясь за крутым сугробом, он по привычке посмотрел на восход, чтобы удостовериться, что погода в течение дня не изменится. Там было чисто, и ровная полоса красной зари наполнялась усиливающимся светом, будто живой горячей кровью. Вчерашняя сытость еще не прошла, и по телу Тымнэро разливалась умиротворенность и блаженство. Подумалось: вот так себя чувствуют настоящие хозяева, те, кто не беспокоится о завтрашнем дне. Голод для них не страх, а предвкушение приятного насыщения.

Вернувшись в ярангу, он застал там расстроенного Теневилья.

— Тебе лучше поскорее уехать отсюда, — мрачно проговорил пастух.

— Я и сам подумываю об этом, — с легким удивлением отозвался Тымнэро. — А что случилось?

Однако Теневиль не мог передать своему дальнему родичу утреннего разговора с Армагиргином, сказал только:

— Так надо.

Он забил трех оленей, помог погрузить туши на нарту и проводил Тымнэро вверх по долине, пока нар-

¹ Тыркыльын — олень-бык (чук.).

² Ратан — довольно (чук.).

та не поднялась на перевал, откуда дорога шла все вниз и вниз до самого Анадырского лимана.

Теневиль смотрел вслед исчезающей нарте и с горечью вспоминал трудный разговор с Армагиргином.

Убаюканный непривычной сытостью, Тымнэро не слышал, как Теневиль выскользнул на зов хозяина из полога.

Армагиргин сидел у тлеющего костра, словно и не ложился спать, и смотрел слезящимися глазами на подернутый серым пеплом огонь. Он быстро взглянул на вошедшего и коротко бросил:

— Не будь он твоим родичем, я бы велел убить его.

Эти слова словно плетью ударили Теневиля, и он остановился у порога, пораженный услышанным.

— Я много думал,— продолжал Армагиргин, — и пришел к такой мысли: нет у нас единого пути с тангитанами. И чем дальше мы будем от них,— тем лучше для нашего народа. Всех, кто будет пытаться связать нас с ними, мы будем гнать от нашего стойбища или стрелять как голодных волков, бродящих у наших стад. Мы их не зовем к себе и не идем к ним... Проводи своего родича, забей ему оленей, и пусть он уезжает отсюда, пока не разгорелся мой гнев. А когда он уедет — приходи ко мне.

Нарта исчезла за острогами Золотого хребта.

Кончался короткий зимний день. Сменные пастухи возвращались из стада, устало входили в жилища. В чоттагинах пылали костры, трещал в огне высохший на морозе валежник, в вечернем стылом воздухе глухо звучали голоса.

В чоттагине Армагиргина были зажжены четыре моховых светильника и светло было, как солнечным днем.

Прямо под дымовым отверстием на рэтэме были разложены странные вещи: берестяная коробочка-протоочгын, в которой хранились царские бумаги; дарованная якутским генерал-губернатором тангитанская парадная одежда, уже сильно истлевшая от старости и сотню раз чиненная-перечиненная нитками из оленьих жил; тускло поблескивали расшитые серебром наплечники; позеленевшие пуговицы. Здесь же лежала хорошо отполированная деревянная доска, на которую стараниями Теневиля были перенесены слова царской

бумаги. Поверх всего, на небрежно брошенном мундире лежал царский ножик в серебряных ножнах.

Теневиль с удивлением уставился на эту грудю.

Армагиргин поймал его взгляд, сказал:

— Прежде чем звать Эль-Эля, ты первым узнаешь от меня эту новость: я решил отречься от братства с русским царем.

— Как это? — не понял Теневиль.

— Много лет назад я дал клятву служить российскому царю и русскому правительству вместе со всем чукотским народом... Однако юстальные чукотские эрмэчины не поддерживали меня. Они посмеялись над бумагой, над моими новыми ритуальными одеждами, над этим ножиком... Леут сорвал с моей груди крест, смеялся над русской верой, ругал русского бога. Я не отступал от своего. Мне казалось: жить под покровительством русского царя и русской веры — лучшее, что может быть для нашего народа. Я ждал вместе соим народом защиты и помощи... Да, пришли на нашу землю тангитаны с признаками власти, с маленькими ружьями в кожаных чехлах, которые они носят на поясе. В Марково и в Уэлене построили школы. Появился даже русский лекарь Черепак... Но в школе ни одного чукчу не научили грамоте — Михаил Куркутский и Николай Даурикин — те не в счет. Они чуванды, люди другого племени... Черепак на моей памяти не вылечил ни одного нашего соплеменника. А русская вера оказалась непригодной для нас, ибо была непонятна... И чем больше я жил на этой земле, тем больше убеждался, что совершил в свое время ошибку — не тем путем пошел. Народы — как острова в море — они никогда не сходятся. Я потерял уважение других эрмэчинов Чукотки, они стали считать меня предателем. А сами русские смеялись надо мной и над моим званием брата русского царя... Я ушел мыслями в себя и терпел все, потому что думал о людях, о тех, кто от меня зависит, кто кормится моими оленями. Пусть бог не дал мне потомства, но рождались дети у моих пастухов, люди, которые должны были населять тундру. И вот теперь в России творится непонятное. И от этого нам еще хуже. Если бы я знал другой путь! Но нет ничего другого, как пойти дорогой лопаточной трещины... Эй, женщины, принесите оленю лопатку!

Гувана подала хорошо очищенную от мяса костяную лопатку.

Армагиргин положил ее на тлеющие угли и молча принялся наблюдать за ней.

— Пусть придет Эль-Эль...

Кто-то кинулся за шаманом, и вскоре в ярангу вошел Эль-Эль, заспанный, со светлыми шерстинками оленьего ворса, застрявшими в его спутанных волосах.

— Погляди, что там,— Армагиргин устало кивнул на почерневшую от огня оленью лопатку.

Эль-Эль щепочкой выковырнул из углей лопатку, подождал, пока она остыла, и взял в руки. Он разглядывал внимательно, исследуя каждую трещинку, каждое изменение цвета кости, но при этом искоса поглядывал на кучу ветхого тангитанского добра, лежащего на куске рэтэма под дымовым отверстием.

— Через верховья реки лежит путь кочевки,— сказал наконец Эль-Эль.

— Я так и думал,— отозвался Армагиргин. — А теперь приготовь нарту и сложи вот это,— он показал рукой на рэтэм.

Эль-Эль кинул пыливый взгляд на Армагиргина и вышел из яранги.

Тем временем Армагиргин достал обгорелый священный факел, которым переносят огонь.

Теневиль помог шаману вынести тангитанские вещи и сложить на нарту. Следом вышел Армагиргин, высоко держа в руках пылающее священное пламя.

Нарту потащили к небольшому, покрытому льдом и снегом озерку, откуда брали лед для питьевой воды. Факел освещал путь, и в красном отблеске пламени по снегу прыгали изломанные тени. Старый засохший жир стрелял и шипел, падал на белый снег черными горячими каплями. Темные яранги на высоком берегу застыли в напряженном ожидании, за их стенами угадывался страх перед неизвестностью.

Теневиль догадывался о том, что задумал Армагиргин, и едва верил этому. Но, должно быть, разочарование эрмэчина было так велико, что он решился. Но разве раньше не видел он бесплодности своих попыток подружиться с тангитанами? Или гордость мешала ему признаться в своей неудаче?

Теневиль шагал следом за Армагиргином и вдруг остановился, пораженный: эрмэчин был в белых камусовых штанах! Когда же он успел переодеться? Или это ему показалось? Теневиль пригляделся — ошибки не могло быть: Армагиргин надел беслоснежные, тщательно подобранные камусовые штаны. Они были искусно сшиты, плотно облегали ноги и казались естественным покрытием... Армагиргин надел белые штаны... Это означало, что он признал себя стариком, человеком, готовым по первому зову пуститься в путь сквозь облака. Отныне главные его мысли будут обращены к тому, чтобы достойно отойти в тот мир, чтобы не оставить на земле зла, чтобы доброта простерлась до безоблачного неба, чтобы не было ни ветерка и уходящая душа не уклонялась от предназначенного пути.

Эль-Эль вместе с нартой остановился на противоположном от стойбища берегу озера, спросил:

— Что дальше будем делать?

— Сожжем вот это, — Армагиргин небрежно кивнул на кучу, сложенную на нарте.

На снег выгрузили мундир, матерчатые, сильно поношенные штаны, кортик, грамоту в берестяном проткоочгыне и доску, на которую Теневиль с таким старанием и благоговением переносил русские письма.

Высоко держа над собой факел, Армагиргин ногой поправил кучу, сгрудив ее поплотнее, и поднес пламя. Ткань разгоралась плохо, долго тлела, испуская едкий вонючий дым. Сначала весело занялась берестяная корбочка с царской бумагой, за ней — деревянная доска с письменами. Наконец загорелась и сама одежда.

Армагиргин смотрел на огонь, и на душе у него становилось сумрачно и тяжело. Не исполнил он повеления своего отца, не улучшил жизни своих соплеменников. Оленье стадо убавилось против прежнего, меньше стало и людей. Все чаще болели люди неизвестными и трудно поддающимися шаманскому излечению болезнями. Может, молодой Эль-Эль был мало искусен в исцелении, а может, и впрямь не знал эти болезни — но так было: в бессилии он опускал свой ярар¹, останавливая камлание, убегая в тундру.

¹ Ярар — бубен (чук.).

После той памятной пьяной ночи возле Ново-Маринска двое пастухов заболели и умерли. Вернувшись в родное стойбище, обрадовались было рождению сына у Теневиля, но ведь не мог он один восполнить убыль... Да, попытка подружиться со слугой Солнечного Владыки с самого начала была ошибкой. Уж больно много было непонятного и бесчеловечного в деяниях царских слуг, и это должно было насторожить всякого здраво-мыслящего человека.

А что же дальше будет? Чем кончится это существование, в котором так мало настоящих радостей? Он скоро уходит сквозь облака, но остается его стойбище, люди, которые кормились его стадом. Чтобы жизнь за облаками была достойной, Армагиргин решил исправить свою ошибку и отречься от дружбы с русским царем, отказаться от всякого общения с тангитанским миром и уючевать в далекие и недоступные тундры.

Армагиргин время от времени ворошил концом священного факела костер, и тяжелые жирные искры, разлетаясь по сторонам, падали в снег.

И по мере того как догорал костер, он укреплялся в мысли, что принял правильное решение. Надо уходить. Уходить в свою жизнь, подальше от чужих людей с чужими мыслями, с чужими надеждами, чужой едой и разными вещами, которые вводят человека в грех и соблазн. Велика чукотская земля. Есть такие места, где можно укрыться на долгие годы. И еще — внушить людям, что только собственная праведная жизнь и есть жизнь, достойная настоящего человека.

На востоке занималась заря. Будто и там кто-то жег огромный царский мундир и сукно долго не разгоралось, багровея и наливаясь жаром.

Интересно, есть ли такие люди, которые уходят из этой жизни с чувством облегчения и исполненного долга? Или такого не бывает? Ведь как бы ты ни был удачлив и сколько бы ты ни прожил, все мало тебе... Мало тебе двух жен и той тангитанской женщины в мягких пушистых постелях губернаторского гостевого дома, мало власти, которую имел над своим стойбищем, хотелось быть самым главным эрмэчином во всей чукотской тундре... Всего хотелось больше... А что осталось — лишь черный пепел на белом снегу и белые камусовые штаны...

Ранним утром Армагиргин собрал пастухов в своей яранге и объявил:

— Через два дня мы уходим с этих пастбищ... Наша дорога будет проходить мимо Великой реки. Отныне наше стойбище не будет пускать к себе тангитанов. Пусть пастухи берут с собой в стадо винчестеры. Стреляйте во всех, кто вздумает приблизиться к нам. Стреляйте так же безжалостно, как стреляете в волков... Ибо те люди хуже волков, и урон, который они причинили нашему стойбищу и нашей жизни, не сравнить с нападением самого большого волчьего стада.

Все слушали Армагиргина с почтением и не сводили глаз с его белых камусовых штанов: значит, старик готовится уходить... А кто же останется вместо него? Кому он передаст стойбище? Неужто придет после его смерти междоусобица и жестокий спор вокруг наследства?

Никто этого не знал.

Армагиргин еще не сказал самого главного.

* * *

Аренс Волтер, перепачканный глиной и сажей, сидел в своем домике и пил чай. Посреди зимы он решил переложить печь и сделать ее такой, чтобы для ее топки требовалось как можно меньше угля. С углем стало совсем худо. На шахте сломалась лебедка, и те, кому нужно было топливо, вынуждены были платить за него большие деньги или сами отправлялись с мешками на другой берег Анадырского лимана, спускались в шахту, нагружали лопатами уголь.

Тымнэро давно не знал такой удачи. Все просили привезти уголь, зазывали к себе, угощали, заискивали перед ним.

Он пришел к Волтеру, тот сидел на полу возле небольшой кучки кирпича — видно, что-то обдумывал.

— Я делаю обогреватель на всю стену, — принялся объяснять Волтер. — Во всю стену будет кирпич. Но не сплошной, а с дымоходами. Прежде чем уйти из моего домика, дым отдаст все тепло до последнего... Понял?

Тымнэро ничего не понял. Он видел только груды кирпича, жидкую глину в лохани и перепачканного Волтера.

Волтер налил Тымнэро чай и продолжал:

— Позвал я тебя, чтобы вот о чем попросить: там возле шахты под снегом есть чугунная плита. Я ее осенью купил у одного шахтера. Надо ее привезти. Будь другом!

Тымнэро понял, о чем говорит Аренс, и согласно закивал:

— Обязательно привезу!

Он был рад услужить этому удивительному и непонятному человеку, который помог ему в самую трудную минуту — когда умирал сын.

— Что слышно о Каширине? — спросил Тымнэро.

Аренс Волтер достал письмо и принялся читать, стараясь объяснить простыми словами содержание.

Письмо было длинное, не все уразумел в нем Тымнэро, но понял — надежда есть.

А Каширин писал вот что:

«Дорогой брат Аренс! Посылаю это письмо с верным человеком. Говорят, пароход идет до Ново-Мариинска. Надеюсь, ты получишь письмо. Дела, значит, происходили таким образом. Прибывши в Петропавловск с арестованными и сдав их караулу, я стал искать верных и надежных людей. Тут еще почище, чем в Ново-Мариинске. Народу поболее, а властей и того больше. Каждый норовит объявить себя самым верным и надежным защитником народа. Прямо удивительно, как это они до этой поры сидели сиднем в своих халупах? Ведь и тогда народ существовал, маялся у них на виду... Так нет — не замечали они его. А тут — защитниками объявились такими, что готовы друг другу глотку перегрызть. Однако все начинают понимать, что главная забота всех этих «демократов» — взять себе власть и урвать побольше для себя.

На счастье, я тут встретил своих старых дружков. Они прибыли на пароходе «Тверь» поздней осенью в числе солдат здешней команды. И знаешь кого я встретил здесь? Ваню Ларина, моего старого дружка еще по Уэлену. Будешь в тамошнем селении — увидишь школу — это мы с Ванюшей поставили ее, когда я служил у Караевых. Ваня Ларин с товарищами оказались большевиками. Они-то и объяснили мне, что к чему, и я понял — это те, кого нам не хватало в Ново-Мариинске. Только у них слова не расходятся с делом

и представляют они народную силу безо всякой трепотни. Ваня Ларин сразу начал работу и двинул лозунг: по примеру центральной власти, питерского пролетариата надо создавать в Петропавловске Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и ввести туда подлинных народных представителей.

Совет в Петропавловске был создан 7 декабря. Эту великую дату должны запомнить все люди северо-востока. В день Нового года мы объявили Совет высшей властью в городе. Что тут затеялось! Ларина и его товарищей называли узурпаторами, самовольными захватчиками власти. Я не остался в стороне. Выступал на митингах, на рабочих сходках. Призывал рыбаков, моряков, солдат поддержать Совет, ибо другой власти трудовому народу не надо. Написал я письмо городскому Совету, чтобы приняли решительные меры к контрреволюционерам. Они ведь что учудили?! Перед началом навигации выступили с лозунгами объявить Камчатку автономной республикой и отделить ее от Советской России! Но я-то знаю, что это означает на самом деле — это значит влезть прямо в разинутую пасть Свенсона! Лидером у этих автономистов некий Сусляк. На собрании он прямо так и заявил, что боится жить в Петропавловске из-за меня. В общем, дорогой брат Аренс, тут такая же картина, что и в Ново-Мариинске, даже еще похлеще, и всякая сволочь боится меня. Но дело, конечно, не во мне! Весь трудовой народ Камчатки поддерживает Советы! И если бы мы были смелее, решительнее, то не произошло бы в июле месяце контрреволюционного переворота, не оказалась бы власть в руках бывшего офицера, разных купцов да промышленников.

— Арестован весь Петропавловский Совет и я тоже, хотя формально в Совете не состоял. Однако хорошо запомнили Сусляки мои выступления на митингах.

Плывем сейчас во Владивостокскую тюрьму. Что будет дальше, пока не знаю. Однако чую — борьба будет жестокая и долгая. Может быть, мне не придется вернуться на Чукотку, но знай, брат Аренс, что будущее за трудовым народом, за партией большевиков, за Лениным и за Советской Республикой, которая держится, несмотря ни на что. Передай поклон всем знакомым: Куркутским, Кулиновскому, Тимизэро...»

Письмо было подписано «Партии пролетариата П. Каширин».

— Будет в нашем краю другая, справедливая жизнь, — сказал Волтер, провожая Тымнэро на лед лимана.

Собаки взяли привычное направление. Дорога была накатана — пурги давно не было, и следы полозьев отчетливо виднелись на снегу. Предоставив вожаку волю, Тымнэро поудобнее уселся на нарте, на пустых мешках, и принялся думать о том, что сказал Аренс Волтер. По его словам, вычитанным в письме Каширина, выходило, что ссора между тангитанами продолжается. Ваня Куркутский говорит, что все это из-за царского золоченого сиденья. Каждый хочет на него взобраться и оттуда повелевать народами. Пока царский трон пуст, драка между тангитанами не кончится. Понемногу Тымнэро уяснял себе, что такие, как Каширин и Аренс Волтер, хотят, чтобы власть принадлежала бедным людям, чтобы именно они взобрались на царское сиденье. Мысль Тымнэро стала ясна, но он тут же понял, что это невозможно. Во-первых, царское золотое сиденье одно, а бедных людей множество. А если каждому бедняку захочется сидеть на троне? Опять начнется драка. Каждый будет стараться стащить другого и занять его место. Надо об этом сказать Волтеру.

Хороший он человек, и нечего ему впутываться в это дело. Пропадет ни за что, убьют его тангитаны. Вон сколько у них оружия! Как-то довелось Тымнэро войти в склад Бессекерского — надо было переложить товары. Работали вместе с бывшим учителем Михаилом Куркутским, родичем Ивана. Таскали тяжеленные ящики. А когда заглянули в один из них, где доска отстала, — увидели в желтом жиру поблескивающие гладкие стволы винтовок. Патронов тоже хватает у Бессекерского — можно целое моржовое лежбище расстрелять.

Но вот как получается — когда у одних несчастье, то у других удача. Сломалась лебедка на шахте. — и Тымнэро стал всем нужен. Он готов был ездить круглые сутки, благо погода была отличная и дорога накатана. Но собакам надо было давать роздых, хоть и кормил он их теперь досыта. За уголь платили щедро: на Севере самое ценное — это тепло. Можно голодать,

можно страдать от жажды, но если мороз и нет животворящего огня, считай, погиб человек.

Тымнэро оглянулся назад: над Ново-Мариинском небо было удивительно чистое и ясное. Мало топили, мало черного дыма поднималось над крышами — люди берегли топливо.

Преодолев прибрежную гряду небольших торосов, упряжка поползла наверх, и Тымнэро пришлось соскочить с нарты, чтобы собакам было полегче.

Огромное черное колесо, которое тянуло вагонетки из темного чрева угольной шахты, неподвижно прочерчивало бледное зимнее небо. У шахты Тымнэро встретил сторожа и передал просьбу Волтера о железной плите. Она стояла прислоненной к стене дома, и Тымнэро с помощью сторожа взвалил ее на нарту.

В шахту надо было спускаться в сопровождении знающего человека. Тот пришел с небольшим фонарем, и Тымнэро, взяв два мешка, лопату, шагнул в неожиданное теплое чрево земли.

Идти было скользко, хотя в земле были вырублены небольшие ступеньки. Дорога шла под уклон, и, занятый тем, чтобы не упасть, Тымнэро не глядел по сторонам, стараясь не отставать от шахтера.

Когда дорога стала не так крута, Тымнэро поднял наконец голову и... не сдержался, тихо воскликнул:

— Какомэй!

Шахтер оглянулся, повел огнем вокруг и, улыбнувшись, с гордостью спросил:

— Ну как, красиво? Гляди!

Он высоко поднял фонарь — вокруг заблестело множество разноцветных огоньков. Сначала казалось, что это тысячи неведомых подземных зверюшек глядят на Тымнэро, потом вспомнились тангутанские бисеринки, которыми чукотские женщины вышивали нарядную обувь и танцевальные перчатки. Огоньки переливались, играли, то вспыхивали, то гасли, наполняя все вокруг волшебным свечением.

— Видал? — снова гордо спросил шахтер, словно все это разноцветное волшебство было делом его рук. — Это вечная мерзлота!

Тымнэро не понимал многоточия, что говорил шахтер, но чувствовал: тот рассказывает о чем-то важном, связанном с подземной красотой земли.

Когда они остановились в забое и Тымнэро принялся насыпать в мешок уголь, казалось, он берет лопатой груды драгоценных камней.

— В этой вечной мерзлоте все сохраняется на века, — продолжал объяснять шахтер. — На материковых шахтах мы ставим крепления, а тут — сама мерзлота держит, не дает осыпаться...

Воздух в шахте был особенный. Кроме запаха самого угля слышались и другие, которых нет на вольном наружном воздухе.

— Здесь никогда ничего не меняется, — шахтер повел лучом фонаря по освещающимся стенам. — Постоянная летом и зимой температура, состав воздуха. Незыблемость, так сказать...

Шахтер посветил лампочкой в лицо Тымнэро, спросил:

— Понимаешь, о чем я говорю?

— Понимай, понимай, — закивал головой Тымнэро. Ему нравился дружелюбный тон, само течение русского говора, похожее на журчание полноводного ручья. Вон как может звучать тангитанская речь, если хороший человек говорит. А ведь Тымнэро чаще приходилось слышать лишь приказания да ругательства, которые он хорошо помнил и безошибочно отличал от всех других слов.

— Понимай, говоришь? — шахтер пытливо посмотрел в глаза Тымнэро. — А я вижу, что никакого понимания у тебя нет... Знаешь, что такое вечная мерзлота?

Шахтер колупнул пальцем мерзлую землю и поднес к глазам Тымнэро:

— Видел лед? Тает... Вот это и есть вечная мерзлота — подземный лед и холод. Вся чукотская земля сидит на этом вечном холоде. Летом оттаивает только с полметра... Да что тебе толковать — ты же сам знаешь...

Тымнэро взвалил на спину мешок, шахтер взялся нести второй.

Обратно идти было гораздо труднее. То и дело приходилось останавливаться и отдыхать. Шахтер, видно, любил поговорить.

— Я тебя давно приметил — возишь зимой уголь... И чего ты ушел из тундры? Олешек, видно, не стало? А зря ты это сделал. Тут в прошлом году ваши с королем приезжали. Ходил я смотреть на него. Ничего ко-

ролевского в нем, прямо скажу, нет. Так, пьяный старик... Зато девки хороши были... Насчет девок молодцы вы — одна другой краше. Видал я горничную Тренева — вот это королева!

Тымнэро приладил мешки на железную плиту, молча подал руку говорливому шахтеру и двинулся назад, в Ново-Мариинск.

На свежем воздухе, при ранних сумерках Тымнэро нисвольно вспоминалась раздробленная радуга на стенах подземелья — вечная мерзлота...

* * *

Бессекерский сидел в своем промороженном насквозь железном складе и подсчитывал песцовые шкурки. Маловато нынче... Товару настоящего нет, торговать нечем. Кончились сахар, мука, чай, табак, мануфактура, оставались только огромные ящики с оружием и патронами. Они занимали угол опустевшего склада. Просчитался он осенью, краем уха подслушав, что Свенсон ввозит оружие на Чукотку. Американец не станет зазря это делать, он всегда чувствует точно, где будет поживать.

А поживы-то нет. Ружье покупается не на один год. А тем более чукчей. Купит чукча какой-нибудь захудалый винчестер и лелеет его, словно бабу. Вычистит, пристреляет по-своему, снимет все лишнее, по его понятию ненужное, обточит приклад по своей щеке и сошьет нарядный чехол из выбеленной кожи.

Сказывали, что чукчи оказывают винчестеру или карабину божеские почести, приносят им жертвы, мажут всяческими снадобьями и возжигают перед ними священные курения. Об искусности чукотских стрелков из ружья Бессекерский был тоже наслышан... Все это вселяло большие надежды на успех задуманной поездки.

Была надежда продать оружие самим анадырским обывателям для создания особой милиции. Но теперь, с возвращением твердых порядков, надобность в этом отпала.

Бессекерский не знал, что делать с этими винчестерами. Хоть обратно вези, в Сан-Франциско...

Бессекерский расхаживал по большому гулкому складу, и скрип снега под ногами эхом отдавался в раскаленных морозом металлических стенах, покрытых белым налетом инея. Этот железный холод пронизывал до костей и, несмотря на то что торговец одет был в двойную кухлянку и двойные меховые штаны, в конце концов он закованел.

Бессекерский еще раз оглядел помещение. Пар от дыхания поднимался к высокому потолку и оседал на железе. Ну и холодище... Черт знает что за земля! Большую часть года мороз, да и летом не скажешь, что жарко. Скорее бы все это бросить, уехать в теплые края, где есть зеленые леса и настоящее теплое лето. Но уезжать еще рано... Маловато еще накоплено, чтобы спокойно и беззаботно прожить оставшиеся годы. К тому же... неудача с оружием... Придется с Одессой по-временить... Да и неизвестно еще, что там, в России. Может, уезжать придется совсем в другую сторону — в Америку, в Японию или Китай...

На воле было чуть теплее, а может, так только казалось...

Со стороны угольных копей приближалась собачья упряжка.

Нарта подъехала к береговой гряде, и Бессекерский узнал Тымнэро. Торговец внимательно вглядывался в каюра, в то, как тот управлял упряжкой, как медленно поднимался к домику Аренса Волтера.

«А что, если...» — и Бессекерский, окончательно утвердившись в давно мучавшей его мысли, решительно двинулся к Треневу, с которым в последнее время особенно сблизился.

Дверь Бессекерскому открыла Милюнэ, и торговец не мог удержать приветливой улыбки: уж больно ласкова и сердечна эта дикарка.

Иван Архипович лежал на постели и читал прошлогодние владивостокские газеты.

— Здравствуйте, Генрих Маркович! — Он поднялся навстречу гостю.

— А вы все недужите? — подозрительно оглядывая Тренева, спросил Бессекерский.

Агриппина Зиновьевна вступилась за мужа:

— Ванечка плохо переносит здешний климат.

Среди ново-маринских обывателей было принято

всячески ругать здешний климат и вообще все чукотское, начиная от дикарей и кончая полярной ночью.

— Во время зимних холодов прямо страх берет: вдруг да не будет больше лета? — будто оправдываясь, проговорил Тренев.

— Я тут... по делу к вам, Иван Архипович. — Бессекерский перевел разговор в другое русло.

— Маша, самовар! — крикнула Агриппина Зиновьевна.

Пока собирали на стол и Агриппина Зиновьевна собственноручно заваривала чай в фарфоровом китайском чайнике, Бессекерский натужно молчал, словно обдумывал разговор.

Тренев не торопил его, не тянул за язык.

— Вот вы, Иван Архипович, тогда все дело погубили... — заговорил Бессекерский, опорожнив первую чашку с чаем.

— Какое дело? — поперхнувшись, спросил Тренев.

— Дело транспортной компании. Сейчас бы мы с этим углем всех взяли за горло... Но теперь разговор о другом. Вы знаете, какой товар у меня на складе? Могу заверить, отличный товар! Самого высшего качества! И его столько, что можно было бы вооружить не один десяток людей и держать твердую власть...

Тренев испуганно поглядел на Бессекерского.

— Генрих Маркович, увольте, я не могу... Здоровье неважное, климат...

— Да не об этом речь! — с ухмылкой оборвал Бессекерский. — Советоваться я к вам пришел. Понимаете, Иван Архипович, оружие — это не чай и не сахар, и даже не мануфактура. Этот товар поский, его каждый день не покупают. Надо самому искать клиента. Вот я и подумал — а не поехать ли самому по побережью с этим товаром? В тундру отправляться нет смысла — там поселения редки да и найти кочующее стойбище не так просто. А в прибрежных селениях живут охотники. Охотнику нужно оружие. И если подойти с умом, то какой уважающий себя человек не соблазнится купить новое хорошее ружье с большим запасом патронов?

— Это дельная мысль, — посерьезнел Тренев, обрадованный тем, что его участие в этом деле ограничивается лишь обсуждением да советом. — И путешествие серьезное... Как далеко собираетесь проехать?

— Если ехать, то ехать всерьез! — увлеченный своей идеей, с жаром произнес Бессекерский. — До самого Уэлена!

— Долгий путь, — заметил Тренев. — Не один месяц займет.

— До самой весны. А что? В Ново-Марининске сейчас все замерло. Все в спячке, в вечной мерзлоте...

— Это вы хорошо сказали, — кивнула Агриппина Зиновьевна. — Вот именно... в вечной мерзлоте.

— На одной нарте ехать рискованно, — сказал Тренев, — придется нанимать две.

— Я и это продумал. — Бессекерский отодвинул чашку. — Хочу нанять лучших здешний каюров — Ваню Куркутского и Тымнэро.

— А кто будет возить уголь? — встревожилась Агриппина Зиновьевна.

— Честно говоря, меня это мало интересует...

— Но мы здесь померзнем как клопы!

— А мне что за дело? — пожал плечами Бессекерский. — Никто ведь не думает о том, что будет со мной, если я останусь с нераспроданными ружьями.

— Агриппина Зиновьевна права, — осторожно заметил Тренев. — Вы не подумали о тех, кто остается в Ново-Марининске. Лебедка на шахте сломана, говорят, починят только тогда, когда привезут запасные части из Владивостока...

— Так каюрам это колесо все равно не починить! Вы мне лучше скажите, Иван Архипович, что вы думаете об этих каюрах?

— Люди, в общем, надежные, — нерешительно произнес Тренев.

— Понимаете, есть у меня еще одна мысль, — Бессекерский оглянулся на кухонную дверь и понизил голос: — Уж что ни говорите, а все-таки они дикари. Могут черт знает что сделать, а потом ищи концы... Тундра велика... ограбят и бросят, а то и вовсе убьют.

— Ну это уж вы чересчур, — поморщился Тренев, неожиданно подумав, что именно Бессекерский и может ограбить и бросить посреди дороги.

— А потом — у них же семьи здесь остаются, — вмешалась в разговор Агриппина Зиновьевна. — Я тоже не думаю, что чукчи способны на грабеж... Уж на что дики и грязны, а этого у них нет...

— Кто знает, кто знает...— пробормотал Бессекерский.— Все равно надо ухо остро держать.

Приготовления к отъезду заняли не одну неделю.

Жители Ново-Мариинска один за другим жаловались в уездное правление: Бессекерский, мол, оставляет их без угля. Торговец же говорил, что ему наплевать, что ему надо продать товар...

Спор разрешил Куркутский, предложив оставить в Ново-Мариинске угольными каюрами своего брата Михаила и Ермачкова.

— У Ермачкова собачки есть,— сказал Куркутский.— А нарту, так и быть, оставлю ему свою, старую... Вот только Тымнэро поедет ли? Не может он оставить жену да малое дитя без еды.

— Аванс ему дам,— пообещал Бессекерский.— Рыбы и еще чего там.

— И потом—какая плата будет за всю поездку?

— Насчет платы—не беспокойся,—грубо сказал Бессекерский.—Довольны останетесь...

— Заранее бы договориться,—настаивал Куркутский.—Мы, мольч, деньгами бумажными больше не хотим брать.

— Как — денег не хотите? — удивился Бессекерский.

— Нонче бумажные деньги непрочные, — пояснил Куркутский,—равно как и власть.

— Ты что говоришь, чуванская морда! — вскипел Бессекерский.—Какую же ты плату хочешь?

— Твердым товаром. И Тымнэро так же говорит.

— Твердым товаром,—в раздумчивости повторил Бессекерский.—Где же нынче возьмешь этот твердый товар?

Торговались долго. Не один день.

Ходили вместе в ярангу Тымнэро, и Куркутский еще издали на чукотском языке начинал предостерегать чукчу:

— Не соглашайся сразу. Надо заранее выторговать все, что можно. Держись крепко, что бы ни сулил.

Бессекерский входил в чоттагин и демонстративно зажимал нос. Куркутский посмеивался:

— Ничего, померзнет в открытой тундре, сам будет заползать в полог...

Столковались на том, что Бессекерский дает Тымнэро новый винчестер в уплату за дорогу и снабдит Тынатваль рыбой и мукой.

* * *

Весь Ново-Мариинск провожал отъезжающий караван. На памяти здешних обывателей такое случалось не часто, может, только в те достопамятные годы, когда строилась телеграфная линия и компания нанимала ездовых собак по всему побережью, снаряжая небывалой длины караваны. Да еще раза два было такое — когда из Петропавловска приезжали ревизоры губернского управления...

Груз увязывали на лимане, возле склада Бессекерского.

Среди провожающих не было, пожалуй, лишь Тынатваль с дочкой. Тымнэро попрощался с ними в яранге как положено. Он ничего не сказал жене, только пристально поглядел ей в глаза, крепко прижал к себе дочку и нежно обнюхал ее сонное личико. Когда весь груз был упакован, Бессекерский пожал руку Трениву, Грушецкому, другим значительным людям Ново-Мариинска.

Милюнэ подошла к Тымнэро и тихо сказала ему:

— За своих не беспокойся... Я погляжу за ними...

Тымнэро улыбнулся девушке и уселся на нарту.

Бессекерский сел на нарту Куркутского, и караван медленно двинулся по льду Анадырского лимана, взяв курс на Русскую Кошку. Нарты еще долго были видны с берега, мелькая меж торосов, пока не скрылись за серой громадой острова Алюмка.

Бессекерский сидел спиной к каюру и смотрел, как постепенно уменьшались, будто таяли, домишки Ново-Мариинска и в быстро темнеющем небе виднелись лишь ажурные мачты радиостанции, а потом и они растворились, исчезли.

В тишине слышалось лишь шарканье собачьих ног о твердый, высушенный морозом снег. Иногда шедший на передней нарте Тымнэро выкрикивал что-то свое, нечленораздельное, похожее на звериный рык, но собаки понимали его, повиновались, сворачивали то вправо, то влево, находя ровный путь среди нагромождений битого льда.

Безжизненная громада острова Алюмка была окружена льдом, и отвесные берега этой необитаемой земли поднимались круто, неприступно-зловеще.

— Кто-нибудь посещает этот остров? — спросил Бессекерский своего каюра.

— Пошто его посещать-то? — отозвался Куркутский. — Пустой остров, только птица летует там. Да и духовства много...

— Чего? — не понял Бессекерский.

— Духов да чертей чукотских, — добродушно пояснил Куркутский. — Обосновались онс там издавна. По ночам жутко воют, а иной раз на позднего путника выходят и кровь евоновую пьют...

— Сказывают люди — если в лунную ночь проехать мимо, в аккурат кэле задержит и кровь потребует. Сидит каюр и видит — вроде собачки бегут, а на самом деле кажется — лапами перебирают, на месте стоят. Тогда надо мизинец порезать или отрубить, покапать на снег свежей человеческой кровью, кэле и отпустит путника...

— Чертовщина какая-то! — содрогнулся Бессекерский, обозревая мрачные скалы Алюмки.

— Это верно! — согласно кивнул Куркутский. — Чукотская чертовщина!

Русская Кошка лежала под глубоким снегом, и ничто не напоминало о том, что случилось здесь прошлым летом с артелью рыбаков.

Напрасно Тымизро вглядывался во льды, наползающие на берег, в тщетной надежде увидеть остатки своей разбитой байдары — вокруг простиралась белая, бесплодная пустыня.

После полудня остановились почаявать и, как выразился Куркутский, повойдать нарты.

Войдание это заключалось в том, что обе нарты были опрокинуты вверх полозьями. Затем каюры достали из-за пазухи заранее припасенные бутылки с водой, лоскутки медвежьей шкуры.

Бессекерский не без интереса наблюдал, как Тымизро набирал в рот из горлышка воды, осторожно лил на меховой лоскут, а потом быстро проводил им по полозьям нарты. Вода тотчас прихватывалась морозом, сначала белела, а потом становилась прозрачной. То же самое проделывал и Куркутский.

Сырые меховые лоскутки они бросили в снег и,

чтобы высушить их, начали иступленно топтать. Бессекерский был искренне удивлен такой сообразительностью «дикарей».

Вскоре Куркутский раздобыл куски плавника и развел костер. Над бледным пламенем повесил походный чайничек, набитый кусками плотного снега.

Все эти неспешные, спокойные действия каюров вселили в Бессекерского уверенность в благополучном исходе путешествия. Каюры держали себя в этой ледяной пустыне деловито и просто.

Походное чаепитие понравилось торговцу. Он с наслаждением грел руки о горячую жестяную кружку, большими глотками пил чай, прислушиваясь, как тепло разливается по всему телу, навевая спокойствие и даже сонливость. По мере удаления от Ново-Марининска, Бессекерский начинал чувствовать себя все более и более свободным от мелких забот, вся ново-марининская суета в этом громадном и чистом пространстве казалась мелочной, никому не нужной. словно душа очищалась от ржавчины, от угольной копоти. Даже чувства к каюрам становились более дружескими, и Бессекерский смотрел на них с невольным восхищением.

Останавливались еще несколько раз, но на ночлег не укладывались, Куркутский говорил, что лучше ехать до самого Уэлькаля, пользуясь хорошей погодой.

— Однако потом задует так, что в снегу придется хорониться, — предостерегал он торговца. — Спальные мешки отсыреют, мерзнуть будем.

Нартовой дороги не было, и каюры ориентировались непостижимым для Бессекерского способом.

Посреди ночи они вдруг останавливали нарты, отходили в сторону и о чем-то шептались, поглядывая на звезды, размахивая в разные стороны тяжелыми палками с железными наконечниками — остолами.

— Никак по звездам путь определяете? — с удивлением спросил Бессекерский.

— По ним, — кивнул Куркутский. — Тымнэро знает небо. Доспел, однако. Будто жил там.

На остановках Бессекерский приглядывался к этому дикому астроному, смущая его своим пристальным взглядом.

— Чего он так на меня смотрит, будто съесть хочет? — пожаловался на тангитана Тымнэро.

— А что? — встрепенулся Куркутский. — Они могут и сожрать человека. Им только волю дай. Торговец ничем не брезгует.

Тымнэро вспоминал старые сказки о кэле-людоедах. Будто они, похожие внешне на человека, проникают в человеческую среду, входят в доверие к людям, но в один прекрасный день нападают и выгрызают у человека печень. А вдруг Бессекерский... Кто может поручиться за тангитана? Они, эти тангитаны, на такое способны, что только диву даешься.

Тымнэро внутренне радовался тому, что торговец едет не на его нарте — так все-таки спокойнее, хотя и груз тяжелее.

В Уэлькаль прибыли ранним пасмурным утром.

Жалкая кучка яранг сгрудилась на мысу, и этот крохотный на огромном снежном пространстве знак живой жизни вызвал у Бессекерского бурную радость. Должно быть, так радуются моряки, увидев землю.

У крайней яранги собрались встречающие — эскимосы Уэлькаля. Бессекерский не отличал их по внешнему виду от чукчей, и ему было все равно, кто они. Главное — это были живые люди, улыбающиеся, приветливые, радующиеся приезду гостей. Многие из них говорили по-чукотски. Они слышали о Тымнэро, а Куркутского и вовсе хорошо знали.

Гостей проводили в самую большую ярангу Уэлькаля, где жил старейшина.

Бессекерский перешагнул порог эскимосского жилища и оказался сначала в холодной части, где помещались собаки, где по стенам стояли деревянные бочки с припасами. В нос ударил густой запах прогорклого тюленьего и китового жира.

Торговцу пришлось сделать над собой усилие, чтобы пройти дальше, к меховому пологу.

— Здесь лучше скинуть верхнюю кухлянку, — подсказал Куркутский.

Бессекерский послушно снял сначала матерчатую камлейку, защищающую мех кухлянки, а затем и саму кухлянку. В нижней пыжиковой рубаше он нырнул в полог, где запахи мочи, жира и человеческих испарений были еще острее, крепче.

Внутреннее помещение было довольно просторным. Три жирника горели ровным пламенем, освещая и отопляя меховой полог, сшитый из добротных оленьих шкур. Задняя и две боковые стенки были растянуты специальными тонкими рейками, сплетенными между собой. Эти распялки увеличивали объем жилища и создавали впечатление простора. Под самым меховым занавесом, через который Бессекерский вместе со своими каюрами вполз внутрь жилища, у потолка находилось вентиляционное отверстие, и оттуда ощутимо тянуло свежим морозным воздухом.

Бессекерский с любопытством разглядывал полог, постепенно привыкая и к воздуху, и к тесноте, но еще более — к голым обитателям жилища — женщинам и ребятишкам. Женщины со свободно свисающими грудями, в одних тонких набедренных повязках хлопотали по хозяйству, выскакивали в холодный чоттагин, что-то вносили и возбужденно переговаривались между собой. Чумазные ребятишки, шмыгая носами, с робостью и с любопытством смотрели на торговца, обливающегося потом в жарком пологе.

— Разоблачайтесь, мольч, — посоветовал Куркутский. Он уже скинул с себя все и остался нагишом, накинув между ног кусок пыжика.

В длинном деревянном корыте подали угощение — копальхен, моржовое мясо с кожей и жиром, специально сохраненное в выдолбленной в мерзлоте яме. Копальхен слегка подгнил, но и гости и хозяева ели его с наслаждением.

— Тангитан копальхеном брезгует, — с видом знатока заявил Куркутский. — Молодую нерпу попробует... Генрих Маркович, ешьте мясо...

Торговец впервые ел нерпятину. Вкус был непривычный, да и мясо на вид какое-то странное — темное, волокнистое. Но после долгой еды в сухом ветру приятно было взять в рот истекающее соком горячее сытное мясо. Незаметно для себя Бессекерский уничтожил все и тут же получил добавок — хорошо сваренные ребрышки, которые он ел, уже смакуя, не торопясь.

Потом началось чаепитие.

Ребятишки с завистью смотрели, как Бессекерский хрустел белым сахаром. Торговец, поколебавшись, от-

дал хозяйке довольно большой кусок, который она тут же поделила между всеми обитателями яранги. Но самое удивительное было то, что многие, напившись чаю, вынули изо рта жалкие остатки сахара, чтобы сохранить их до следующего раза.

Нигде Бессекерский не спал таким глубоким и сладким сном, как в пологе эскимосской яранги.

На следующее утро начался торг.

Покупателем был молодой эскимос с добрыми, чуть удивленными глазами. Сказывали, он самый искусный охотник на белого песца. Товар был у него отменный, самого высшего сорта. Бессекерский сразу это приметил, как только парень вывалил ворох шкурок прямо на земляной пол чоттагина.

Охотнику был нужен малокалиберный винчестер калибра 20×20.

Бессекерский достал винчестер, еще блестящий смазкой, сказал через переводившего Куркутского:

— Совсем новенький, еще не стрелянный...

Он держал его стоймя, несколько отставив от себя. Чоттагин был освещен неярким дневным светом.

Парень взял винчестер и стал прилаживать его к себе, предварительно обтерев излишек смазки куском меха. По всему было видно: оружие ему нравится.

— Сколько же это будет стоить? — спросил наконец эскимос, обращаясь к Куркутскому.

Однако Бессекерский понял вопрос, отобрал у парня винчестер, сказал:

— А вот клади сюда шкурки — и видно будет, сколько стоит оружие. — Он показал на место возле приклада.

Парень начал складывать друг на друга песцовые шкурки так, чтобы верхняя легла на уровне мушки. Шкурки были легкие, пушистые, невесомые, словно из воздушной пены. Когда последняя шкурка оказалась поверх солидной кучи, Бессекерский криво улыбнулся и положил дрожащую ладонь, прижав пушнину.

— Клади еще! За патроны!

— За патроны — можно, — тихо согласился растерявшийся парень.

Торг был окончен. Вместе с винчестером эскимос получил два железных, тщательно запаенных ящика с патронами.

Больше желающих покупать оружие в Уэлькале не оказалось. Все спрашивали табак, чай, муку или же огненную веселящую воду. Водка у Бессекерского была, но не так много, чтобы торговать.

Набрав копальхена для собачьего корму, двинулись дальше на север.

* * *

Первая удача окрылила Бессекерского. Всю дорогу до следующего селения он строил планы на будущее. Хорошо бы организовать развозный торг по всей Чукотке. Нанять каюров — таких вот, как Тымнэро и Куркутский, завести упряжки, запасти корму, чтобы собаки не голодали. А еще лучше — устроить особые кормовые пункты по маршруту, заранее договорившись с охотниками. Скажем, приехал в тот же Уэлькаль Тымнэро, а тут у него в особой яме лежит копальхен — и собакам корм, и каюру еда... Жаль не удалось устроить транспортную компанию. Но все еще впереди. Если взять в руки морской и собачий транспорт на Чукотке, — можно такие деньги огребать, что там цена за винчестер! А простору для торговли тут хватает, и изменений никаких не предвидится еще на многие тысячелетия вперед. Все тут застыло, сковало холодом. И эти дикие обычаи, и нравы, и привычки. Здесь человек привязан к морю или к тундре. Иначе он и жить не может. Море дает ему пищу: моржа, кита, лахтака, нерпу... Шкуры этого зверя идут ему на одежду, постройку жилища, лодок... Жиром отапливается жилище... Для тундрового жителя олень — что морж для берегового...

Конечно, для организации транспортной компании нужны деньги. И немалые. Одному это дело не поднять. Значит, надо собирать деловых людей.

Только вот в России сейчас неопределенно все... Черт знает что там творится! Революция, царские генералы, а теперь, рассказывают, японцы и американцы высадили свои войска во Владивостоке и на европейском Севере...

Иногда, размышляя, Бессекерский забывался и начинал говорить вслух, жестикулировать, Куркутский останавливал упряжку, заботливо спрашивал:

— Доспел, что ль? Облегчиться хочешь?

Бессекерский вставал и медленно брел за ближайший торос. Время от времени все же надо было двигаться, чтобы размять затекшие ноги, разогнать застоявшуюся кровь. Неподвижный морозный воздух обвевал лицо, старался проникнуть внутрь одежды. Сами каюры то и дело соскакивали с нарт и бежали рядом, держась одной рукой за высокую дугу. Эти короткие перебежки так разогревали их, что Тымнэро снимал свой малахай и бежал с заиндевелыми, словно неожиданно поседевшими, волосами.

Этот чукча возбуждал любопытство торговца. Он был, видать, очень религиозен и время от времени на приметных мысах или возле открытой полыньи останавливал свою упряжку, приносил жертвы морским богам.

— А ты что же не молишься? — спросил Бессекерский своего каюра.

— У нас, чуванских людей, своя вера, отличная от дикой, — с достоинством ответил Куркутский. — Мы — православные. — Он выпростал руку из большой оленьей рукавицы, пошарил за пазухой и вытащил оттуда облепленный оленьим волосом металлический крестик. — Хрещеный я в отличие от него, дикоплешего. Однако ихнего бога уважаю. Тоже нужный в нашем каюрском деле, особенно когда вот так, надолго едешь.

— Вот он молится и жертвы богам приносит, а ты что? — с легким упреком сказал Бессекерский.

— Наш-то православный бог в здешнем месте, оннак, мерзнет, — добродушно улыбнулся Куркутский. — Нету у него силы тут, доспел оннак.

— Интересно, пробовали чукчей склонить к православию? — спросил Бессекерский.

— Пробовали. Да разве может дикий человек понять православную веру? Они же не понимают ни хрена, преворачивают все по-своему. Видал я как-то на Хатырке одного оленевода... Крест на груди носит, а образ богородицы в яранге висит, перемазанный кровью и жиром...

— Зачем это... перемазанный?..

— Кормил, как ихнего бога,—пояснил Куркутский.— Жертвоприношение давал, сырым мясом в священный лик тыкал... Кормил и грешил тут же...

— Как грешил? — с любопытством спросил Бессекерский.

— Богохульно,—с возмущением произнес Куркутский.— Чтобы, значит, в ад попасть после смерти.

— В ад? — удивился Бессекерский.

— Туды прямо. Прослышал он, что в аду, значит, вечный огонь горит, котлы с кипящей водой. Ну и говорит мне — туды хочу после кончины. А то ведь всю жизнь в холоде да на морозе, хоть согреюсь во веки вечные... Одно слово — дикоплеший и никакого понятия о священности не имеет.

Ехали уже целый день, и холод подступал со всех сторон, пробираясь понемногу под меховую куклянку, в рукавицы. Да уж... ад воистину после такого мороза раем показаться может...

Тымнэро все чаще останавливался и шептался с богами. Потом подошел к Куркутскому, показал на небо.

— Что он сказал? — спросил Бессекерский.

— Пурга будет. Мольч, в тундре ночевать придется.

— Стойбище близко?

— Не видать... В снегу зароемся и переждем...

Сначала задымились сугробы, заструги, и усилившийся ветер заставил напялить на малахай капюшон, отороченный росомашьим мехом. Закурчавилась шерсть на собачьих спинах, пушистые хвосты стало заворачивать, и след от передней нарты на глазах запылялся мелкой снежной крупой. Горизонт, такой далекий, необъятный, сузился, придвинулся к каравану, и весь видимый мир стал серым, тусклым, словно сплюснулся.

Ветер с каждой минутой усиливался, воздух уплотнялся, и дышать становилось все труднее и труднее. Из глубины затаенной души поднимался страх.

Казалось, снежное пространство, словно огромный зверь, заглатывает все вокруг — и синие горы, и морские торосы, и скалистые мысы, служившие ориентирами, и само звездное небо, и путников с их собаками.

Трусившие мелкой рысью собаки перешли на шаг. И каюры, сойдя с нарт, стали помогать им пробиваться вперед.

Иногда порывы ветра снежной стеной закрывали идущую впереди нарту, та словно в пропасть проваливалась. Но вот собаки остановились, зарылись в снег, и их тут же стало заносить.

— Доспели! — крикнул Куркутский, вкладывая в это универсальное чуванско-русское слово новый смысл. — Моляч, будем здесь пережидать пургу.

— А ехать дальше никак нельзя? — спросил Бессекерский.

— Кудысь-то дальше ехать? Гляди — окромя снегу ничего не видать. А как пурговый черт водить начнет, тогда что? В пропасть угодить недолго... Тутешние обрывы страх какие коварные — снежные шапки на них висят. Едешь-едешь — да вдруг под тобой и обломится. И полетишь, моляч, прямо в воду... И доспеешь.

Тымыэро прошел немного вперед, вправо, влево, но, не найдя ничего примечательного, вернулся к нарттам:

— Здесь и остановимся.

Оба каюра сгрудили собак, сделав из них круг, посередине которого и поместили нарты.

Потом принялись сооружать убежище, вырезая снежные кирпичи и прилаживая к ним большой кусок брезента. Получалось что-то наподобие палатки.

В воздухе потеплело, и Куркутский пояснил торговцу, что в пургу так и бывает.

— Онако сырость будет одолевать потом.

Он заставил Бессекерского, прежде чем тот забрался в убежище, тщательно очистить от снега одежду, выколотить торбаса и меховые штаны.

Брезент над головой прогибался под тяжестью налипающего снега. Изнутри он скоро покрылся сырой изморозью. Побежали студеные струйки.

Куркутский приволок примус и ухитрился разжечь его под защитой снежной стенки.

После холодной еды и горячего чаепития на душе у Бессекерского посветлело, и он заснул под нарастающий вой пурги. Задремали и каюры, вобрав внутрь, на голые животы, руки и положив туда же — сушиться — отсыревшие рукавицы.

Пурга бесновалась на всем пространстве от косы Мээчкын до бухты Эмма, в эскимосских прибрежных селениях от Уэлькаля до Уныина.

Укхахтак прислушивался к вою ветра, хлопанию моржовых кож на своей яранге, и сердце у него сжималось от страха за деревянный домишко, поставленный прошлым летом.

Старейшина унынской эскимосской общины неожиданно разбогател благодаря подскочившему спросу на китовый ус. Укхахтак знал, где скапливаются морские великаны. Издревле эти места в мелководном Мечигменском заливе считались священными, ибо там самки рождали новое потомство.

В погоне за китовым усом Укхахтак нарушил священные предписания шаманов, однако вместо ожидаемой кары богов получил вполне осязаемое земное богатство.

Домик, выстроенный из тонких корабельных реек, с крутой двускатной крышей и дверными ручками из белого фарфора, поначалу казался чужестранцем, вылезшим на берег и затесавшимся в толпу приземистых эскимосских нылю¹. Но осенние ветры и пурги навели на дерево серый налет, и домик по внешнему виду стал таким же неприметным, как и яранги на берегу мыса Чаплина.

Однако Укхахтак не торопился переселяться. Жизнь в домике страшила его. Ему казалось, что родичи сочтут это за окончательную измену эскимосскому народу.

В своей яранге Укхахтак держал множество диковинных вещей, в том числе и большой граммофон. В тихие дни он выставлял в дверь широкую деревянную трубу, и по вечернему селению плыла музыка дальних и неведомых стран.

Вот и сейчас в вое пурги ему чудились хриплые голоса негритянских певцов, завывания металлических труб, которые он видел в Номе и Сан-Франциско.

Ветер не давал ему спать уже несколько дней подряд. Случалось, не выдержав, Укхахтак одевался и, пробив лопатой сугроб у двери, выползал в воющую и крутящуюся снежную темень, пробирался к домику. Он зажигал свечу, оглядывал помещение, заиндевелые

¹ Нылю — полуподземные эскимосские жилища (эск.).

шляпки гвоздей, полки, уставленные разным товаром, висящие на отдельном большом вешале шкуры белых медведей.

Домик сопротивлялся ветру, и Ухкахтак, успокоенный, обращался к богу-охранителю с безмолвной мысленной молитвой помочь деревянному жилищу удержаться на земле. Если домик устоит, можно будет подумать и о покупке шкуны.

На седьмой день сраженный усталостью Ухкахтак заснул. Пробудился он поздно ночью, тревожно прислушался — кругом было непривычно тихо: ни воя ветра, ни напряженного колыхания моржовых кож, покрывающих ярангу. Он поднялся с оленьей шкуры, торопливо оделся и вышел на улицу.

Снега были залиты ярким лунным светом. Они блестели и переливались, и яркие звезды, густо усыпавшие небо, дрожали от неслышимого вечного ветра вселенной.

Домик стоял, возвышаясь над занесенными снегами нынлю, лишь с одного боку притулившись к новорожденному сугробу. Ухкахтак взял лопату — китовую кость, насаженную на черенок, — и принялся откапывать вход в домик, далеко отбрасывая снег. Эту деревянную ярангу он лелеял, будто любимую девушку, до которой еще не смел дотронуться. Домик был для него символом совсем иной жизни, к которой вела Ухкахтака тропа денег, тропа богатства.

В прошлом году с последним рейсом у Ухкахтака гостил сам Олаф Свенсон. Знатный американский гость даже ночевал в новом домике эскимоса и все хвалил его предприимчивость и умение торговать. «Мы, деловые американские люди, — говорил Свенсон, — радуемся, когда сами местные люди берутся за дело. Кому, как не им, заниматься торговлей среди своих соплеменников? Им и доверия больше, и нужды земляков они знают лучше, чем кто-либо». И всемогущий и мудрый Олаф дал большой, выгодный кредит именно Ухкахтаку, а не торговцу Гулиеву, которого чукчи прозвали за его худобу Купкылином. Этот Купкылин хотел было распространить свое влияние на весь район между Энмыленом и Янракыннотом, где жили чукчи и эскимосы. В бухте Эмма располагался торговый дом Чарльза Томсона, небольшой и довольно запущенный.

Тамошний торговец был беспробудным пьяницей — он пил от первого снега до открытой воды, а на его территории хозяйничал бывший его приказчик Гулиев, приехавший на Чукотку с Аляски.

Теперь Купкылин был вытеснен в район Янраная и налаживал там торговлю среди бедных охотников на морского зверя и малооленных тундровиков.

В тишине звездного утра в голову приходили хорошие, ясные мысли. Надо будет вывесить всю пушнину на ветер — нет лучшего обработчика нежного меха, чем морозный тундровый воздух! Мех от него становится легче самого воздуха, легче дыхания! И медвежьим шкурам, которые в последние годы вошли в цену, стужа тоже пойдет на пользу...

Раздумья его прервал дальний собачий лай: кто-то с южной стороны приближался к Уныину.

Насторожились, заволновались уныинские псы, подняли ответный лай. Из яранг повыскакивали люди, зажглись огоньки — плавающие в тюленьем жиру моховые светильники.

Ухкахтак забрался на высокий сугроб и стал всматриваться в освещенную лунным сиянием снежную даль.

Две упряжки приближались к Уныину. Они ехали медленно, похоже, собаки совсем выбились из сил.

Но вот гостевые упряжки подкатили к яранге старейшины.

— Еттык, — по-чукотски приветствовал их Ухкахтак.

— Ии, — ответил первый каюр.

Куркутский подал руку, сказал по-русски:

— Здравствуй, Ухкахтак, не признал меня, мольч?

— Какомэй, Куркут! — обрадованно воскликнул Ухкахтак. — Эй, распрягите и накормите собак!

Молодые эскимосские парни бросились к нартам, а гостей Ухкахтак повел в свою ярангу.

— Это наш ново-мариинский торговец Бессекерский, — сказал Куркутский, показывая на своего спутника. — Сильно замерз он.

На торговца страшно было смотреть. Он весь посинел от холода, мелко дрожал, а губы до того распухли, что он не мог вымолвить ни слова. Жалобно мычал и глазами показывал на полוג.

Женщины осторожно раздели его, закутали в пы-

жиковое одеяло. Боль в суставах не проходила, казалось, холод, накопленный телом за эти дни, разрывая кожу, выходит наружу, обжигает, заставляет мелко подрагивать. Кровь, согреваясь, будто тысячи маленьких молоточков, стучит в висках, в кончиках рук и ног. Бессекерский лежал с закрытыми глазами, мысленно благодаря бога за то, что остался жив. «Живой, живой... — лихорадочно билась мысль. — Живой...»

Тымнэро и Куркутский оживленно беседовали в чоттагине с Ухкахтак, с жадностью поедая мерзлую нерпичью печенку, которую истолкла в каменной ступе хозяйка.

— Непривычен он к холоду, — говорил Тымнэро. — Сидит как колода на нарте, не бегаёт. Вот кровь у него и стынет...

— Тангитаны все такие, — небрежно заметил Куркутский. — Возил я раньше Царегородцева, тот точно так же сидел, с места не сдвинешь. Будто примерзал к нартам. В гору ли едешь, по равнине ли — не пошевелится.

— Плохо приспособлен тангитан к нашей жизни, — повторил Тымнэро. — Все у нас для него худо — и еда наша, и одежда, и жилище... Не понимаю, как они у себя-то живут?

— Живут и плодятся, — отозвался Ухкахтак. — Иначе откуда бы к нам столько народу понаехало? Старики раньше думали, белый человек на корабле рождается, потому что мы их только на воде и видели... Но я бывал в американских городах... Туча народу! И все разные. И совсем черные, как закопченное дерево, и желтые, и белые. Всех цветов и языков народы...

— Много пород? — с любопытством спросил Тымнэро. — Наверное, как летом птиц?

— Уж точно, — кивнул Ухкахтак. — И все куда-то спешат.

— К еде небось, — сказал Тымнэро, загребая горсть измельченной, застывшей до каменной твердости нерпичьей печенки.

— Может, и к еде, — задумчиво сказал Ухкахтак. — Они на этот счет мастера. Дома у них особые устроены, где толпами поглощают еду при ярком свете, а то и при музыке.

— А зачем им свет да музыка?

— Коо, — пожал плечами Ухкахтак. — Может, чтобы кто-нибудь лишнего не хватил.

— А я думаю, из-за рыбы, — заметил Куркутский. — Они любят речную мелкокостную рыбу. При тусклом освещении трудно из нее косточки выбирать, вот и едят при свете.

— Торговать будет ваш тангитан? — осторожно осведомился Ухкахтак.

— Это его дело, — очухается, сам скажет, — небрежно бросил Куркутский.

Именно это больше всего и беспокоило Ухкахтака. Он не хотел, чтобы торговали в его владениях.

— А товар у него какой?

— Оружие, — ответил Куркутский.

— И ружья и водка у меня есть. Так что пусть едет дальше.

В чоттагин вышла женщина и что-то сказала по-эскимосски Ухкахтаку.

— Нога у него плохая, — перевел хозяин. — Палец почернел, резать надо.

— Какомэй, — встревожился Тымнэро. — А не помрет?

— Чего помирать? — махнул рукой Ухкахтак. — Вон в Энмыне канадский человек Сон живет; так он без обеих рук. И ничего. Женился, детишек наплодил. А тут палец на ноге. Серо сделает, он умеет.

Куркутский вполз в полог, чтобы самому оглядеть ногу торговца. Тот лежал у заднего жирника, укрытый одеялами из пыжика, и тихо стонал.

— Как, ваше благородие, Генрих Маркович? — осторожно дотронувшись до плеча, спросил Куркутский. — Доспел?

— Отогреваюсь, — высунувшись из-под одеяла, ответил Бессекерский и слабо улынулся. — Боль изнутри так и течет, так и течет...

— Ногу, молъч, резать придется, — напрямик сказал Куркутский.

Бессекерский словно окаменел. Только уголки губ чуть подрагивали.

— Женщина сказала, — Куркутский придвинулся к торговцу. — А ну покажь-ка ногу.

Бессекерский с трудом выпростал из-под одеяла ногу. Выжидающе уставился на своего каюра. Тот тща-

тельно обследовал их, брезгливо дотрагиваясь до черной кожи.

— Мольч, она правду сказала. Левый палец совсем доспел. Если не отрезать сей день, завтра придется всю ногу коротить.

Бессекерский посмотрел на почерневшую ногу, сам потрогал палец и вдруг заплакал.

— Принеси канистру,— велел он Куркутскому.

Куркутский снял с нарты запас дурной веселящей воды, принес в полог вместе с железной кружкой. На деревянной дощечке подал кусок нерпичьей печенки, нацедил спирту. Торговец выпил сразу, не поморщившись.

— А человек-то хоть надежный? — с мольбой в голосе спросил он.

— Сказывают, большой мастер,— заверил Куркутский.— Режет, будто чурку строгают.

К приходу местного лекаря Серо Бессекерский был мертвецки пьян. Его даже держать не пришлось: Серо привычным, резким движением отсек почерневший палец точно по суставу, перевязал рану хорошо выделанным лоскутком замши.

— Не развязывай, пока повязка сама не отвалится,— сказал на прощание Серо и ушел, взяв в качестве платы за операцию бутылку дурной веселящей воды.

Когда Бессекерский немного поправился, Ухкахтак намекнул ему, что торговать здесь не придется. Бессекерский приуныл — впереди, вокруг фиордов бухты Эмма, лежали нищие селения.

* * *

Зимняя жизнь в Ново-Мариинске прерывалась неожиданными пургами и новостями, сбивавшими с толку коммерсантов, новоявленных чиновников и углекопов.

Радист не знал, куда деваться от любопытствующих. Даже в пургу они пробирались на холм и набивались в тесную рубку. Старались вести себя тихо, задерживали дыхание и с благоговением смотрели на мерцающую лампочку, прислушиваясь к неземному пisku и ожидая, что скажет радист.

Но Учватов молчал. Комитет (название «Совет» недавним решением было отменено) постановил счи-

тать все телеграммы, принятые ново-мариинским радио, секретными, и радисту было объявлено, что их разглашение будет рассматриваться как тяжкое преступление.

Перепуганный Учватов сначала попытался объявить радио неисправным, а потом потребовал поставить у дверей радиостанции вооруженную охрану. Однако охранники, назначаемые по добровольному признаку, в конце концов выводили у слабохарактерного радиста содержание телеграмм, а потом разносили по Ново-Мариинску.

Никогда еще в этом далеком крае не пили так много и мрачно.

Холода держались упорно. Лебедка на шахте так и не работала, и фунт угля в Ново-Мариинске стоил столько же, сколько и фунт муки.

Милюнэ не держала огонь до утра. Печка гасла после вечерней топки, и ее приходилось разжигать снова.

Сине-красная заря вставала над островом Алюмка. С ледового океана тянуло мертвящей стужей. Холодный ветер подхватывал остывший пепел и уносил вдоль улиц. На Казачке с оружейным треском лопался лед.

Все ждали лета.

— Нынешним летом должно решиться, — сказал как-то Тренев. — Похоже, адмирал Колчак всерьез взялся за умиротворение России. Да и союзники у него солидные — Америка да Япония.

Собеседником Тренева был коммерсант Грушецкий, втихомолку радующийся отъезду своего конкурента Бессекерского.

— Он настоящий авантюрист, — говорил про него Грушецкий. — Вечно у него какие-то несбыточные планы, прожекты, компании, общества с несуществующими капиталами... Аферист. Я не удивлюсь, если он вернется в Ново-Мариинск с нераспроданным товаром.

Тренев остерегался обсуждать с Грушецким внутреннее положение Чукотского уезда, и тем более Ново-Мариинского поста.

— Адмирал Колчак, — говорил Тренев, — человек культурный и образованный. Он кидаться в авантюру не станет.

— Да не о нем речь,— отмахивался Грушецкий.— Я говорю о нашем путешественнике Бессекерском...

— О нем ничего не известно...— вмешалась в разговор Агриппина Зиновьевна.— Может, он возьмет да переедет Берингов пролив...

— Зимой Берингов пролив непроходим,— авторитетно заявил Грушецкий.— Только очень опытные каюры да жители Наукана могут уловить такое время, когда лед стоит. Но это бывает крайне редко...

— Ну уж в этом-то году пролив наверняка замерз,— зябко кутаясь в яркую, цветастую шаль, заметила Агриппина Зиновьевна.

— А что Бессекерскому делать в Америке?— ревниво проговорил Грушецкий.— Он здесь-то не может наладить свои дела... Вернется, если не замерзнет... Вы мне, Иван Архипович, про Колчака расскажите... Что-то я о нем ранее не слыхал... Откуда он взялся? Вроде и фамилия у него не царская...

— Да я сам про него мало знаю... Ученый, говорят, адмирал. Северные берега описывал... — промямлил Тренев.— Американская станция передавала телеграмму о нем... Собрал он вокруг себя верных монархии людей.

— Царскую власть восстанавливать?

— А что же еще? — пожал плечами Тренев.— С демократией не получилось, придется к старому возвращаться.

— Бедная Россия! — вздохнул Грушецкий.

Тынатваль наловчилась шить теплые тапочки, которые в эти студеные дни шли нарасхват. Две пары купили у нее и Треневы. Тапочки очень понравились Агриппине Зиновьевне. Для стылого пола тангитанских жилищ лучшего нельзя было придумать.

Тынатваль не знала, сколько стоят тапочки. На глазок определила цену — примерно полплитки кирпичного чаю. Иногда она брала сахаром, крохотным кулком муки. А нужен был тюлений жир да рыба на корм оставшимся собакам.

Милюнэ рассказала об этом хозяевам, и Иван Архипович предложил:

— Пусть она весь товар отдает мне. Я дам ей чаю, сахару, муки, жиру для светильников...

Тынатваль согласилась. И теперь она не ведала года.

Не разгибаясь, с утра до позднего вечера шила она тапочки, украшала вышивкой, нанизывая цветной бисер и белый олений волос на жилы. Перед нею горел жирник, согревая и отопляя полог. Над пламенем висел чайник, а в углу были аккуратно сложены пачки с чаем, сахаром, сушеной рыбой.

— Вот бы Тымнэро увидел! — грустно вздыхала она.

Милюнэ теперь чаще приходила в ярангу, не опасаясь хозяйского гнева. Иной раз она даже помогала подруге, и это доставляло ей удовольствие.

Однако Тренев не пускал тапочки Тынатваль в продажу.

— Слишком хороши для наших анадырцев, — говорил он, любясь яркой вышивкой и пушистой меховой оторочкой. — В них только по коврам ходить да по паркету...

* * *

Милюнэ, прикрыв плотно дверь в домик Тренева, чтобы ветер не выдувал тепло, направилась к яранге.

Утренняя заря потухла, наступил ясный, солнечный день. Само солнце еще было низкое, негреющее и бледное, розовые лучи только подчеркивали стужу, и дальние снега казались облитыми застывшей кровью.

В опустевшем чоттагине Тымнэро царил такой же холод, как и снаружи. Три собаки лишь на мгновение подняли свои морды, спрятанные в мохнатые теплые животы, и, узнав Милюнэ, снова уткнулись, изредка вздрагивая от пронизывающей насквозь стужи.

— Кто там? — тихо спросила Тынатваль из-за меховой занавеси полога.

— Это я, — ответила Милюнэ, очистила торбаса от снега и вползла в теплый полог.

Вот уже несколько лет живет Милюнэ в тангитанском доме, но все же... каждый раз, входя в древнее жилище своих предков, она ощущает невольное волнение. До боли в глазах глядит на такие родные, знакомые с детства предметы, с наслаждением вдыхает кис-

лый, прогорклый запах... Трогательно и нежно любит она Тынатваль — последнюю ее связь с прошлым...

Сегодня в яранге Тынатваль горят три жирника, и ласковое тепло овеивает ее обнаженное тело. Вокруг — лоскутки нерпичьей шкуры, олений волос, лахтачья кожа для подошв. Рядом играет самодельной куклой тихая, застенчивая дочка Тымнэро.

— Ты бы отдохнула, — заботливо говорит Милюнэ подруге. — Устала совсем.

— Я не устала. — Тынатваль отводит в сторону вспаленные от недосыпания и напряжения глаза. — Я рада, что нашла работу! Все думаю — вот придет Тымнэро и увидит — все у нас хорошо, мы не голодали, жили в тепле. Ведь он небось думает о нас, страдает... Подать бы ему весточку!

— Ну да... По радио послать, — тепло усмехнулась Милюнэ. — Или писаным разговором...

— А что, можно и писаным разговором Теневиля, — оживилась Тынатваль. — Он разумеет.

— А с кем пошлешь-то? Да и написать надо этот разговор-то. Ты же не можешь...

— Верно... — с тихой покорностью судьбе вздохнула Тынатваль. — Да просто на словах передать, и то хорошо.

— В ту сторону никто не уезжал, — сказала Милюнэ.

— И никто с той стороны не приезжал. Куркутские тоже никаких новостей не получали. Вот только уэлькальские рассказывали, но ведь когда это было... Зато придет — какая радость будет!

Милюнэ трогала разноцветные лоскутки, складывала узоры...

— Как тебе хорошо! — вздохнула она. — Как, наверное, тебе хорошо!

В ее голосе слышались слезы.

— Да что с тобой, Милюнэ? — испугалась Тынатваль. — Почему ты плачешь?

— Потому плачу, что нет у меня настоящей жизни! — всхлипнув, ответила Милюнэ. — Нет у меня настоящего жилища, нет своего разговора... Ведь говорю на родном языке только с тобой... Даже еда у меня чужая... Но горше всего, что нет у меня мужа, некому ласкать меня по ночам, мять мою напряженную грудь... Нет у меня детей, нет у меня беспокойства о человеке,

который в пути... Неужто суждено прожить мне такую безрадостную жизнь? Нет счастья в сытом желудке. Уж куда лучше, если бы я голодала, мерзла, но была бы настоящей женой! Вот гляжу на тебя и завидую и жалею себя...

— Ну что ты, Милюнэ,— принялась утешать подругу Тынатваль.— Будет у тебя еще настоящая жизнь.

— Когда она будет? — Милюнэ подняла полные слез глаза.— Почему я не умолила Теневиля взять меня второй женой?

— Теневиля хотел, чтобы у тебя было настоящее счастье,— сказала Тынатваль.

— А где оно, это счастье? — спросила Милюнэ.— В этом Въэне, где люди подобие человеческое теряют, где его найдешь, счастье? Все в страхе живут, ждут чего-то... Раньше тангитаны царя своего боялись, Солнечного Владыки, друг дружку боялись,— как бы удачу кто не перехватил... Думаешь, отчего Бессекерский поехал с Тымнэро? Боялся остаться со своим товаром... Теперь они какого-то Колчака боятся... Колчак-то этот на место царя встал. Когда ночью спать ложимся, сам хозяин проверяет запоры, будто ждет нашествия белых медведей... Разве так можно жить? Не выдержу я... Уйду обратно в тундру. Пусть Армагиргин делает меня третьей женой...

Милюнэ всхлипнула, и плечи ее затряслись от сдерживаемых рыданий. Испуганная девочка прижалась к меховой стенке полога — она никогда не видела тетю Милюнэ такой.

Заметив испуганную девочку, Милюнэ через силу улыбнулась, вытерла лоскутком белой тряпицы слезы, сказала:

— Не бойся, девочка! Это я так... Слабая стала — уж очень много холода нынче зимой, промерзла насквозь, вот и ослабела...

Она взяла несколько пар готовых меховых тапочек и ушла в свое тангитанское жилище.

* * *

Ни за что не скажешь, что это жилище белого человека. Самая обыкновенная яранга. Но чукча, встре-

тивший упряжки, вел их именно туда: там живет торговый человек, тангитан-кавказец — Магомет Гулиев.

Торговец вышел из яранги и в изумлении остановился, глядя, как с нарты сходит слегка прихрамывающий Бессекерский.

— Мэй, Сульхэна! — крикнул он в глубину жилища, в черный проем двери. — Иди скорей сюда! Гляди, это, видать, тот самый русопят, у которого старый Серо оттяпал палец! Здорово, купец! Слыхали мы про тебя. Давай знакомиться. — Гулиев крепко пожал Бессекерскому руку. — Это моя жена — Сульхэна, — кивнул он в сторону вышедшей из яранги татуированной, но очень миловидной эскимоски. — Не гляди, что туземка, она законная супруга и по нашим ингушским и по российским законам. Венчался я с ней в церкви святого Михаила на Алеутах и записан там в книгах...

Балагура, Магомет Гулиев ввел гостя в свое жилище, в чоттагин, такой же грязный и загаженный собачьей мочой, как и все чукотские чоттагины на всем протяжении долгого пути от Ново-Мариинска до Янрана.

Бессекерский разделся с помощью Сульхэны и влез в полог, предвкушая тепло и мягкость нагретых оленьих шкур.

Следом, не переставая говорить, вполз Магомет и, раздевшись, как принято в пологе, донага, предстал перед Бессекерским во всей своей невероятной худобе. Однако в отличие от безволосых чукчей и эскимосов на которых Бессекерский вволю нагладелся за время своего путешествия, на груди у ингуша темнела обильная густая растительность.

Сульхэна внесла угощение — мороженое мясо, какие-то квашеные с льдистыми прослойками листья.

— Угощайся, друг, гостем будешь, — радушно потчевал Гулиев. — Жаль, вина у меня нет. Кончилось, к соседям все недосуг съездить...

— Вино у меня есть, — сказал Бессекерский и послал за жестянкой.

Оглядывая ярангу Гулиева, ее внутреннее убранство, Бессекерский дивился: эскимос Ухкахтак более походил на делового человека, чем этот кавказец. А ведь у Гулиева, как говорят, капитал имеется, и немалый... в Сан-Францисском банке лежит... Говорят, он здорово умеет выжимать барыши. Находит товар

даже там, где, казалось бы, его нет. Сказывали даже, что грабил он старинные чукотские кладбища и за большие деньги продавал всякую рухлядь Музею естественной истории Смитсоновского института.

— Ну что там в Анадыре творится? — спросил торговец. — Говорят, какая-то пьяная орда власть захватила? Будто Каширина губернатором сделали?

— Да что вы, господин Гулиев! — после первого стаканчика Бессекерский почувствовал себя лучше и даже увереннее. — Власть в Ново-Мариинске принадлежит законно избранному Комитету общественного спасения...

— Солдатских, рабочих и крестьянских депутатов?

— Помилюйте, господин Магомет, откуда в чукотском краю солдаты, рабочие и тем более крестьяне? — усмехнулся Бессекерский. — Да, действительно некоторое время комитет назывался Советом, но потом по распоряжению вышестоящих властей было возвращено старое название — Комитет... А Каширина, благодарение госуду, в Петропавловск услали.

— Мне тут прошлой осенью американцы рассказывали: ихнее правительство ввело эскадру в залив Святого Петра и высадило десант во Владивостоке... Якобы для охраны грузов, принадлежащих Соединенным Штатам. Я американцев хорошо знаю — будет удобный случай, захватят весь Дальний Восток вместе с Камчаткой и Чукоткой, — зло сказал Гулиев.

— А нам-то что, господин Магомет? — усмехнулся Бессекерский. — Лишь бы торговать давали.

— Господин Бессекерский, вы американского человека не знаете! — воскликнул Гулиев. — Иначе я бы оттуда не уехал. В них никакого благородства! Вы поглядите — кто на их берегу торгует? Только Гудзон Бей. Это у нас, в России, бедному ингушу дозволено иметь свой профит. А стань эта земля американской — проглотят и вас и меня. Вы заметили, как зачастил сюда Свенсон? Раньше он здесь редко бывал, а тут почувал, что шашлыком пахнет... И если нам, маленьким торговцам, не будет защиты от властей — они все возьмут. У них есть сила и богатство. А богатство как большая ложка. Вот мы берем своей маленькой и довольны бываем, когда до половины наполняем ее.

А ведь эта половинка куда меньше ихней на донышке... Севернее меня они уже никого не пускают.

— А как же братья Караевы? — с беспокойством спросил Бессекерский.

— На грани разорения. Правда, Свенсон дал им кредит, но его надо возвращать, и — с процентами. Если Караевым не будет подвоза с Владивостока, уже в следующем году американцы проглотят их с великим удовольствием.

— А как быть с моим товаром? — с нетерпением спросил Бессекерский, чувствуя, как холодок забирается прямо в сердце.

— С вашим товаром лучше уезжать отсюда подальше, — мрачно посоветовал Гулиев. — Эскимосы и чукчи здешнего побережья не знают, как расплатиться за старые винчестеры, а вы будете предлагать новые.

— Что же мне — возвращаться назад?

— Самое лучшее, — твердо сказал Гулиев. — Тем паче скоро задуют апрельские пурги, а там оттепели начнутся. Так что, господин Бессекерский, поезжайте обратно в Ново-Маринск.

Аренс Волтер вышел на берег, посмотрел в бинокль:

— Это они.

Бинокль пошел по рукам. Все соглашались с тем, что это не иначе как Бессекерский со своими каюрами.

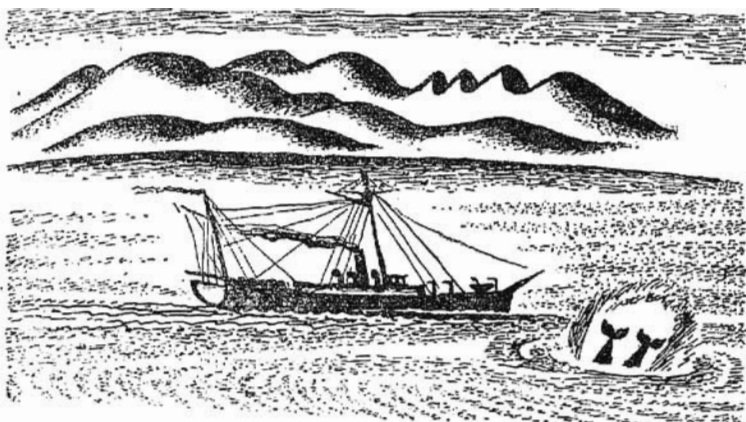
Милюнэ прибежала в ярангу, бросилась на шею встревоженной Тынатваль:

— Твой едет! Тымнэро!

Подхватив девочку, Тынатваль кинулась на берег, встала в сторонке от тангитанской толпы.

Нарты медленно подошли к гряде прибрежных тосов, пересекли ее и остановились. С передней поднялся Бессекерский, обросший длинной бородой, исхудавший, со странно блестевшими глазами. Оглядев толпу встречающих, он вдруг злобно сплюнул:

— Вечная мерзлота! Ничего нет! Кругом — вечная мерзлота!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

В результате захвата колчаковцами и японо-американскими войсками Сибири и Дальнего Востока северная окраина страны оказалась отрезанной от центральных районов России. Таким образом, создались благоприятные условия для деятельности буржуазии и интервентов.

Первый Ревком Чукотки (1919—1920). Сборник документов и материалов. Магаданское книжное издательство, 1957

На баке, на солнечной стороне, над винтом, тяжело рубящим студеную воду Берингова моря, пассажиры парохода «Томск», три недели тому назад вышедшего из Владивостока, играли в карты. Разбухшие и засаленные от долгого употребления, с разлохмаченными краями, карты смачно шлепали о доски. Двое пассажиров, Сергей Евстафьевич Безруков и Дмитрий Мартынович Хваан, сидели в отдалении на крышке трюма и молча наблюдали за играющими, изредка взглядывая на синюющие вдали берега Чукотки. Возле них стоял чайник, жестяная банка с сахаром, лежал кусок хлеба и большой складной нож.

Новый начальник Чукотского уездного правления Иннокентий Михайлович Громов держал банк. Придавленные тяжелой бутылкой зеленого стекла, перед ним лежали разноцветные денежные знаки — царские ассигнации, керенки, японские иены, китайские юани, американские и сингапурские доллары, английские фунты.

— Господа,— Громов поднял отяжелевшие от пьянства глаза.— На бумажки больше не играю. Ставьте золото!

— Господин Громов,— заговорил один из игроков.— На кой черт вам золото на Чукотке? Там, говорят, этого металла—хоть лопатой гребни, прямо из речного песка.

— И меха!— вступил в разговор третий игрок.— Лучшие в мире! Самые дешевые!

Вместе с начальником Чукотского уездного правления Громовым, представителем власти Верховного правителя Сибири адмирала Колчака, на пароходе плыли мировой судья Суздалев, начальник колчаковской милиции Струков и десять милиционеров.

Поначалу они составляли отдельную, обособленную кучку, но по мере продвижения парохода на Север, по мере того как на Сахалине, в Японии и в Петропавловске часть пассажиров оставалась на берегу, определялась группа едущих на Чукотку. Они старались держаться вместе, выпрашивали друг у друга все, что знали о далеком крае, пересказывали слухи. Представители будущей чукотской власти с интересом присматривались к тем, кто ехал вместе с ними. Это была странная, непонятная публика. Большинство из них надеялись на легкую наживу в сказочно богатом краю и жадно вслушивались в разговоры о мехах и золоте.

Давно уже остался позади Петропавловский порт. Пароход «Томск» вошел в студёные воды Берингова моря. По ночам северный ветер пригонял туман и промозглую морось— смесь холодного воздуха и мельчайших капелек воды. Влага оседала на железной палубе, на вентиляционных трубах, скапливалась мелкими капельками на свернутых канатах, на толстых звеньях якорной цепи. К поручням противно было прикасаться, и Александр Булатов быстро сбежал по трапу, на корму судна.

Булатов уселся на подсохшую на солнце крышку трюма и принялся свертывать сигарку. Он старался сыпать махорку бережно, защищая каждую крупинку от порывистого морского ветра. С другой стороны сидел невысокий черноволосый человек с живыми глазами. Булатов заметил его с первого же дня, когда селились на пароход во Владивостоке. Лицо черноволосого по-

казалось ему знакомым. Где же он мог его видеть? Может, где-нибудь на Светлановской или на Первой речке?

В тихие ночи Булатов выходил из душного твиндека на палубу и подолгу смотрел на светлый след, тянувшийся за кормой до самого ночного горизонта. Под ударами винта потревоженная морская вода светилась, будто вспыхивала невидимым, внутренним огнем. Булатов спросил о странном свечении у вахтенного матроса, но тот буркнул в ответ что-то невразумительное — видимо, сам не знал.

В этой светящейся темноте, в неопределенном пространстве между небом, водой и землей вспоминалось прошлое...

Деревня Заходы Смоленской губернии... Бедная изба, тяжкий каждодневный труд на маленьком клочке земли, которая родила плохо, сколько ни поливай ее потом. Хлеба до нового урожая не хватало, и ранней весной ребятишки уходили в лес в поисках съедобной травы, прошлогодних грибов. Девятилетним Саша Булатов пошел к сельскому богатею пасти коней и коров. Зимой урывками бегал в школу. Грамота давалась легко — наверно, оттого, что велико было желание узнать, что написано в книгах.

В солдаты он шел охотно — хотелось побольше узнать, увидеть. Балтийское море, где выпало ему служить, оказалось совсем не таким, как в сказках бабушки. И земля здесь была куда скуднее смоленской... Непонятно, как это финны умудрялись среди валунов и мха выращивать картошку, хлеба.

Летом четырнадцатого года, едва успел он вернуться домой, в родные Заходы, как его снова мобилизовали. Началась германская. В пятнадцатом он попал в плен. Бежал. Устроился матросом на французское судно, чтобы возвратиться в Россию через Владивосток. Во Владивостоке Булатов узнал о событиях в России, о революции и о Петроградском Совете. Отчаянно рвался домой, но дорога через Сибирь была закрыта. Оставался единственный путь — через Америку... Точнее, через Чукотку.

За мысом Наварина по левому борту потянулись чукотские берега, синевато-желтые, голые и неудобные.

Поражало обилие морской живности. То и дело по

курсу корабля взметывались в небо китовые фонтаны. Поближе к берегу — теснились белухи, печально провожали проходящий корабль нерпы. Птичья стаи бесконечной полосой тянулись по горизонту, висели над морской далью, носились низко над водой, шлепая по волнам крыльями и смешно вытягивая красные лапы.

Сергей Безруков выплеснул из зеленой эмалированной кружки остатки чая, налил свежего, пододвинул Булатову хлеб и жестянку с сахаром.

— Пей.

— Спасибо, — слабо улыбнулся Булатов и погасил окурочек.

— Не думаю, чтобы тебе в эту навигацию удалось перебраться на американский берег, — сказал Безруков. — Сейчас уже осень, и американские шхуны ушли с берегов Чукотки.

— Я смотрел по карте, — оживился Булатов. — Берингов пролив совсем не широк. Верст сто. Да еще два острова посередине. Зимой прихватит льдом — запросто можно перейти.

— Я тоже так думаю, — заметил Дмитрий Хваан. — Морозы здесь крепкие, говорят, даже реки до дна замерзают...

— В августе — и такая холодина, — зябко кутаясь в фуфайку, заметил Безруков. — А не страшно через Америку-то?

— Мне не страшно, — пожал плечами Булатов. — Где я только не был! С пятнадцатого года домой пробираюсь — через Францию, Сингапур, Шанхай... Навоёвался я — вот! — Булатов полоснул себе по горлу ребром ладони. — И неизвестно — за что! Домой охота... К земле... Мне бы на пароход наняться, который в Европу идет, — а еще лучше в Швецию, Норвегию или Финляндию...

— А сам-то родом откуда? — спросил Хваан.

— Смоленский я...

— Ну, смоленские завсегда домой доберутся, — засмеялся Безруков. — Небось невеста ждет дома-то?

— Да нет, обзавестись не успел, — засмутился Булатов. — Родители у меня, братья, сестры, хозяйство... Старикам тяжело. К тому же, говорят, земли добавили крестьянам.

— Там Советы, — задумчиво проговорил Безру-



ков.— Они насчет земли — строго: кто работает, тот и землей владеет.

— А разве это несправедливо?

— Оно-то справедливо для крестьян, — ответил Безруков. — А помещик-то по-иному мыслит...

— С помещиками у нас разговор особый, — мрачно заметил Булатов.

Хваан поднял жестяной чайник и разлил остатки чая: пресной воды на судне оставалось мало, и ее выдавали строго по норме — на человека два литра в день.

Вообще с продуктами на пароходе становилось все хуже: исчез свежий хлеб — его пекли только для команды, не стало и мяса. Лишь изредка выдавали пахучую солонину и рыбу, такую соленую, что ее приходилось вымачивать в пресной воде.

Все чаще говорили о Ново-Мариинске, об оленьем мясе, о тучных стадах, которые бродят между домами, — бери и режь, — о богатой рыбалке, о нерестилищах, где лопатами можно кету черпать...

— Так что, в Ново-Мариинске задерживаться не думаешь? — еще раз спросил Безруков.

— А что я там оставил, в этом Ново-Мариинске? — усмехнулся Булатов. — Чужое для меня место.

— Как же чужое — Россия все же, — заметил Хваан.

— Для меня Россия — моя Смоленщина.

— Каждый будет так рассуждать, что же получится? — Безруков в упор посмотрел на Булатова.

— А уже получилось, чего тут гадать! — выпалил вдруг Булатов. — Колчак и белочехи Сибирь захватили, американцы и японцы — Дальний Восток... Сказывают, что и в Чите новое правительство объявилось.

— Приедешь в Смоленск, а там — немцы! — сказал Хваан.

Булатов испуганно посмотрел на него:

— Откуда вы знаете?

Хваан пожал плечами.

— Такие, как ты, и рассуждают: это мое, это твое, а тем временем Россию по кусочкам растаскивают...

— А что я могу сделать? — пожал плечами Булатов. — Мне бы только до дому, до хаты...

У входа в Анадырский лиман сторожевым зверем лежал остров Алюмка. Булатов стоял на носу корабля

рядом с Безруковым и Хвааном, стараясь издали разглядеть столицу Анадырского края. «Томск» медленно входил в незнакомые воды лимана, серо-коричневые, пересекаемые белыми спинами белух, гонящихся за рыбными косяками.

Слева, за низкими берегами, синели горы, и там, за мысом виднелись мачты радиостанции.

— Вон домишки! Видите, у самой воды? — сказал Булатов, пристально вглядываясь в берега.

Да, столица Анадырского уезда с морской стороны являла собой довольно жалкое зрелище. Представители власти, сгрудившись у борта, уныло всматривались в берега. «Томск» медленно втягивался в Анадырский лиман. Из дымовой трубы послышался хриплый гудок.

Было солнечно и ветрено.

Булатов поднял воротник бушлата.

— Ну как она тебе, чукотская земля? — весело спросил Безруков, хлопнув парня по плечу.

— Да... не завидую вам...

— Оно верно, — согласно кивнул Безруков, — Невеселая земля.

Домишки уже легко можно было различить невооруженным глазом. На берегу за небольшим кладбищем с покосившимися крестами стояло несколько яранг, сначала показавшихся Булатову стогами сена. Чуть дальше — приземистые длинные строения, покрытые гофрированным железом, — склады. А уже за ними, в глубине берега были разбросаны небольшие домишки с торчащими кверху трубами. Надо всем этим жалким скопищем жилищ возвышались мачты радиостанции.

— Дикость вокруг, а радио есть! — удивился Булатов.

— А что твоя деревня, поболее будет? — поддразнил его Хваан.

— Моя деревня не больше, но она — моя! — с неприязнью ответил Булатов. — И не на лысине земной стоит!..

Он отошел в сторону.

Безруков посмотрел ему вслед.

— Кого-то там оставил для нас Каширин, — задумчиво произнес он.

— Может, придется все заново начинать, — отозвался Хваан.

— Ну что же, — вздохнул Безруков. — Не впервой. Громов обещает мне место в государственном складе.

С берега на черном кунгасе, буксируемом пыхтящим от натуги катером, плыли люди. Все они, задрав головы, смотрели вверх, стараясь отыскать среди приезжих знакомых.

С борта спустили веревочный трап, и анадырщики, цепляясь за скользкую веревку, поднялись на палубу.

Громов, одетый в мундир царского офицера с золочеными погонами, придвинулся к трапу. В военную форму обрядился и Струков со своей милицейской командой.

Перед ними вытянулись в струнку прибывшие на пароход члены Ново-Марининского комитета общественного спасения.

— Мы рады вас приветствовать в столице Чукотского уезда Ново-Марининске! — обращаясь к Громову, учтиво произнес один из них, рыжеволосый, плохо выбритый господин в черном пальто с маленьким бархатным воротником.

Громов представил мирового судью Суздалева и начальника милиции Струкова.

Багаж пассажиров уже был уложен в грузовую сеть и лебедочной стрелой спущен за борт, в кунгас. Вскоре кунгас отчалил.

Булатов гляделся в толпящихся на берегу людей. Разномастная, разношерстная публика! И все же, как показалось Булатову, было во всей этой толпе нечто общее. То ли одинаково серая, засаленная одежда, меховые шапки, несмотря на довольно теплую погоду, да и лица, пожалуй, не отличались особым разнообразием...

Внимание Булатова привлекла молодая девушка в коротком, тесно облегающем полные плечи жакете. Смоляные волосы ее чуть-чуть выбивались из-под цветастого платка, покрывавшего голову.

Пока прилаживали дощатый трап и анадырское начальство первым сходило на берег, Булатов с разинутым от удивления ртом смотрел, как пожилой мужчина вытягивал из воды сеть, унизанную огромными жирными рыбинами.

— Кета, — сказал Безруков, тоже наблюдавший за рыбаком,

— Значит, и вярять здесь рыбка есть,— заметил Булатов.— А где олени?

— Олени в тундре пасутся да тебя поджидают,— весело сказал Хваан, перебрасывая через плечо свой вещевой мешок.

На берег сошли вместе и остановились чуть поодаль от толпы, сомкнувшейся вокруг представителей новой власти.

Изредка из-за спин мелькало лицо девушки, и Булатов против воли поглядывал на нее.

— Что делать будем?— спросил он товарищей.— Может, тут гостиница какая есть или бординг-хауз?

— Яранга тебе бординг-хауз,— засмеялся Безруков.— Давай спросим, где тут живет Аренс Волтер.

— А кто это?— спросил Булатов.

— Есть тут такой,— уклончиво ответил Безруков.

Он направился к толпе. Огляделся, спросил у оказавшейся рядом девушки в коротком жакете:

— Скажи-ка, красавица, где тут Аренс Волтер живет?

Девушка подняла глаза и встретилась взглядом с Булатовым, уже успевшим нагнать товарища.

— Да ты что — не понимаешь?— снова спросил ее Безруков.

— Понимаю, понимаю,— с легким акцентом ответила девушка и смущенно прикрыла лицо концом рукава.

— Так где же тут живет Аренс Волтер?

— Он не живет...

— Как — не живет?— упавшим голосом спросил Безруков.— Уехал, что ли?

— Не уехал...

— А где же он?

— Вон стоит,— девушка показала на светловолосого мужчину в высоких резиновых сапогах.

Безруков подошел к нему, отвел в сторону и о чем-то зашептался с ним.

— Милюнэ! Машенька!

Девушка восторженно вскрикнула, еще раз взглянула на Булатова и кинулась к важной даме, позвавшей ее.

Новые представители власти, члены комитета двинулись к зданию уездного правления. Собаки провожа-

ли их неистовым лаем. С любопытством глядели им вслед несколько оборванцев с темными, почти черными лицами.

— Аренс Волтер,— Безруков представил его товарищам.

— А те кто такие?— спросил Булатов, кивнув в сторону оборванцев.

— Местные жители,— ответил Волтер.— Чукчи... Эй, Куркутский, иди сюда!

Мужчина подошел. Остальные остались на месте.

— Здравствуйте, добрые молодцы,— поздоровался он.— Доспели, моляч, до Анадыря-то? Ну, ну, живите тут...

— У Михаила изба как?— спросил его Волтер.

— Пустует, оннак,— ответил Куркутский.— Можно там жить, только печку поправить.

Изба Михаил Куркутского была пустая, холодная: хозяин жил у старшего брата и в свое жилище складывал всякую ненужную рыбацью рухлядь.

Аренс Волтер по-хозяйски оглядел жилище, потрогал расшатавшиеся кирпичи в плите, ковырнул пальцем растрескавшуюся замазку на крохотном закопченном оконце, сказал:

— Ничего, починим — зимовать можно.

Булатов осмотрелся, пожал плечами:

— Ну, я зимовать тут не буду.

Аренс Волтер удивленно взглянул на него.

— Он у нас в Америку собирается, а оттуда — на Смоленщину,— с улыбкой пояснил Хваан.

— Попутным судном или зимой по льду,— проговорил Булатов.

Волтер посмотрел на парня и, убедившись, что тот говорит серьезно, сказал:

— Американской шхуны в эту навигацию в Ново-Мариинске уже не будет. Они знают о новой власти и будут ждать, что дальше... Переход по льду Берингова пролива — бред.

— Почему — бред?— обиделся Булатов.— Ведь пролив-то замерзает? Здесь такие морозы...

— Берингов пролив не замерзает.. Там зимой лед, как каша. Перейти нельзя.

— А что же делать?— растерянно спросил Булатов.

— Возвращаться на пароход, пока не поздно, или же готовиться зимовать здесь.

Булатов ничего не сказал и молча вышел из домика.

Милюнэ еще никогда не переживала такой суматохи. Сначала хотели было устроить торжественную встречу у Трневых, но желающих попасть на этот прием оказалось слишком много, и члены комитета решили перенести угощение в здание уездного правления, заняв столы присутственного зала.

Агриппина Зиновьевна на этот раз превзошла самое себя. Глянув на нее, Иван Архипович не сдержался, крикнул от удовольствия. А Милюнэ всплеснула руками, громко воскликнула:

— Какая вы красивая, Агриппина Зиновьевна!

Агриппина Зиновьевна и впрямь постаралась. Она достала из заветного ларца долго лежавшие без дела краски, пудру, румяна, надела черное шелковое платье, на плечи накинула палантин из отборных горностаев. Символ чистоты, нашиваемый на спину кухлянки, горностаевые шкурки красиво оттеняли черный блеск шелка и белую полную шею тангитанской женщины.

Иван Архипыч тоже приоделся. Уж Милюнэ постаралась, так отгладила и накрахмалила рубашку, что воротник стал жесткий, словно не матерчатый, а из хорошо выделанной нерпичьей мандарки.

Милюнэ пошла проводить хозяев. Ей было приятно, что люди обращают на них внимание.

За церковью, где Трневы повернули к устью лимана, к уездному правлению, Милюнэ увидела возле домика Аренса Волтера того парня, который так пристально разглядывал ее на берегу.

— Маша!— позвал ее Аренс.

Она подошла, и Волтер по тангитанскому обычаю стал знакомить ее со своими друзьями:

— Маша,— это Сергей Безруков, Дмитрий Хваан, Александр Булатов... А это — Маша, по-чукотски Милюнэ, горничная комерсанта Трнева.

— Откуда же такая красавица?— с улыбкой спросил тот, которого называли Дмитрием Хвааном.

— Из тундры она, от чукотского короля Армагиргина.

— При дворе короля жила? — усмехнулся Сергей Безруков.

— В стойбище, — поправила Милюнэ.

— Она хорошо по-русски говорит, — заметил Волтер. — Лучше меня!

— А много здесь, в Ново-Мариинске, чукчей? — спросил Безруков.

— Нет, немного, — ответила Милюнэ. Все разговаривали с ней, улыбались, и только черноглазый парень стоял будто немой и не сводил с нее странного, словно замороженного взгляда. — Мой родственник Тымнэро да еще двое... Здесь больше чужанцы живут да тангитаны...

Мимо них просеменил Сооне-сан.

— Да тут и японцы есть! — удивленно воскликнул Хваан.

— О! Здесь кого только нет! — отозвался Волтер. — Такое место — Чукотка!

Прошел Бессекерский с граммофоном в руках. Следом за ним — Ермачков, помогавший тащить трубку.

— Танцевать будут, ежели доспеют! — крикнул он Волтеру, указывая на торговца. — Хороша музыка в ящике!

Бессекерский как-то приносил свой граммофон к Треневым, и Милюнэ слышала удивительную музыку. Поначалу она думала, что внутри ящика сидят маленькие человечки, но Бессекерский, сняв крышку, показал, что там ничего нет, кроме колесиков и стальной пружины. Это разочаровало Милюнэ, и она решила, что торговец и сам не знает, откуда берется музыка в этом волшебном ящике...

Булатов не понимал, что с ним творится. Он смотрел на девушку, в ее чуть влажные, наполненные каким-то внутренним светом глаза, и странное, неведомое ранее чувство охватывало его. Чувство это росло, ширилось, заставляя тревожно биться сердце.

От этого взгляда молодого тангитана Милюнэ стало не по себе, она, круто повернувшись, побежала к дому уездного правления, где давно уже толпились любопытные анадырщики. Опершись коленями о завалинку, она прильнула к стеклу.

Говорил новый начальник уезда. Речь его была долгая и, наверное, очень важная, потому что все стояли

и терпеливо держали в руках наполненные до краев стаканы и рюмки.

— Господа! — голос у Громова был басовитый, несколько хрипловатый, словно он долго ехал по морозу на нарте. — Господа! Мы прибыли сюда для спасения России. Наша родина оказалась во власти узурпаторов, анархистов и попросту разбойников во главе с немецким шпионом Лениным. Пользуясь темнотой и невежеством низших слоев российского общества, он поднял восстание и захватил власть, оккупировав Петроград и Москву. Но, господа, лучшие сыны России не могут отдать на поругание нашу родину! История призвала на поле брани представителей истинного российского дворянства. На нашей стороне разумные и благожелательные силы Америки, Англии и Японии. Благодаря их бескорыстной помощи нам удалось отстоять Дальний Восток. Верховный правитель Сибири адмирал Колчак, божьей милостью поставленный у власти, полон решимости освободить Россию от большевиков, вернуть награбленное истинным хозяевам, защитить церковь от поругания и разорения. Да здравствует адмирал Колчак и наши доблестные союзники!

В глубине дома раздалось глухое «ура», и стекла слегка вздрогнули.

Милюнэ все выглядывала своих хозяев. Наконец нашла их — они сидели совсем неподалеку от главного стола, за которым теперь восседал новый начальник.

Говорили речи и сами жители Ново-Маринска.

Первым взял слово Бессекерский. После своего зимнего путешествия он заметно изменился, стал каким-то жестким, словно выморозил остатки своей души.

— Господа! Мы слишком долго либеральничали и играли в демократию. Создавали мертворожденные комитеты, пытались даже туземцев ввести в уездное правление. Теперь этой анархии конец! Да здравствует твердая власть адмирала Колчака и его представителя на Чукотке господин Громов!

После каждой речи слышалось глухое «ура» и все присутствующие опрокидывали в рот полные стаканы веселящей воды. Такого всеобщего поглощения дурной веселящей воды Милюнэ еще никогда не видела, и любопытство ее было так велико, что она собралась было на свой страх и риск проникнуть на это пиршество.

— Эй, баба!— вдруг услышала она — кто-то окликнул ее.

На крыльце стоял милиционер в сером мундире. Он держал винтовку и с любопытством поглядывал на Милонэ.

— Ну что, интересно?

Милонэ молча кивнула.

— Хочешь поглядеть?

— Хочу,— простодушно ответила Милонэ.

— Тогда иди за мной, помоги.

Милиционер спустился на берег, где на костре в большом ведре варилась уха. Поддев палкой раскаленную дужку, вдвоем понесли ведро в уездное правление.

— Отведайте нашей анадырской юшки! Такой золотой ухи вы еще нигде не пробовали! — лебезил перед новым начальством Бессекаровский.

Милонэ помогла разлить уху по тарелкам и отошла в сторонку, радуясь, что удалось проникнуть на самый тангитанский праздник: будет что порассказать Тымнэро и Тынатваль.

После ухи подавали олени котлеты и жареных уток.

Заиграл поставленный на железный сейф граммофон, и музыка заставила пирующих умолкнуть.

Громов, порядком опьяневший, вытащил из ухи ложку и принялся дирижировать.

— Дамы приглашают кавалеров!

При этих словах Агриппина Зиновьевна решительно встала, повела плечами, поправляя горностаевый палантин, и устремилась к Громову.

— Позвольте, господин Громов!

Громов положил ложку, одернул мундир, вытер тыльной стороной ладони усы и тяжело вывалился из-за стола.

Все расступились, образовав посреди комнаты полукруг. Держа одну руку на плече Агриппины Зиновьевны, другую на талии, Громов повел ее в вальсе удивительно легко и свободно.

Милонэ застыла в изумлении. Потом перевела взгляд на Тренева. Иван Архипыч во все глаза смотрел на жену, и лицо его как-то странно скривилось, будто от зубной боли.

Громов все плотнее и плотнее прикипал к Агриппине Зиновьевне. Казалось, оба они напроочь забыли об окру-



жающих. Они жили сейчас в каком-то своем иллюзорном мире.

Музыка вдруг тонко взвизгнула, будто кто-то наступил на хвост ненароком забредшей в комнату собаке, и... оборвалась. В наступившей внезапно тишине послышался резкий, неприязненно-холодный голос Тренева:

— Агриппина Зиновьевна! А ну марш домой! — Он подскочил к жене, схватил ее за руку и потащил к выходу.

Агриппина Зиновьевна растерянно озиралась вокруг.

— Господа, — произнес пришедший наконец в себя Громов. — Я не понимаю... Что случилось, господа?

— А то, господин Громов, — выпятил тощую грудь Трнев, — что Груше домой пора.

Аренс Волтер плотно закрыл дверь и вернулся в домик:

— Никого.

— А собака что лаяла? — настороженно спросил Михаил Куркутский.

— Трнев с женой промчались. На пожар будто. И Маша с ними...

— Ну, что ж, начнем, товарищи? — выждав немного, проговорил Безруков, поднимаясь из-за стола.

— Товарищи! Красная Армия движется на Дальний Восток. Повсеместно разгорается партизанская борьба. Сложность нашей работы состоит в том, что нас мало. Широкие слои туземного населения пребывают в темноте и невежестве. Наша задача — пробудить их от векового сна. Задача труднейшая. Предстоит гигантская работа. Надо искать сочувствующих, привлекать их к нашей борьбе... Петр Васильевич Каширин направлен сейчас в Якутию, сюда же партия послала нас — меня и Хванана... — Безруков говорил долго. Сидевшие за столом с интересом слушали его. В конце своего выступления Безруков спросил:

— Как насчет Милонэ? Она бы нам очень подошла. Живет в доме у Тренева, а к нему, похоже, сходятся многие нити. Знает чукотский и русский и — главное — представительница местного населения.

Он оглядел присутствующих:

— Что скажешь, Куркутский?

— Трудно сказать... Все же — баба!
— Товарищ Куркутский! — укоризненно заметил Безруков. — В революции для нас нет ни баб, ни мужиков — есть товарищи.

— В том и загвоздка, что товарищем ее не назовешь...

— Это почему же? — спросил Дмитрий Хваан.

— Красива больно, — вздохнул Куркутский.

Безруков засмеялся.

— А что в этом плохого? Революция приветствует красоту. Тебе, Куркутский, подпольная большевистская группа дает задание — выявить политическое лицо и пригодность для нашего дела чукчи Тымнэро и служанки Тренивых — Маши... Задача ясна, товарищ Куркутский?

— Ясна, — еще раз вздохнул парень.

— Далее, — продолжал Безруков, — оружие и боеприпасы. Как насчет этого, товарищ Волтер?

— Мы имеем шесть револьверов системы «Браунинг» с патронами, — перечислил Аренс. — Пять винтовок тоже с патронами. Три охотничьих ружья.

— Маловато, конечно, но... ничего. Если возникнет необходимость, где еще можно достать оружие?

— У Бессекерского склад полон, — сказал Куркутский. — Мой брат работал у него, видел.

— Ближайшая задача — выявить людей, которые могут войти в нашу боевую подпольную группу, — сказал Безруков. — Для этого надо побывать на Угольных коях, в ярангах местных жителей...

— А как быть с другими населенными пунктами? — спросил Михаил.

— Придется подождать, — немного подумав, сказал Безруков. — Сначала возьмем власть здесь, в Ново-Марининске... за работу, товарищи!

В комнату вошел Александр Булатов, пытливо оглядел собравшихся, сказал:

— Зря сидите в духотище да в табачном дыму. На улице такая благодать!

— И верно! — весело отозвался Дмитрий Хваан. — Чего мы тут киснем?

Все гурьбой потянулись из домика, спустились к лиману, где в ровном свете белой ночи возились возле своих ставных сетей рыбаки.

Напротив уездного правления догорал костер. Несло густым ароматом свежей ухи.

— Благодатная река,— задумчиво произнес Сергей Безруков, глядя, как старик тащил короткую сеть.

— Я тут слышал—пароход ждут японский. Жена Громова приезжает,— сказал Булатов.— Может, на этом пароходе удастся перемахнуть на тот берег?

— Ну что же,— подумав, ответил Безруков.— Вольному воля... Только сомневаюсь, что ты доберешься до Смоленщины. И вообще, что собираешься делать у себя в деревне?

— Работать. Говорят, землю дали... А у меня вон — видите, руки чешутся? По земле соскучились.

— А ты уверен, что тебе землю дали?— Безруков принял не торопясь свертывать самокрутку.— Колчак с помощью своих союзников пытается вернуть власть помещиков и капиталистов. Никаких раздач земли и фабрик крестьянам и рабочим не будет. Сейчас он установит власть на Дальнем Востоке, укрепитя в Сибири, а потом двинет и на Центральную Россию, на твою Смоленщину.

Булатов растерянно посмотрел на Безрукова и забормотал:

— Нет, нет... За что же боролись, кровь проливали? Да разве мужик так просто отдаст землю?..

— Его и спрашивать не будут,— вступил в разговор Хваан,— силой возьмут.

— Так и силой можно не отдать!

— Как это?— Безруков с интересом уставился на Александра.

— А так!— убежденно отрезал тот.— Не позволят, и все. Да я еще в Германии, в плену, слышал— есть такая партия— большевики. Во главе с Лениным. Они за бедного человека, за простого рабочего. И армия у них есть. А уж если мужик встанет, так станет стеной. Нас все же поболее, нежели помещиков...

— А мобилизуют?— спросил Хваан.

— Я же не дался,— с усмешкой ответил Булатов.— Я ведь почему из Владивостока уехал? Чтобы колчаковцы меня в свою армию не взяли.

— Не все же такие сообразительные, как ты,— заметил Безруков.

— Не все, но многие!

Хваан с Безруковым переглянулись.

Старик выпростал пойманную рыбу из ячеи, сложил добычу в жестяной таз и длинной палкой снова вытолкнул снасть в спокойную гладь Анадырского лимана.

— А почему бы нам не купить рыбы да не отведать здешней ухи?— предложил Хваан.

Он подошел к старику и выторговал у него две большие рыбины. Поднялись к своему домику, затопили печь и занялисьстряпней.

Булатов с явным удовольствием разделявал рыбу, он вывалил на чистую доску икру и спросил:

— А с этим что делать?

— Мы ее сейчас мигом засолим,— весело отозвался Михаил Куркутский.— Сделаем икру-пятиминутку.

Он взял кусок серой марли и принялся протирать сквозь нее икру в небольшой эмалированный тазик. Икринки отделялись друг от друга и словно ягодинки падали, покрывая дно сплошным красным пятном. Затем Куркутский сделал рассол и вылил его в икру. Слегка помешав, сказал:

— Через пять минут будет готова.

И вправду, пока варили уху и собирали на стол, икра была готова, ее можно было есть с хлебом. Уха тоже оказалась сытной и вкусной.

Безруков внимательно наблюдал, как ел Булатов. Он черпал ложкой неспешно, глубоко, а потом, подставив кусок хлеба под ложку, осторожно нес ее ко рту, стараясь не уронить ни капли. Ложка у Булатова, по солдатской привычке, была своя, и он носил ее за голенищем сапога.

— Что вы так на меня глядите?— спросил он, заметив пристальный взгляд Безрукова.

— Да вот гляжу,— не сразу отозвался Сергей Евстафьевич.— Хороший, должно быть, из тебя хозяин.

— Ну это еще неизвестно,— скромно потупился Булатов.— Почптай, я по-настоящему-то и не хозяйствовал. Только собрался— в армию взяли, возвратился— война началась... Потом плен и вот это...

— Да, выходит, ты и пожить-то как следует не успел...

— Это точно,— вздохнул Булатов.

Саше нравился Безруков. Что-то в нем было обстоятельное, твердое, хотя на вид Сергей Евстафьевич был

щупловат и черняв. Уважали его и, похоже, во всем ему подчинялись не только его спутники по пароходу «Томск», но и новые анадырские знакомые. Иногда Булатову чудилось, что Безруков всех их давно знает или связан с ними каким-то тайным братством.

Но такие мысли приходили в голову Булатову как-то мимоходом, в хоре других размышлений, связанных с дальнейшим путешествием на родину через неведомую Америку.

А если и впрямь дороги через Берингов пролив не будет? Значит, надо чем-то заниматься, устраиваться на работу...

* * *

Милюнэ пришла в ярангу Тымнэро и уселась у горящего костра. Выпростала из узелка гостинцы для девочки и обломок кирпичного чаю.

— Кыкэ — русский чай! — с радостью заметила Тынатваль.

— На пароходе привезли, — ответила Милюнэ. — Товар мой хозяин получил.

— А чего же лавку не открывает? — поинтересовался Тымнэро.

— Не до лавки ему теперь, — махнула рукой Милюнэ.

— А чего? — Тымнэро отложил каменное точило, которым он полировал лезвие охотничьего ножа.

— Жену свою стережет! — Милюнэ отхлебнула из блюда свежесваренного черного чаю. — Новый начальник шибко смотрел на нее...

Милюнэ для Тымнэро была как бы окошком в мир тангитанов. Оттуда нескончаемым потоком шли самые причудливые новости, увиденные и подмеченные наблюдательной девушкой.

— Взять хотел Громов-то твою хозяйку? — спросил Тымнэро.

— Хотел... Танцевал с ней под музыку из ящика, а сам все ближе да ближе льнул... Ну, хозяин-то мой и увел жену...

— Кыкэ вынэ вай! — с ужасом произнесла Тынатваль. — Как он посмел-то? Говорят, у начальника золотые наплечники, как у Армагиргина?

— Ии, — кивнула в знак согласия Милюнэ. — Оторвал от Громова и потащил. И меня заодно. Такой сер-

дитый был, ужас... Домой пришли, тут смелость его и покинула. Встал он перед ней и молчит. А та вся красная стала, прямо бурлит внутри, вот-вот лопнет.— Милюнэ замолкла, отхлебнула чаю, потом продолжала:

— Мне поначалу показалось, что она и лопнула. Такой звук был. Это она мужа по щеке ударила своей жирной ладонью. Да так сильно, что вся рука и отпечаталась у Архипыча на лице.

— А он?— нетерпеливо перебил Тымнэро.

— Он-то? Он ничего. Пошел в комнату и на постель завалился.

— Какая безжалостная!— заметила Тынатваль.

— Ии,— согласилась Милюнэ.— Села она в своем красивом платье на стул, поодаль от постели, и в окно стала глядеть... Только будто пар из нее сразу вышел, потому что бледная стала очень, я даже испугалась. Потом увидала я — плачет...

— Так ей и надо, как же бить мужа?— с недоумением заметила Тынатваль, искоса глянув на своего Тымнэро.

— Да не она, а сам Архипыч заплакал,— понизив голос, сообщила Милюнэ.

— Кыкэ вынэ вай!— в ужасе воскликнула Тынатваль.

— Какомэй,— тихо произнес потрясенный Тымнэро.— Довели, значит.

— Ии,— поддакнула Милюнэ.— Мне даже жалко его стало.

— Конечно, жалко,— согласилась Тынатваль.

— Самое интересное было потом. Посидела Агриппина Зиновьевна на стуле, потом как зарыдает, будто прорвало ее, как реку весной, кинулась она на своего Ванюшу и приникла к нему, как олененок. Обнялись они и теперь уже оба заплакали.

Милюнэ замолчала, выпила свой чай, шумно втянув остаток с блюдца. Пораженные рассказом Тынатваль и Тымнэро сидели, не говоря ни слова.

— Значит, и у них переживания бывают...— выдохнул наконец Тымнэро.

— Да уж, верно,— протянула Милюнэ.— Глядишь, глядишь на них, дивишься всяким их чудачествам, а потом такое сотворят, чисто луораветланы.

— Да, это у них есть,— согласился Тымнэро.— Вот

мы с Куркутом Биссекара возили... Казалось, уж такой тангитан... на нас поначалу только кричал, как на собак. А померз в тундре, пурги наглотался да поспал в яранге как простой луораветлан — на человека похож стал. Правда, как вернулись в Ново-Марининск, прежнюю гордость обрел. Идет — будто не видит.

— Трудный народ, — сказала в заключение Милюнэ и прислушалась.

Кто-то приближался к яранге. Стены из кусков жести да обрезков фанеры были так тонки, что слышно было далеко. Особенно когда по топкой тундре шли, чавкая ногами меж кочек.

— Есть кто дома? — послышался голос.

— Ии, — испуганно ответил Тымнэро. А ну как услышали тангитаны неместные про них рассуждения?

— Мы к тебе в гости, — весело произнес Михаил Куркутский, вваливаясь в чоттагин вместе с Аренсом Волтером и тремя новоприбывшими тангитанами.

— Амын еттык! — согласно обычаю приветствовал Тымнэро гостей и усадил на китовые позвонки да на бревно-изголовье.

Сергей Безруков, Дмитрий Хваан и третий их спутник — Александр Булатов — с нескрываемым любопытством озирались в яранге. Аренс Волтер с легкой усмешкой посматривал на них, а Куркутский, чувствуя неловкость за вторжение целой толпы незваных тангитанов, говорил нарочито весело и громко:

— Вот гости, значит, захотели познакомиться да поглядеть, как живет чукотский человек. Николь они не были в яранге и любопытствуют... Так что ты, Тымнэро, не обижайся...

— Я не обижаюсь, — спокойно ответил Тымнэро, — пусть глядят. Только вот нечем мне похвастаться перед ними.

— Да не на похвальбу они пришли к тебе, — увещевал Куркутский Тымнэро. — А познакомиться... Может, дружбу с тобой хотят затеять...

— Где это видано, чтоб тангитан с чукчей дружил? — сказал Тымнэро.

— А Кассира, Аренс — разве они не друзья местному человеку?

— Тебе и твоему брату, может быть, и друзья, — сказала Милюнэ.

— Зря ты такое говоришь,— Михаил Куркутский ско-сил глаза.— Эти тангитаны — нашего Кассиры друзья. Потому и пришли тебя провести.

Аренс Волтер рассказывал о житье в яранге, о назначении полога, кладовок по бокам.

— А у кочевых чукчей такие же жилища?— спросил Сергей Безруков.

— Разницы почти никакой,— вступил в разговор Михаил Куркутский.— Только ихняя яранга полегче, чтобы на нарте возить да собирать быстро.

В пологе Тымнэро передняя стенка была приподнята, и внутренность спального помещения хорошо видна — скатанные оленьи постели да три негорящих жирника. В летнее время Тынатваль всегда держала полог открытым, чтобы свежий воздух проветривал шкуры.

Безруков с Хвааном заглянули внутрь полога, переглянулись между собой.

— Что, плохо живем? Не видали такого?— недружелюбно спросил Тымнэро.

Куркутский перевел.

— На земле много разных народов, и у каждого свой образ жизни. Оттого и смотрим с интересом, что не видали раньше.

В ярангу вошел старший Куркутский.

— Вы тут не слышите — оннак, корась идет с Алюмки... Вроде японский...

Все выскочили из яранги.

Пароход был уже на внутреннем рейде Анадырского лимана.

— Ну вот — может, это твой корабль пришел,— сказал Безруков Булатову.

— Почему — мой?

— А вдруг он дальше на север идет?

— Разве вы уезжаете?— спросила парня Милюнэ.

Булатов замешкался.

— Вам не понравился Ново-Марининск?— взволновалась Милюнэ.— Мы жалеть будем, если вы уедете далеко...

Милюнэ говорила, а Булатов краснел и смущался, не в силах ответить на эти простые и откровенные слова.

— Оставайтесь у нас,— продолжала Милюнэ, сама удивляясь своей неведомо откуда взявшейся смелости.—

Мы тебе рыбы насолим, икры на зиму, засушим юколы, балыков...

Милюнэ слегка коснулась руки Булатова.

— Я подумаю,— пробормотал он и широко зашагал к морскому берегу. Следом за ним двинулись и остальные тангитаны.

Ваня Куркутский удивленно покачал головой:

— Напугала ты, мольч, парня-то... Видал, как до-спел?

— И вправду, что это с тобой вдруг случилось?— спросил Тымнэро.

Милюнэ не отвечала.

Она смотрела вслед уходящему тангитану.

Японский пароход разгружался.

Почти весь груз предназначался для Сооне, но кое-что судно доставило и для других торговцев. Похоже, что во Владивостоке налаживалась жизнь, возобновлялись старые связи. Пришли грузы и для Тренева. Он нанял Тымнэро переносить тюки и ящики в свой небольшой, но хорошо утепленный склад, к которому примыкала и лавка. Этот же пароход взял и пушнину, скопившуюся на складах ново-марининских торговцев.

Сооне ходил в именинниках: японский пароход не только снабдил товарами центр Чукотского уезда, но и доставил жену начальника уезда Громова.

Простая на вид, полноватая женщина сошла на берег с кунгаса, и Громов, шагнув навстречу, широко обнял ее, крепко прижал к себе и впился поцелуем в губы. У нее было какое-то обиженное, серое, словно вылепленное из глины лицо, и Милюнэ с удивлением подумала: «Что же нашел в ней этот здоровенный тангитан, от которого даже на большом расстоянии пахло дурной веселящей водой?»

Тренев сказал дома:

— Этот мужлан недолго продержится у власти. И вообще — я не верю в Колчака...

Это было несколько неожиданно, потому что совсем недавно Иван Архипыч, как помнила Милюнэ, говорил нечто другое.

— Колчак и все эти Громы — лишь средство вернуть России царя,— рассуждал ныне Тренев.

Он больше не ходил в уездное правление и весьма решительно отклонил приглашение Громова на званый ужин в честь приезда жены. Он лег в постель, и Агрипина Зиновьевна положила ему на лоб смоченное укусом полотенце. Этот запах для Милюнэ был связан с пельменями, да и сам Иван Архипыч, укутанный белыми простынями, с белым полотенцем на голове, напоминал ей большую, только что вылепленную пельменину.

* * *

На рейде стоял пароход, готовясь к отправке в обратный путь.

А на вершинах Золотого хребта уже выпал снег.

Казачка обмелела и несла желтую тундровую воду, в которой плохо заваривался чай и плавали маленькие тундровые червячки. Так было каждую осень, и люди ходили теперь за кладбище, на холмы, меж которых лежали на вечной мерзлоте чистые озера, хранившие талую воду зимнего снега.

Трава испещрилась красной морошкой, и Милюнэ набирала горсть за горстью в кожаный туесок. Иногда на склонах кочек, обращенных в южную сторону, попадалась голубика, а шикши было так много, что подошвы торбасов чернели от ягодного сока.

Милюнэ старалась обходить стороной старинное тангитанское кладбище с побелевшими деревянными крестами. У многих крестов был домиком сделанный навес, под которым хранилась крохотная икона. Однажды она видела, как провожали в последний путь тангитана. Сначала его положили в дощатый ящик, прямо на свежие стружки. Руки сложили на груди, вставили в них свечу. Отец Михаил спел над ним погребальную песню и подымил из медного сосуда, в котором тлел пахучий мох.

Милюнэ стояла у стены, при входе в церковь, и со страхом, смешанным с любопытством, вслушивалась в непонятное ей песнопение. Но самым, пожалуй, удручающим, самым тяжким было погребение.

Могилу копал Тымнэро. Ему едва удалось вырыть яму глубиной до колена — дальше шла мерзлая земля, и железный лом отскакивал от нее, как от камня. Потом эта яма начала понемногу заполняться водой. Туда,

в эту воду, и опустили бедного тангитана. Сверху, на гроб, накидали подтаявшей глинистой земли. Дерево отзывалось на тяжесть глухо и отчаянно, и у Милюнэ от жалости сжималось сердце, будто на него, на сердце, клали эту вязкую тяжелую землю. Уж куда лучше лежать в открытой, чистой тундре, на высоком пригорке головой к восходу и ждать, пока тундровые звери обглодают земную оболочку ушедшей сквозь облака души. Просто удивительно, как тангитаны не понимают этого...

Милюнэ, как всегда, обошла кладбище и углубилась в тундровые холмы.

Вот и озерко с чистой талой водой. Но что это? Кто там стоит, в озерке? Уж не покойник ли какой вышел искупаться? Говорят, в ненастную погоду с кладбища по ночам доносится вой и скрежет в подземных могилах. Вглядевшись, она не поверила своим глазам. Это был тот самый молоденький тангитан — Булатов. Он плескался в воде, приседал и фыркал, как морж. Милюнэ застыла в изумлении. Но вот Булатов поплыл. Милюнэ совсем растерялась. Правда, она и раньше слышала, что тангитаны плавают не хуже моржей, но самой увидеть такое...

Она подошла к воде, поставила у ног ведро.

Тангитан доплыл до другого берега, повернул обратно и только тут заметил Милюнэ. Он совсем не ожидал увидеть здесь человека и теперь, растерявшийся не менее самой девушки, принялся умолять ее:

— Уйди отсюда! Уйди...

Милюнэ, пораженная увиденным, не могла сдвинуться с места. Парень стоял по пояс в студеной воде — у него зуб на зуб не попадал, — но выходить на берег не торопился.

— Уйди! Уйди, пожалуйста!

Милюнэ поняла, что тангитан стесняется. Это было ново и неожиданно. Те голые мужчины, которых Милюнэ видела в хозяйской бане, нисколько ее не стеснялись, даже наоборот — им нравилось смущать бедную девушку. А этот...

Милюнэ в изумлении повернулась и ушла за холм. Почему он такой? Почему, когда смотришь на него, сердце стучит сильнее, дыхание прерывается, будто бежишь по качающимся тундровым кочкам...

Она шла, вспоминая смущенное лицо голого тангитана, стоящего по пояс в холодной воде... и ту неожиданную свою просьбу, когда умоляла его не уезжать из Ново-Мариинска.

Вдруг она вспомнила о забытом на берегу ведре и повернула обратно.

Булатов шагал навстречу, осторожно неся в руке полное ведро.

Милюнэ хотела было взять ведро, но он отстранил ее:

— Я понесу...

Девушка в удивлении подняла глаза: как, он хочет тащить полное ведро воды, которое она, служанка Милюнэ, должна принести в домик Тренева?

— Не надо,— тихо сказала Милюнэ.— Я сама.

— Почему же? Мне, может, приятно помогать вам.

— Разве такое бывает? Разве тангитану приятно помогать чукче?

Булатов поставил на землю ведро и пристально посмотрел в лицо девушке. И она вдруг спросила:

— А что ты в озере делал?

— Купался.

— Зачем?

— Грязь смывал. Скоро уезжать, а общественной бани в Ново-Мариинске нет. Вот и решил в озере помыться. Куркутский меня надоумил.

— Сказал бы мне, я бы тебя помыла.

— Как это?— не понял Булатов.

— Я к этому делу привычная,— призналась Милюнэ.— Уж чего-чего, а тангитанов мыть научилась.

— Где же ты мыла этих самых... и кто они такие?

— Такие, как ты,— ответила Милюнэ.— Тангитан — значит белый человек, чужестранец. Своего хозяина мыла, Ивана Архипыча, его жену, торговца Грушецкого...

— Да?— как-то неопределенно, с тоской протянул Булатов, и Милюнэ поняла: ему неприятно об этом слышать. Подняв ведро, он быстро зашагал к поселку.

Милюнэ схватила его рукав:

— Я сама понесу... Не тяжело мне...

Милюнэ тоже смотрела в эти желтоватые глаза, и они притягивали ее все ближе и ближе. Она почувствовала на плечах его сильные, тяжелые руки, и какая-то

посторонняя сила бросила ее в объятия. Она ощутила его губы на своих губах, сухие, горячие, почему-то такие желанные и сладкие... Что же это такое? Это же совсем не то... Так вот почему тангитаны целуются губами, а не нюхаются? Кружилась голова, и, чтобы не упасть, Милюнэ крепче и крепче прижималась к парню...

Они упали на траву, опрокинув ведро.

Милюнэ открыла глаза. Вот оно какое — женское счастье... Сладость через острую боль...

Булатов лежал на траве, ничком, вдыхая терпкий запах осенней земли.

— Как же это случилось? Прости, Милюнэ... — прошептал он.

— Случилось, — эхом отозвалась она. — Хорошо случилось... Теперь можешь уезжать. У меня воспоминание будет... А то ведь ничего... ничего... — она судорожно схватила его руку, положила на свой голый живот: — Держи тут... мне приятно... Уедешь — вспоминать буду.

— Почему вспоминать? — Булатов склонился над девушкой, поцеловал ее. — Мы будем вместе.

— Тангитаны не бывают вместе... с чукчацками...

Милюнэ казалось, весь Ново-Мариинск смотрит, как она, бедная чукотская девушка, идет с тангитаном. И — тангитан несет ей ведро. Она шагала рядом, онемевшая от счастья, еще не проснувшаяся от волшебного сна... Да ей и не хотелось просыпаться...

Глава вторая

Народные правления колчаковцами были упразднены. На их место назначили управляющих уездами и старост, то есть была полностью восстановлена система управления Чукоткой, существовавшая в период царского самодержавия.

Борьба за власть Советов на Чукотке (1919—1923). Сборник документов и материалов. Магаданское книжное издательство, 1967, с. 9

Агриппина Зиновьевна не могла нарадоваться на свою служанку: та приносила чистую пресную воду не

только для чая, но и для стирки белого белья. Когда Милюнэ развешивала на длинной веревке простыни, пододеяльники и наволочки, сразу можно было заметить, что она их полощет не в желтой осенней Казачке, а в прозрачных водах тундровых озер.

Александр Булатов обычно ожидал ее за кладбищем, читая летопись русского владения крайним Северо-Востоком, запечатленную в коротких надписях на деревянных крестах. Буквы были врезаны глубоко в дерево, и снежные пурги и летние дожди только округлили их, отполировали очертания.

Милюнэ показывалась вдали, Булатов уже чувствовал нарастающее волнение. Ему хотелось побежать навстречу, взять на руки Милюнэ и нести ее на берег того озера, у которого они впервые познали свою любовь.

И каждый раз, глядя в глаза Милюнэ, в ее лицо, Булатов чувствовал, как закипают у него слезы. Почему?

— Почему, когда я смотрю на тебя, мне плакать хочется?

— Коо,— ответила она по-чукотски, потом сказала: — Наверное, это слезы радости. Мне покойная мать говорила: бывают и такие слезы.

Булатов смастерил для Милюнэ коромысло, и теперь, подходя к поселку, она отбирала у него ведра и несла их сама, покачиваясь на ходу стройным, гибким телом.

Перемену в настроении Милюнэ первой заметила проныцательная Агриппина Зиновьевна. Она стала замечать, что служанка уходит надолго, поет и вообще не скрывает своей радости.

Милюнэ напевала тангитанские песни, запавшие ей в память.

Дышала ночь восторгом сладострастья...

Агриппина Зиновьевна прислушивалась, обменивалась понимающим взглядом с мужем. Однажды она спросила:

— Машенька, а ты понимаешь, о чем поешь?

— Понимаю, конечно,— уверенно ответила Милюнэ.— Дышала ночь...

Но тут, подумав, обнаружила, что последующие слова ей совершенно непонятны. Что это значит — «востор-

гом сладострастья?» И почему это ночь дышит? Разве она человек или зверь, чтобы дышать?

— Наверное, все-таки не понимаю,— смущенно призналась она.

— Не понимаешь, а поешь!— осуждающе произнесла хозяйка.— И что это с тобой творится в последние дни?.. Уж не нашла ли ты кавалера?

— А что это такое — кавалер?— спросила Милюнэ.

— Кавалер — это человек,— принялась объяснять Агриппина Зиновьевна,— который ухаживает за девушкой. Любовник, одним словом...

На следующий день Милюнэ спросила Булатова:

— Что значит — восторги сладострастья?

Тот удивленно посмотрел на девушку.

— Что-то буржуазное... Трудно объяснить,— неопределенно пробормотал он.— Откуда ты такое вызнала?

— Песня есть такая,— ответила Милюнэ и пропела:

Дышала ночь восторгом сладострастья...

Булатов слушал. Он полулежал на тундровой кочке и сквозь подбитое ватой пальто чувствовал студеное дыхание вечной мерзлоты. По утрам мороз уже прихватывал лужи, трава становилась ломкой, хрупкой.

Голос у Милюнэ был удивительно чистый, как первый ледок, как ясное голубое небо, и песня эта вдруг взволновала парня, напомнила дымные залы сингапурских портовых харчевен, бледные ночи на берегу Финского залива, строгие прямые улицы Петрограда и долгую свою дорогу к дому, которая неожиданно затерялась в немыслимой дали Северо-Восточной Азии.

Дышала ночь восторгом сладострастья...

Деревенская околица, глинистый взгорок, за которым открывался уже другой мир, в который дважды уходил Саша Булатов. И вдруг... эта удивительная девушка из стойбища легендарного чукотского короля, такая чистая, нежная, понимающая...

— Я тебя очень люблю, Машенька,— в порыве нарастающей нежности Булатов обнял ее, прижал к себе, оборвав песню.

— Я тебя тоже очень люблю,— ответила Милюнэ.— Я никогда не думала, что так будет, только мечтала, слышала нутром... Думала, все пройдет, как бо-

лезнь, и я останусь одна или выйду замуж за какого-нибудь старика-оленевода. И вдруг такое... Я тебя очень люблю, мой кавалер...

— Как ты сказала?— Булатов отодвинулся от Милюнэ.— Откуда у тебя такое слово?

— Разве оно плохое?— испугалась Милюнэ.— Я тебя обидела?

— Да нет, ты меня не обидела, но слово это мне не нравится,— строго сказал Булатов.— Называй меня лучше по-другому.

— Это слово сказала Агриппина Зиновьевна,— призналась Милюнэ и с тревогой спросила:— Наверное, и песня тебе не нравится?

— Нет, песня ничего,— после некоторого раздумья ответил Булатов.— Но есть другие...

— Спой мне!— вдруг горячо попросила Милюнэ.— Спой мне твою любимую песню!

Булатов посмотрел в глаза Милюнэ и снова ощутил ту щемящую нежность, от которой хотелось плакать.

— Слушай...

Он прокашлялся и начал:

Красна девица сидела под окном,
Утирала слезы белым рукавом.
Пришла весточка нерадостная к ней,
Что сердечный друг не верен больше ей,
Что задумал он иную замуж взять.
Как тут девице не плакать, не вздыхать?
Стали девицы подружку утешать:
«Полно сердцем о неверном тосковать.
Ты в селе у нас всех лучше красотой,
Наши молодцы любят тебя тобой.
Всякий девице желает угодить,
Ты властна из них любого полюбить».—
«Пусть их много, — красна девица в ответ. —
Сердце милого другого не найдет!»

Милюнэ задумчиво слушала, подперев рукой голову. А когда Булатов умолк, она долго завороченно смотрела на него.

— Как это хорошо: сердце милого другого не найдет!— думая о чем-то своем, прошептала она.

Иногда, лежа в объятиях Булатова, Милюнэ надолго замолкала, широко раскрытыми глазами пристально вглядывалась в тающие высоко в небе облака. Интересно, что там, за облаками? Вправду ли тот мир, откуда

уже никогда не возвращаются? Бывают ли там такие встречи, какая случилась с ней? А вдруг это ее земное счастье кончится, оборвется? Милюнэ старалась не думать об этом, но мысль упорно приходила к ней, гасила огонь, окатывала холодом будущего расставания.

— Неужели мы расстанемся?— с болью спрашивала она.

— Ну, что ты...— Булатов в ответ горячо целовал ее.— Бог не допустит...

— Ты веришь в тангитанского бога? Наверное, он добрый... Он сам страдал. Я видела в церкви — он приколочен к кресту, и кровь течет у него из пальцев... И лицо такое страдальческое... Мучился... Тот, кто мучился сам, понимает страдания других.

— Да я так просто... про бога-то...— смущенно пробормотал Булатов.— Понимаешь, Машенька, все зависит от нас с тобой. Скоро здесь, на Чукотке, совсем другая жизнь настанет. Для таких, как мы с тобой. Так мне Безруков говорит...

— А что он, мудрец какой? Все наперед знает? Он же кладовщик. А друг его — милиционером стал, большой нож на пояс повесил.

— Это не нож, а сабля,— засмеялся Булатов.— Конечно, Сергей Евстафьевич не мудрец, но человек он умный. Ты слыхала про Ленина?

Милюнэ кивнула. Это имя не раз произносилось в доме Тренева, и она составила свое собственное представление об этом загадочном человеке.

— Русский разбойник,— выпалила она.— Зачем о нем спрашиваешь? Лучше спой мне песню о сердце милым.

— Кто же тебе такое сказал про Ленина?— опешил Булатов.

— Хозяева так говорят... А что?

— Да ты знаешь!— Булатов долго искал слова, потом с благоговением сказал:— Ленин дал таким, как я,— землю!

Однако это не произвело на Милюнэ впечатления.

— А зачем тебе эта земля?— пожала она плечами.— Вон ее сколько. Хочешь — в мешок клади, хочешь — валяйся на ней.

— Да не эта земля!— с болью в голосе произнес Булатов.— А та, на которой хлеб растет! Понима-

ешь — хлеб! За эту землю убивали друг друга, потому что наша российская земля — это жизнь!

Милюнэ с изумлением смотрела на Булатова. Она никогда не видела его таким возбужденным.

— Откуда же Ленин взял столько хорошей земли? — с недоумением спросила она.

— Вся земля России, на которой растет хлеб, принадлежала помещикам, богатым людям, — принялся объяснять Булатов.

— Как Армагиргину? — догадалась Милюнэ,

— Вроде бы, — кивнул Булатов. — Помещики заставляли крестьян, таких, как я, на себя работать. Все, что вырастало, они у крестьян отбирали. Сами жирели, а мы — с голоду пухли...

— А что, без Ленина не могли догадаться да взять эту землю, раз она так нужна? — с наивным простодушием спросила Милюнэ.

— Может быть, догадывались, да не решались, — ответил Булатов. — Не знали, как это сделать. А Ленин сказал — как.

— А как?

— Самим взять власть. Стать во главе жизни.

— Как Громов, что ли? — шепотом спросила Милюнэ.

— Да нет, не так... — с досадой вздохнул Булатов. — Громов — враг трудового народа. Наш с тобой враг.

* * *

Аресты в Угольных копиях и суд взбудоражили сонный Ново-Мариинск. Испугались даже коммерсанты, многие из которых в разное время входили в состав Комитета общественного спасения.

В домике Тренева говорили шепотом. Сам Иван Архипыч не вставал с постели даже за нуждой. Милюнэ приходилось выносить за ним большой зеленый ачульхен¹.

Когда несколько дней назад арестованных привезли на угольной барже и тут же отправили в тюрьму за рекой Казачкой, Тренев сказал:

— Может, и устроят для острастки судилище, а потом выпустят... Эдак каждого из нас можно засадить.

¹ Ачульхен — ночной сосуд (чук.).

Однако прошел почти месяц, прежде чем было объявлено о суде.

Тренин призвал Миллюна и сказал:

— Сходи, послушай, о чем там толкуют. И тебе интересно — девка ты любопытная, и нам расскажешь.

Миллюна поначалу думала, что тангитанский суд состоит в том, что виноватого выставляют на всеобщее обозрение и ругают или увещевают.

Народу собралось немного. Родственники, друзья обвиняемых оставались на том берегу лимана: из-за бури не смогли переправиться в Ново-Мариинск.

Суздаев сидел за большим столом, покрытым зеленой скатертью. Позади него, на стене, в старой раме, в которую раньше был заключен портрет государя, висела поясная литография адмирала Колчака в полной парадной форме.

Одного из шахтеров Миллюна знала — его звали Николай Звонцов. Одно время он входил в состав комитета, вернее Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, как он тогда назывался. Другого — Алексея Шорохова, видела впервые, хотя имя его частенько упоминалось в доме Трениных.

Подсудимые сидели на специальной скамье, перед столом, покрытым зеленой скатертью, а позади них, с ружьями, стояли милиционеры.

— Обвиняемый Звонцов! — начал Суздаев. — При обыске в бараке, где вы проживали, под вашей кроватью была найдена взрывчатка. Скажите суду, для каких целей предполагалась сия взрывчатка?

— Знамо для чего, — ухмыльнувшись, ответил Звонцов. — Для уголька.

— Вы мне зубы не заговаривайте! — неожиданно выкрикнул Суздаев. — Мы вашим басням не поверим! Мы посланы сюда его превосходительством Верховным правителем Сибири, чтобы искоренить тут большевистскую заразу. Ответьте суду, что вы знаете о деятельности Петра Каширина?

— Петра Васильевича я знал как золотонкателя, а про другую его деятельность слухом не слыхивал, — сказал Звонцов.

— А не вместе ли с вами он принимал участие в организации большевистской первомайской демонстрации? —



голос Суздалева истончился, и он налил в графин желтоватой воды.

— Ежели за это судить, так весь Ново-Мариинск надо посадить на скамью подсудимых,— усмехнулся Звонцов.

— Не беспокойтесь, именно так и будет,— заявил судья.

Затем Суздалев приступил к допросу Алексея Шорохова, который обвинялся в принадлежности к какой-то тайной организации. После допроса, речей обвинителя и защиты суд удалился на совещание.

Оно продолжалось недолго.

— Суд идет!— громкоголосо возвестил Струков.

В зал, в сопровождении присяжных, вошел Суздалев, медленно и торжественно прочитал приговор.

Оба обвиняемых были приговорены к смерти.

Милюнэ не выдержала:

— Кыкэ вынэ вай!

— Молчать в зале суда!— прикрикнул на нее Струков.

Дома Милюнэ и вовсе разрыдалась.

— Помилует их Громов. Ведь не за что так жестоко карать... Вина не доказана,— в растерянности повторял Тренев.— Не может быть... помилует...

В эти осенние дни Ново-Мариинск будто вымер. На мокром ветру болтались на вешалах связки красной ююлы, мокрые сети, мелкая волна лизала серую прибрежную гальку. Иногда с той стороны приплывала баржа, и нанятые Бессекерским грузчики молча выгружали сырой, сочащийся черной влагой отяжелевший каменный уголь.

Булатов торопился: он арендовал старый, покосившийся домик по-над самым Анадырским лиманом возле складов Бессекерского. Домик был хлипкий и требовал ремонта.

Друзья знали, для чего Булатову нужен домик, и дружно взялись помогать ему.

— Молодой жене много тепла надо!— сказал Волтер.

Собрали угольную гарь и засыпали межстенные пустоты. Сложили новую печь с плитой. Волтер съездил за белой глиной, приготовил раствор.

Милюнэ прибежала смотреть, как работают тангитаны. Ей было приятно, что они так стараются. Приходил и Ваня Куркутский, советовал:

— Однако, как глина доспеет, так и отвалится в пургу. Вы лучше изнутри погуще глиной помажьте, а снаружи обложите дерном — вернее будет.

Волтер согласился с ним, и весь домик отштукатурили, обложили дерном. Утеплили пол и потолок. Застеклили двойным стеклом окошки.

Самым веселым и ловким в работе оказался Сергей Евстафьевич Безруков. Все у него спорилось, горело в руках. Милюнэ уловила, что все: и Дмитрий Мартынович, и Михаил Куркутский, и Аренс Волтер, и ее Саша — с каким-то особым уважением относились к Сергею Евстафьевичу. Милюнэ напрямик спросила:

— Он что вам — отец?

— Кто? — не понял Булатов.

— Сергей Евстафьевич. Вы все так почтительно на него смотрите.

— Да это тебе кажется... Просто он много жил, много видел, да и должность у него — главный кладовщик государственного склада, — принялся оправдываться Булатов.

Однако в тот же вечер он с тревогой рассказал товарищам о своем разговоре с Милюнэ.

Сергей Евстафьевич задумался.

— Это ты верно подметил... С конспирацией у нас дело худо. Придумать надо какой-то интерес. А то и старший Куркутский стал пытаться своего брата: что вы там, мольч, по вечерам поделываете? В карты не играете, водки не пьете...

— В том и беда, что всем другим кроме водки и карт заниматься подозрительно, — заметил Хваан.

— А начинать главное дело рано? — с нетерпением спросил Булатов.

— Рано, — ответил после некоторого раздумья Сергей Евстафьевич. — У нас, по существу, только две боевые группы. Из Угольных копей никаких известий пока нет. Свадьбу когда сыграем?

— Милюнэ все торопит, а я думаю повременить. Хочу при новой жизни красное венчание устроить.

— С красным попом? — с улыбкой спросил Дмитрий Мартынович.

— Может, и с попом. Но чтоб настоящий революционный брак был.

— Хорошо бы она пока не увольнялась от Треневых, — сказал Безруков. — Очень важный источник информации. Всего открывать ей, конечно, не надо, но намекнуть можно. Ты можешь на нее положиться?

— Классовое чутье у нее есть! — горячо воскликнул Булатов.

Безруков с улыбкой смотрел на Булатова. Как переменяла его любовь! Он как-то сразу подтянулся, стал уверен в себе. На первой же откровенной беседе признался, что еще во время службы в царской армии сочувствовал большевикам. Он знал о революционных событиях в России: поэтому и пробирался на родину, не пожелав служить ни в экспедиционном корпусе, ни в колчаковской армии. Он внимательно слушал, когда Безруков говорил ему: «Наша сила — это трудовой народ. Вооруженный трудовой народ. Ты думаешь, чего это Колчак так любезничает с союзниками? Да тут дело простое — боится своего народа, боится, что рано или поздно раскусят его и отвернутся. А одни офицеры воевать не будут... Так что, Саша, главная сила в истории — народ».

Булатова решено было пристроить на радиостанцию, благо парень разбирался в технике. Однако попасть туда было не так-то просто, и с помощью Дмитрия Мартыновича Хваана Александра определили пока что в охрану станции. Что будет дальше — покажет время.

Когда Милюнэ заявила хозяевам, что уходит жить в другой дом, Агриппина Зиновьевна растерялась:

— Ну вот и дождались... Замуж, что ли, выходишь?

— Еще нет, — простодушно ответила Милюнэ.

— Так куда ж ты? — поинтересовался Иван Архипыч.

— К Саше Булатову.

— Ну, Машенька, — разочарованно протянула Агриппина Зиновьевна, — неужели получше не могла найти? Он же нищ, гол как сокол! Ванечка, надо что-то предпринять. Говорила тебе — мужа ей надо. И вот дождались — сама нашла!

— Так-так-так, — по своему обыкновению пробормо-

тал Иван Архипыч.— Женщина обычно сама находит мужа. Так уж заведено.

— Но не можем же мы бросить нашу Машеньку на произвол судьбы! Небось он уже совратил ее... Скажи-ка... Машенька... он спит с тобой?

— Нам некогда спать. Очень любим друг друга. Даже устаем.

— Тыфу! Как не стыдно тебе такое говорить!— возмутилась Агриппина Зиновьевна.— Ну ясно, они живут вместе!

— Еще не живем,— дивясь гневу хозяйки, объяснила Милюнэ,— только собираемся. Ждали, когда домик будет готов.

— Ну что ты молчишь, Ванечка!— Агриппина Зиновьевна повернулась к мужу.— Да скажи ей что-нибудь. Или вызови этого Булатова, поговори с ним. Как же можно такую девку отдавать какому-то мужику!

— А если у них и вправду любовь?— попытался было возразить Иван Архипыч.

— Любовь!— презрительно усмехнулась Агриппина Зиновьевна. И Милюнэ удивилась, как она произнесла это слово.— Знаем мы эту любовь! Лишь бы испортить девку!

Она говорила зло, и Милюнэ чувствовала, что злость эта направлена против Саши.

— Он не портил!— Милюнэ впервые осмелилась повысить голос.— Он хороший. О нем нельзя так говорить!

— Совсем вскружил ей голову,— устало произнесла Агриппина Зиновьевна.— Ну, а на что жить-то будете? Жалованье небось у твоего голодранца нищенское?

— Если хотите, я буду опять служить вам,— сказала Милюнэ.

— Ну что же,— после некоторого раздумья произнесла Агриппина Зиновьевна.— Мы к тебе привыкли, ты нам как родная стала. Так и быть, приходи...

Милюнэ собрала в узелок нехитрые свои пожитки.

— А свадьба когда?— спросил Тренев.

— Весной.

— И до весны вы будете жить так?— ужаснулась Агриппина Зиновьевна.— Нет, так дело не пойдет!— Хозяйка отобрала у Милюнэ узелок.— Если уж парень

берет тебя замуж, то пусть делает это по-честному, благо-
родно. Пусть венчается.

Иван Архипыч вступил в разговор:

— Машенька, мы за тебя в ответе. А вдруг твой Бу-
латов весной возьмет да и уедет. Оставит тебя одну.
Сколько таких вот брошенных жен коротают свой горь-
кий век на Чукотке. Ты хорошенько подумай. А мы тоже
примем меры со своей стороны.

Милюнэ не совсем понимала, о чем идет речь. Оче-
видно, хозяева принимали Булатова за обычного танги-
тана, который берет местную женщину на время своего
пребывания на Чукотке. Ну и что же? Она согласна и так.
Только бы Саша доволен был.

Поздно вечером, когда хозяева улеглись спать, она
тайком выскользнула из дома Тренивых.

На следующее утро раздался громкий стук в дверь.
Милюнэ встрепенулась.

— Не бойся, я сам с ними поговорю,— успокоил ее
Булатов.

На пороге стоял начальник милиции Струков. Сабля
билась о новенькие нерпичьи торбаса — мороз уже ско-
вал землю, и шел легкий снежок.

— Булат, начальство тебя требует вместе с сожитель-
ницей!

— Это какое такое начальство?— с вызовом спросил
Булатов.

— Сам Громов.

Булатов откинул щеколду, и Струков вошел сначала
в крохотные сени, где хранился уголь, а оттуда уже в
теплую комнату.

Милюнэ успела накинуть на себя платье и испуганно
смотрела на вошедшего.

Струков оглядел ее с головы до ног, одобрительно
заметил:

— Ай да Булат! Хороший кусок отхватил... Но учти —
даром тебе не пройдет. Жениться придется.

— Именно это я и собираюсь сделать.

— Обвенчаем с дикаркой — вот будет потеха!— хи-
хикнул Струков, осматривая комнату. Проведя рукой по
стене, спросил:— Где брал известку?

— Белой глиной мазал,— ответил Булатов.

- Полно врать-то! Неужто такая глина есть?
- За Второй бухтой ее полно.
- Покажешь место, — коротко бросил Струков. — Давайте пошевеливайтесь, начальство ждет.
- Новомаринцы выглядывали из дверей, украдкой смотрели в окна и шептались:
- И этих заарестовали,

Кулиновский подметал крыльцо уездного правления. Громов сидел в хорошо натопленной комнате, примыкающей к той, в которой недавно судили шахтеров. Он был в мундире с золотыми погонами, обвязанный ремнями, как груз на гоночной нарте. Громов строго взглянул на вошедших и рявкнул:

- На вас подана жалоба!
- А по какому поводу? — старясь сдерживаться, спросил Булатов.

Его спокойствие и выдержка понемногу передавались и Милюнэ.

— По поводу того, что вы, господин Александр Булатов, состоите в незаконном и греховном сожителстве со здешней туземкой Марией-Милюнэ... Вы думаете, мы потерпим такой разврат? Мы посланы сюда богом и его превосходительством адмиралом Колчаком, чтобы навести порядок. Опекуны туземной женщины обратились ко мне с просьбой либо отторгнуть девку, которую они, можно сказать, выпестовали своими неустанными заботами, либо заставить вас, господин Булатов, вступить в законный брак, то есть обвенчаться с ней...

Громов рыгнул и еще раз строго посмотрел на Милюнэ и Булатова. Колчак, нарисованный на портрете, выглядел куда добрее.

— Господин Громов, мы не можем обвенчаться, — ответил Булатов. — Я — человек неверующий, а Маша, сами понимаете, родилась в тундре и не крестилась.

— Так окрестить ее!

— Я не хочу, — тихо произнесла Милюнэ.

Громов с любопытством глянул на нее.

— Так ты говоришь по-русски?

— Говорю...

— А отчего же ты не хочешь креститься?

— Русская вера для нас чужая,— ответила Милюнэ, радуясь про себя, что отводит гнев начальства от Булатова.

— Русское православие — вера всеобъемлющая,— изрек Громов.

— Но можно и гражданским браком сочетаться,— сказал Струков.

— Это хорошая идея!— вдруг согласился Громов.— Но пусть опекуны дадут свое разрешение девице, и мы волею его превосходительства адмирала Колчака регистрируем гражданский брак. На свадьбу приду сам!

Понурые и растерянные Милюнэ и Булатов вышли из уездного правления.

— Пройдем сейчас к Безрукову, посмотрим, что он скажет,— решил Булатов.

— А я полагаю,— весело заключил Безруков,— все к лучшему. Пусть Громов регистрирует брак, пусть будет посаженным отцом на свадьбе. Нам важно заполучить благорасположение... Понимаешь, Саша, это нужно для дела!

Булатов покорно кивнул и напомнил:

— Но нам еще надо получить разрешение опекунов — Тренивых.

— Это я беру на себя,— сказал Безруков.— Иван Архипыч сегодня на государственном складе будет товар брать, я поговорю с ним.

Неизвестно, о чем говорил Безруков с Тренивым, но Агриппина Зиновьевна не только дала согласие, но и сделала Милюнэ свадебный подарок — свое старое белое платье.

— Пусть будет как у приличных людей,— сказала она со слезами на глазах.

Милюнэ растерянно призналась Булатову, что ничего не знает о том, как устранивается тангитанская свадьба.

— Ты думаешь, я знаю?— пожал плечами Булатов.

— Придумаем что-нибудь,— весело сказал Безруков.— На свадьбе главное — пир. Верно, Дмитрий Мартынович?

Решено было пировать в домике молодоженов, так как другого подходящего помещения в Ново-Маринские не сыскать,

Все было на этой свадьбе — рыба в самых различных видах: малосольные лососевые брюшки, икра, вяленая юкола, балыки, строганина, оленина вареная и жареная, холодец из ласт нерпы, американские и японские консервы, вино...

На почетном месте за столом восседал Громов с женой, рядом с ними Милюнэ с мужем, Тренины, Безруков, Хаан, Аренс Волтер и начальник милиции Струков, который не сводил с Милюнэ масляного взгляда.

Веселье, однако, продолжалось недолго, ибо Громов довольно быстро опьянел, и Струкову пришлось тащить его через весь Ново-Мариинск.

На следующий день Булатов с Милюнэ пришли в ярангу Тымнэро.

— Это мой муж,— смущенно представила Милюнэ Булатова.

— Уж очень молод,— заметила Тынатваль.

— Зато сильный,— гордо сказала Милюнэ.

Она принесла с собой узелок с остатками свадебного пиршества и две бутылки сладкого вина, которого в яранге Тымнэро никогда не пробовали. Все это угощение она с помощью Тынатваль разложила на низком деревянном столике у бревна-изголовья.

— Мы здесь продолжим нашу свадьбу,— весело сказала Милюнэ.

Тымнэро смотрел на нее и радовался: незагордилась, о родичах своих помнит. Похоже, и муж ничего, стеснительный, у тангитанов это большая редкость.

— Тихий чего-то,— заметил по-чукотски Тымнэро.

— Он у меня хороший!— задорно ответила Милюнэ.

— Больше работать у Тренина не будешь?— спросила Тынатваль.

— Да вот вчера большой начальник пожелал, чтобы я служила в управлении,— похвасталась Милюнэ.

Тымнэро смотрел на парня и думал: а вдруг во всем мире и впрямь нашелся такой тангитан, который посчитал ровней чукотскую девушку? Или это на самом деле другая порода тангитанов, как утверждает молодой Куркутский, крепко подружившийся с ними? Будто они проповедуют братство бедности...

Милюнэ разлила по чашкам вино.

Тымнэро и Тынатваль пригубили и в один голос похвалили:

— Сладко!

Милюнэ засмеялась:

— А надо говорить: горько!

— Это почему?— удивился Тымнэро.— Ведь сладко же!

— Таков тангитанский обычай. Вчера, когда мы собрались на женитьбенный пир, только поднесли ко рту первые чаши, вдруг самый главный как заорет: горько! Думала — чего-то не то налили ему или не нравится дурная веселящая вода. Ну мне Булат объяснил: оказывается, при женитьбенном угощении собравшиеся время от времени кричат «горько», показывая, что надо подсластить, надо поцеловаться. От поцелуя сладко и бывает.

— А ну я скажу — горько?— развеселился Тымнэро.

— А я возьму и поцелую Булата,— Милюнэ потянулась губами к окончательно смутившемуся Булатову.— Давай поцелуемся, Тымнэро сказал «горько»...

— Так я не слышал,— слабо сопротивлялся Булатов.

— Он по-чукотски сказал.

Молодые приникли губами друг к другу и даже зажмурились от удовольствия.

— Какомэй! — выдохнул пораженный Тымнэро.

— Кыкэ вынэ вай!— с благоговением прошептала Тынатваль.

— Вот такой сладкий тангитанский поцелуй,— с улыбкой заключила Милюнэ.

В яранге ели необычные тангитанские кушанья, похваливали их, искренне радовались счастью своей родственницы. Но вдруг, прощаясь, Милюнэ загрустила, сказала с тоской:

— Не верится мне... Будто бы сплю и сон вижу... И пробудиться боюсь...

* * *

Среди ночи Тымнэро проснулся от беспокойного предчувствия, высунул голову в чоттагин. Ему показало-

лось, что за стенами яранги кто-то ходит, слышится какие-то приглушенные голоса. Слабо тявкнула собака, и из темноты, со стороны двери раздался голос:

— Эй, Тымнэро!

Это был Анемподист Парфентьев, дальний родич Вани Куркутского.

Тымнэро нашарил спички под изголовьем и запалил кусочек мха в каменной плошке. Мох плохо разгорался — жир застыл: по ночам стояли заморозки. От крохотного пламени по темным стенам яранги замечались огромные тени. Они изгибались головами на самом верху, у дымового отверстия, рядом с ними торчали остро-конечные штыки винтовок.

— Выходи, Тымнэро, — шепнул Парфентьев. — Работа, оннак, есть... Обещались хорошо заплатить.

— Что за работа? — спросил Тымнэро.

— Могилу, мольч, копать надо, — ответил Парфентьев.

— Зачем в темноте? — удивился Тымнэро. — Утром хоть десять выкопаю...

Струков о чем-то с раздражением спросил Парфентьева. Тот ответил, и начальник милиции, всунув голову в чоттагин, зашептал зловеще:

— Если ты, дикая морда, сейчас же не вылезешь из своего логова, мы тебя оттуда штыком выковырем!

Тымнэро выполз из полога, спешно натянул на себя кухлянку, взял лом, кирку и лопату.

— Нарту возьми! — приказал Струков.

— Собак запрягать?

— Не надо, без собак обойдемся.

Анемподист Парфентьев шел впереди, указывая дорогу на кладбище, за ним тянул нарту с инструментом Тымнэро, следом шел Струков, а уже позади в темноте терялись вооруженные винтовками милиционеры.

Почти по-над самым обрывом остановились и принялись копать.

— Быстрее, быстрее! — торопил Струков, поглядывая на карманные часы, которые он вынимал откуда-то из глубин своей серой шинели.

— А теперь пошли с нами, — приказал Струков, когда Тымнэро с Парфентьевым закончили копать. — Нарту тащи.

Берегом лимана, хоронясь от домов, прошли мимо складов, мимо стоящих на берегу кунгасов, катеров и лодок. Справа тяжело дышал в темноте Анадырский лиман. Вот-вот пойдет шуга — мелкая ледяная каша, предвестница твердого ледового покрытия.

От устья Казачки повернули влево, поднялись до моста и перешли на левый берег.

Возле высокой дернистой стены сумеречного дома остановились, и Струков приказал Парфентьеву и Тымнэро подождать здесь.

— Кого-то хотят убить, — шепотом сказал Тымнэро, когда они с Парфентьевым остались вдвоем.

— Сиди и молчи, — простонал Парфентьев. — А что нам делать? Они и нас убьют.

— И верно, — сдерживая дрожь, ответил Тымнэро, — могила-то для двоих.

— Молчи, говорю...

За земляными стенами тюрьмы было тихо. До боли в глазах Тымнэро всматривался в темноту, напрягая слух. Сначала блеснул огонек, потом светлое пятно от фонаря закачалось на свежем, выпавшем в начале ночи снегу. Группа людей отделилась от земляной стены и направилась к лиману. Струков кивнул:

— Давай за нами.

Тымнэро успел разглядеть двоих несчастных. Они шагали, слегка опустив головы, словно покорившиеся судьбе. И вдруг ударило в голову: ведь эти люди сейчас уйдут из жизни. И они знают, что уйдут. Как это, должно быть, страшно! Тымнэро явственно чувствовал, как под малахаем шевелятся волосы, ноги словно одеревенели — он с трудом переставлял их; но вот — не выдержал, упал на мерзлую землю.

Струков обернулся и недовольно, приглушенно спросил:

— Что там?

— Тымнэро пал, — дрожащим от страха голосом пролепетал Парфентьев. — Ослабел, оннако.

— Поднять его! — Двое занесли над ним штыки винтовок. Тымнэро встал, сам дивясь, откуда у него взялись силы.

Он действовал словно во сне, казалось, будто другой, покорный и не думающий ни о чем человек влез в его шкуру, принял его обличье.

Арестованных повели к прибрежным скалам, торчащим над устьем Казачки, поставили у камней.

Над Анадырским лиманом проклюнулся робкий рассвет. И Тымнэро сумел рассмотреть, что у бедняг крепко связаны руки.

Один из милиционеров надел им на головы мешки из-под американской крупчатки. Тымнэро поразило то, что тангитаны действовали четко, деловито — будто каждый день занимались этой работой.

Раздался залп, и люди с мешками на головах упали как подкошенные.

Оглянувшись на Ново-Мариинск, Струков торопливо перекрестился, подбежал к трупам, ткнул их носком торбаса, сказал:

— Нарту сюда! Живо!

Так вот для чего им нужна нарта Тымнэро!

Тымнэро покорно подтащил нарту. Двое милиционеров погрузили на нее тела расстрелянных, и Струков снова заторопил:

— Скорее, скорее тащите...

Обратно шли тем же путем: берегом Казачки, затем у здания уездного правления спустились к лиману. Тымнэро почудилось, что в доме начальника колыхнулась белая занавеска.

Кое-где уже зажглись желтые огоньки керосиновых ламп. Светилось и окошко Милюнэ. Со стороны яранг таякнула чья-то собака. Струков вполголоса выругался.

Тымнэро тащил нарты, спотыкался, падал. Порой ему казалось, что он превратился в собаку и бредет на четвереньках, запряженный в нарту смерти.

Доехали до вырытой могилы.

Легкий снежок запорошил коричневую мерзлоту, и белое покрывало могилы выделялось при свете наступающего бледного дня.

Тела опустили в яму.

— Быстрее! Быстрее! — опять торопил Струков. Он то хватался за лопату, то принимался ногами сталкивать землю в могилу.

Могилу засыпали вровень с землей, не сделав над ней и небольшого холмика.

Снег шел все сильнее, и это заметно радовало Струкова. Вскоре на том месте, где были зарыты расстрелянные шахтеры, ничего нельзя было различить.

— Все,— сказал Струков и распустил милиционеров по домам.

Сам он пошел вместе с Парфентьевым в ярангу Тымнэро. Устало опустился на китовый позвонок. Пошарив в карманах шинели, достал бутылку, вылил часть содержимого в гнутый жестяной ковшик, подставленный Тымнэро.

Тымнэро выпил и сразу почувствовал, как обжигающая жидкость разливается по всему телу, постепенно снимая оцепенение. Выпил и Анемподист Парфентьев, как-то глухо крикнув. Струков налил себе, предварительно прополоскав ковшик все той же дурной веселящей водой.

«Брезгует»,— безразлично подумал Тымнэро.

Струков выпил залпом, отер рукавом шинели усы.

— Скажи ему,— обратился он к Анемподисту Парфентьеву,— чтоб молчал дикарь, чтоб язык проглотил! Будете болтать — пеняйте на себя!

Струков встал и, низко пригнувшись, вышел из яранги, оставив на земляном полу недопитую бутылку.

— Ну что, мольч, допьем? — предложил Парфентьев.

Тымнэро молча кивнул.

«Может, все это почудилось»,— подумал он, пьянея.

* * *

Однако весть о расстреле шахтеров на следующий же день распространилась по всему Ново-Мариинску.

Милюнэ, по привычке, идя на новую службу, в уездное правление, зашла к Треневым.

— Верно, что твой родственник Тымнэро участвовал в расстреле шахтеров? — ошарашила ее Агриппина Зиновьевна.

Милюнэ еще ничего не знала и, удивившись вопросу, ответила:

— Не может быть! Тымнэро не может!

— А вдруг заставили,— предположил Иван Архипыч.

В уездном правлении царило какое-то мрачное уныние. На крыльце топтался в ожидании начальства новый радист Учватов, с кожаным портфелем в руках.

Милюнэ растопила печи, подмела полы, принялась вытирать пыль. Пришли Громов со Струковым. Следом в комнату прошмыгнул радист. Покосившись на стол, где уже стояла бутылка водки и стаканы, достал из портфеля радиogramмы.

Громов торопливо просмотрел их, отшвырнул в сторону.

— Где сообщение о падении Советской Республики? Где сообщение о победах Колчака?

— Таковых не поступало, ваше благородие, — поспешил заверить Учватов. — Ваше бла...

— Ладно, — махнул рукой Громов. — Пиши, — он продиктовал радисту телеграмму о расстреле шахтеров. — Зашифруй и отправь в два адреса — во Владивосток и Петропавловск. А пока на, выпей, — он протянул Учватову наполненный стакан.

— Извините, ваше благородие, с утра как-то... — замялся Учватов.

— Уже вечер, балда, — засмеялся Громов. — Ты же сам говорил — поясное время. Сейчас в Петрограде поздний вечер. Так что пей смело!

Учватов выпил и тут же, сославшись на неотложные дела, ушел на радиостанцию.

Милюнэ несколько раз заходила в кабинет: оба тангитанских начальника играли в шашки, то и дело прикладываясь к бутылке. Они о чем-то тихо переговаривались. Кулиновский успел ей рассказать, что слухи о расстреле шахтеров — чистая правда: милиционеры сами говорили об этом.

А Милюнэ никак не могла понять: вот эти два человека, волею которых в прошедшую ночь были убиты двое, спокойно, как ни в чем не бывало, играли в шашки!

* * *

Сергей Евстафьевич Безруков вел заседание подпольного революционного комитета.

— Товарищи! Тот, кто сегодня нас призывает к немедленному выступлению, не отдает себе отчета в сложности обстановки. Прикинем наши силы. Формирование боевых групп идет медленно. Тут есть свои трудности — мелкобуржуазная прослойка в Ново-Мариинске велика. Здесь что ни тангитан, если пользоваться терминологи-

ей Машеньки-Милюнэ, то коммерсант или владелец какого-нибудь, пусть даже крохотного дела. В таких условиях выявить сочувствующих Советам чрезвычайно трудно. Местное население забито до крайности, требуется долгая и кропотливая разъяснительная работа. Ведь именно они должны стать главной революционной силой.

— С другой стороны,—вступил в разговор Дмитрий Мартынович,—я знаю по опыту: наша подпольная группа по мере роста будет подвергаться все большей опасности. Разведка у Громова, прямо скажу, никудышная, но обольщаться не следует. Рано или поздно он все почует.

— И что же ты предлагаешь? — спросил Безруков.

— Честно говоря, конкретных предложений у меня пока нет,—ответил Хваан и как-то виновато улыбнулся.

— Насчет местного населения,—заговорил Михаил Куркутский,—вы, может быть, и правы. Но тут надо учитывать вот что: в Ново-Мариинске живет самая забитая и нищая часть туземцев. Сюда пришли те, кто потерял не только оленей, но и большую часть своей гордости. Я слышал, как сами чукчи отзывались о своих ново-мариинских родичах с презрением, ставя их рядом с собаками, кормящимися на помойках... Это одно. С другой стороны, есть некоторое противоречие между чуванцами и чукчами. Царское правительство всячески разжигало наши распри...

— Да, это, конечно, тоже осложняет работу,—согласился Безруков.—Но ведь нашим товарищам в центре не легче. Значит, надо искать выход. Когда должен наступить благоприятный момент для захвата власти? Во всяком случае не раньше того, как мы выясним положение в Угольных копях и создадим там боевую группу. Без поддержки нашего маленького чукотского пролетариата выступать мы не имеем права.

— Когда замерзает Анадырский лиман? — спросил Хваан.

— В начале декабря лиман должен стать твердо,—не очень уверенно ответил Куркутский.—Но можно через месяц попробовать проехать выше — там лед становится раньше. Здесь приливная волна сильная, рушит ледяной покров.

— Тебе поручается проследить за этим,— сказал Безруков. — А теперь послушаем руководителей боевых групп.

Первым выступил Николай Кулиновский. Сейчас в нем трудно было узнать услужливого, на вид даже глуповатого, сторожа и истопника уездного правления. Он говорил горячо, деловито. Потом слово взяли моторист уездного правления Игнат Фесенко, радист Василий Титов, рабочие торговых фирм — Василий Бучек и Семен Гринчук.

Сидящий у окна Александр Булатов резко повернулся:

— Маша идет!

— Спокойно! — сказал Безруков. — Выходите по одному. Без суеты...

Милюнэ буквально влетела в комнату:

— Громов и Струков... — она перевела дыхание, — идут сюда. Сама слышала, вот этими ушами, — она отвела густые черные косы и показала свои уши.

Безруков, не успевший еще уйти, расхохотался:

— Ну раз этими самыми ушами, то дело серьезное.

Булатов взял за руку Милюнэ и почти силой увел ее берегом лимана домой.

Милюнэ едва поспевала за Булатом.

— А что с ними будет? А? Я боюсь за них...

Булатов затащил Милюнэ в комнату, запер дверь и, едва переведя дыхание, спросил:

— Что случилось? Почему они собрались идти к ним? Кто-нибудь приходил, говорил что-то?

— О, Булат, ты столько спросил, мне трудно сразу ответить... Я услышала, — принялась сбивчиво рассказывать Милюнэ, — говорит Струков Громову: скучно нам тут сидеть, водку лакать да в шашки играть... Пойдем-ка в гости... Сначала собрались к Треневу. Но Громов сказал: нельзя, он ревнивый... А ты, Булат, тоже ревнивый?

— Говори, говори!

— Перебрали всех, потом вдруг Струков говорит: давай-ка к Безрукову сходим. Чего-то ему не нравится... Странные, говорит, люди: не пьют и в шашки не играют. В другую игру — забыла... Ну вот и собрались, а я на всякий случай решила предупредить.

— Ты молодец, Машенька! — со вздохом облегчения произнес Булатов и поцеловал Милюню.

— Как хорошо! — прошептала она, — Не зря я бежала.

Уездное начальство и в самом деле пожаловало в домик Безрукова.

— Видишь, — кивнув на шахматную доску, сказал Громов, — вон как интеллигенция развлекается. А ты все — шашки да шашки. В шахматы надо играть, господин Струков!

— Слушаюсь, ваше благородие! Будем стараться!

— Садитесь, — радушно пригласил гостей Безруков, — сейчас чаек поставим...

— Вот, чай пьют люди...

Дмитрий Мартынович выставил на стол нехитрое анадырское угощение — крепкий чай, вареную юколу, американское сливочное масло в жестяной баночке и колотый сахар, который в Ново-Мариинске в отличие от тростникового называли русским.

Громов, прихлебывая чай, пытливо вглядывался в хозяев. Те, в свою очередь, стараясь не выказать своего беспокойства, напряженно думали над тем, что могло привести к ним столь неожиданных гостей. Может, их выдали? Выследили? А может, просто преступная неосторожность? Да, мало они знают своих людей...

— Послушайте, господа, — вкрадчиво заговорил Громов, — признавайтесь... Чего нам прятаться друг от друга? Поверьте, кого я только не видал...

Дмитрий Мартынович вздрогнул, беспокойно заерзал на месте, но Безруков остановил его, метнув предостерегающий взгляд.

— В Сибири таких много, — доверительно продолжал Громов. — Хлыстовцы, трясуны, скопцы, старове-ры, молокане... Молокане — те на Кавказе обретались... И еще черт знает кто! Как ваша секта называется?

Безруков почувствовал, как отхлынула кровь. Внутренне он ликовал, но напряжение на лице оставалось, и он, криво улыбувшись, сказал:

— С чего это вы взяли, ваше благородие, что мы сектанты?

— Как с чего? — вступил в беседу Струков, — Я к

вам давно присматриваюсь. Странную жизнь ведете, господа! В православную церковь не ходите — раз; не пьете и в карты не играете — два; с бабами тоже не балуетесь... А? Народ подозрительный у себя собираете, по ярангам бродите. Да тут дурак догадается, что это секта. Имейте в виду: здешний дикарь своего бога ни на что не променяет. Матрос ваш, Волтер, рассказывают, хотел было молеальный дом учинить... Да ни хрена у него не вышло... Зря стараетесь...

— Вы зря это, господа, на нас такой поклев возводите, — усмехнувшись и незаметно глубоко вздохнув, сказал Безруков. — Люди мы скромные, степенные, и главная наша забота — деньжат скопить да открыть собственное дело. И приехали мы сюда в надежде, что места тут под солнцем поболее...

— Места тут много, это верно, — утробно засмеялся Струков, — а вот насчет солнца... того... туговато...

— Да уж, бог обидел эту землю, — сказал Громов. — Не думал, что окажусь в таком аду. Зачем я только согласился поехать сюда...

— Но ведь люди-то здесь живут, — осторожно заметил Безруков. — Уже много столетий.

— Какие люди! — брезгливо поморщился Громов. — Дикарь разве человек? Ему везде хорошо!

— Но ведь не только дикари здесь, — возразил Безруков. — Вон сколько торговцев, прямо один на другом в Ново-Марининске, шахтеры да рыбаки.

— С ними тоже каши не сваришь. Одни напуганы, носнаружу не высовывают, другие в разврате погрязли. Сожительствуют с туземками, вон как ваш дружок, который на радио служит в охране... Ну что за женитьба, прости господи? Родятся детишки, кто они будут?

— Но ведь вы сами подтвердили брак, — напомнил Безруков.

— Ну и что? У нас военная диктатура. Придет гражданская власть, кто удостоверит?

— Главное — они любят друг друга, — заметил Хваан.

— А вы что, верите в эту любовь между белым человеком и туземкой? — удивился Громов.

— Почему же нет? — пожал плечами Хваан.

— Вы же видели Машу... Разве ее нельзя полюбить?..

— Бабонька-то она вкусная. Что верно, то верно,— оживился Струков.— Да все ж дикарка...

Гости допили чай.

На прощание Струков сказал:

— Что-то надо делать, господа...

— Что вы имеете в виду? — насторожился Безруков.

— Подохнем мы тут от скуки... или от стужи околеем,— мрачно сказал Струков.

Глава третья

Первоначально свержение колчаковской власти в Анадыре группа Мандрикова наметала произвести в январе — феврале 1920 года, одновременно с массовыми выступлениями рабочих против власти Колчака в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-на-Камчатке. Деятельность группы Мандрикова стала серьезно тревожить колчаковцев.

Жихарев Н. А. В борьбе за Советы на Чукотке. Магадан, 1958, с. 54

Милюнэ открыла дверцу печи и посмотрела на скачущий поверх угля синий огонь. Через минуту-две пламя станет рыжим и загудит в оббитой железом печке. Печка еще холодная, хотя вчера она была раскалена: дули сильные ветры с верховьев — холодные, снежные. Они не давали лиману замерзнуть, и между берегами поверх воды плавала шуга — битый лед и мокрая снежная каша. Если это продлится еще недели две — кончится уголь, и тогда...

Учватов принес очередные радиogramмы. Он вошел в уездное управление весь в снегу и долго отряхивался в коридоре, сметая с себя налипший снег. После него на дощатом полу остались лужи, и Милюнэ аккуратно вытерла их старой мешковиной.

За работу ей положили жалованье, показавшееся Милюнэ необыкновенно щедрым. И как ни разуверял ее Булатов, она долго не могла прийти в себя после первой полочки.

За стеной голоса становились громче.

Учватов вышел из кабинета. Струков выглянул в коридор и крикнул склонившейся у печи Милюнэ:

— Никого не пускать!

Телеграмма была странная и непонятная. В первой ее части выражалось неудовольствие по поводу расстрела двух шахтеров: «Беспочвенные репрессии могут только ожесточить и восстановить против власти население. Присутствие мирового судьи Суздалева должно использоваться в полной мере для создания впечатления законности... Агентурным сведениям известный большевистский агитатор Михаил Сергеевич Мандриков возможно находится на Чукотке. Вместе с другим известным большевиком Всеволодом Сибирцевым Михаил Мандриков совершил дерзкий побег из Владивостокской тюрьмы. Предлагается начать поиск вышепоименованных преступников. По поимке немедленно арестовать и предать военному суду. Управляющий Камчатской областью Червлянский».

— Лично я убежден, что Мандрикова в Ново-Мариинске нет! — сказал Струков. — Ну, посудите — я тут перебрал всех — от кладбища до радиостанции — никто не подходит...

— А этот парень, который сожительствует с туземкой?

— Смоленский он, мой земляк, — ответил Струков. — Пытал я его...

— А моряк? Паять-чинить?

— Норвежец чистой воды, — ответил Струков.

— Может, он затесался в твою милицейскую команду? — Громов пытливо посмотрел в глаза начальника милиции.

— Мандриков-то? Да вы что, ваше благородие? Я сам подбирал свою команду...

Громов помолчал, потом вдруг неожиданно рывкнул:

— А может, ты сам большевик? А?

Струков опешил:

— Ваше благородие...

— Ладно, — примиренчески произнес Громов. — Знаешь, чует мое сердце, здесь он, где-то среди нас сидит. Но кто? Иной раз мерещится там, где и подумать-то невозможно... Вот вы, господин Струков, никогда не задумывались над тем, почему большевики захватили власть в России?

— Как почему? — пожал плечами Струков. — Временный успех озлобленной черни, грабителей...

— Бросьте, господин Струков, — слабо махнул рукой Громов. — Значит, вы всерьез над этим не думали. А я вот думал... Каждую ночь думаю. Ведь что получается. Против большевистской власти поднялся весь мир. Корнилов, Врангель и, наконец, наш адмирал Колчак получают помощь со стороны таких могущественных держав, как Америка, Англия, Франция и Япония... Кажется, тут — слабенькое усилие — и власти большевиков конец! Ан нет! Держится. В чем тут дело?

Струков беспомощно развел руками.

— А дело в том, что война идет против народа, понимаете, господин Струков? Против русского народа, — подняв палец кверху, торжественно провозгласил Громов. — Вся хитрость в том, на чьей стороне народ. Если нам удастся перетянуть народ на свою сторону — наша будет власть, а нет — победы не ждите, господин Струков.

— Выходит, все, что мы делаем — зря?

— Почему зря? — встряхнулся Громов. — Мы верим в победу. Но крови будет много. Чтобы народ поверил в нас, в нашу силу, надо застрашать его, поставить обратно на колени... На колени перед богом и отечеством!

Громов стукнул кулаком по столу, звякнув стаканами и бутылкой.

— Ты присмотрись к здешним чуванцам и тем, кто называет себя русскими... Подозрительный народец. С одного боку вроде и впрямь русские, но с другого — чистые дикари. Вот за ними и надо доглядывать.

Милюнэ, склонясь у печи, напряженно вслушивалась в разговор, доносящийся из кабинета. Она старалась уловить каждое слово.

Выйдя в коридор, Струков невольно остановился, взглянул на нее. Хороша дикарка, черт побери! Он шагнул было к ней, но, вспомнив черные, словно литые, кулаки Булатова, прошел мимо.

Для начала он решил зайти к Анемподисту Парфентьеву, благообразному человеку, которого часто видел в церкви.

Еще в сенях Струков услышал пение:

Напишу я письмо не пером, не чернилом,

Напишу я письмо горячей слезой...

— Есть кто дома? — крикнул из сеней Струков, чтобы дать знать о своем приходе.

— Есть, почему нет? — дверь, обитая оленьими шкурами, отворилась, в сени выглянул сам хозяин. — Я тут дома, женка моя дома, детишки... Куда нам ходить, дома сидим.

Струков вошел в комнату. У окна стоял маленький столик, а остальную ее часть занимали полати и большая печка.

— Гляди, Матрена, кто к нам в гости пришел! — засуетился Анемподист Парфентьев. — Проходите, ваше благородие, садитесь.

В комнате было душно.

Струков снял шапку и перекрестился на образа.

Его удивила лампадка, горящая довольно ярким пламенем, без копоти.

— Где лампадное масло берете? — спросил он, кивнув на образа.

— У моря берем, у тюленя, — ответил, кланяясь в пояс, Анемподист. — Поставь-ка, Матрена, самовар, гостю с холоду чаю хочется.

— Стало быть, в лампаду тюлений жир заливаете? — продолжал пытаться Струков.

— Он самый, — кивал Анемподист. — В нашей церкви только такое сало и горит.

Только теперь Струков догадался, отчего это в Ново-мариинском храме воняло, как на китобойном судне.

Матрена, дородная, но шустрая баба, обмахнула тряпичей единственный в доме стул и подала почетному гостю.

— Садитесь, пожалуйста.

Детишки, мал мала меньше, гнездились на полатах и оттуда испуганно смотрели на неожиданного гостя, вполголоса обсуждая его шинель, погоны, длинную саблю, волочащуюся по полу, маленькое ружьецо в кожаном чехле, висевшее на поясе, из которого стреляют в людей...

Анемподист был насмерть перепуган неожиданным визитом Струкова. Он лихорадочно думал над тем, по какому такому случаю прибыл к нему большой милицейский начальник. Может; надумал куда на собаках поехать? Однако лучшая упряжка у Вани Куркутского или Тымнэро... После расстрела шахтеров с Угольных копей Анемподист потерял спокойствие. В Ново-Мариинске быстро узнали, кто из местных при этом присут-

ствовал, и теперь на Парфентьева подозрительно косились, старались избегать. Даже родич Ваня Куркутский и тот не заходит. А чем виноват Анемподист? Поглядеть бы на самого Ваню, если б к нему посреди ночи пришел Струков. Небось сам бы наперед всех побежал, как собака.

Заварили чай и поставили перед Струковым лучшую чашку из китайского фарфора.

— Где покупал? — спросил Струков, щелкнув погтем по тонкой стенке чашки.

— В лавке у Сооне-сан. Нравится?

— Больно тонка...

— Это вы верно извоили заметить, — ответил Анемподист.

Этот анадырец говорил по-русски лучше других и старался не употреблять словечек: молъч, доспел...

— Дело у меня к тебе, — сказал Струков и, понизив голос, добавил: — Секретное...

— Помилуйте! — простонал Анемподист. — Ослободите, ваше благородие... Женка у меня... детки малые...

— Ты чего? Еще не слыхал, а уже сопли распустил, туземная твоя морда! Перестань! — вскинулся Струков.

Но тут вдруг тихо завывли многочисленные ребятишки на полатах, мелко затряслась Матрена с горячим самоваром в руках.

— Отец родной! — размазывая по лицу слезу, голосил Анемподист. — Отпусти мою душу грешную на покаяние! Сил больше нет, да и детишек надо кормить... Ослобони, Христа ради!

— Тьфу! — свирепея, выкрикнул Струков. — Замолчишь ты?

Плач становился все сильнее, и Струков не выдержал, плюнул в сердцах и, нахлобучив шапку, кинулся вон из дома. Постояв на свежем воздухе, он немного пришел в себя. Черт знает что за народ такой! Он был уверен, что ему легко удастся уговорить Анемподиста Парфентьева стать осведомителем, а тот, сволочъ, слова вымолвить не дал. Завыл вместе со своим выводком, чуть до белого каления не довел!

На лимане уже кое-где стоял лед, но еще курились на морозном воздухе белым паром открытые полыньи.

Надо ехать в Угольные копи. Скорее всего, там прячется Мандриков.

— Говоришь, телеграмма? — спросил Безруков у Милюнэ.

Она кивнула и добавила:

— Они ее и читали и потом говорили.

— Вот бы ее взять... — призадумался Хваан.

— Ни в коем случае! — строго сказал Безруков. — Ах если бы ты была грамотная!

— А почему ее не научить, — сказал Хваан. — Девка она смышленная, да и учитель у нас есть. С дипломом. Миша Куркутский...

— Верно! — обрадовался Безруков. — Ну как, Маша, будешь учиться грамоте?

— А разве я смогу? — растерялась Милюнэ.

— Сможешь, сможешь, Машенька...

Но Булатов, к удивлению друзей, наотрез отказался от помощи Куркутского.

— Еще чего не хватало! Чужому мужику жену отдавать! Я сам буду ее учить! Пусть Куркутский покажет, как надо...

— Пусть Булат учит... Я стараться буду, — сказала свое слово Милюнэ.

— Ну, смотрите, — Безруков погрозил пальцем. — Задание серьезное, ответственное. Для дела нужно.

На радиостанции Булатов раздобыл чистый журнал, два карандаша и в один из вечеров приступил к обучению.

— Начнем с буквы «А», — торжественно объявил он жене. — Вот гляди, как она пишется.

— Таких «А», — оживленно заметила Милюнэ, — у Теневиля много.

— Разве у него русская грамота? — с удивлением спросил Булатов, слышавший от жены об изобретателе письменности.

— Они у него в яранге валяются, — сказала Милюнэ.

— Эти буквы?

— Они самые! На стене висят. Деревянные.

— Зачем же они там висят?

— Теневиля на них шкурки сушит, — объяснила Милюнэ. — Песцовые, заячьи, лисьи...

Она взяла карандаш и осторожно поставила в начертанной мужем букве вторую перекладинку.

— Только у некоторых распялок вот так...

Булатов наконец догадался, о чем идет речь, обрадовался:

— Тогда тебе легко будет запомнить эту букву. Выходит, она похожа на распялку. А произносится так — а-а-а!

Милюнэ смотрела, как Булатов тянул звук, и ей становилось смешно. Будто вдруг у него зуб заболел или живот.

Она вдруг встала и звонко поцеловала учителя.

— Ты что?

— Ты был похож на младенца, — улыбнувшись, сказала Милюнэ. — Когда он голоден и просит грудь.

— Ну тебя! — смущенно махнул рукой Булатов. — Давай заниматься. Ты запомнила букву «А»?

— Запомнила, — кивнула Милюнэ. — Похожа на распялку Теневиля, а глянешь на нее — надо стоять.

— Не стонать, — поморщился Булатов, — а произносить букву — а-а-а!

Булатов и Милюнэ сидели друг против друга, разделенные столом. Милюнэ послушно произносила: а-а-а! Потом сказала:

— Давай я лучше рядом с тобой сяду.

— Но так удобнее.

— А я хочу рядом, — упрямо повторила Милюнэ.

— Ну ладно, — вздохнул Булатов, — садись рядом.

Милюнэ уселась, прижавшись к Булатову бедром.

Она жарко и шумно дышала ему в ухо, смущая его, горяча кровь.

— Маша, — Булатов отодвинулся от нее, — давай перейдем к другой букве. Вот она — «Б. Бе». Видишь?

— На Сооне-сан похожа, — прошептала Милюнэ. — Животик спереди и большая шляпа. Только почему он спиной стоит?

— О господи, кто стоит?

— Сооне-сан.

— Так это не Сооне-сан, а буква — «Бе»!

— Пе.

— Не пе, а бе!

— Булат, дай твою руку.

Булатов машинально подал ей руку. Она расстегнула платье и положила ее на голый живот.

— Ты что? — отдернулся Булатов.

— Мне приятно, — сказала Милюнэ и снова взяла руку. — Показывай дальше свои буквы...

Но Булатов уже не мог вести урок.

Потом, лежа в постели, они разговаривали.

— Трудно мне будет тебя научить грамоте.

— Я буду очень стараться, — обещала Милюнэ.

— Как сегодня?

— Сегодня я очень тебя любила, — прошептала Милюнэ и поцеловала его.

— Возьмем власть, сразу откроем школу, — уверенно сказал Булатов. — И для детишек, и для взрослых. Мне ведь тоже надо учиться. Я сам всего три зимы в школу ходил...

— Скорее бы, — вздохнула Милюнэ. — Я тоже хочу увидеть, знаешь кого?

— Кого? — приподнялся на локте Булатов.

— Ленина, — тихо ответила Милюнэ. — Когда Безруков рассказывал, я будто бы видела его. Слышала его слова... Поедем в Петроград, Булат?

— Поедем. Закончим дело, поставим твердую пролетарскую власть и поедем.

— Я и хочу ехать и боюсь, — шептала Милюнэ, прижимаясь к мужу. — Это так далеко, до луны ближе...

— Нет, до луны дальше...

— Почему дальше? Ведь луну мы видим и даже различаем на ней охотника, который тащит нерпу, а Петрограда и Ленина не видим. Значит, куда ближе? Конечно, до луны. Только туда никак не допрыгнуть, потому что высоко. Но в сказках люди поднимались и до луны. На больших и сильных орлах взмывали к небесам и уже оттуда ступали на луну.

— Ну и как там? — усмехнулся Булатов.

— Обыкновенно, — ответила Милюнэ. — Только сама луна маленькая, чуть больше шаманского бубна.

— А вот теперь меня слушай, Маша... Все, что ты говоришь про луну, — это сказки, — сказал Булатов. — На самом же деле — луна спутник земли, даже, говорят, осколок нашего мира. Как ты думаешь, какая наша земля?

— Хорошая, — подумав, ответила Милюнэ.

— Это само собой. А какой она формы — круглая, или плоская, или еще какая? А?

— На этом берегу лимана плоская, а на другом — холмистая, а подальше — горы видны в хорошую погоду.

— Да не про то речь. — Булатов сел на кровати. — Вся наша земля — круглая! Понимаешь? Совсем круглая!

Милонэ зевнула.

— Об этом мне Иван Архипыч говорил, да я не поверила... Да и никто не поверит.

— Маша, она круглая... — с обидой в голосе повторил Булатов. — Хочешь, Безрукова спросим?

— Зачем спрашивать? Я знаю — он такой глупости не скажет, он умный...

— А я что же, неумный?

— Не обижайся, Булат. А то поссоримся... И не говори, что земля круглая...

— Да круглая же она!

— Ну хорошо, — снисходительно улыбнулась Милонэ. — Пусть круглая, раз тебе так хочется...

* * *

Безруков собрался ехать в Угольные копи.

Сидели в домике и ждали, когда подъедут Тымнэро и Ваня Куркутский.

— Вот скажите ей, Сергей Евстафьевич, что земля круглая, — обратился к Безрукову Булатов.

— Да, — сказал Сергей Евстафьевич, — действительно, как доказано наукой, — земля имеет форму шара.

Милонэ как-то странно, чуть ли не страдальчески посмотрела на Безрукова, потом на Булатова и молча кивнула в знак согласия. За стеной послышался собачий лай.

В комнату вошел Тымнэро, одетый уже по-зимнему. Он был аккуратно подпоясан, на поясе в ножнах висел нож, а в руках он держал хорошо сплетенный кэнчик.

— Садись сюда, — позвала его Милонэ, показывая на лавку у стола.

— Ничего, я здесь постою, — ответил Тымнэро. Ему было любопытно оказаться в тангитанском жилище. Не доводилось ему видеть изнутри жизнь этих людей. То, что рассказывала Милонэ, было не в счет, ибо, как

предполагал Тымнэро, она в силу своей женской натуры многое искажала и сообщала совсем не то, что было в действительности.

— Да ты не стесняйся, — с улыбкой произнесла Милюнэ. — Тут все свои.

«Это для тебя свои», — подумал Тымнэро, однако бочком приблизился к столу.

Милюнэ налила ему чаю, положила рядом большой кусок хлеба, намазанный маслом и еще, поверху, чем-то желтым, пахучим.

— Это мне? — шепотом спросил Тымнэро.

— Тебе, конечно, — ответила Милюнэ, которой, как видно, нравилась роль хозяйки.

Тымнэро отхлебнул чаю и осторожно куснул хлеб. До чего же вкусно! И — сладко. Наверно, сверху-то американская патока.

Хлебая чай, Тымнэро искоса поглядывал на собравшихся в домике людей. Однако никто особенно не обращал на него внимания. Может, Милюнэ и права, утверждая, что эти тангитаны совсем другой породы?

Наконец подъехал с нагруженной нартой и Ваня Куркутский. Упряжки двинулись берегом за вторую рыбалку Сооне, где лед наверняка был крепче. Поездка в Угольные копи была обставлена как перевозка продуктов из государственного склада в тамошнюю лавку. Оттуда они должны были доставить в мешках уголь.

Безруков сидел на нарте Тымнэро как-то странно, боком. Этот тангитан, по всему виду, впервые ехал на собаках. Он ерзал, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, — искал удобное положение. Под скалами Второй бухточки Тымнэро остановил упряжку и подстелил пассажиру шкуру белого медведя.

— Спасибо, друг, — обрадовался Безруков.

Друг... Надо же! Произнес так, будто Тымнэро и впрямь был друг этому тангитану.

Седок смотрел на широкую спину каюра, и беспокойные мысли одолевали его. Окажутся ли в Угольных копиях именно те люди, которые ему нужны? А вдруг они уехали? Как трудно без связи! И вообще условия подпольной работы на Чукотке оказались неизмеримо сложнее, чем в Приморье. Прежде всего отсутствие рабочей прослойки, незнание местного языка, отсутствие контакта с населением...

Ново-Мариинск остался позади. Кругом расстилась белая снежная пустыня. Снежный покров размыл границы между морским пространством и берегом. Низкое белесое небо казалось продолжением нартового пути. Собаки быстро, но монотонно перебирали лапами, и полозья чуть слышно шуршали по свежему снегу, еще не тронутому ни единым живым следом.

В этой белизне отчетливы были мысли и воспоминания.

Давно ли все это было? Всего несколько лет, а сколько событий, встреч, какие расстояния!

Ремесленное училище в родных Горах, потом знаменитый Путиловский завод в Петербурге. Знакомство с революционно настроенными рабочими, первый марксистский кружок... А далее... флотская служба, крейсер «Олег», на котором служил механиком... И вот — Дальний Восток... Подпольная группа марксистов во главе с Костей Сухановым... В августе 1916 года он по чистой случайности избежал ареста — из-за усложненной конспирации опоздал на сходку.

Весть о Февральской революции свежим ветром пронеслась по Дальнему Востоку. Ожесточилась политическая борьба между различными партиями и группировками. Трудно было разобраться во всем этом... Но опять повезло. Избрали членом Учредительного собрания и отправили в Петроград. Вот здесь он и встретился со своими старыми друзьями по Путиловскому заводу. Многое стало ясно. Учредительное собрание просуществовало всего один день, и те, кто был настроен действительно революционно, стали активными участниками Третьего Всероссийского съезда Советов. Речь Ленина, словно яркий прожектор, осветила собственные мысли. На Дальний Восток он вернулся уже убежденным коммунистом.

В середине лета 1918 года во Владивостоке состоялся Седьмой съезд уполномоченных Союза Приамурских кооперативов. Он был директором-распорядителем Приамурского товарищества кооперативов и должен был выступить с отчетом о съезде Советов, о речи Ленина. На следующий день его вместе с другими большевиками арестовали: произошел белочешский переворот. Вместе с ним в тюрьме оказались виднейшие большевики дальневосточники — Губельман, Суханов, Сибирцев...

Ни на один день в тяжелейших условиях концентрационного лагеря, охраняемого белочехами и японцами, не прекращалась партийная учеба.

Помнится, в первую годовщину Октябрьской революции Костя Суханов устроил митинг. Кажется, и сейчас, в этой белой тишине, слышен его глуховатый голос:

«Я поздравляю вас, товарищи, с первой годовщиной Великого Октября. Вся наша страна празднует в этот день дату победы народа над властью помещиков и капиталистов! И хотя Советская родина охвачена огнем гражданской войны, войны с интервентами, перед народом открылись светлые перспективы будущего строительства нового, социалистического государства. Революция дала рабочим право быть хозяевами фабрик и заводов, а крестьянам отдала земли, и каждый сознательный гражданин отныне станет трудиться на благо своей Родины».

Это была последняя речь Кости Суханова, пламенного большевика, мечтателя. Через несколько дней, восемнадцатого ноября, по дороге из концлагеря в тюрьму Костя Суханов и его несколько товарищей были застрелены, якобы при «попытке к бегству».

Оставшиеся в лагере готовились к побегу.

И вот снова Владивосток. Вернее, его чердаки и подвалы. Но оставаться в городе было опасно — они слишком хорошо известны колчаковцам и агентурной разведке интервентов.

Решено было отправить небольшую боевую группу на Чукотку.

Перед отъездом встретились с Всеволодом Сибирцевым.

«Чукотка, — сказал Сибирцев, — на западе граничит с Якутией, а на востоке с Америкой. В Ново-Мариинске мощная радиостанция. На самый крайний случай можно через Якутск организовать связь с Советской Россией, а через радио Ново-Мариинска передавать обращения к мировому пролетариату. Словом, действуйте по обстановке. Задачи революции остаются прежними: установление Советской власти повсеместно, на всей территории бывшей Российской империи...»

Чукотка... Вот она, покрытая нескончаемыми снегами, загадочная, непонятная...

Каюр о чем-то вполголоса разговаривал с собаками, и те, к удивлению Безрукова, понимали его.

Нарты двигались по льду медленно, почти на ощупь.

Куркутский часто притормаживал упряжку, шел вперед и палкой с острым наконечником пробовал крепость льда.

Наступил день, приоткрывший дальние горы, освещенные низким, будто украдкой выглянувшим солнцем.

К вечеру они прибыли на шахту. Сгрузили товар и пошли греться в небольшую конторку, где от железной печи, сделанной из бочки, полыхало нестерпимым жаром.

Пока каюры пили чай, Безруков знакомился с небольшой лавкой, скорее кладовкой, где рабочие получали нужные им товары.

Когда в комнатухе остались втроем — Безруков и двое шахтеров, один из них вдруг широко улыбнулся, скинул огромную грязную рукавицу и крепко пожал руку:

— Ну вот, наконец и свиделись! Здравствуйте! Ждали вас! Ну, как там в Ново-Мариинске?

— Сложно, — уклончиво ответил Безруков.

Он говорил внешне уверенно, убежденно. На самом же деле на душе было тревожно, словно перед пургой. Он всматривался в лица своих товарищей, будущих соратников, с сомнением думал: не малы ли силы, не будет ли это напрасным кровопролитием? Может, лучше дожидаться прихода главных, регулярных частей Красной Армии, хорошо обученных, закаленных? Но, с другой стороны, разве ждал Ленин прихода откуда-то со стороны особого революционного войска? Он это войско создавал на месте, из тех же рабочих и солдат, которые присягали царю. А ведь тогда, в октябре семнадцатого года, еще не было Советской России. Судя по сообщениям, по крохам просачивающимся в Ново-Мариинск, Красная Армия уверенно движется на Дальний Восток. Повсеместно ей помогают партизаны. А ему что — сидеть здесь сложа руки и ждать? Нет, так дело не пойдет...

На обратном пути в Ново-Мариинск Безруков ехал на нарте Куркутского и мысленно подсчитывал соотношение сил. Если не принимать во внимание милицейского отряда Громова, то в общем-то на стороне колча-

ковцев остаются немногие. Даже торговцы и те начинают поговаривать, что при старом комитете было куда вольготнее. Дело в том, что Громов установил невесть откуда взявшийся непомерно высокий налог, якобы на нужды уездного правления, содержания милицейского отряда и канцелярии. Причем брал налог он в твердой иностранной валюте или же в золотых монетах. Подозревали, что налоговые поступления оседают отнюдь не в сейфе канцелярии, но говорить об этом не говорили — помалкивали.

Японец Сооне, который отказался было платить налог, ссылаясь на иностранное подданство, был подвергнут превентивному аресту и после суток, проведенных в тюрьме, вынужден был уплатить деньги. Он упорно торговался, предлагая китайские юани и японские иены. Но Громов был тверд — нужны доллары или царские десятки. В противном случае — пригрозил Громов — обыск и конфискация имущества. Сооне-сан, напугавшись, тут же внес необходимую сумму, причем вручил ее с великими церемониями, улыбками и поклонами, будто это доставляло ему удовольствие.

Пересекли лиман в глубине, в верхней его части, где лед был надежен. Собаки бежали дружно, быстро перебирая лапами. Глядя на их бег, Безруков мысленно улыбнулся: думал ли он, что ему доведется ехать на собачьей упряжке? Да, великая вещь — революция! Она распространяется по всему миру, как ураган. И если не сам Безруков, то кто-то из его товарищей, может, совсем уже скоро будет ездить на индийских слонах... Да, там будет полегче. Не так холодно и пустынно. Все-таки тропическая растительность, всякие там кокосы и манго... Может, попроситься туда, когда здесь, на Чукотке, все будет налажено?

Безруков облизал усы: на них быстро нарастал лед, неприятно оттягивая верхнюю губу...

Да, в Индии такая теплынь, хоть голый ходи... Интересно, каково на слоне ездить? На узкой нарте сидеть несподручно. Так и ерзаешь, ищешь удобное место. Вроде бы нашел, а через пять минут снова ищешь, как бы поудобнее устроиться. Даже лоскут медвежьей шкуры, подложенный под себя, нисколько не помогает — так, утешение для глаз, но не для седалища. А вот на широкой слоновой спине... дело другое... Видел

Безруков это чудное животное в Петроградском зоопарке. Слон был грустен и лениво прядал большими серыми, будто мешки из-под сахара, ушами. Вот только глазки больно малы у слона, и в них — никакого смысла. Не то что у собак. Однако спина у слона, должно быть, теплая, как печка. Сидишь, едешь, словно сказочный Емеля на русской печке: сверху солнышко греет, а под тобой слон. У такой громадины и температура должна быть соответствующая. Вот благодать! Нет, надо попроситься в Индию. Хотя бы для справедливости: тех, кто делал революцию в холодных местах, направлять потом в теплые страны. Для равновесия, так сказать...

Чем больше Безруков думал об Индии, тем холоднее ему становилось, и когда он заговорил, то едва разжал стянутые морозом губы:

— Слушай, Куркутский, ты про Индию что-нибудь знаешь?

— А кто он? — живо отозвался каюр.

— Страна такая.

— Китай, что ли? Али Япония?

— Какой Китай, какая Япония? Индия. На слонах там ездят.

— По сколько запрягают? — с интересом спросил Куркутский.

— Не запрягают, а верхом садятся на них.

— У нас ламуты тоже верхом на оленях ездят, ди-копеление...

— А про слона слышал что-нибудь? — гнул свое Безруков.

— Слышал, — протянул каюр, — животное, говорят, огромная, как морж.

— Так вот в Индии на них верхом ездят. А он теплый, этот слон, чисто печка, изнутри греет.

— Взопреешь, моляч, — философски заметил Куркутский. — Особливо если в двойной кухлянке да в меховых штанах. На нарточке лучше. Холодочек вокруг тебя, а застыл — встал, пробежался... и снова тепло... Куда тебе слон!

Безруков понял, что ему не соблазнить жителя холодного края индийской жарой, и умолк, с трудом сомкнув опухшие от мороза губы.

Вечная мерзлота... От кого же он это слышал? Да

уж точнее и не скажешь. В поисках удобного места на карте Безруков повернулся лицом назад и смотрел теперь на едущего следом Тымнэро. Разве не пребывает душа этого чукчи в той же вечной мерзлоте, как и вся окружающая природа. О чем он думает? Что у него на душе? Как они воспримут новую власть, власть, которая должна принести им истинную человеческую жизнь. Истинную жизнь. Кто-то сказал, что сами чукчи себя чукчами не называют, а как это...

— Куркутский, как чукчи сами себя называют? — спросил он каюра.

— Грех сказать, — охотно отозвался тот, — народ-то сам дикоплеший, а звание себе взяли — луораветланы.

— А что это значит?

— Истинные, доподлинные люди. А остальные — мольч, мусор, не настоящие. Разве так можно рассуждать? Добро бы истинные жили по-людски, а то ведь дикоплешие...

— Слушай, Куркутский, я тебя прошу, при мне это слово — дикоплешие — не говори. Нехорошо это. Чем мы с тобой лучше чукчи?

— Так я к ним со всей душой и уважением! — обиделся Куркутский. — Только вот что скажу, господин Безруков, больно несправедливо к ним относитесь вы, тангитаны. Народ доверчивый, как ребенок, каждый готов помочь, разделить последний кусок, так мало вам того деленного куска, вы еще у него из глотки вынимаете. Разве это справедливо? Вот едешь на собаках по тундре. Замерз, чисто твой слон в Индии... Видишь впереди дымок — стойбище, значит. Приехал, а тебя встренут, как лучшего друга, будто только и делали всю жизнь, что тебя ждали. Починят твою одежду, накормят, лучшую постель дадут... А ведь не видели тебя никогда, спервоначалу узрели... А попробуй тому же Тымнэро подъехать на собаках к тангитанскому дому да постучаться, чтобы, мольч, впустили погреться?.. Да его так шуганут... Да еще палкой по спине огреют, чтобы не совался в чужое жилище... Вон как, господин Безруков.... Может, потому они себя истинными людьми и называют?

— Может... — задумчиво проговорил Безруков. И погрузился в свои мысли.

Да, работы тут после взятия власти — непочатый

край. Школы надо открыть, обучение наладить... Люди способные к этому, вон Булат хвастался, Милюнэ уже почти всю азбуку выучила. Медицину наладить: больно много кашляющих, видно, чахотка свирепствует. Сказывали еще, что чукча запросто мрет от детской кори. Да и с жильем надо обмозговать дело. Безруков вспомнил ярангу Тымнэро. У иной собаки конура лучше, чем эта яранга. Обучить людей, в кооперативы объединить, чтобы сообща работали, чтоб справедливый дележ был. Рыбалки передать тем кооперативам. И поднять людей из этой вечной мерзлоты к свету, к теплу настоящей жизни. Надо бы съездить в тундру, на дальнее побережье, но рановато: главный враг здесь, и пока он не будет уничтожен, надо оставаться в Ново-Мариинске.

Интересно, какая жизнь здесь будет лет этак через пятьдесят? Может, дворцы построят, а может, нет—срубят хорошие добротные избы, благо есть чем топить,—угля много. Тымнэро переселится в домик, а его жена будет в ситцевом платье ходить... Нет, холодновато в ситце, в шерстяном каком-нибудь платье, а то и в длинной юбке, какие владивостокские модницы носят... Но главное—человек будет другой. Говорят, тут золото есть под мерзлотой. Построят рудники, большие машины придут сюда, народ прихлынет со всей Республики... Да, делов тут будет. Куда там Индия!

Подъехали к домику. Хваан встретил их на воле, пытливо взглянул в глаза товарищу.

Безруков загадочно улыбнулся:

— Рано нам в Индию собираться!

* * *

— Вихри враждебные воют над нами...

— Не воют, а веют, — поправил Булатов.

— А что такое — веют?

Булатов задумался. Сам не шибко грамотный, он не совсем улавливал разницу. Почему действительно — веют? Веют зерно на току, это понятно, а вихри... как это их веют?..

— Так надо, — твердо сказал он. — Песня революционная, и каждое слово проверено и поставлено для дела.

Милюнэ понимающе кивнула.

Они вполголоса еще раз спели первый куплет:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы неизвестные ждут...

— А что такое — роковой?

— Ну что ты все выпрашиваешь! — рассердился Булатов. — Сама должна понимать — песня-то революционная, а что в революционном движении главное? Что Безруков говорил — конспирация! Тайна. Чтоб враг заранее не распознал намерения пролетариата...

— А мне нравится это слово — пролетариат, — тихо сказала Милюнэ.

Булатов вопросительно посмотрел на свою подругу.

— Я вот кем была? — продолжала Милюнэ. — Сначала ТрENEвы просто кричали мне — эй! А сами друг другу говорили — господин, госпожа, а то и мадам... А мне — эй! Даже когда тангитанское имя дали — Маша, все равно «эй» говорили... Будто собаку окликали... А это хорошо — пролетариат. Пролетарий — Милюнэ. Знаешь, когда захочешь меня нежно-нежно называть, говори мне — пролетарий. Пролетарий Маша... Хорошо?

Булатов почесал затылок. Милюнэ частенько своими вопросами ставила его в тупик. Сколько жажды знания, да и способности немалые. Она уже бойко складывала слова и немного читала.

— Есть такой лозунг, — сказал Булатов, поглаживая плечо Милюнэ, — его выдвинул вождь рабочего класса — Карл Маркс: пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Милюнэ тихо вскрикнула и широко раскрытыми глазами уставилась на Булатова:

— Так и сказал — пролетарии всех стран, соединяйтесь? Ай, как хорошо сказал! Будто про нас с тобой! Призвал нас друг к другу! Мы и соединились... Помнишь, тогда, в тундре, на мху?

— Да не в этом смысле-то говорил Карл Маркс, — усмехнулся Булатов. — Смысл этого призыва в том, чтобы пролетарии всех стран, всего мира объединились для борьбы против богатых, против тех, кто сосет кровь рабочего класса. Поняла?

Милюнэ была явно огорчена тем, что лозунг, оказывается, надо понимать совсем не так, как она думала. Жалобно посмотрев на мужа, она сказала:

— А ты все равно зови меня пролетарий... Ладно?

— Ладно, — согласился Булатов, не в силах устоять перед этим умоляющим взглядом, перед этой беззащитной нежностью. Он обнял жену, крепко прижал к себе и услышал, как она ласково зашептала: «Пролетарии, соединяйтесь, пролетарии, соединяйтесь...»

По вечерам к Булатовым приходили Безруков и Хваан. Считалось, что они столовались у Милюнэ. Ничего удивительного в этом не было — ведь она, служа у Трневых, научилась хорошо готовить.

В этот вечер оба они были чем-то сильно озабочены. Говорили мало. И только за чаем Безруков как бы проходя спросил:

— Ну как, Машенька, твои успехи в грамоте?

— Уже слога окладывает, — с гордостью за жену ответил Булатов. — Вот тут тетрадка. Она списала у меня целую страницу со старого номера «Нивы». Страсть как любит писать!

— Люблю, — слегка покраснела Милюнэ. — Будто вышиваю по оленьей шкуре что-то красивое... Слова... Наверное, самое красивое, что есть у человека, — это слова. Вот мы учили песню про революцию.

— Варшавянку, — пояснил Булатов. — Тихонько, никто не слышал...

— Пролетарии... Какое хорошее слово! Лучше, чем господин, мадам, госпожа...

— А есть еще слово — товарищ, — подсказал Хваан. — Так обращаются друг к другу товарищи по революционной борьбе.

Милюнэ задумалась, потом решительно заявила:

— А мне больше нравится — «пролетарий».

Она помолчала и тихо добавила, потупившись:

— Как мы с Булатом...

— Ты смотри! — удивленно произнес Безруков. — Ты, Булат, оказывается, зря время не теряешь. Молодец, молодец! А ты, значит, любишь писать, Машенька?

— Очень люблю! Так бы сидела целый день и писала!

— А что, вот выучишься как следует грамоте, глядишь — и писателем станешь, — заметил Хваан.

— А это что? — нахмурившись, спросила Милюнэ.

— Человеком, который пишет книги, — пояснил Хваан. — Есть такие умные люди.

— Так сколько надо знать, чтобы написать книгу! Умной надо быть...

— А ты разве глупая? — возразил Безруков. — Гляди как быстро выучилась!

— Учитель у меня хороший, — с гордостью произнесла Милюнэ. — Хорошо меня учил. Рядом. Когда он рядом, я все понимаю... Как пролетарии, которые соединяются...

— Машенька! — укоризненно заметил Булатов. — Как тебе не стыдно?

— А что тут стыдного? — пожала плечами Милюнэ. — Они же товарищи по борьбе...

— Ну, научил на свою голову! — пробормотал Булатов.

— Ты, Булат, своей женой гордиться должен. Смотри, как она политически выросла, — серьезно сказал Безруков. — У нас не так много людей, которые могут оказать реальную помощь нашему общему делу. Приближаются решающие дни.

— Так она не все верно понимает, — смутился Булатов, виновато глядя на Милюнэ.

— Все как надо понимает! — засмеялся Безруков.

Пока Милюнэ мыла посуду, мужчины вполголоса разговаривали между собой.

— Пришли какие-то особо секретные телеграммы на имя Громова, — говорил Хваан. — Учватов что-то всполошился. Когда принимал, один сидел, даже охрану за дверь выставил.

— Из канцелярии такой слух пошел, будто предупреждение получено из Петропавловска о существовании заговора в Ново-Мариинске. Даже сообщили имена возможных участников. Но это только предположение. Пьяный Струков проговорился.

— Громов распорядился усилить охрану канцелярии, да и к своему дому приставил милиционера.

— Надо... да ведь в сейф-то не влезешь...

— Струков кругом шныряет. По домам ходит. Должно быть, заговорщиков ищет.

— Надо узнать содержание телеграмм, — сказал Безруков.

По свежему льду Тымнэро пошел к Алюмке.

Голые, унылые, покрытые снегом крутые берега острова приближались, и Тымнэро, искося поглядывая на них, ощущал в глубине живота холодок страха. Поравнявшись с островом, он вынул из тюленьего мешочка мелко накрошенное мясо и кинул в сторону темных берегов, мысленно проговорив: «Будь милостив, дух, ко мне. Ничего мне от тебя не надо, только доброты и понимания. Иду я на кромку льда подкараулить нерпу... Что с твоих богатств одна-единственная нерпа? Будь милостив ко мне...»

Это моление несколько ободрило Тымнэро. Да еще мысль о том, что за его плечами новый винчестер, заработанный в трудном путешествии с торговым человеком Бессекером. Винчестер хороший, Тымнэро пристрелял его за Второй бухтой, установил прицел и убедился, что оружие надежное и точное. Только была бы нерпа.

Дальше лед был тонок, и Тымнэро нацепил на ноги лыжи-снегоступы.

День сероватый, обычный, когда свет убывает и приближается время темных ночей и полярных сияний. Анадырский лиман уже замерз во всю ширину, и от Угольных копей пролегла привычная колея нартовой дороги, по которой возили уголь. Жизнь шла своим чередом, и вроде бы ничего с виду не изменилось, если не считать того, что на сердце Тымнэро с той самой страшной ночи камнем лежала горечь. Как же можно убить человека? Ведь они не просили смерти, как это водилось иногда среди чукотского народа. Когда человек становился немощен и чувствовал, что мешает живущим, отнимает у них лишний кусок, он просил помочь ему уйти сквозь облака. Это было просто и понятно... Но те парни... Они совсем здоровые, молодые... они хотели жить... Тымнэро не может забыть их почерневшие от горя лица, их глубоко запавшие глаза, светящиеся, как потухающий жирник...

С этими печальными думами Тымнэро дошел до края припая и осторожно приблизился к открытой воде. В этом месте лед был коварен, часто подмывался подспудным течением, истончался, и бывало, что охотник проваливался в ледяную воду.

Тымнэро скользнул снегоступами по льду, прислушался — не трещит ли где, ткнул наконечником посоха. Кажется, выдержит...

У кромки Тымнэро соорудил из кусков льда убежище, чтобы из воды нерпа его не заметила, сел в ожидании. Иной раз можно было просидеть весь день и не увидеть ни одной нерпы, поэтому Тымнэро приготовился сидеть долго, стараясь устроиться поудобнее, чтобы ноги не затекали.

Не успел он как следует угнездиться в своем убежище, как легким всплеском у самого края льда выпрыгнула нерпа. Тымнэро даже вздрогнул от неожиданности. Нерпа смотрела прямо на него. Охотник осторожно выдвинул ствол винчестера, навел мушку. Он видел большие круглые нерпичьи глаза сквозь прорезь прицела. Они смотрели прямо на него. Какие они доверчивые, любопытные, эти глаза, совсем как у ребенка. Тымнэро вдруг вспомнил умершего сына... У него были точно такие глаза, когда он слушал сказки, то и дело приставал с вопросом: почему солнце краснеет к вечеру? почему птицы улетают на зиму, а ворона остается? правда, у меня вырастут такие же усы, когда я стану большим?

Нерпа плыла медленно, не уходя с прорези прицела. Снова вспомнились те двое... расстрелянные у скал...

У них были черные, исхудавшие лица, и глаза, глубоко запавшие, тоже светились...

И вдруг Тымнэро почувствовал, что у него нет сил нажать на спусковой крючок. Будто воспоминания ослабили его, будто сила вытекла вместе с мыслями. Мушка запрыгала перед глазами, и нерпа тихо, почти без всплесков погрузилась в воду... Глаза ее были широко раскрыты...

Тымнэро с глухим стоном откинулся, свалил ледяную преграду, закрывающую его от воды. Неизвестно, сколько времени он просидел так, приходя в себя, набираясь сил. А когда очнулся — море было уже пустынным. Начинало темнеть. Солнце давно зашло, и долгие зимние сумерки надвигались на землю.

Тымнэро огляделся. Темная громада Алюмки зловеще вырисовывалась на фоне красноватого от вечерней зари неба.

Охотник засунул в чехол винчестер, надел снегоступы и спешно двинулся к дому. Он торопился и не думал о крепости льда. Иногда он слышал тревожный треск, но не обращал на него внимания, шел, почти бежал, уходя от мучительного воспоминания широко раскрытых глаз, ушедших в студеную воду.

Он миновал Алюмку, даже не вспомнив о злых духах, и круто повернул к берегу, чтобы поскорее выбраться на твердую землю.

Вышел Тымнэро как раз на тангитанское кладбище.

Снял снегоступы — они больше не нужны ему — пошagal к своей яранге мимо покосившихся крестов и вспученных мерзлотой могил. Споткнувшись, упал на колени, и ужас охватил его: он был как раз на том бугорке, который сам насыпал над телами убитых шахтеров. С диким криком вскочил на ноги и кинулся, не разбирая дороги, бежать от этой могилы, от страшных воспоминаний, от укоряющих глаз...

Еще издали он увидел, что в чоттагине горит огонь. Может, приехали гости? Неужто Теневиль из стойбища Армагиргина? Давно его не видел, да и само стойбище, сказывали, уочевало так далеко, что никто толком не знал куда.

Тымнэро услышал какие-то громкие голоса в яранге, плач дочери, стон Тынатваль.

Он рванулся вперед и ворвался в чоттагин, остановившись в изумлении у порога.

В яранге было полным-полно тангитанов. Посередине на китовом позвонке сидел сам глава милиции Струков. Двери в кладовые были распахнуты настежь, бочки с припасами опрокинуты, и на земляном полу обрадованные собаки грызли куски нерпичьего жира, вылизывали заквашенные с осени листья, доедали китовую кожу — осенний подарок знакомого эскимоса с Уэлькаля.

У порога, прижавшись друг к другу, сидели Тынатваль с дочерью и ревели в голос.

Струков был сильно пьян.

— А ну перестаньте реветь! Предписано обыск делать — значит, так полагается! Голова трещит от вшего плача, а ну, замолчите! — кричал он.

Наконец Струков увидел Тымнэро и криво улыбнулся:

— А вот и хозяин явился!

— Что вы тут делаете? — по-чукотски спросил Тымнэро. Он чувствовал, как гнев захлестывает его.

Дрожащими руками он выпростал из кожаного чехла винчестера.

— Ну-ну! — испуганно вскрикнул Струков, ладонью прикрывая лицо, будто это могло спасти его от пули. — Не шути...

Он видел перед собой искаженное гневом лицо Тымнэро, этого добродушнейшего, покорного, всегда готового услужить чукчи. Лицо это стало похоже на кусок старой моржовой кожи, глаза сузились, и из щелочек, казалось, сыпались искры.

— Ребята! — крикнул Струков. — Кончай обыск! Раз ничего не найдено — значит, ничего и нет!

— Одна тухлятина, — проговорил один из милиционеров, пнув ногой кусок старой моржатины, вывалившийся из бочки.

— Да уж, запашок, не приведи господь, — сказал другой, усатый.

— Кончай, ребятки, кончай, — торопливо говорил Струков, продолжая заслоняться рукой от наведенного на него винчестера. — Ну что ружье-то наставил? Видишь — кончили, уйна варкын!¹ Понимаешь, бусурманская твоя морда? Уходим.

Тымнэро готов был нажать на спусковой крючок, удержало его лишь то, что на линии выстрела сразу за Струковым у полога сидели жена и дочь. Понемногу рассудок возвращался. Он понял, что Струков собирается уходить, и опустил ствол винчестера.

— То-то! — усмехнулся милицейский начальник. — Экий господин! Подумаешь, обыск у него сделали! Да ты знаешь, что тебе грозит за сопротивление властям?

Струков говорил резко, сердито. Но Тымнэро понимал почти все. Главный милиционер не спускал глаз с винчестера, который Тымнэро держал в руках.

— Ружжо-то убери, — снова приказал Струков. — Уйна.

И вдруг Тымнэро упал как подкошенный — кто-то сзади ударил его по голове. А когда очнулся, в яранге уже никого не было. Всхлипывающая Тынатваль стоя-

¹ Уйна варкын — ничего нет (искаж. чук.).

ла перед ним на коленях и осторожно обтирала сырой тряпкой лицо. Сам Тымнэро лежал в пологѣ, но лицом к чоттагину. Рядом сидела девочка, обессиленная от слез. Она не плакала, лишь изредка судорожно вздрагивала всем телом. Сознание возвращалось, хотя в голове все еще гудело.

— Ушли они, ушли тангитаны! — всхлипывая, утешала мужа Тынатваль. — Ушли, проклятые!

— Что они тут искали? — Тымнэро с трудом разомкнул губы.

— Не знаю... Мантрака... какого-то... Я думала — еда такая... Открыла им бочки, они все вывалили на землю, затоптали... Маленьким ружьем размахивали... Шкурки достала — может, это Мантрака... Один тангитан на полог влез, чуть не продавил его. Даже моржовую шкуру — пол поднимали... А ихний-то главный — сидит на китовом позвонке, кричит: «Ищите, ищите Мантрака...» Вроде бы большевик такой... А что это... не знаю...

— Взбесились они, — сказал Тымнэро.

— Хуже бешеных собак, — согласилась жена.

* * *

— Что такое большевик и Мантрак? — спросил Тымнэро у Милюнэ.

Женщина испуганно оглянулась.

Тымнэро не любил ходить в этот домик. Милюнэ здесь была какая-то чужая, совсем тангитанская, даже своими повадками. Она все старалась угодить Тымнэро, совала ему разные лакомства и каждый раз провожала гостя с узелком подарков. Тымнэро почему-то тяготился этим, чувствовал себя неловко.

— Откуда ты знаешь эти слова? — шепотом спросила Милюнэ, глянув в окошко, выходившее на заледенелый, заснеженный лиман.

— Струк искал у меня в бочках с нерпичьим жиром и квашеной зеленью большевика и Мантрака! — сердито ответил Тымнэро. — Все переворошил. Вывалил жир на землю, выскреб бочку с зеленью, даже на полог залезал... Я чуть не застрелил его...

— Да что ты? — испугалась Милюнэ.

— И застрелил бы... да Тынатваль с дочкой аккумулятор за ним сидели...

— Что это они? Вzbесились совсем...

— Истинно, — подтвердил Тымнэро. — Как бешеные собаки... Везде рыскают, вынюхивают, а не едят...

— Худое нынче время, — вздохнула Милюнэ.

— Раньше тангитан совсем другой был, — ворчал Тымнэро. — Не лез в ярангу, не вмешивался в наши дела. Я возил уголь, получал бумажку, шел в лавку, пальцем показывал, что мне нужно, и все. Даже слов не надо было. А нынче! То одна власть, то другая! И чего Солнечный Владыка не удержался на своем золотом сиденье?

— Есть другие тангитаны, — мягко заговорила Милюнэ. — Они стоят за бедных, говорят: бедные люди пусть будут вместе и вместе пойдут на богатых, отберут у них все и поделят поровну между собой. Так будет по справедливости...

— А я не пойду! — решительно заявил Тымнэро. — Мне чужого не надо. Что я — разбойник?

— Так ведь богатства, которые у торговцев, сделаны руками бедных людей. Трудовой человек делает вещь, а богатч отбирает и продает ее, а деньги берет себе...

— Так это у тангитанов, — заметил Тымнэро. — У нас по-другому...

Милюнэ посмотрела на своего родича с откровенным сочувствием. Тымнэро огляделся в комнате и увидел на столе тетрадку, карандаш, какие-то каракули на белой бумаге.

— Твой тангитан балуется? — спросил он.

— Это я пишу, — смутилась Милюнэ. — Я учусь тангитанской грамоте.

— Какомэй! Зачем же тебе? Или совсем тангитанкой стать хочешь? Наше все забыть хочешь?

— Грамота нужна каждому человеку, — наставительно произнесла Милюнэ. — Особенно бедным и обездоленным. Чтобы знать настоящую правду жизни.

— Правду жизни только шаманы знают, — убежденно возразил Тымнэро.

— А для чего Теневиль придумывает свои знаки? — в ответ спросила Милюнэ.

— Чуждачество, конечно, это, но полезное дело, — от-

ветил серьезно Тымнэро. — Новость далеко сообщить можно. Про дело сказать знаками.

— Вот и тут тоже! И новость сообщить, и мудрость вызнать из книг.

— У отца Михаила хочешь взять божественную книгу? — удивленно спросил Тымнэро.

— Зачем у отца Михаила? Есть другие книги, где написана настоящая правда, — возразила Милюнэ.

— Настоящую правду знают только шаманы, — повторил Тымнэро.

Он еще раз взглянул на каракули, спросил:

— Так что же такое — большевик, Мантрака? Почему искали в яранге? Ты служишь у сильных тапигитанов, должна знать...

— Не знаю, что это такое, — Милюнэ отвела взгляд в сторону.

— Кто-то украл у них это самое, — продолжал Тымнэро. — Они худо смотрят за домом. Раз проходил мимо — дверь настежь раскрыта. Конечно, так не только Мантрака потерять можно, а весь денежный ящик. Кто у нас может такое сделать? Разве вот Ермачков? Он как-то у Сооне вяленный балык с вешала снял... Но и он на такое не пойдет! Зачем ему Мантрак? Сами, видать, потеряли, а теперь на людей кидаются...

— Не знаю, не знаю, — повторила Милюнэ.

* * *

Громов сидел за столом напротив Струкова. Начальник колчаковской милиции то и дело вытирал рукавом шинели вспотевшую лысину.

— Вот смотрю я на тебя, господин Струков, и думаю — дурак ты!

Струков вздрогнул.

— Ваше благородие!

— Дурак, — повторил Громов. — Круглый причем. Ну кому как не дураку придет в голову искать Мандрикова в яранге? Да ты провонял всех моих милиционеров ворванью! Им войти в канцелярию нельзя — от них разит!

Громов встал, обошел стол, приблизился к Струкову, брезгливо повел носом:

— И от тебя воняет. Вы что там, в нерпичьем жиру купались?

— Копались, — кивнул Струков.

— Я говорю — купались! — рявкнул Громов. — Вы, господин Струков, как были неудачником-бакалейщиком, так им и остались...

— Разорили меня китайцы, — виновато оправдывался Струков, — открыли напротив лавку, да цены снизили...

— Мне нужна настоящая военная разведка! Понял ты, бакалейная душа? Чтобы все было как при ясном дне — политическое, гражданское и всяческое другое положение края! У тебя нет ни одного досье!.. Ты знаешь, что такое досье?

— Что-то французское, — пробормотал Струков.

— Французское! — передразнил его Громов. — Досье — это специальное дело, заведенное на подозреваемое лицо. Понял?

— Понял, ваше благородие! Заведу эти досье на всех анадырщиков, язви их в душу маты!

— Господин Струков! Что это за ругань в присутственном месте? Как вы себя держите? Верховный правитель, адмирал Колчак, да будет вам известно, человек интеллигентный и терпеть не может площадной брани! На наше святое дело смотрит весь просвещенный мир. Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки! А вы ругаетесь да шарите по хижинам дикарей!

— Так ваше превосходительство, — заискивающе заговорил Струков, — я ведь так рассуждал. Этот большевик, то бишь Мандраков...

— Мандриков!

— Так точно, Мандриков, тоже, видать, не прост. Он заховался так, что его не обнаружить. И вот я смекал: где он тут понадежней мог укрыться? На виду он жить не может, выдаст его агитаторская душа. Смекал я, смекал, перебрал в уме все домишки Ново-Мариинска, всех людей перебрал и кое-где лично побывал для разведки... А потом вдруг как озарило меня: если он и прячется где, так не иначе как у этих дикарей! Прячется и думает, что не догадаемся мы искать его в вонючем логовище... Вот и учинил обыск...

— И все равно ни хрена не нашел!

— Не нашел! — вздохнул Струков и достал рукавом шинели вспотевшую лысину.

— Сейчас придет сюда здешний торгаш или, как он себя называет, коммерсант Тренев, — сказал Громов.

— Это который? — наморщил лоб Струков.

— Ну тот, у кого баба аппетитная.

— А-а, этот лис, — вспомнил Струков и облизнулся, — а баба у него ничего... хоть подвяленная слегка, но еще годная.

— Струков! — рывкнул Громов.

— Простите, ваше благородие.

— Сейчас он придет, и ты увидишь, как надо вести конфиденциальный разговор. Понял, бакалейная твоя душа?

— Не понял, — мотнул головой Струков.

— Интеллигентный разговор, лысый огурец!

Тренев вошел бледный, но тщательно одетый в суконную черную шубу, подбитую красной лисой. На голове была такая же лисья шапка из отборнейшей огненной лисы. Вся эта краснота только подчеркивала его бледность. Он снял прекрасно сшитые перчатки из оленьей замши, сдернул с головы шапку, сделал легкий поклон.

— Имею честь явиться по вашему настоящему приглашению, несмотря на свое недомогание, как лицо, уважающее существующую власть...

— Садитесь, господин Тренев, — вежливо произнес Громов, указывая на стул, стоявший перед столом.

Тренев уселся, закинул было ногу на ногу, но, заметив, как они трясутся, тут же уперся ими в пол.

— В гости к себе не приглашаете, вот и пришлось вас позвать сюда, в канцелярию, — сказал Громов. — Прошу прощения за такую официальность, но что поделаешь — служба! Наше многострадальное отечество сейчас нуждается в сотрудничестве всех лучших сил России. Умных, думающих, смотрящих далеко вперед, имеющих уважение широких слоев населения. Многие местные коммерсанты уже выразили свою лояльность, и только вы, господин Тренев, как-то прохладно отнеслись к нам. Неужели то маленькое недоразумение на банкете могло вас так настроить против нас? Поверьте, я уважаю вашу супругу, и с моей стороны не было ни намека на оскорбление...

Струков слушал своего начальника и дивился в душе: вот загибает! Такие словечки, выражения — у этого матерщинника, похабника и беспробудного пьяницы...

— Да я что, — торопливо заговорил Тренев, — у меня и в уме ничего такого не было, чтобы, так сказать... Наоборот, я со всем уважением, можно даже сказать — с почтением. Я всегда уважал закон и власть, и особенно вас, господин Громов, как полномочного и, я бы сказал, мудрого представителя его высокопревосходительства, верховного правителя адмирала Колчака. Лишь мое слабое здоровье, подорванное суровым климатом здешних мест, не позволяет мне деятельно выражать свою симпатию и верность вам...

— Будем считать, что с недоразумениями покончено, — оборвал Громов разошедшегося Тренева. — Скажите-ка, господин Тренев, сколько времени вы проживаете в Ново-Мариинске?

— Почти десять лет, — с готовностью отозвался Тренев.

— И, думаю, что неплохо нажились за эти годы?

— Да что вы, господин Громов, какая тут нажива среди нищих и диких чукчей? — махнул рукой Тренев, но спохватился и доверительно добавил: — Конечно, торгуем не совсем в убыток себе, но больших прибылей нет... Кстати, я одним из первых внес требуемый налог на нужды правительства...

— Это я знаю, — снова прервал своего собеседника Громов. — А скажите-ка, где вы держите свои деньги?

— По-позвольте, — заикаясь, спросил Тренев, — какие деньги?

— Я имею в виду не наличную кассу, а то, что накопили здесь за десять лет?

— Э-это, господин Громов, так сказать, коммерческая тайна... и вообще, только, так сказать, крайний случай...

— В русском коммерческом банке Владивостока вашего счета нет! — резко заметил Громов, глянув в какую-то бумагу.

— Так ведь и денег-то...

— Ваши деньги лежат в американском банке, — продолжал Громов, не обращая внимания на попытки

Тренева заговорить. — Учтите, господин Тренев, со временем мы и в этом деле наведем порядок. Русский коммерсант держит свои деньги в иностранном банке! Это не патриотично, господин Тренев!

— Я понимаю, но для удобства расчетов с поставщиками, с компанией Гудзон Бей...

— С этим Бей мы тоже разберемся. Куда ни кинься — кругом Гудзон Бей... Ну, ладно, с этим ясно. Теперь скажите, господин Тренев, вы хорошо знаете жителей Ново-Мариинска?

— Затрудняюсь твердо сказать, знаете, мало общаюсь по причине своего слабого здоровья...

— Вы бросьте это! — брезгливо произнес Громов, начиная терять первоначально взятый тон. — Здоровье... Я знаю, что вы купаетесь в ледяной проруби после бани. Не всякий здоровый такое выдюжит. Да еще, скажут, наложницу держали...

— Господин Громов! — с выражением крайнего оскорбления произнес Тренев. — Моя честь...

— Ладно, ладно, — Громов поднял руку, призывая Тренева умолкнуть. — Это я так, к слову... Хотя, сказать откровенно, никак не поверю, чтобы такую бабу вы могли пропустить мимо себя...

Милюнэ скреблась в коридоре у печки, и ее возня хорошо была слышна в комнате.

— Машка! — услышала она громкий голос начальника.

Она вошла в комнату и остановилась у двери. Встретилась взглядом с бывшим хозяином и заметила, что смотрит тот, будто загнанный волками олень.

— Скажи, Машка, твой бывший хозяин хорошо обращался с тобой? Не обижал?

— Не обижал! — ответила Милюнэ. — Он хороший, добрый...

— А он не хотел тебя... это самое... Как это по-чукотски называется? — обратился Громов к Треневу.

— Я чукотского языка не знаю! — гордо проговорил Тренев.

— А зря! Десять лет на Чукотке, а языка не знает! Ладно, Машка, иди работай!

Милюнэ ушла.

Струков, внимательно слушавший разговор, никак не мог уразуметь, куда же клонит начальник. То ли за-

путать хочет торговца, то ли выпотрошить. А то вдруг говорит с ним уважительно...

— Господин Громов, я должен заявить, — дрожащим голосом начал Тренев. — Я крайне оскорблен вашими подозрениями. Я человек семейный, религиозный.

— Дойдем еще до вашей религиозности, — успокаивающе произнес Громов. — Так, значит, вы многих жителей Ново-Мариинска знаете хорошо?

— Да не так чтобы...

— Вот такого, как Аренс Волтер, вы знаете?

— Американца?

— Господин Тренев! — укоризненно произнес Громов. — Аренс Волтер по национальности норвежец.

— Да, это верно. Но мне казалось, он американский подданный, — торопливо ответил Тренев. — Он плавал на американском судне, повздорил с капитаном, и тот списал его на берег прямо здесь, в Ново-Мариинске. Личность, конечно, подозрительная. Не хочет уезжать, занялся тут починкой всяких металлических изделий. Вроде даже на радиостанции двигатель чинил. Все может привести в порядок — часы, примус, мотор... Мастер, одним словом. Но вроде живет тихо, одиноко...

— А про такого — Мандрикова — вы слышали?

Громов так и впился взглядом в растревоженные бегающие глазки Тренева.

Тренев наморщил лоб, подумал немного.

— Извините меня великодушно, но я впервые слышу такое имя, — с вымученной улыбкой ответил Тренев.

Он еще раз попытался положить ногу на ногу, но дрожь не унималась, и он снова уперся обеими ступнями в пол. Видимо, как догадался Тренев, последние дни новые власти усиленно искали этого таинственного человека. Говаривали, обыск делали даже в ярангах чукчей.

— А тот, кого вы ищите, давно проживает в Ново-Мариинске?

— Здесь спрашиваю я! — рявкнул Громов. — Скажите, кто из местных мог бы быть Мандриковым?

— Трудно ответить определенно, — мотнул головой Тренев. — Осмелюсь вам заметить, что многое зависит от того, в какое время должен был приехать этот предполагаемый вами Мандриков. Если он приехал в послед-

нюю навигацию, то его следует искать среди тех, кто прибыл именно в это время. Некоторые из них подались вверх по реке Анадырь, в Марково. Может, он там?

На этот раз Громов не прервал Тренева и даже, как показалось Струкову, с интересом выслушал его.

— А ведь это дельно, — с похвалой произнес Громов, когда Тренев замолк.

Тренев почувствовал себя настолько уверенно, что смог наконец водрузить ногу на ногу. Правда, иногда нога неизвестно отчего подпрыгивала, но это уже было не так заметно, и, главное, она не дрожала.

— Осмелюсь еще заметить, что для авторитета власти и уважительного отношения к ней необходимо вести правильно избранную политику, — уже совсем уверенно произнес Тренев.

— Что вы имеете в виду? — прищурившись, спросил Громов.

— Осмелюсь заметить, что некоторые ваши действия вызвали у населения превратное отношение к вам, некоторое, так сказать, охлаждение. — Тренев чувствовал в глубине души, что этого не следовало бы говорить, но остановиться уже не мог. — Эти бесплодные обыски вызвали некоторый, так сказать, юмор по отношению к действиям...

— Какой такой юмор? — наливаясь краской, грозно спросил Громов. — Вы что, собираетесь осуждать действия моей военной разведки? Да вы знаете, господин Тренев, кто такой Струков? Пинкертон, по сравнению с ним, дикий и невежественный эскимос! И вы осмеливаетесь в канцелярии представительства Верховного правителя разглагольствовать и давать советы?! Вы, который после февраля семнадцатого года бегал по улицам с красным флагом! Ах ты, большевистская морда! Я тебе покажу юмор!

И тут Громов прорвало. Все, что он копил в течение «конфиденциального» разговора, все, что сдерживал, вырвалось наружу мутным потоком таких грязнейших ругательств, что Струков в удивлении даже привстал со стула.

Напуганный Тренев втянул голову в плечи, сжался и лихорадочно дрожал.

— Вон отсюда, лиса вониючая! Вон отсюда, двоежевец несчастный!

Тренев выскочил на улицу и, не помня себя, кинулся к дому, не обращая внимания на удивленные взгляды попадавшихся навстречу прохожих.

Громов победоносно взглянул на Струкова, вытащил из сейфа бутылку американского пшеничного виски, отхлебнул прямо из горлышка. Протягивая бутылку Струкову, спросил:

— Теперь понял, что значит конфиденциальный разговор?

Глава четвертая

В нее (подпольную революционную группу. — Ю. Р.) входили рабочие — украинцы Игнатий Фесенко, Семен Гринчук, Мефодий Галицкий, Александр Булат, ингуш Якуб Мальсагов, американский матрос, норвежец Аренс Волтер, чуванец Михаил Куркутский (учитель), Николай Кулиновский, украинец Василий Бучек, русский радиотелеграфист Василий Титов. Таким образом, подпольная революционная группа по своему составу была поистине интернациональной.

Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск, изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1974, с. 151

Декабрь 1919 года в Ново-Марининске был удивительно тих. Легкий ветерок слегка обжигал лицо морозцем, а на северной стороне неба полыхало сказочное северное сияние. Даже старожилы-анадырцы утверждали, что давно не видели такого яркого, долгого и многоцветного сияния. Люди выходили из домиков и любовались зрелищем.

Безруков с Хвааном остановились на полпути и невольно сошли с тропы на лиман.

— Это что-то фантастическое, — прошептал Безруков. — Я много слышал о северном сиянии, но чтобы так... Трудно поверить, что это всего-навсего природное явление. Гляди, какой радужный столб! Будто цветным прожектором ударили в небо! А вон там! Прямо занавеси, бахромы из радуги...

— А вон совсем красный цвет, будто флаг, — показывал Хваан на другой край небосклона,

— Верно! — засмеялся Безруков. — Слышь, кто-то там в небе революцию совершает, а мы тут канителемся.

Они двинулись к домику Булатова, то и дело невольно оглядываясь на полыхающее небо.

— У меня такое ощущение, что вокруг нас сжигается кольцо, — сказал Безруков. — По-моему, Струков подбирается к нам.

— Я тоже так думаю, — ответил Хваан. — В один прекрасный день он предъявит нам ордер на арест...

— Ну, — усмехнулся Безруков, — допустим, никакого ордера он предъявлять не будет... Вот только одно интересно: есть у него доказательства или только подозрения?

— Если бы были прямые доказательства, — ответил Хваан, — они не стали бы медлить.

— Это тоже верно, — вздохнул Безруков. — Мало-мало еще у нас сил, чтобы приступить к серьезному делу. Нет крепкой опоры, рабочего класса нет. Углекислый горстка. Просто удивительно — народ нищий, вроде бы покупателя нет, а торгашей вокруг, будто комарья летом! Сюда бы десятка два путиловцев! Я ведь свою рабочую жизнь начинал в Петрограде на Путиловском, прежде чем попал на флот. Вот там сила! Порох! Только поднеси спичку — и взрыв!

— Придется обходиться теми силами, какие есть, — заметил Хваан. — Время приближается.

— Думаю, самое подходящее — в ночь на новый тысяча девятьсот двадцатый год, — тихо произнес Безруков. — Колчаковцы не преминут как следует отметить наступление Нового года. Да и нам собраться легче, будто на вечеринку.

— Я предупредил, чтобы люди осторожны были, — сообщил Хваан. — Не ко времени эти тихие дни, много народу толчется на улице.

— Сиянием любят.

Почти все члены подпольной группы уже сидели в тесной комнате Булатова. Милонэ радостно встретила Безрукова и Хваана:

— Здравствуйте, товарищи, — певуче произнесла она.

— Здравствуй, здравствуй, Машенька, — улыбнулся Безруков. — Придется тебе опять в сених постоять. Поныла?

— Поняла, — кивнула Милюнэ.

Она проворно влезла в меховой комбинезон — кэр-кэр — и встала в темном провале приоткрытой на улицу двери.

Она уже знала, что ей надо делать. Последнее время революционная группа собиралась с большими предосторожностями. В прошлый раз будто бы справляли день рождения Булатова. Правда, Булат утверждал, что и впрямь у него день рождения. На столе стояло вино, но гости почти не пили. Они то шептались, то громко пели незнакомые Милюнэ песни, и чаще всего о камыше, который шумел. Милюнэ слушала и вспоминала долину Танюрера, где в защищенных от ветра местах растут настоящие деревья. Они тоже гнутся под ветром, особенно в пургу, в темную ночь...

— Вот! — Булатов положил перед Безруковым исписанный детскими каракулями лист бумаги.

— Что это? — удивленно поднял брови Безруков.

— Телеграмма Червянского из Петропавловска, — еле сдерживая гордость, ответил Булатов.

Безруков взгляделся в каракули и прочитал. «Пост Ново-Мариинск Громову совершенно секретно большевистскую группу предположительно следует искать среди новоприбывших на пароходе Томск или на японском грузовом судне Итио-Мару вероятно часть проследовала верховья обнаружении немедленно арестовать сообщить шифром Петропавловск Червянский».

— Ты, что ли, достал? — спросил Безруков у радиотелеграфиста Василия Титова.

— Нет, — ответил Титов. — Нам, рядовым телеграфистам, совершенно невозможно это сделать. Учватов запирается и сам принимает эти телеграммы. В последние дни перестал нас допускать к аппарату.

— Так откуда же это?

— Маша принесла, — с улыбкой сообщил Булатов.

— Как — Маша? — удивился Безруков.

— Она, — кивнул Булатов. — Переписала в канцелярии и принесла.

— Постой, — Безруков потер лоб, — как она догадалась, что именно это нам нужно?

— Так она же уши имеет, — с прежней улыбкой ответил Булатов. — Она так и говорит: у меня уши и глаза есть.

— Ну, молодец! — восхищенно проговорил Безруков. — Надо же так ухитриться...

Он еще раз прочитал телеграмму. Да, стягивающаяся петля, которую он чувствовал последние дни, и впрямь существовала. И вот доказательство.

— Но это чертовски опасно, — Безруков взял листок, зажег спичку и поджег бумажку.

— Никто ведь не догадывается, что Маша грамоту знает, — ответил Булатов. — Для них — она дикарка, темная чукчанка.

— Но все равно скажи ей — пусть будет осторожна. Без крайней необходимости пусть не переписывает.

— Хорошо, — кивнул Булатов.

— А теперь к делу, — заговорил Безруков. — Нам не след задерживаться. Волтер сегодня раздаст оружие всем, у кого еще нет. Оружие держать наготове и ждать сигнала. Предположительно время выступления — ночь на Новый год. Группа Александра Булатова берет полицейских, группа Куркутского занимает позиции возле церкви, а наша, — он кивнул в сторону Хваана и Волтера, — арестует Громова и всех прочих. Кулиновский с товарищами захватывает радиостанцию.

Милюнэ смотрела в раскрытую дверь на полярное сияние. Почему это нынче так разыгрались небесные боги? Или праздник у них какой? Никогда Милюнэ еще не видела сияние такой силы, такой красоты. Там — царство мертвых. В верхней части, там, где мерцающий свет слабее, живут истинные покойники, умершие своей собственной смертью. А ниже, где сияние высвечивается так, словно за небом горит гигантский жирник с красным пламенем, — там царство убитых духами, наказанных за разные грехи. Почему-то их больше всего. То ли духи очень строги, то ли человек и впрямь сильно грешит при жизни, иногда даже не подозревая об этом. А вот на самом краю, где северное сияние переходит в темную голубизну ночного неба, живут самоубийцы... Да, велико небо, и жителей там много, может, даже больше, чем живущих на земле. Вон там, чуть повыше Полярной звезды, живут другой жизнью «окровавленные», погибшие в боях. Им отведено лучшее место — прямо в Зените.

— Товарищи, — продолжал Безруков. — Сегодня мы

должны выбрать подпольный революционный комитет. Какие есть предложения?

— Предлагаю ввести в подпольный революционный комитет следующих товарищей: Сергея Безрукова, Александра Булатова, Михаила Куркутского, Аренса Волтера, Николая Кулиновского... Председателем подпольного революционного комитета предлагаю избрать товарища Безрукова. Есть возражения? — спросил Хваан.

— Какие там возражения! Сергею Евстафьевичу и возглавлять ревком! — сказал механик Фесенко.

— Товарищ Хваан назначается командиром народной охраны, — сказал Безруков.

Заседание было окончено. Люди потихоньку начали расходиться.

Когда Милюнэ вернулась в комнату, там еще оставались Безруков и Хваан. Она совсем забыла, что их надо накормить! Скинула кэркэр и принялась быстро собирать на стол.

За чаепитием Безруков спросил:

— Расскажи-ка, Машенька, как тебе удалось сплести телеграмму?

— Это нетрудно, — смущенно ответила Милюнэ. — Я вечерами, когда все уходит из канцелярии, мою полы. И стала примечать — в том железном ящике, где лежат важные бумаги, у них часто остается ключ. И все оттого, что вместе с бумагами Громов держит там водку. Иногда вроде бы запирает на ключ, а дернешь — открыто. Руки-то к вечеру, видать, не слушаются его...

— Будь осторожна, Маша! — строго сказал Безруков. — Это очень опасно! Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула Милюнэ. — Но ведь и вам опасно...

* * *

Одно небо над всей землей.

Одна земля у чукотского народа.

На огромном пространстве заснеженной, притихшей земли видели это удивительное северное сияние.

Видел его и умиравший Армагиргин. В широко рас-

пахнутый вход яранги он смотрел на игру света и искал свое место. Куда его поместят боги? В Зенит он, конечно, не попадет. Там живут «окровавленные» — герои, мученики... А он не был героем. Не стал им. Уходит он сквозь облака собственной смертью и чувствует, что жизнь выливается из него, будто из опрокинутого сосуда. Может, его поместят в густоту красного света, где обитают наказанные за грехи?..

Армагиргин тяжело вздохнул.

Одна из жен тревожно оглянулась на него. Но лицо старика было спокойно.

Да, скорее всего духи поместят его туда. За великие грехи, сотворенные на земле, а более того за измену своей вере, за попытку принять тангитанского бога. Он презирал людей, оставлял без еды малых детишек... И такое было. Случалось, в злобе поднимал руку на своих пастухов. Случалось, отбирал у них жен, чтобы насытиться, чтобы удовлетворить тоску по женскому телу. Почему большинство людей довольствуется одной женой, а ему и двух было мало? Может, он по-иному устроен, может, слишком много у него мужской силы? Воспоминания о женщинах приятно взбадривали его. Да, он познал многих... И зрелых... и совсем молоденьких... И все же наслаждение было неполным — ибо ни одна из них не понесла от него. Нет у него потомства в наказание за измену. Разве этого мало? Разве этого не достаточно, чтобы поместить его хотя бы в верхний ряд, умерших своей смертью? Неужели и там, в царстве мертвых, ему не будет покоя? Говорят, жители других рядов презирают живущих в красной полосе, не ходят к ним в гости...

Армагиргин еще раз тяжело вздохнул.

Подошла младшая жена, оглядела его. В ее взгляде Армагиргин уловил скрытое, нетерпеливое ожидание конца. А что ей ждать? Все равно им ничего не достанется. Однако надо спешить. Времени остается мало... Пусть услышат все.

— Позовите Теневиля, Эль-Эля, других...

Он говорил и удивлялся, какой у него слабый голос. Как легкое дуновение осеннего ветра, которое не может оторвать даже пушистой головки одуванчика.

Первым пришел шаман Эль-Эль. Он приблизился к Армагиргину и внимательно посмотрел на него. Креп-

кий старик. Смерть стоит у изголовья, а он спокоен, будто просто прилег отдохнуть.

— Пусть меня сожгут. Навстречу лучам сияния. Я хочу подняться в небо на световом луче.

Эль-Эль молча кивнул. Он помнил этот старинный обряд, по которому хоронили лишь самых уважаемых и достойных людей. Других просто нагими клали на землю в символической оградке из мелких камней, оставляя на съедение тундровым зверям. А иных сжигали на жарком огне. Эль-Эль предвидел эту просьбу и заранее позаботился о хороших сухих дровах.

Входили пастухи, молча рассаживались в чоттагине. Когда-то они были друзьями Армагиргина. Потом он от них отдалился, огражденный богатством и званием брата русского царя.

Старик не говорил. Он берег силы. Те несколько слов, которые он сказал Эль-Элю, истощили его.

Наконец вошел Теневиль.

Армагиргин подозвал его глазами к себе, взял за руку. Потом велел подойти Эль-Элю.

— Я буду говорить, а ты произноси громко, чтобы все слышали,— попросил старик шамана.

В притихшей яранге, по всему стойбищу, до края разноцветных небес разносился резкий каркающий голос Эль-Эля:

— Боги не дали мне потомства! И перед тем как уйти сквозь облака я хочу сказать важное! Все оленье стадо, все, что есть у меня, я оставляю Теневилю! Пусть все знают об этом. Это мое последнее слово. Будьте послушны ему, он мудр и справедлив. И еще — я не хочу обряда вопрошания, пусть меня похоронят, пока светит сияние. Я хочу вознестись на луче. Я все сказал!

Старик умолк и закрыл глаза.

Теневиль чувствовал, как холодеет рука умирающего, как все сильнее и сильнее сжимает его руку. Он с трудом выпростал свою ладонь. Рука хозяина глухо стукнулась о край нарты.

Все.

Чукотский король, именовавший себя братом русского царя, уходил сквозь облака.

Старика переодели в погребальные одежды. Молодые парни отнесли приготовленные дрова на ближайший холм, сложили костер.

Одетого во все белое Армагиргина вместе с легкой беговой нартой, на которой он умер, вынесли из яранги и потащили на холм.

Приближалось утро.

Северное сияние бледнело. Надо было спешить.

Сухие дрова занялись сразу, и к небу, соединяясь с лучами сияния, взметнулось высокое жаркое пламя, коснувшись лица умершего. Теневиль не мог отвести взгляда и с внутренним содроганием смотрел, как менялось выражение лица покойного: спокойное, умиротворенное, оно вдруг стало гневным. Загоревшийся мех плотным дымом окутал уходящего сквозь облака.

Теневиль ощутил, как тяжесть камнем легла на его плечи. Как жить дальше? Старик сказал-таки свое слово, передал ему олней. Но Теневиль чувствовал, что не может принять этого дара. Слишком тот дар был необычен и странен. Пастухи отдалятся от него, перестанут считать себя равней. Окружат его скрытым презрением.

Он вошел в свою ярангу. Раулена вздрогнула: перед нею стоял совсем другой человек. Она с трудом узнавала мужа.

— Что случилось, Теневиль? — тихо спросила она.

— Старик передал мне стадо, — глухо ответил он.

— Кыкэ вынэ вай! — воскликнула в ужасе Раулена. — Что же теперь будет?

Несколько дней Теневиль не выходил из своей яранги. Он смотрел на костер, перебирал в памяти прошедшую жизнь, обращаясь иногда к своим записям. Позади была жизнь, небогатая событиями, но долгая по времени. Были короткие, солнечные весны с новорожденными телятами и радостью, переполнявшей сердце... Была сытная осень, когда забивались на мясо и зимние кухлянки подросшие за лето олениата...

А зимы... Сколько их было! Не перечесть, даже если начать воспоминания с того дня, как Теневиль стал помпить себя... И утраты... Люди, ушедшие сквозь облака на сверкающие полосы северного сияния. Теперь там и Армагиргин. В вечной жизни, безвкусной и пресной, как талый снег.

А здесь как жить?

В значках, нацарапанных на дощечках, написанных



на чайных обертках и в нескольких тетрадках, ответа на этот вопрос не было. Не было его и в сердце, в глубинах разума.

Как-то сложится жизнь его сына? Мальчик продолжит род Теневиля, протянет нить в грядущие годы, теряющиеся у края небес. Для него надо решить, как жить дальше.

Раулена пыталась расшевелить мужа, варила ему вкусную еду, но Теневиль ел, не замечая ни прэрэма, ни сладких ребрышек, ни паленых оленьих губ и копыт. Он смотрел в огонь костра.

На четвертый день пришли пастухи. Опытные, знающие оленеводы, сохранившие стадо, несмотря на сумасбродства старика, на его иной раз нелепые распоряжения. Как вот нынче... Время пришло идти на пастбище в пойме реки Анадырь, а он погнал стадо на неизведанные, давно не посещаемые земли, на границе с Якутией. Здесь жить опасно: якуты могли напасть, отбить оленей. Никто не любит, когда на его исконной земле поселяется чужак. Да и самому тебе неудобно на этом стыке незнакомых земель. Правда, сказывали старики и в древних преданиях утверждалось, что здесь тоже исконная чукотская земля, покинутая чукчами во времена кровопролитных войн с тангитанами. Она долго пустовала, пока ее не заняли ламуты и якуты. Редко сюда возвращались стада чукотских оленеводов...

Молча сидели пастухи. Раулена обносила их крепким оленьим бульоном. Надо бы чаю, да не было заварки. Давно не было, как только старик стронул с побережья стойбище, пытаясь уйти от людей. А как уйдешь от людей, от своего народа? Это все равно что уйти от самого себя.

Теневиль отвернулся от огня.

Люди выжидающе смотрели на него. Что он скажет, новый глава стойбища Армагиргина? Пройдет немного времени, и люди уже будут называть его по имени нового эрмэчина, главы, хозяина стада — стойбище Теневиля.

— Люди, — Теневиль не узнал собственного голоса. Неужто и голос мог перемениться за эти дни? Да, он чувствовал большие перемены в себе, в своем сердце, своём разуме...

Он откашлялся, заговорил снова:

— Люди, вы слышали, что сказал, уходя сквозь облака, Армагиргин. Я держал его руку, пока она не за-
коченела. И я все слышал. И не возражал. Потому что
в это время я думал обо всех нас, о наших детях. Я ду-
мал о нашем будущем. Что-то происходит на нашей
земле. От этих перемен бежал сюда Армагиргин, уводя
с собой и нас. Нас, которых он почитал за свою собст-
венность. Но только в древних сказках человек был соб-
ственностью другого человека. Это не олень, не собака.
Человек есть человек, и он должен жить человеком. С
уходом Армагиргина ушла и наша прежняя жизнь. Все
оленье стадо принадлежало ему одному. Так он думал,
и мы тоже привыкли так думать. Но это было не верно.
Нашими трудами оберегалось и умножалось стадо. На-
ша сила, наша забота оберегала новорожденных телят,
уводила стадо от гололеда и выбитых пастбищ. Мы сво-
ими ногами исходили тундру в поисках ягеля... А счи-
талось, что стадо принадлежит ему, когда по справедли-
вости оно было нашим... Я говорю вам, люди, эти оле-
ни — ваши. Они принадлежат всем вам вместе. Пусть
будет так. Я долго думал. Три дня и три ночи. Мы
привыкли жить вместе, работать вместе. Пусть бу-
дет и дальше так. Будем вместе. А олени будут об-
щими.

Люди молчали. Каждый дивился словам Теневиля,
ибо ждали от него совсем других слов — ведь он стал
эрмэчином, хозяином, владельцем стада. А может, муд-
рость говорит его устами? Но как это — все вместе хо-
зяева оленьего стада? Разве такое бывает?

— А теперь, люди, — сказал Теневиля, поднявшись
во весь рост, — будем кочевать в долину Анадыря. К
людям, к своей земле пойдем!

* * *

Канцелярия, место заплеванное и грязное, старания-
ми Милюнэ превратилось в помещение, куда было при-
ятно войти. Полы чистые, каждая половица вымыта с
песком, выскребена дочиста. Даже стены, когда-то вы-
крашенные масляной краской, вдруг обнаружили блек-
лую зелень. Каждый день Милюнэ отдирала от стекол
наросший лед, и бледный зимний свет ненадолго про-

никал в комнату. Керосиновая лампа не коптила, светила ярко и ровно, и стекло сияло чистотой. Повсюду стояли жестяные банки из-под американских фруктовых консервов, приспособленные под пепельницы, и теперь уже никому не приходило в голову кинуть замусоленный окурочок на чисто вымытый пол.

Обычно Милюнэ приходила ранним утром, брала ключ у милиционера, охраняющего помещение канцелярии, и затапливала первым делом две высокие круглые печки. Иногда жар оставался после вчерашней топки, и тогда надо было только освободить от пепла угли, выгрести золу из поддувала и положить на уголь. Печки были хорошие, растапливались легко. Затапив их и вытерев пыль, Милюнэ уходила домой. К обеду она возвращалась. Освобождала пепельницы от окурков, вытирала мокрые следы посетителей.

Не все аккуратно счищали снег с обуви, особенно милиционеры, которые носили высокие валенки с резиновыми наставками. Милюнэ завела было веник, просила обметать обувь, но мало кто следовал ее советам.

— Старательная! — хвалил Громов.

А Струков поглядывал маслянистыми глазами, наливающимися кровью, словно у весеннего оленя-тырskylына. Пуще всего Милюнэ боялась этого взгляда, чувствуя, как он, этот взгляд, проникает сквозь одежду и жадно ощупывает ее тело.

В тот вечер Громов со Струковым допоздна засиделись в канцелярии. Милюнэ уже приготовила воду, чтобы вымыть полы, и ждала их ухода. А они все сидели, о чем-то беседуя вполголоса. Иногда звякала бутылка. Несколько раз окликали Милюнэ, просили принести свежей, натаянной из речного льда воды.

В комнате Милюнэ заставляла одну и ту же картину: низко склонившихся над какой-то бумагой тапигтанов. Они о чем-то спорили...

Милюнэ сбегала домой, накормила своих и вернулась обратно.

Струков с Громовым собрались наконец уходить. Они едва держались на ногах. Громов складывал бумаги в железный ящик, заталкивал туда же пустую бутылку.

— Ты меня проводи, Струков, до дому, — говорил он. — Проводи. Заступись, ежели Павловна будет браниться.

— Как же, ваше благородие... Провожу, конечно! — с готовностью отвечал Струков. — Как не проводить начальство?

— Старательная! — пробормотал Громов, проходя мимо Милюнэ, стоявшей у дверей с мокрой тряпкой в руке.

Струков попытался уцепиться за нее на ходу, но она ловко увернулась.

Милюнэ принялась за уборку. Высыпала содержимое пепельниц в горящую печку, промыла банки, убрала на столе, обсыпанном табачным пеплом и крошками махорки, и вдруг замерла от неожиданности: в железном ящике торчал ключ с обрывком веревочки на кольце. Давно не было такой удачи.

Она прислушалась. Кругом было тихо. Только снег поскрипывал под ногами часового. Где-то далеко, возле яранг, выла собака.

Милюнэ положила в ведро с водой тряпку, насухо вытерла руки и взялась за ключ. Дверца железного ящика, толстая, тяжелая, открылась легко, без звука. Под пустой бутылкой лежали бумаги, над которыми сегодня сидели Громов и Струков.

Милюнэ еще раз прислушалась.

Тишина накрыла Ново-Мариинск и Анадырский лиман.

Милюнэ слышала только собственное сердце, оно стучало громко, словно хотело выскочить наружу.

Она достала бумаги, положила на стол, из стола же вынула чистый лист, взяла карандаш... устроилась поудобнее в кресле...

«Петропавловск Камчатский Червлянскому, — прочитала Милюнэ. — Сообщаем результаты розысков большевистское подполье предположительно гнездится среди новоприбывших парходом Томск. Подозреваются Безруков, Хваан, Булатов, Волтер. Однако твердых доказательств не имеем. Просим вашего разрешения произвести превентивный арест указанных лиц с целью окончательного выяснения. Начальник уезда Громов, начальник разведки Струков. 15 декабря 1919 года».

Милюнэ старалась писать аккуратно, ровно. Понемногу до нее доходил смысл телеграммы.

Арест... И здесь имя Булата... Надо быстрее писать! И она уже не старалась, торопилась. От сильного на-

жима карандаш сломался. Долго искала, чем отточить заново. Ножа в комнате не было. Тогда она зубами разгрызла конец карандаша, обнажила грифель и принялась списывать дальше.

Струков привел начальника домой. Уложил его на чистые, белые простыни. Евдокия Павловна, сердито насупившись, смотрела на мужа. Полы ее легкого халата немного распахнулись, и Струков невольно задержал взгляд на круглом розовом колене. С трудом отведя глаза в сторону, он постоял немного, борясь с желанием кинуться на жену своего начальника, потом торопливо попрощался и выскочил на улицу.

На северной половине неба угасало северное сияние. Струков не понимал людей, которые восхищались этим редчайшим явлением природы. Лично его оно пугало, наводило страх. «Чертовщина какая-то,— думал он.— Может, это и впрямь чукотские боги балуются?..»

Хмель понемногу проходил, и Струков с тоской думал о том, что опять надо идти в свой холодный дом, ложиться в стылую постель. Нет, нужно обзавестись какой-нибудь бабой. Иначе одичать можно.

И вдруг он вспомнил о Милюнэ. Она ведь сейчас одна, моет полы... Угасшее было желание вспыхнуло с новой силой. Что тут мешкать? Все равно завтра, послезавтра ее муженек будет арестован...

Струков решительно зашагал в сторону уездного правления. Еще издали он с затаенной радостью увидел в окошке свет, значит, Маша еще не ушла.

У северного угла дома стоял часовой и, задрав голову, смотрел на сияние. Узнав Струкова, он вытянулся, отдал честь. Струков представил себе, как Милюнэ на коленях ползает по полу, водит мокрой тряпкой.

«Застать врасплох и сразу схватить, не дать ей опомниться. Так будет лучше. Сопротивляться, однако, будет, чертовка...»

Крадучись, Струков поднялся на крыльцо, тихо открыл обитую оленьими шкурами наружную дверь и на цыпочках подошел к канцелярии... рывком распахнул дверь и — остановился. Что это? Он не верил собственным глазам: Маша сидела за столом Громова и, склонив набок голову, писала!

Он помотал головой, протер глаза — может, наваждение какое — нет, она действительно писала.

Услышав стук двери, Милюнэ подняла голову и — застыла, охваченная ужасом. Широко открытыми глазами она смотрела на Струкова, чувствуя, как у нее холодеет внутри. Только под самым сердцем была горячая сладко-тревожная точка, от которой по всему телу разливалась слабость.

— Ты что делаешь, сука?

Струков забыл, зачем он пришел сюда. Кто бы мог подумать? Дикарка! А может, она вовсе и не дикарка? Может, она тот самый Мандриков, которого они ищут? Да нет, Мандриков вроде бы мужик, а это баба.

— Сволочи! Секреты списываешь!

Струков всегда казался Милюнэ невысоким. И теперь с каждым выкриком он увеличивался, рос... Вот голова его уже где-то под потолком, рядом с висящей керосиновой лампой... Дрожащими пальцами он растегивал кабуру... Милюнэ знала — там лежит маленькое ружьецо, из которого стреляют в людей. Зверя из такого ружья не убивают. С ним не ходят на охоту в тундру или на лед морского припая.

— Встань, подлая тварь! — заорал над самым ее ухом Струков, наставив на нее револьвер.

Но Милюнэ не могла двинуться с места. Она словно приросла к креслу. Медленно закрыла глаза. Сейчас раздастся выстрел, и она вознесется к Зениту. Туда, где живут «окровавленные».

— Встать, говорю!

Почувствовала, как сильная рука тряхнула ее за ворот, поставила на ноги...

— Кто тебя послал сюда? Говори!

«Почему он не стреляет? А... он спрашивает, кто ее послал сюда...»

— Никто,— прошептала она, чуть разжав губы.

И тут ей показалось, что голова ее оторвалась и покатилась куда-то под распахнутый железный ящик. Потом она снова ощутила ее на плечах, ощутила и боль под левым глазом. Глаз распухал, из носа хлынула кровь.

— Говори, кто тебя послал? — орал Струков, тыча холодным стволом револьвера в лицо, в зубы, в подбородок.

— Никто, я сама,— выдавила Милюнэ.

— Кожура!—закричал Струков в раскрытую дверь. Прибежал милиционер и стал в дверях.

— Ты что же, олух эдакий, небо разглядываешь, а тут у тебя под носом большевики секретные бумаги списывают! — набросился на него Струков.

Милиционер, ничего не понимая, смотрел на распухшее, окровавленное лицо Милюнэ, переминался с ноги на ногу.

— Разбуди Громова! Быстро!

Токая валенками с резиновыми галошами, Кожура выбежал из дома. Милюнэ почему-то отчетливо слышала его удаляющиеся шаги.

— Не хочешь говорить? Ничего... заговоришь... — зловеще процедил оквозь зубы Струков.

Он схватил Милюнэ за рукав, вытащил из-за стола, уселся в кресло. Милюнэ встала напротив. Струков тяжело дышал, молча разглядывая Милюнэ. Чертовщина какая-то. И зачем он только согласился приехать сюда. То северное сияние, то дикарка, пищущая за столом! С ума сойдешь на этой Чукотке!

Тем временем Евдокия Павловна и милиционер безуспешно пытались разбудить Громова. Тот в ответ мычал и мотал головой.

— Не проснется он, не старайтесь,— устало сказала Громова.— Пусть спит.

— Дык большевика пымали, — растерянно пробормотал охранник.— Его благородие Струков держут большевика-то...

— Скажите Струкову, что Громов спит, — Евдокия Павловна выпроводила милиционера за дверь. Кожура кинулся назад, в уездное правление.

Навстречу ему шли Безруков и Хваан.

— Чего бежишь, служивый? — спросил Безруков.

— Большевика пымали! — возбужденно сообщил милиционер. — Струков самолично схватил. Баба оказалась!

И он побежал дальше.

Безруков резко остановился:

— Хваан! Милюнэ схватили! Оповести всю группу. Немедленно! Беги к Волтеру, пусть передаст по цепочке.

Струков понял, что если он и дальше будет бить Милюне, он только ожесточит ее и она все равно ничего не скажет. Ему вспомнился «конфиденциальный» разговор Громова с Тренивым.

— Слушай, гадина! — он тоже решил провести такой «конфиденциальный» разговор. — Если ты добром не заговоришь, то тебя будут мучить... Понимаешь? Раскалят в печке шомпол и к заднице твоей поганой приставят. Понимаешь? Дым пойдет, я своими руками прижигать буду, пока не скажешь, кто послал... А то начнем тебе пальцы ломать да вгонять под ногти иглоки... Чего глаза закрываешь? Открой, сука тундровая!

«Только бы не упасть. Нехорошо будет, если упаду... Наверное, и впрямь это очень больно...»

Она чувствовала, что качается, но старалась держаться, не падать.

Кто-то затопал по коридору, вошел в комнату.

— Ваше благородие! — Кожа тяжело дышал, и она слышала какой-то странный хрип в его горле. — Господин Громов почивает и никак не могут прийти. Павловна говорит, все равно не добудиться его.

— Ах, черт! — Струков длинно выругался. — Ну я тебя не выпущу отсюда, пока не расколешься. В тюрьме сгною! А то на холод голую выставлю и водой обливать буду, пока в ледяной столб не превратишься.

Струков приблизился к Милюне и ткнул стволом револьвера в зубы. Она почувствовала, как два передних зуба сломались и рот наполнился горячей соленой кровью.

— Ишшо больнее будет! — прошипел Струков. — Последний раз спрашиваю — кто тебя сюда послал? Говори!

А ведь никто не посылал. Это чистая правда. Она сама догадалась, что надо делать.

— Говори, грязная сука!

«Почему он ее называет сукой? Что в этом плохого? Вон сколько чукотских женщин носят это имя, и никто не думает, что это плохо. Разные понятия о словах у чукчей и тангитанов!»

— Да заговоришь ты?

«Надо сказать, что никто не посылал... Надо сказать...» Но рот полон крови. Милюне сплюнула на пол,

подумав, что потом трудно будет отмыть это кровавое пятно...

— Никто не посылал,— ответила она громко, уверенно.

В коридоре снова послышался топот. Это, верно, идут те, которые будут жечь ее, колоть иголками...

— Руки вверх!

Милонэ вдруг увидела, как скривилось лицо Струкова.

— Оружие на стол!

Руки Струкова поползли вверх, и на стол с громким стуком упал револьвер с каплями крови на мушке.

Кто-то сзади обхватил Милонэ, и она услышала родной, полный сострадания голос...

— Машенька, милая моя, да что он с тобой сделал, изверг! — И она потеряла сознание.

Безруков и Хваан постучались к Громову.

Долго не открывали. Наконец появилась заспанная жена, проворчала:

— Ну что за жизнь, господи! Даже ночью покоя нет. Ну кто там еще?

Хваан проскользнул в комнату, за ним — Безруков. Оба держали в руках наганы.

— Пройдите сюда! — кивком головы Хваан указал на кухню.

Евдокия Павловна испуганно повиновалась.

— Спит, гад. Ну, мы сейчас его поднимем.

Хваан несколько раз ударил Громова по щекам.

Тот приоткрыл глаза.

— Встать! — негромко приказал Безруков.

Сознание медленно возвращалось в затуманенную вином голову. Что это? Кто смеет ему приказывать? В гневе Громов сел на кровать.

— Встать, я говорю! — повторил приказ Безруков. — Именем Советской Республики, именем первого революционного комитета Чукотки вы арестованы!

Громов сполз с кровати и встал перед Безруковым и Хвааном.

— Сергей Евстафьевич?! — растерянно улынулся он.

— С вами говорит председатель ревкома Чукотки Михаил Мандриков!

Громов вмиг протрезвел. Опоздали! Всего на один день опоздали. Вот он, оказывается, Мандриков, рядышком был, вместе плыли на пароходе «Томск». И этот с чудной фамилией... Хваан... тоже плыл...

— Именем революции, арестовал вас Август Берзин, комиссар.

Дрожащими руками Громов стал натягивать на себя одежду. Он надел рубашку на левую сторону, долго не мог попасть ногами в штаны. То обе ноги в одну штанину, то вовсе мимо.

— Как же, значит?— бормотал Громов, одеваясь.— Вы, господа, это зря... Вас приговорят к расстрелу. Мятеж... господа...

— Быстрее, Громов!— поторопил Мандриков.— У нас нет времени.

Громов глянул на него и только теперь понял всю серьезность создавшейся ситуации. Вот они большевики. Из партии Ленина, из тех, кто взял власть в центре России и движется сюда, на Дальний Восток.

Арестованных проводили в тюрьму, приставили надежную охрану.

Мандриков и Берзин вернулись в бывшую колчаковскую канцелярию. Оба были возбуждены, тяжело дышали, но радость переполняла их сердца.

— Ну вот, Август,— с усталой улыбкой проговорил Мандриков.— Революционная власть пришла на Чукотку! Поздравляю!

— Тебя тоже!— Август крепко обнял друга.

— Слава богу, обошлось без кровопролития,— с облегчением вздохнул Мандриков.

— Да... брат... Слабовата оказалась колчаковская власть...

— Сегодня нам спать не придется,— деловито сказал Мандриков.— Надо составить воззвание, телеграммы, утром собрать первое заседание ревкома.

— Ну что же, товарищ Мандриков, начнем работать!— улыбнулся Берзин, придвигая свой стул к столу.

Булатов нес на руках Милюнэ.

Она очнулась на свежем воздухе, испуганно спросила:

— Это ты, Булат?

— Я, Машенька, я...

— Как было больно и страшно!

— Милая моя,— Булатов плакал, и Миллионэ чувствовала, как на ее распухшее от побоев лицо падают его горячие слезы. Соленые, как кровь...

— Милый Булатик, как хорошо, что ты пришел!

— Машенька, наша взяла! Наша Советская власть теперь на Чукотке! Ревком вышел из подполья. Всех колачковых арестовали, посадили в тюрьму...

— В сумеречный дом? Струков хотел меня посадить...

— Теперь он сам там сидит...

Они вошли в домик, и Булатов осторожно положил Миллионэ на кровать. Она хотела сесть, но он придержал ее, ласково поцеловал в разбитые губы и всхлипнул.

— Мне хорошо, Булат... Мне хорошо. Не плачь.

Поутру Тымнэро запряг собак и выехал на лед Анадырского лимана. Надо было привести шесть мешков угля с копей.

Сначала нужно взять на радиостанции пустые мешки. Тымнэро направил упряжку вдоль берега, мимо торосов, и возле здания уездного правления по реке Казачке поднялся наверх. Скользя взглядом по длинному приземистому дому, он вдруг увидел на крыше развевающийся на легком морозном ветру большой лоскут красной материи. Раньше такого не было.

Возле бани Тренива из проруби брал воду Ермачков.

— Чего они материю на крышу повесили?— спросил его Тымнэро.

— Ой, ты ничего не знаешь? Власть почью взяли большевики!— ответил Ермачков.— Советская власть нынче у нас!

— Кто взял власть?— переспросил Тымнэро.

— Большевики.

Тымнэро посмотрел на красный флаг, призадумался, потом вдруг сказал изумленному Ермачкову:

— Так вот кого искали в моей яранге! Вон они кто! И повернул упряжку обратно.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

Товарищи далекого Севера, люди голода и холода, к вам обращаемся мы с призывом присоединить свой голос и разум к общему голосу трудящихся России и всего мира. Да здравствует коммунистическое равенство! Долой капиталистов, спекулянтов!

...16 декабря рабочие Анадыря свергли в Анадырском крае ставленников Колчака и объявили власть Совета рабочих депутатов. Цель переворота — оказать моральную поддержку в борьбе товарищам России и Сибири и уничтожение частной торговли, замена общественным натуральным обменом...

Из воззвания Анадырского Ревкома к трудящимся Анадыря и Анадырского уезда с разъяснением политики Советской власти и призывом поддержать трудящихся Анадыря, свергнувших колчаковских ставленников. Первый ревком Чукотки. Сборник документов и материалов. Магаданское книжное издательство, 1957, с. 19—20

Бледный рассвет пробился сквозь подернутое льдом окно.

Мандриков поднял голову и посмотрел на Берзина. Тот сидел на стуле, привалившись к спинке, и изо всех сил боролся со сном и усталостью.

— Август! — окликнул его Мандриков. — Август!

Берзин мотнул головой.

— Извини, совсем отвык от своего настоящего имени.

— Посмотри, Август,— Мандриков кивнул на светящееся бледным рассветом окно.— Запомни этот день: шестнадцатое декабря тысяча девятьсот девятнадцатого года!

— Иди садись сюда, передохни, а я составлю телеграмму для радиостанций Дальнего Востока,— сказал Берзин.— Надо предупредить всех, чтобы передали — в Анадыре установлена Советская власть.

— Как будем писать — Анадырь или Ново-Маринск? — засомневался Мандриков.

— Мало кто называет теперь это место Ново-Маринским постом. Все адресованные телеграммы идут с пометкой — Анадырская радиостанция. Да и местные жители больше называют поселение — Анадырь.

— Ладно,— пусть будет Анадырь,— согласился Мандриков.

Он уступил место в кресле Берзину, пересел на стул, на минуту закрыл глаза и едва не свалился на пол — уснул мгновенно.

Берзин писал быстро, почти без помарок.

— Вот слушай,— сказал он.— Всем радиостанциям!

Товарищи радиотелеграфисты! Вы первые вестники нового мира, новой жизни, братства, равенства и свободы. Вы волнами атмосферы возвестите нашим братьям, товарищам рабочим и крестьянам, борющимся за торжество социализма, что жители Севера — камчадалы, чукчи, коряки и эскимосы восстали против угнетателей, мародеров-купцов. Укрывательство революционного положения есть тяжкое преступление против рабочих и крестьян. Совет рабочих депутатов Чукотского полуострова призывает товарищей телеграфистов найти все возможные меры скорого и полного слияния с властью Советов России и Сибири. Если ранее радио было прислугой капиталистов-спекулянтов, пусть же сейчас, в период классовой борьбы, оно смое с себя пятно позора и будет вестником свободы! Подписи — председатель революционного комитета Мандриков, комиссар охраны Берзин... Ну, как?

— Хорошо,— ответил Мандриков.— Вот только одно место... насчет волн атмосферы...

— А что тут сомнительного? — пожал плечами Берзин.— По-моему, даже научно.

— Ну что ж, пусть в таком виде и передадут.

Заглянувший в комнату Кулиновский получил приказ доставить телеграмму на радиостанцию.

— А теперь почитай воззвание,— попросил Мандриков,— и выскажи свои замечания.

Берзин внимательно прочитал листки, исписанные торопливым почерком Мандрикова.

— Замечаний у меня нет,— сказал Берзин.— В таком виде и будем предлагать для утверждения.

В комнату вошел Булатов.

— Ну как Маша?— в один голос спросили Мандриков и Берзин.

— Ничего, уснула,— с застенчивой улыбкой сообщил Булатов.— Как она радуется! Пришлось позволить ей встать и выйти на улицу, чтобы увидеть красное знамя над ревкомом. А когда гадов будем судить?

— Ты не торопись,— сказал Мандриков.— Нам еще надо утвердить ревком, распределить обязанности в связи с новой обстановкой. Потом создать следственную комиссию с широким представительством. Наша власть, дорогой Булатов, будет опираться на строгое соблюдение законов Советской Республики. В этом сила и твердость новой жизни... Ты вот лучше сядь сюда и почитай воззвание. Может, что-то добавишь...

Булатов сел к столу и стал читать. Он шевелил губами, улыбался, некоторые слова даже произносил шепотом.

— Здорово!— воскликнул он.— Хорошо сказано — люди холода и голода! Все как надо, нечего добавить,— Булатов вернул воззвание Мандрикову.

— Надо привести сюда Громова — пусть передаст денежные средства,— сказал Мандриков.— Под расписку, как полагается.

— Пошли за ним,— предложил Берзин Булатову.

Прямо по льду они перешли Казачку.

Анадырская тюрьма была огорожена высоким забором из дерновых плит. Наружный часовой узнал своих и пропустил во двор. Один из охранников тащил из сторожки большую кастрюлю с кашей.

— Кормить собираюсь,— сказал он.— Оголодали, требуют еды и представителей власти.

Спертым воздухом ударило в нос. При скудном свете керосинового фонаря Берзин разглядел лица аресто-

ванных, и тотчас на него обрушилась лавина голосов:

— Где справедливость? Где гуманность?

— Почему нас до сих пор не кормят?

— Пусть пришлют адвоката! Адвоката прошу!

— В чем нас обвиняют? Пусть предъявят обвинения!

— За незаконный захват власти вы еще поплатитесь!

— Тихо!— сказал Берзин.— Кто тут толкует о законности? Вы все арестованы законно, на основе постановлений Советской Республики, именем революции! Будет создана следственная комиссия широкого представительства. Вина каждого будет доказана.

Подняли шум. Один старался перекрыть другого. Только Громов оставался безмолвен. Он жестоко страдал с похмелья и жадно пил холодную, натаянную из речного льда воду.

— Вот лакает с утра,— сообщил охранник.— Как бы не лопнул.

— Громов — сюда!— подозвал Берзин.

Бывший начальник Чукотского уезда сделал шаг вперед и остановился перед Берзиным.

— Пойдете с нами,— Берзин подтолкнул его к выходу.

Громов узнал Булатова, увидел у него револьвер и вдруг упал на колени:

— Смилуйтесь, господа! Товарищи, граждане! Не убивайте, не губите душу христианскую! Заклинаю вас именем господа бога, не оставьте сиротами малых детей... Они у меня во Владивостоке, ждут своего батюшку... Не убивайте!

Булатов почувствовал, как Громов обхватил его ноги. Он беспомощно оглянулся на Берзина.

— Иннокентий Михайлович!— голос у Берзина звел металлом.— Никто вас не собирается убивать без суда и следствия. Вам надлежит сдать ревкому денежные суммы под расписку. Так полагается. Идемте!

Громов с облегчением поднялся, покорно двинулся к выходу.

Мандриков сладко спал, положив голову на стол. Как только в комнату вошли люди, он сразу же проснулся.

— Сергей Евстафьевич!— вскрикнул Громов.

— Меня зовут Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич Мандриков. Откройте сейф, пересчитайте суммы. Я заготовил документ, нужна только ваша подпись.

«Расписка.

По требованию Анадырского Совета рабочих депутатов мною сего 16 декабря 1919 года сданы казенные деньги всего в сумме двухсот семидесяти тысяч семисот тридцати двух рублей 57 коп. (270732 руб. 57 к.) российской монетою и четыре доллара восемьдесят центов (4 д. 80 ц.) американскою монетою.

Управляющий Анадырским уездом Громов».

Громов с трудом различал пляшущие перед глазами буквы, но документ аккуратно подписал привычной, размашистой подписью.

— Михаил Сергеевич, — заныл Громов, — мне бы свиданье с Евдокией Павловной, супружницей моей...

— Обращайтесь к администрации тюрьмы, — сухо ответил Мандриков и сказал Булатову: — Отведи его обратно.

Громов двинулся к выходу, но тут же его остановил голос Мандрикова.

— Инокентий Михайлович! Я ставлю вас в известность, что в вашем доме будет произведен обыск. Такая скудность валюты в государственной казне вынуждает нас заподозрить вас в укрывательстве и присвоении значительных сумм.

Громов ничего не ответил, он лишь как-то странно втянул голову в плечи, будто ожидал удара.

— Вечером заседание первого ревкома, — устало произнес Мандриков. — А теперь подумаем — кого нам назначить в следственную комиссию...

Булатов, придя домой, застал у Милюнэ Тымнэро. Чукча растерянно посмотрел на него, потом на Милюнэ, которая уже вовсю хлопотала в домишке, несмотря на опухшее лицо и огромный синяк под глазом.

— Я же сказал тебе — лежать, — укоризненно произнес Булатов.

— Как же тут лежать, когда такое случилось! — возбужденно ответила Милюнэ. — Вон даже Тымнэро пришел, спрашивает, что это за новая власть с красным флагом на крыше.

— Наша власть, Тымнэро,— власть бедных и угнетенных,— сказал Булатов.

— Пролетариев,— добавила Милюнэ, внося в комнату вскипевший чайник.

— А что будет теперь?— спросил Тымнэро.

— Сегодня проведем заседание ревкома. Сделаем план, что дальше. Отберем богатства, награбленные торговцами...

— Ограбите их,— уточнил Тымнэро.

— Не ограбим, а отберем то, что по праву принадлежит трудящимся... Кто ловит рыбу в путину? Сам Грушецкий или сам Сооне-сан? Они даже не каждый-то день спускаются на берег лимана. А рыбу кто берет? Они! Малость платят рыбакам — и все.

— Так сети, снасти ихние...

— Сети, все орудия производства тоже принадлежат по праву трудовому народу.

Тымнэро выпил чашку чаю и заторопился.

— Конечно, власть переменилась, но уголь-то нужен. Поеду в копи. Для радиостанции надо топливо привезти...

В дверях он остановился и повернулся к Булатову.

— Милюнэ, а ну спроси-ка своего тангитана: новые власти будут платить за перевоз угля?

— Будут платить,— твердо обещал Булатов.— Может, даже больше, чем раньше платили.

— Откуда деньги возьмут — они же бедные?— с сомнением сказал Тымнэро.

— Деньги есть,— деловито объяснил Булатов.— Сегодня у Громова приняли казенную кассу.

Тымнэро ушел, и через некоторое время Милюнэ увидела в окошко уходящую в белую даль Ападырского лимана собачью упряжку.

— Я лежала-лежала, а заснуть не могу,— возбужденно рассказывала Милюнэ.— Все вспоминаю ту большую песню. Те слова...

— Какую песню?— удивился Булатов.

— Главную революционную песню, которую сочинил Карл Маркс.

— Кто тебе сказал, что «Интернационал» Карл Маркс сочинил?

— А кто же еще?— удивилась в свою очередь Милюнэ.— Может, Лепин?

— У Мандрикова надо будет спросить,— сказал Булатов.

— Так вот слушай: там есть такие слова — кто был ничем, тот станет всем! Сегодня мы стали всем!

— А что — верно! — согласился Булатов. — Теперь мы — всё! Вечером — первое заседание первого ревкома Чукотки. Открытое, таиться не будем нынче! Вытащи из сундучка мой морской бушлат и красный лоскут на рукав пришей, — попросил он жену.

— Сегодня вечером? — переспросила Милюнэ. — Надо успеть! Бушлат я тебе потом достану и пришью на рукав красный лоскут. А сейчас мне надо идти.

— Куда?

— В уездное правление, — ответила Милюнэ. — Убрать, помыть... Там же грязно. Я там плюнула кровью, когда Струков меня ударил. Ружьем своим ткнул, а зубы мои там, наверное, валяются, — сказала Милюнэ. — Надо убрать. Ведь первое заседание первого ревкома Чукотки!

— Маша!

— Нет, ты меня не уговаривай, не держи. Сам же говорил, что при Советской власти женщина становится ровней мужчине! А теперь за рукав хватаешь...

— Не в этом дело... Ты посмотри на себя в зеркало. Я не хочу, чтобы мою красавицу видели такой...

— Пусть видят! — твердо сказала Милюнэ. — Пусть видят, что я чуть не вознеслась в Зенит, в царство «окровавленных»... Если бы Струков застрелил меня, — объяснила Милюнэ, — то сейчас я уже была бы в Зените, на самом верху северного сияния. Там живут те, кто погиб в боях, тот, кто окровавился в сражении.

Разговаривая с мужем, Милюнэ торопливо одевалась. Натянула на себя камлейку с пушисто отороченным капюшоном.

Мех почти прикрыл ее побитое лицо, и она, улыбнувшись, сказала:

— Вот так не очень видно будет, верно?

— Ладно уж, — махнул рукой Булатов и вместе с Милюнэ пошел в здание ревкома.

По дороге Милюнэ несколько раз останавливалась и любовалась трепещущим на легком ветру красным флагом.

— Очень красиво!

— Ты что сюда явилась?— удивился ее приходу Мандриков.— Тебе надо дома лежать.

— Не хочет она,— развел руками Булатов.— Говорит: убрать надо — первое заседание, чтобы чисто было!

— Мне очень хорошо, я совсем не больная,— уверила Милюнэ, беря все еще стоявшее здесь ведро с водой и тряпкой.

Милюнэ оттирала кровавое пятно на полу. Она искала выбитые зубы, но не нашла — видно, вынесли на подшивах.

— Да не трудись так, Маша!— сказал Мандриков.— Все равно вечером все затопчут.

— Ну и что! — возразила Милюнэ.— Пусть! Зато когда войдут — увидят: чисто, тепло! Я еще возьму кумача и покрою стол.

— Ну и жена у тебя, Булат!— засмеялся Мандриков.— Повезло тебе, парень, прямо завидую.

Он отомкнул денежный ящик, достал деньги и, подавая Милюнэ, сказал:

— Вот на эти деньги купишь кумачу на стол... А тут запишем первый расход ревкома,— он достал приходно-расходную книгу и открыл новую страницу.— Четыре аршина кумача...

* * *

Каждый, кто раньше бывал в уездном правлении, замечал, что сегодня здесь удивительно чисто, и покрытый красной тканью стол, за которым сидел Мандриков, придавал помещению особую торжественность.

Из соседних комнат Милюнэ принесла немногочисленные стулья, табуреты и скамьи.

Все были радостно возбуждены, хотя никто в эту тревожную ночь не сомкнул глаз. Пришли почти все члены подпольного ревкома, осталась лишь охрана у тюрьмы.

Все шумно рассаживались, поздравляли друг друга, улыбались. Лишь Мандриков среди всеобщего ликования был строг и бледен. Он начал тихим, но твердым голосом:

— Товарищи! Разрешите открыть первое легальное заседание первого ревкома Чукотки, представляющего

на Крайнем Северо-Востоке Советскую Республику, власть рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Кончилось время долгой ночи для этой далекой окраины России! Народ, задавленный нуждой и самой хищной эксплуатацией со стороны разного рода коммерсантов, полицейских чинов и прочих сволочей — освободился для строительства новой жизни. Прежде чем продолжать заседание, нам надо избрать секретаря и его помощника, чтобы все, что здесь мы говорим, записывать, а потом оповещать широкие народные массы, ибо власть народная и мы не собираемся ничего утаивать! Какие есть соображения?

Берзин вышел вперед.

— Такие у меня соображения, — сказал он. — Михаил Куркутский является в нашем ревкоме представителем коренного населения. Человек он грамотный, учитель. Пусть он и будет секретарем, а помощником к нему можно определить товарища Александра Булатова. Он способный, хорошо и чисто пишет.

Куркутский и Булатов уселись рядом с председателем. Там уже лежали приготовленные чистые листы бумаги и карандаши.

— Товарищи, — продолжал Мандриков. — Нам надо принять воззвание Анадырского ревкома к трудящимся Анадыря и Анадырского уезда с разъяснением политики Советской власти и призывом поддержать трудящихся Анадыря, свергнувших колчаковских ставленников... Вот это воззвание.

«Товарищи далекого Севера, люди голода и холода, к вам обращаемся мы с призывом присоединить свой голос и разум к общему голосу трудящихся России и всего мира.

Да здравствует коммунистическое равенство!

Долой капиталистов, спекулянтов!

Третий год рабочие и крестьяне России и Сибири ведут колоссальную борьбу с наемниками богатых людей Америки, Японии, Англии и Франции, которые хотят затопить в крови трудящийся народ России. Русское бывшее офицерство, сынки купцов-спекулянтов, объединившись вокруг господина Колчака и получая от бывших союзников оружие и деньги, приступили к удушению рабочего и крестьянина. Япония выслала в Приамурье двести тысяч солдат, которые заняли все дерев-

ни, безжалостно убивая детей и стариков. Они думали этим кровавым террором убить русскую революцию, лишит свободы трудящихся, но ошиблись. Советские войска, одухотворенные жаждой равенства и свободы всем, кто трудится, разбили армию Колчака и сейчас подступают к Иркутску, где не замедлят уничтожить последние остатки бывших тиранов, а последние уцелевшие остатки поняли обман своих правительств и требуют ухода из русских территорий. Вот почему долг каждого рабочего-камчадала — в последний час прийти на помощь своим братьям по труду, свергнуть ставленников Колчака, купцов и мародеров, которые так безжалостны к вашему труду, к вашим жизням. Каждый человек имеет право на равный кусок всей ценности в мире, созданной трудом, и каждый должен трудиться. Только тогда не будет бедных и богатых и на земле воцарится равенство и братство. С таким желанием рабочие ведут борьбу со всей буржуазией.

16 декабря рабочие Анадыря свергли в Анадырском крае ставленников Колчака и объявили власть Совета рабочих депутатов. Цель переворота — оказать моральную поддержку в борьбе товарищам России и Сибири и уничтожение частной торговли, замена общественным натуральным обменом...»¹

Воззвание заканчивалось призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует Советская Республика!»

— Кроме этого воззвания, — сообщил Мандрников, — мы отправили на все радиотелеграфные станции, которые имеют связь с Анадырской станцией, обращение к телеграфистам, а также сообщение об установлении Советской власти на Чукотке. Ближайшая задача — распространить наше влияние на весь обширный край. Это будет нелегко — единственный транспорт — собачья упряжка. Но мы должны отправить две группы — одну в верховья реки Анадырь, в Марково и Усть-Белую, и в оленеводческие стойбища, вторую — на Север, на мыс Дежнева, где засилье американских торговцев особенно велико.

Приняв воззвание, ревком распределил обязанности. Берзин остался комиссаром охраны с широкими пол-

¹ ЦГА РСФСР ДВ, ф. 2379, оп. 3, д. 2, п. 1 (подлинник).

помочиями, комиссаром радиостанции был назначен Василий Титов.

— Товарищи,— Мандриков заметно устал, и голос его осип.— Есть еще одно безотлагательное дело: утвердить состав следственной комиссии. Поскольку дело серьезное, я сам решил возглавить эту комиссию. Какие будут предложения по составу?

— Товарища Титова,— сказал Берзин.

— Хорошо,— кивнул Мандриков и сделал знак Куркутскому внести в список Титова.

— Товарищи! Товарищи!— Волтер встал во весь свой могучий рост. На его лице сияла торжественная улыбка.— У меня такое соображение: ввести в состав следственной комиссии коммерсанта Тренева.

— Зачем эту лису в следственную комиссию?— зашумели кругом.

— Пусть такой!— патетически воскликнул Волтер.— Но победившие не должны терять голову! Мы пришли установить братство людей...

— Трудящихся!— поправил Мандриков.

— Да-да, и трудящихся!— быстро согласился Волтер.— Но надо и представителей имущих классов привлекать. Тех, которые осознали справедливость нашего дела и перешли на нашу сторону. Особенно образованных и грамотных. Тренев — человек демократически настроенный. Я думаю, включив его в состав следственной комиссии, мы заткнем глотку нашим врагам, не позволим обвинить нас в диктаторстве и узурпаторстве... Кроме того, товарищ Мандриков,— он один, а вас, большевиков, двое.

Члены ревкома долго и бурно спорили, обсуждали столь неожиданное предложение Волтера. Наконец все же решили занести Тренева в состав комиссии.

— Товарищи,— Мандриков прислушался: за стеной звякала печной дверцей Милюнэ.— Маша!

Милюнэ вошла в комнату.

— Машенька, принеси, пожалуйста, воды,— попросил Мандриков.— Горло пересохло, говорить уже не могу.

Милюнэ важно прошествовала с кружкой холодной воды и поставила ее перед Мандриковым. Все уже знали о допросе, который учинил ей Струков, и с уважением и сочувствием провожали ее взглядами.

— Товарищи,— продолжал Мандриков, глотнув воды.— Нам предстоит большая и тяжелая работа. Экспроприация, то есть изъятие товаров и ценностей из рук торговцев в народное пользование. Укрепление нашего влияния на всем пространстве Чукотки... Пусть нас немного сегодня... Мы выступили раньше назначенного срока ввиду чрезвычайных обстоятельств: Громову стало известно о существовании подпольной группы, и он уже запрашивал Червянского о нашем аресте. Но и дни Червянского тоже сочтены. В скором времени трудящиеся Камчатки установят и на своем полуострове Советскую власть. А до той поры нам надо держаться!

* * *

Тренев воспрял духом. Куда девался его бледный чахоточный вид? Он важно шествовал по анадырским улицам, улыбался, говорил ласково и даже несколько правоучительно.

Агриппина Зиновьевна встревожилась:

— Ну что у тебя общего с этими голодранцами? Погляди на них! Вот увидишь — завтра они в этот ревком введут нашу бывшую служанку!

— А что?— подняв брови, ответил Тренев.— Вполне возможно. Говорят, она оказывала революционерам большие услуги. И в канцелярию-то устроилась для того, чтобы переписывать секретные документы.

— Господь с тобой!— воскликнула Агриппина Зиновьевна.— Чтобы Маша писала!

— Да вот, именно так, дорогая,— усмехнулся Тренев.— Писала! Не забывай, что она из королевского стойбища. Мы еще ничегошеньки не знаем о здешних жителях. Может, у них существует какая-нибудь тайная гимназия? Сказывали же, что в тамошнем стойбище живет человек, который изобрел чукотскую письменность. И, насколько мне помнится, он близкий родственник нашей Маши.

— О, боже!— простионала Агриппина Зиновьевна.— Голова кругом идет. А притворялась! «Ничего не понимаю, ничего не знаю...» Ну, змея!

— Не надо так говорить, милая,— попросил Тренев.— Помни, что она близко стоит к нынешней власти.

— Но тебе-то какая корысть лезть в эту следственную комиссию?— допытывалась Агриппина Зиновьевна.

— Дальний прицел,— загадочно ответил Тренев.— Очень дальний. Думаю, что на этот раз не промахнусь. Кто-то тихо скребся в дверь.

Агриппина Зиновьевна вышла в сени, прислушалась и спросила с дрожью в голосе:

— Кто там?

— Это я,— ответил приглушенный женский голос.— Евдокия Павловна...

— Господи,— прошептала Агриппина Зиновьевна, обернувшись к мужу.— Зачем она пришла?

— Впусти ее.

Женщина вошла и горячо зашептала:

— Вы не беспокойтесь — никто не видел... Я потихоньку...

Евдокия Павловна прошла в комнату и тяжело опустилась на стул.

— Иван Архипыч, дорогой, я знаю... вы не любите Иннокентия Михайловича, но вы человек порядочный... все говорят... Мой Кеша...

Евдокия Павловна достала кружевной платочек, смакнула слезу.

— Мой Кеша столько страдал... Он так любит Россию... Он и к Колчаку служить пошел во имя спасения России... Вот я припесла вам...

Она долго копалась в своих многочисленных юбках, пока не извлекла довольно объемистый сверток.

— Я принесла...

— Что это?— испуганно спросил Тренев.

— Тут золото, валюта...

— Да за кого вы меня принимаете, Евдокия Павловна!— с возмущением воскликнул Тренев.

— На сохранение, на сохранение,— торопливо забормотала Евдокия Павловна,— со дня на день у меня могут обыск сделать... Прошу вас, дорогой Иван Архипыч...

Тренев переглянулся с женой, и та глазами разрешила взять сверток.

— Хорошо, Евдокия Павловна,— после некоторого раздумья проговорил Тренев.— Я возьму, и даже разворачивать не стану. Можно сказать, я ничего не знаю, что в этом свертке...

— Вот-вот, Иван Архипыч! Вы ничего не знаете... Я слышала, новые власти назначили вас в следственную комиссию...

— Да... но я всего лишь член комиссии,— возразил Тренев.— Со мной консультируются только по правовым вопросам, имеющим специфически процессуальное значение!

Тренев говорил важно, растягивая слова и искоса поглядывая на сверток с драгоценным металлом.

— Конечно, конечно...— торопливо согласилась Громова.— Но все-таки, как человек добросердечный, сострадательный, вы уж моего Кешу-то... Ведь служил он честно, бескорыстно, выполнял приказы...

— Куда бы мне это спрятать?— как бы в задумчивости произнес Тренев.— Боюсь, заховаю так, что потом сам не найду...

— И пусть, пусть,— замахала руками Евдокия Павловна.— Лишь бы большевикам не досталось! Хоть в прорубь бросьте, что у вашей бани!

— А ведь это дельно!— обрадованно произнес Тренев.— Вот уж куда никто не сунется!.. Что же касается вашего мужа,— уже другим тоном проговорил Тренев, взвешивая на руке сверток,— я твердо обещать не могу, дело сложное, но все же...

— Да-да,— снова заторопилась Евдокия Павловна.— Что можно, хоть самую малость... Жизнь бы ему сохранили...

Громова еще раз утерла слезы.

— Ну я пойду,— сказала она.— Обнадеслили вы меня, Иван Архипыч! Спаси вас бог и награди всяческими милостями!

Громова вышла в сени. Тренев осторожно выглянул на улицу. На стене дома белел большой лист бумаги. Иван Архипыч насторожился:

— Погодите!— остановил он Евдокию Павловну.

«Воззвание,— прочитал Тренев,— Анадырского ревкома к трудящимся Анадыря и Анадырского уезда!»

На улице, к счастью, было пустынно.

— Идите быстрее!— шепнул он и почувствовал, что руки у него задрожали.

Сверток лежал на кровати.

Агриппина Зиновьевна зачарованно смотрела на него.

— Поглядим?— спросила она.

— Погоди, запру дверь.

Занавесив окно, Тренины нетерпеливо развернули сверток. На лоскутное одеяло выкатились золотые монеты, туго свернутые пачки денежных знаков. Тут были американские и сингапурские доллары, франки, китайские юани и японские иены...

— А ведь тут и мои денежки лежат, — пробормотал Тренин, собирая в кучу золотые монеты. — Так что, можно сказать, — вернули мы свое... С процентами... Знаешь, для виду можно эту китайскую макулатуру и впрямь в прорубь бросить...

— Зачем? — вскинулась Агриппина Зиновьевна. — Что они — мешают тебе?

Сумма была довольно внушительной. Здесь лежал весь побор, учиненный Грозовым от имени колчаковского правительства якобы для нужд новой администрации.

«Вот что можно делать, когда в руках власть», — с невольной завистью подумал Тренин.

У них был свой, особый тайничок, о котором не догадывалась даже Милюна, когда служила у них. Тайничок находился на кухне под железным листом, защищающим деревянный пол от горящих углей. Именно туда они и спрятали грозовские капиталы.

— А на нашей стене воззвание ревкома висит, — сказал Тренин, когда они, немного успокоенные, уселись пить чай.

— Боже, зачем это? — накинулась на него Агриппина Зиновьевна.

— Наш дом так стоит, Грушенька... И потом, ту стену снегом не заносит...

— Теперь люди будут толпиться, — недовольно заметила Агриппина Зиновьевна. — Нет, ты скажи этим... Пусть нашу стену не трогают. Пусть лепят на уездное правление.

— Там тоже висит...

— Вот и пусть висит... А у нас потребуй, чтоб сняли...

— Ну что ты, Груша, как я могу требовать? — виновато улыбнулся Тренин. — Может быть, так даже лучше...

— О господи, Ванечка! Что же дальше-то будет?..

— Дальше... А дальше уедем отсюда — и все! — решительно заявил Тренев. — Хватит с меня Чукотки! Вот она у меня где, вот! — Он постучал себя кулаком по затылку.

* * *

Бессекерский сам открыл склад. Он долго не мог попасть ключом в замочную скважину, злился, нервничал.

— Да вы не волнуйтесь, господин Бессекерский, — насмешливо заметил Берзин. — Спокойнее, спокойнее.

Дверь тяжело подалась, и комиссия по экспроприации вошла в стылый, насквозь замороженный склад.

— Показывайте все! — приказал Берзин.

Считали ящики, мешки, пушнину, развешанную под самыми стропилами довольно крутой крыши.

— А где оружие? — спросил Берзин.

— Вон ящики лежат, — показал Бессекерский в угол.

— А говорили, у вас целый арсенал, — сказал Берзин, увидев два полупустых ящика.

— Было у меня оружие, — с готовностью сообщил Бессекерский, — уже думал: погорел с этим товаром. Но вот понемногу разошлось все.

Составили акт, скрепили его подписями, Берзин протянул торговцу ключи.

— Что это?.. Как прикажете понимать?.. — растерянно спросил Бессекерский.

— Возьмите ключи. Завтра зайдите в ревком и ознакомьтесь с новыми правилами торговли, налогообложения и ценами на товары и пушнину.

— Значит, я остаюсь владельцем склада? — совсем растерялся Бессекерский. — А говорили...

— Вы временно, в силу необходимости, считаетесь служащим ревкома, — объяснил Берзин. — Будете получать жалованье, как всякий трудящийся.

— Да, да, понимаю, — торопливо проговорил Бессекерский и неожиданно, может, даже против своей воли, поклонился Берзину.

Комиссия направилась к Грушецкому. Тот, не говоря ни слова, протянул ключи, сам же, демонстративно повернувшись, ушел. Экспроприацию произвели без него.

— В будущую путину рыбу будет ловить артель, —

сказал Берзин.— Все эти ставные невода теперь принадлежат народу.

Баня Куркутский, входивший в группу экспроприации, посоветовал:

— Эти малые сети, оннак, можно раздать людям, особливо каюрам. Оне, мольч, ловют для своих собацек, а сетей-то нет.

— Что же — это можно,— согласился Берзин.— Пошли к японцу?

Сооне, однако, у склада не было, хотя он, как и все коммерсанты, был заранее предупрежден о предстоящей комиссии.

Куркутский пошел за ним домой, но быстро вернулся, слегка смущенный.

— Заболел японец,— сказал он виновато.— Лежит на кровати, стонет, как пес, и баба его голосит, будто он уже мертвый.

— А ну пошли к нему,— решительно сказал Берзин.— Притворяется, гад. Вчера улыбался да кланялся.

Еще из сеней послышалось завывание женщины. А когда комиссия вошла в небольшую комнатку, застал и сам Сооне-сан.

— Что у вас болит, Сооне-сан?— спросил Берзин.

— Горова, живот, нога, спина! О-о-о-о! Нет здоровья! Совсем нет сира!

— А вот я вижу, что вы притворяетесь, Сооне-сан,— повысил голос Берзин.— Это называется — саботаж! Понимаете, Сооне-сан — са-бо-таж! За это по революционным законам полагается расстрел!

Сооне-сан перестал стонать, приподнялся на постели.

— Посиму расстрер? Я — иностранный подданный, меня охраняет Его веричество иньпиратор Японии, микада... Меня охраняет генерар Отани...

— Хватит! — отрезал Берзин.— Твой Отани вещички на пароход грузит, к микаде драпает. Красная Армия наступает. В ноябре был взят Омск... Понимаешь, где Омск? Вполне возможно, что и Иркутск взят Красной Армией. Так что, Сооне-сан, хватит болеть, пошли на склад.

— Хоросё,— покорно согласился Сооне-сан и спустил ноги в толстых шерстяных чулках на пол, на травяную циновку.

Женщина подала ему одежду, и вскоре они направились к складу.

Склад был битком набит разными товарами. Да, последний пароход из Японии хорошо снабдил своего земляка.

До позднего вечера пробыли члены комиссии на складе Сооне-сан, переписывая мешки с мукой, сахаром, сколоченные из тонких дощечек ящички, где хранился ароматный китайский чай в японской упаковке, рулоны тканей.

На отдельной полке стояли металлические десятилитровые банки.

— А это что такое?— спросил Берзин.

— Сипирта,— ответил Сооне-сан, кланяясь в пояс,— очень хороший товара. Сукса любит, эскимоса тозе.

— Весь этот сипирта,— приказал Берзин,— вылить!

Ваня Куркутский с недоумением уставился на комиссара охраны.

— Да, да,— повторил Берзин,— все это вылить.

— Это, мольч, такое богатство,— пробормотал Куркутский.— Кто узнает, оннако, смеяться будут...

— Знаешь такую русскую пословицу — смеется тот, кто смеется последний,— сказал Берзин.

Куркутский подумал и возразил:

— Первый тоже смеется.

Первую банку вылили прямо у склада, но здесь еще снегу было мало, и на поверхности земли образовалась лужица. Пришлось искать сугроб побольше.

Весть о том, что ревкомовцы выливают спирт, мгновенно разнеслась по Ападырю. Со всех сторон к берегу лимана устремились люди с банками, пустыми бутылками и даже с ведрами.

Куркутскому было жаль спирта, и он лил осторожно, будто это могло спасти драгоценную жидкость.

— Ваня, да ты что? Доспел? Мольч, погодь-то в снег лить, в ведро мое наструй!— издали кричал ему Ермачков. Громкий окрик остановил его:

— Стой! Стрелять буду!

И впрямь — раздался выстрел, почти над самой головой Ермачкова просвистела пуля. Рыбак упал.

— Убил! Убил!— заголосили вокруг.

Ермачков на четвереньках подполз к комиссару, завопил:

— Пошто стрелишь-то? Пошто? Я — рыбака, опора новой власти, а ты стрелишь, мольч?

— Товарищ Ермачков, спирт уничтожается по решению ревкома, — объяснил Берзин. — Отныне никто не может спаивать местное население в целях грабежа и обмана.

— Так и сказал бы, — обиженно пробормотал Ермачков.

Однако толпа не расходилась, и когда были вылиты последние капли спирта, люди бросились собирать снег, наполняли им ведра, банки, бутылки. Не успели и оглянуться — а сугроба как не бывало.

Куркутский пошел к Тымнэро, чтобы объявить ему о его доле на сети.

В чоттагине жарко пылал костер, и обитатели яранги пили чай за низким столиком у бревна-изголовья. Здесь же была и Милюнэ.

Ваня Куркутский поглядел на нее, улыбнулся:

— Оннако, мольч, зажило, dospelo как на собаке.

— Уже синяк проходит, — отозвалась Милюнэ. — Вот только зубы жаль.

— Железные поставят, — засмеялся Куркутский, — а еще лучше — из денежного металла. Мой брат, мольч, толкует: опосля революции из денежного металла нужники будут делать. А уж на зубы-то наскребут. Я видел, у иных тангитанов весь рот полон денежного металла. Улыбнется — луч по глазам бьет, будто сияние.

Куркутский принял чашку чаю, отхлебнул и похвалил:

— Скусный!

— Хорошо стали за уголь платить! — сообщил Тымнэро. — Вдвое против прежнего. Вон какая новая власть. Столько менялись, ссаживали один другого — но еще никто столько не платил.

— Потому что это наша власть — Советская, власть народа! — сказала Милюнэ.

— Так толкуют, — подтвердил и Куркутский. — Нонче мы с комиссией отобрали товары у торговцев. Все дочиста. А дурную веселящую воду в снег вылили. До последней капли.

— Зачем это? — испуганно спросил Тымнэро.

— Чтобы торговцы да коммерсанты нас не обманывали. Чтобы не дурмалили голову,— объяснил Ваня Куркутский.— Все снасти, невода да сети Грушецкого и Сооне отдают народу. И ихние рыбалки тоже... Совместно будем ловить рыбку, молч...

— Уж ловили сообща-то,— усмехнулся Тымнэро.

— Ну, тогда не то!— возразил Куркутский.— Нонче, молч, на настоящей рыбалке будем, с кунгаса да на ставнях неводах! А малые сети решено беднякам раздать. Тебе тоже две сетки полагается. Вот завтра пойдемшь и возьмешь...

— Никуда я не пойду и ничего не возьму,— обозлился Тымнэро.— Мне чужого не надо.

— Так это теперь не чужое, а наше, народное...

— Все равно не возьму,— мотнул головой Тымнэро.— Люди знают, чье это добро, а я брать буду...

— Зря такое говоришь,— принялась объяснять Милюнэ.— Люди с добром, с открытым сердцем к тебе, хотят помочь из нужды выбиться, чтобы ты настоящим человеком себя почувствовал...

— Послушай, Милюнэ,— Тымнэро старался говорить спокойно, хотя и был сильно взволнован.— Я живу, как настоящий человек, как луораветлан, и мне не надо другой жизни... Может, она тебе нужна, потому что ты стала женой таигитана, или вот Ване Куркутскому, потому что он сам — от древних таигитанов... А я хочу жить сам по себе... Пусть власть, какая бы она ни была, меня не трогает. Я к ним не лезу, так и меня пусть силком не тянут.

Куркутский с Милюнэ молча переглянулись — они поняли: говорить с Тымнэро пока бесполезно.

* * *

Следственная комиссия ввиду обилия текущих дел заседала поздно вечером, при свете керосиновой лампы.

Булатов вел протокол.

Войдя в комнату, Тренев поздоровался со всеми за руку и снял шубу. Он был в черном сукопном сюртуке, в белой рубашке, весь чистенький, аккуратный.

Мандриков посмотрел на него и подумал, что и ему бы следовало привести свою одежду в порядок: негоже

председателю ревкома появляться на людях в мятой рубашке да драном пиджаке.

— Товарищи,— начал Мандриков.— Мы допросили главарей колчаковской банды...

— Извините, товарищи,— перебил его Тренев.

Мандриков вопросительно посмотрел на него.

— Вы слышали когда-нибудь такое выражение — презумпция невиновности?

Мандриков пожал плечами. Остальные тоже явно не слышали такого.

— Это элементарный юридический термин, означающий, что ни один человек, даже застигнутый на месте преступления с окровавленным топором, не считается виновным до тех пор, пока суд не вынесет свое решение, пока не будет оглашен приговор...

— Вот это да! — воскликнул Титов.

— Тем не менее это так,— продолжал Тренев.— Презумпция невиновности при всей своей парадоксальности имеет глубокий гуманистический смысл. Советская власть, насколько я понимаю, коренным образом отличается от всякой другой власти именно своей гуманностью, ибо она направлена непосредственно на человека. Достоинство, честь человека — для нее самое главное. И я перебиваю вас, товарищ Мандриков, только для того, чтобы выразить свое пожелание, как члена следственной комиссии, чтобы эти... э-э-э... господа не назывались бандой или еще какими уничижительными словами, пока суд не докажет их виновности...

Мандриков был явно растерян. Он взглянул на Булатова, ища поддержки. Тот сосредоточенно писал, стараясь все запечатлеть на бумаге.

— Надо думать еще и о том, что скажет история! Как оценят ваши действия будущие потомки!

Поколебавшись, Мандриков сказал:

— Лучшая оценка потомков — если мы сохраним для них Советскую власть... Ну, а что касается этих, будем называть их прямо — ставленники Колчака.

— Ну что же,— согласился Тренев.— Так будет лучше.

— Так вот,— продолжал Мандриков,— мы допросили ставленников Колчака и выяснили их полную виновность...

— Виновность должен доказать суд,— улыбнулся Тренев.

— Участие в незаконных расстрелах шахтеров, обысках и поборах... Громов, конечно, отъявленная сволочь...

— Михаил Сергеевич!— укоризненно покачал головой Тренев.

— Сволочь!— с нажимом повторил Мандриков.— Все здесь делалось по его приказу. Струков, который плясал под его дудку, утверждает нагло, что согласился идти в колчаковскую милицию, чтобы не быть мобилизованным в армию. Ревком на своем заседании рекомендовал вынести доклад следственной комиссии на рассмотрение общего собрания жителей Ново-Мариинского поста, или по-новому Анадыря. Таково решение ревкома, хотя, господин Тренев, мы, согласно законам военного времени, имеем право именем ревкома расстреливать явных контрреволюционеров.

Мандриков говорил и чувствовал, как сопротивляется его словам Тренев. Юридическая терминология коммерсанта чуть было не сбила с толку председателя ревкома. Еще во время кооперативной работы на Амуре Мандриков понял силу юрисдикции, силу писаного закона. В самой деятельности первого ревкома Чукотки ему бы тоже хотелось обойтись без излишней жестокости, раз уж так случилось, что переворот был бескровный, если не считать побоев, нанесенных Милюнэ.

— Пусть решает народ!— сказал он в заключение.

Тренев, Мандриков и Булатов шли вместе по улице. С лимана задувал секущий лицо морозный ветер. Мела поземка, и небо было затянуто облаками.

— Гуманизм,— журчал в ухо Тренев,— всегда привлекателен для широких народных масс. Он склоняет на сторону добрых и просвещенных правителей, даже бывших врагов...

Но Мандриков не слушал его. Он думал о том, что взять власть — это только начало. А самое сложное, самое трудное еще впереди: удержать Советскую власть, распространить ее не только на обширные пространства Чукотки, но и — в сознание широких народных масс.

Где-то в Якутии сейчас Петя Каширин. Как его не хватает здесь, с его знанием языка и обычаев чукчей и эскимосов, с его умением подходить к людям...

Первый большой сход жителей Ново-Мариинского поста, ныне именуемого Анадырем, собрал, наверное, все население поселка. Пришел даже Сооне-сан со своей сожительницей. Заметив его, Берзин сказал вежливо:

— Вам, Сооне-сан, придется покинуть собрание.

— Посиму?

— Потому что вы — иностранец, подданный императора Японии, микадо.

— Хоросё,— кивнул Сооне-сан и вытянул указательный палец вперед.— Это кто?

Берзин оглянулся. Японец показывал на Аренса Волтера.

— А это член ревкома — Аренс Волтер,— секунду помедлив, ответил Берзин.— Вы тоже хотите стать членом ревкома, Сооне-сан?

— Нет, спасибо!— сухо ответил японец и, низко кланяясь, стал пятиться к дверям.

Мандрикову пришлось встать на табуретку, чтобы его было слышно.

— Граждане и товарищи! Жители Анадыря! От имени революционного комитета разрешите поздравить вас с установлением Советской власти на самом дальнем краю Советской Республики! Товарищи! Час освобождения всего Дальнего Востока приближается. И каждый из нас должен приложить все усилия для того, чтобы солнце свободы воссияло над холодными заснеженными просторами Чукотки и Камчатки. Красная Армия подступает к Иркутску. У нас еще нет достоверных сведений, но, думаем, что Иркутск уже взят. А это означает, что вскоре власть Советов и красный флаг революции будут развеиваться на всем протяжении большой нашей страны от Балтики, от Петрограда до Анадыря! Наша ближайшая задача — и здесь, на просторах вечной мерзлоты, распространить нашу Советскую власть в глубь тундры, на все побережье ледяных морей.

Тренев, сидящий недалеко от оратора, чувствовал нарастающее волнение и думал про себя: «А хорошо, черт возьми, говорит! Убедительно!»

Милюнэ, прижавшись к мужу, смотрела зачарованно на Мандрикова, и перед ней проносились вся ее

жизнь от дымной яранги на берегу Ташорера до сегодняшнего дня. По годам вроде бы прожито немало — а какая длинная дорога оказалась к новой жизни! Разве она думала, что судьба подарит ей такое счастье...

— Мы произвели изъятие ценностей и товаров у коммерсантов. Товарищи, — это необходимое условие существования Советской власти. Но мы приветствуем сотрудничество всех слоев населения с ревкомом. Вот почему мы почти всех торговцев как бы взяли на службу. Они будут продавать по утвержденным ценам, и вообще вся торговля будет вестись по новым, советским правилам, исключаящим обман и надувательство...

Мандриков, справившись с первыми минутами волнения, обрел уверенность. Он всматривался в лица собравшихся и с горечью видел: большинство — мелкие торговцы, хозяйчики. И совершенно нет местного населения... Даже Тымнэро не пришел... Вот только Маша...

— Советская власть ликвидирует любые задолженности торговцам, — продолжал Мандриков. — В дальнейшем будут созданы кооперативные объединения для ловли рыбы.

Мандриков откашлялся, помолчал немного. Слушали его внимательно.

— Теперь хочу сказать о работе следственной комиссии. Не все из вас знают о преступлениях ставленников Колчака — Громова, Струкова, Суздалева и всей их компании. Это они расстреляли шахтеров с Угольных копей, истязали многих жителей, проводили незаконные обыски. Ревком Чукотки уверен в их виновности... Ревком их приговаривает единогласно к смертной казни.

Он скосил глаза на Тренева, но тот сидел тихо, напряженно.

— Поскольку наша власть народная и революционный суд опирается на мнение широких слоев населения, хотим вас спросить — согласны ли вы с этим?

Мандриков соскочил с табуретки и занял место за столом.

— Расстрелять гадов! — крикнул кто-то с места.

— Казнить революционной казнью!

— Нет им пощады!

— Товарищи! — Бессекерский поднял руку. — Мы не можем приветствовать самосуд... Конечно, эта тро-

нца крепко виновата перед народом. Но поскольку у нас нет настоящего суда, у меня есть предложение — содержать арестованных в тюрьме до прибытия парохода из Владивостока. До лета еще далеко, и, как заверил нас товарищ председатель, к тому времени Красная Армия уже возьмет Владивосток. Значит, к нам придет советский пароход.

Тут вскочил Тренев.

— Как один из членов следственной комиссии, я подерживаю предложение, э-э-э, гражданина Бессекерского. По-моему, оно разумно. Честно говоря, зачем ревкому марать себя кровью в первые же дни существования Советской власти?

Он с улыбкой посмотрел на Мандрикова.

— Есть другие предложения? — спросил Мандриков.

— Они-то не стеснялись марать себя кровью, — зло выкрикнул один из шахтеров.

— В том-то и дело! — горячился Тренев. — Зачем новой власти, так сказать, становиться на одну доску с этими...

— Общий приговор — смертная казнь остается в силе, — твердо сказал Мандриков. — Однако приведение приговора к исполнению мы оставим до лета и с первым же пароходом отправим арестованных во Владивосток.

Расходились со схода, шумно обсуждая последние слова Мандрикова.

Тренев подошел к председателю ревкома.

— Михаил Сергеевич, — вежливо обратился он. — Откуда, позвольте узнать, взялся приговор — смертная казнь? Как члена следственной комиссии, вы меня не спрашивали — одобряю ли я такое решение.

— Господин Тренев! — сухо проговорил Мандриков. — Следственная комиссия только расследует преступление, но приговор выносит революционный комитет, членом которого вы, Иван Архипыч, не являетесь.

— Так-так-так, — забормотал Тренев и заторопился к выходу. — Конечно, разумеется, я понимаю...

Он шагнул к дому, а за спиной его, на крыше бывшего уездного правления, колыхался, пощелкивая на морозе и ветру, красный флаг.

Глава
вторая

31 декабря отправлен отряд на партах вверх по реке Анадырь в Белую и Марково для ликвидации власти ставленников Колчака. Две крупные монопольные фирмы национализированы согласно постановлению Революционного комитета. 15 января отправляем отряд на мыс Дежнева для ликвидации колчаковщины, конфискации имущества купца Карасева — поставщика оружия для белых. Ждите указание о ликвидации частной торговли и замены ее натуральным обменом. Председатель Совета Мандриков
Компсар охраны Берзин

Сообщение Анадырского Ревкома в Охотск о революционном перевороте в Анадыре и национализации торговых фирм. ЦГА РСФСР, ф. 1383, оп. 1, д. 7, л. 16, 17. Телеграфный бланк

Милюнэ шила кухлянку для Берзина. Вторую — для Мефодия Галицкого — взялась шить Тынатваль, жена Тымнэро.

Милюнэ торопилась.

Булатов лежал на кровати и смотрел на жену.

Она пристроилась под самой лампой и быстро шила иглой по оленьим шкурам. Нитки она сама готовила из оленьих жил, сучила их между пальцев, и они выходили такие ровные и прочные, будто их делали на лучшей прядильной фабрике. И стежки тоже были ровные, чистые, словно машина шила.

— Ты у меня мастерица! — хвалил ее муж. — Вот уж не знал, что такое сокровище мне досталось!

Милюнэ в ответ тихо улыбалась.

Около полуночи она отложила шитье и, раздевшись, улеглась рядом с мужем. Она взяла руку Булатова и положила себе на живот.

— Он еще совсем крохотный, — тихо сказала она. — Еще ни разу погой не ударил, но я его уже чувствую...

— Кого? — тихо спросил Булатов.

— Нашего ребенка, — вздохнула Милюнэ. — Он уже пришел ко мне и растет!

Булатов нежно обнял ее и поцеловал.

— Интересно, кто у нас будет...

— Булат, если мальчик, а девочка — Тынэна... Пото-



му что она придет на рассвете новой жизни, вот и назовем ее Зорька...

— Наше дитя будет жить при новой жизни... А ту, которую мы прожили с тобой до революции, будет знать лишь из книжек...

— А какая она будет, новая жизнь?— прильнув к мужу, спросила Милюнэ.— Что сказали о будущем Ленин и Карл Маркс?

— Коммунизм будем строить!

— А говорил — социализм! — напомнила Милюнэ.

— Сначала социализм. Кто не работает — тот не ест. Знаешь, Милюнэ, я тебе по секрету что-то скажу...

— Говори! — прошептала Милюнэ.— Ты же знаешь, я секреты хорошо держу.

— Завтра мы национализируем имущество компании «Свенсон». Это будет наш акт международного значения!

— Бумагу будете писать?

— Какую бумагу?

— Ты сказал — акт.

— Акт не только бумага, но и важное дело, — ответил Булатов.

Новые слова лавиной обрушились на Милюнэ. Она в них часто путалась, но все же они прочно застревали в голове, и через некоторое время она с удивленным обнаруживала их в собственной речи.

— Булат, я знаю, у вас в ревкоме много важных дел, но все же хотела тебе напомнить...

— Ну, говори!

— У нас нет революционной женитьбренной бумаги. Колчаковские сволочи нас только записали себе в книгу, а бумаги не дали.

— Ты, Машенька, слово «сволочь», пожалуйста, не говори, — попросил Булатов.

— Почему? Все их так называют... Мандриков.

— Женщина не должна говорить грубые слова, — объяснил Булатов.

— А-а! — догадалась Милюнэ.— У тангитанов, как и у чукчей, есть отдельно женский и мужской язык...

— Нет, Машенька, особого женского языка у нас нет, но нехорошо, когда женщина говорит грубые слова.

— Тогда я виновата, — вздохнула Милюнэ.

— Почему?

— Я вчера была у Тынатваль, относилa шкуры для кухлянки Галицкого. А сука ихняя, которая недавно оценилась, не узнала и зарычала на меня. Ну тогда я на нее и заругалась. Темн словами, которыми меня Струков ругал, когда бил.

Она близко придвинулась к мужу и прямо в ухо произнесла ругательства. Булатов вздрогнул и даже отодвинулся от жены.

— Но я теперь никогда больше не буду эти слова говорить! Я же многого не знаю. Ты вот меня перестал учить — и мне трудно.

— Укрепим революцию, откроем новую школу, может, даже будущей осенью, — твердо сказал Булатов. — А про женитьбенную бумагу ты хорошо вспомнила. Сделаем настоящую, советскую бумагу. У нас теперь хорошая японская тушь есть, я ею воззвание и плакаты пишу, тонкие кисти — у Сооне национализировали.

Булатов и Милюнэ некоторое время лежали молча. Каждый думал о своем.

У Булатова было радостно-возбужденное настроение. Скоро у них будет ребенок... Сын или дочь... Как жена хорошо сказала — на заре новой жизни. А разве не так? Для их народа заря только проклевывается. Наверное, среди тех, кто кочует по тундрам или живет на побережье, промышляет нерпу, лактака, а летом бьет моржей и китов, таких, как Милюнэ, много. Удивительные люди! Вот взять хотя бы Тымнэро. Уж и так и этак к нему подъезжали — а сети не берет. Ревком постановил оказать материальную помощь беднякам Анадыря, к Новому году продовольственные подарки выдали. А Тымнэро не взял. Деловито спросил, сколько стоит. Ваня Куркутский говорит — мол, даром дают, а он — обратно сует, твердит свое «сколько стоит да сколько стоит...». Не вытерпел Куркутский, возьми да и пазови — двадцать копеек. Смехотворная сумма. Но Тымнэро и глазом не моргнул. Достал рубль царской бумажкой и, отдавая Куркутскому, сказал: «Продукты дороже стоят, но рубль все же возьми, чтобы на душе у меня спокойно было». Большие дела только теперь

начинаются — национализация... А скоро еще Берзин с товарищами в верховья Анадыря поедут.

Милюнэ тоже думала о будущей поездке Берзина. Вот ведь в самое трудное время года едут: морозное и пуржистое. От Анадыря до Марково селенный почти нет, почитай, до самой Усть-Белой пустынно. Обычно тут кочевало стойбище Армагиргина, но сказывали, старик увел их куда-то далеко. Где теперь Тепевиль и Раулена? Когда еще дойдет до них весть о новой жизни, о революции?

Вспоминая свою жизнь в тундре, Милюнэ порой ощущала щемящую сердце тоску. Возникало желание увидеть все снова — и весеннюю тундру с новорожденными телятами, широкие речные долины, чистые, просторные. Иной раз казалось, что та жизнь так далеко позади, что она уже с трудом припоминала кое-какие детали. Она и сама чувствовала, что стала совсем другой, словно пробудился в ней новый человек. Она смотрела на тундровую Милюнэ как бы со стороны и удивлялась: как она могла так жить?

* * *

— Парфентьев согласился ехать! — сообщил Берзин, входя в комнату председателя ревкома.

— Небось запросил большую плату? — спросил Мандриков.

— Да нет, — ответил Берзин. — Даже удивил меня. Говорит: люди не жалеют себя, а что я буду собачек жалеть?

— Значит, окончательный состав такой — Берзин, Галицкий, Мальсагов, Михаил Куркутский и каюры.

— Так получается, — ответил Берзин. — Поэтому сдем на четырех упряжках — по двое на одной парте. Тяжело, но другого выхода нет. Ваня Куркутский говорит, если не очень гнать собак, то ничего, обойдемся. Сказывают, появилось какое-то оленье стадо на полдороге в Белую. Охотники на песца следы видели. Если это действительно так, то нам большая подмога — можем у них заpastись собачьим кормом.

— Ну что же, — выслушав Берзина, сказал Мандриков. — Сегодня собираем ревком для выработки инструкции.

Милюнэ считала своим долгом быть в ревкоме, когда там шли заседания. Иногда надо было срочно кого-то позвать или отнести телеграмму на радиостанцию. Ей нравилось исполнять эти поручения — она чувствовала свою причастность к великим событиям, происходящим на ее родине.

И на этот раз, отложив недошитую кухлянку, она пришла задолго до начала заседания в ревком, положила угля в топившиеся печи, вытерла пыль, вычистила пепельницы и подмела пол.

В ревкоме дежурил Аренс Волтер. Перед ним, закинув ногу на ногу, сидел Тренев.

Бывший хозяин Милюнэ выглядел хорошо. В его движениях чувствовалась уверенность в себе. И слова у него были какие-то круглые, словно обкатанные морской волной.

— Товарищ Волтер, — сказал Тренев. — Из тюрьмы постоянно доносятся жалобы на плохое обращение, на недостаточное питание.

— Кто же там жалуется? — поинтересовался Волтер. — Колчаковских милиционеров мы всех выпустили и обязали трудиться.

— Это, конечно, хорошо, но оставшиеся в тюрьме — Громов, Струков и Суздалев, мне кажется, тоже должны быть привлечены к трудовой повинности. Пусть на своей шкуре испытают, что это такое — своим трудом, потом соленым добывать хлеб. По существу, содержание их в тюрьме, согласитесь, только прибавляет вам хлопот.

— Да, конечно, — устало согласился Волтер.

— Ново-Марининск, то есть Анадырь, самой природой огорожен таким высоким забором, который даже самый отчаянный человек в эти зимние дни не отважится преодолеть.

— Что вы имеете в виду?

— Холод, пурги и вечную мерзлоту, — солидно ответил Тренев. — Посудите сами — куда пойдет разумный человек, если он вздумает бежать? В тундру? К утру он уже закоченеет или заблудится.

— Куда вы клоните, Тренев? — спросил напрямик Волтер.

— А никуда. Я просто высказываю свое соображение.

— Ну, высказывайте.

— Чем кормить этих трех дармоедов, не лучше ли заставить их отбывать трудовую повинность? На угольных шахтах, например. Пусть порубают уголек и на своем хребте познают, что такое пролетарский хлеб. Я знаю, что на шахте много ваших людей, так что досмотр за ними будет строгий, а с другой стороны — природный забор мороза и вечной мерзлоты.

— Надо подумать, — заинтересованно проговорил Волтер. — И вправду — трудовая повинность... Трудом надо излечивать этих маньяков! Сегодня же поставим на ревкоме этот вопрос.

Тренев важно и солидно прошел мимо Милюнэ, едва кивнув ей в знак приветствия.

Милюнэ решительно вошла в комнату и прямо с порога выпалила:

— Аренс! Архипыч — плохой человек!

— Я это чувствую, — с улыбкой ответил Волтер. — Но голова у него работает. Тут уж ничего не скажешь...

— И голова тоже плохая! — наставляла Милюнэ.

— Кончишь шить кухлянку Берзину, сошьешь мне? — перевел разговор Волтер.

— Сошью, конечно! — ответила Милюнэ. — Самую лучшую! С волчьим мехом!

Стали собираться члены ревкома.

Мороз снаружи был силен, и все с удовольствием входили в теплую, натопленную комнату, старались сесть поближе к печке.

Когда все собрались и Булатов занял место секретаря, вооружившись пером и поставив перед собой баночку японской туши, Мандриков объявил очередное заседание ревкома открытым.

— Первый вопрос, который мы должны разобрать, — это национализация иностранных фирм. Буржуазия, горя жадой паживы, пустила свои безжалостные щупальца по всему земному шару, даже далекий уголок Севера не оставался без ее внимания. Бывший морской пират Свенсон, ныне «Свенсон и К^о», пользуясь климатическими условиями, когда полярные морозы отрезают Анадырский край от всего мира, монополизировал всю торговлю и стал властелином как над инородцами, так и над европейцами... Никакая политическая свобода



при данной капиталистической системе не спасет рабочего от его капиталистического рабства. Только полное уничтожение самой системы капиталистической эксплуатации обещает человечеству истинную свободу, равенство и братство! Кто за то, чтобы во владение народу передать имущество американского торговца Свенсона?

Все проголосовали единогласно.

Булатов едва поспевал писать.

— По второму вопросу слово имеет Арне Волтер, — объявил председатель ревкома.

— На территории Советской страны должна неукоснительно выполняться главная заповедь, провозглашенная товарищем Карлом Марксом: кто не работает — тот не ест. А мы кормим трех дармоедов. Ревком выносит на утверждение предписание: по политическим соображениям и согласно лозунгу трудового пролетариата революционный комитет Анадырского Совета рабочих депутатов постановляет: немедленно удалить Громова, Струкова и Суздальца из Анадыря на народные угольные шахты, где труд их будет оплачиваться. Требование это должно быть исполнено завтра к часу дня.

— Есть же постановление расстрелять, — напомнил один из членов ревкома, моторист Игнат Фесенко.

— Да, есть такое постановление, и его никто не отменял, — ответил Волтер. — Но мы не хотим омрачать начало нашей деятельности кровопролитием. Пождем товарищей из Владивостока. К тому же арестованным бежать некуда. Ну, куда они денутся? На тысячи верст от Анадыря — снежная пустыня. Сунутся в тундру — тотчас же околеют. Почему мы должны их кормить? Пусть сами хлеб кайлают на угольной шахте.

Слова Волтера звучали убедительно, и почти все члены ревкома с ним согласились, лишь Фесенко проголосовал против.

Мандриков вынул воды, загодя принесенной Милонэ, снова взял слово:

— А теперь, товарищи, самое главное: утверждение инструкции для группы, отъезжающей в верховья Анадыря. Состав такой: Михаил Куркутский, Якуб Мальсагов, Мефодий Галицкий. Начальник отряда — ко-

миссар народной охраны Август Мартынович Берзин. Ему выдается мандат.

Мандриков взял со стола лист бумаги:

«Дано сие удостоверение революционным комитетом Анадырского Совета рабочих депутатов комиссару охраны А. М. Берзину в том, что он уполномочен конфисковать все имущество и ценности, принадлежащие коммерсанту Малкову, и подвергнуть его (Малкова) аресту за контрреволюционную деятельность, а также ему, Берзину, предоставляется право и с другими спекулянтами, которые противятся Советской власти, поступать, как с контрреволюционерами, т. е. арестовывать, а имущество объявлять народным достоянием, присоединяя его к народной продовольственной организации, что и удостоверяется надлежащими подписями.

Председатель Р. К. Анад. М. С. Мандриков
Секретарь М. Куркутский»

Мандриков вручил удостоверение Берзину.

— У меня вопрос,— поднялся Галицкий.— Говорят, что на полпути от Анадыря к Усть-Белой появилось стойбище оленних людей. Если они встретятся, что делать? Надо ли нам устанавливать органы Советской власти среди кочующих чукчей?

— Товарищи!— Мандриков оглядел ревкомовцев и вдруг с тревогой подумал, что с отъездом четверых коммунистов их останется совсем мало.— Мы взяли власть навечно. Поэтому Советы должны стать единственной и повсеместной организацией трудящихся, где бы то ни было — город, деревня или кочевое стойбище. Революция освобождает трудового человека везде, где бы он ни жил — в холодной тундре или в жаркой стране.

— Понятно,— Галицкий уселся на место.

— Вся инструкция изложена в удостоверении, выданном товарищу Августу Берзину,— сказал в заключение Мандриков.— Будем голосовать.

Инструкция отъезжающих вверх по реке Анадырь была единогласно утверждена.

— Вы думаете, он меня примет?— с дрожью в голосе спросила Евдокия Павловна.

— Человек он довольно отзывчивый,— темного подумав, сказал Тренев.— И совсем не такой кровожадный и страшный, как вы думаете.

— Но все же я жена его заклятого врага,— заметила Громова.

— Если вы так озабочены здоровьем вашего супруга, то должны решиться.

Евдокия Павловна умоляюще посмотрела на Агриппину Зиновьевну. Жене Тренева не нравилось, когда Громова приходила к ним. Это всегда вызывало неприятные, тревожные воспоминания о золоте и валюте, лежащих под печным железом. Как-то Агриппина Зиновьевна будто бы мимоходом рассказала ей, как Иван Архипыч под покровом ночи, в пургу утопил сверток в проруби на реке Казачке.

— Только и булькнул.

— Ну и бог с ним,— вздохнула Евдокия Павловна, но Агриппине Зиновьевне показалось, что она не очень поверила ее рассказу.

И вот теперь зачастила, словно знает, что деньги все целехоньки. Не надо было их брать... Мало ей, что мужа освободили, так она теперь обнаглела до того, что просит Ивана Архипыча, чтобы Громову позволили погостить дома, якобы для поправки пошатнувшегося здоровья. И с такой настойчивостью просит, словно требует уже оплаченных услуг. Взять бы да швырнуть ей в лицо сверток с деньгами, да уж пельзя: сказано было, что утоплен...

— Мне бы хоть на праздники отпустили его,— всхлинула Евдокия Павловна.— Напьется там на шахте, выйдет на мороз, упадет и замерзнет. Он ведь у меня такой...

— Идите, идите к Мандрикову,— настойчиво говорил Тренев.

Послушавшись его совета, Евдокия Павловна Громова, одевшись поскромнее, во все черное, направилась в ревком. Она редко выходила из дому, и Милонэ, убиравшая в коридоре, удивилась, увидев ее.

— Милая, — обратилась к ней Громова. — Где тут Мандриков принимает?

— Вот здесь, — Милюнэ показала на дверь.

— Можно туда войти?

— Можно, можно, — закивала Милюнэ.

Она распахнула дверь и впустила посетительницу.

В комнате сидели Мандриков и Булатов.

— Здравствуйте, Павловна, — сказал Мандриков, — садитесь.

Евдокия Павловна уселась на стул, достала платок и первым делом вытерла глаза.

— Я вас слушаю.

Евдокия Павловна подняла на Мандрикова полные слез глаза, губы у нее задрожали.

— Ну, полно, Павловна!

Мандриков не переносил женских слез.

— Моего-то... Кешу-то... Христа ради отпустите хоть на денек... Ведь напьется он с горюшка да с радости на Новый год, замерзнет...

— Ничего с ним не случится, Павловна, — сказал Мандриков, отвернувшись, чтобы не видеть плачущую женщину. — Там за ними хороший присмотр.

— Будьте так милосердны, — продолжала всхлипывать Евдокия Павловна, — болезный он у меня. Это только снаружи он вроде бы здоровый, а изнутри весь изболевший... Будьте так милосердны...

Женщина громко шмыгала носом, сморкалась.

Мандриков умоляюще посмотрел на Булатова, но тот в ответ только пожал плечами.

— Павловна, — Мандриков старался говорить жестко, — не я один принимаю решения. Я спрошу мнение членов ревкома. Что они скажут. Может быть, они войдут в ваше положение.

— Я так надеюсь на ваше доброе сердце, — со слезами сказала Евдокия Павловна, направляясь к дверям. — Я буду за вас богу молиться.

Она ушла, и Мандриков тяжело вздохнул.

— Молиться за меня будет, — усмехнулся он. — Пусть молится за своего мужа.

— Михаил Сергеевич, — Булатов подошел к столу. — Я совсем запамятовал: письмо было утром с той стороны — Тымнэро привез вместе с мешками угля. Клецин пишет — слегли оба...

— Кто оба?

— Громов и Струков... Струков вроде бы кровью кашляет. Да вот письмо, прочитайте сами.

Булатов подал листок бумаги.

«Громов и Струков уже на следующий день не вышли на работу. Оба лежат в казарме и спят. На вид вроде бы не притворяются — у обоих жар, а Струков выходил по малой нужде, закапываясь, плюнул на снег — вроде бы кровь... Если они тут помрут, хлопот не оберешься. Струков грозит: жестокое обращение с арестованными карается международным наказанием. Как бы беды не было. Может, лучше их обратно в тюрьму забрать?»

— Да-а,— задумчиво протянул Мандриков.— Слушай, Булатов, знаешь... вроде бы существует так называемый домашний арест... Это когда человек по всем законам считается арестованным, но сидит дома, под надзором и без разрешения властей не имеет права никуда отлучаться. Может, применить к ним этот вид наказания?

— Что же это за наказание?— усмехнулся Булатов.

— Но вот пишет Клещин,— занедужили и, видать, всерьез... А у нас фельдшера нет. Помрут, и впрямь придется ответ держать за жестокое обращение с арестованными.

— А если бы они нас схватили?— прищурившись, спросил Булатов.— Как бы они с нами обращались? Да чего тут думать? Вспомни, что сделал Струков с моей Машенькой?

— Да, конечно,— потер лоб Мандриков.— Уж нас бы они щадить не стали... Но с другой стороны — у нас иные взгляды на человека. Мы, большевики, не можем брать пример с этих бандитов... На шахте толку от них нет, только одни хлопоты нашим товарищам. В тюрьму возвращать — надо кому-то ухаживать за ними, лечить. Знаешь, Булат, нехай их друзья да жены ухаживают за ними! Что у нас, своих делов нет? Послезавтра отправляем первый отряд в верховье реки Анадырь! Советская власть идет к чукче, к чуванцам, камчадалам да эскимосам! Вот что главное! Вот для чего мы брали власть! А тут возись с этими Громовыми, соими им утирай...

На следующий день две собачьи нарты поехали за больными колчаковцами. На шахте остался только Суздалев.

Тренив пришел в ревком и удивленно спросил:

— Не понимаю... Почему вы их выпустили?

— Никто их не выпускал! — оборвал его Мандриков. — Оба они заболели, ну и мы не звери, господин Тренив. У нас тоже есть человечность.

— Так-так-так, — застрекотал Тренив. — Я понимаю и восхищаюсь вашей гуманностью.

Многие в Анадыре, узнав о распоряжении ревкома временно заменить трудовую повинность домашним арестом, недоуменно разводили руками.

— Михаил Сергеевич, — задумчиво произнес Берзин. — Как бы эта твоя гуманность боком не вышла.

— Как только поправятся, — посадим на нарты и — обратно на шахты, — твердо обещал Мандриков.

* * *

Казалось, весь Анадырь вышел на лиман провожать отъезжающих в верховья реки Анадырь.

Каюры запрягли лучших собак и наводили на полозья последний слой ледяной пленки. Собаки в нетерпении повизгивали, рвались из постромок.

Дальняя дорога... В те годы на Чукотке человек, пускавшийся в далекий зимний путь, совершал поистине героический поступок. Он с самого начала знал, что путь будет нелегким. Впереди — пурги, ураганный ветер, рыхлый снег, в котором можно утонуть как в воде, ночевки в снежных сугробах, в окружении собак, горные перевалы, снежные лавины, голод и всепроникающая стужа. Но все это возмещается сознанием своей силы, покоренным пространством, встречами с новыми людьми. В каждой, даже самой нищей яранге встречают как самого лучшего друга, которого ждали годами. Как только он, усталый, покрытый снегом, насквозь промороженный, входит в чоттагин, все — заботы о собаках, об одежде, о самом госте — ложатся на хозяев.

Гостю отводится лучшее место в пологе, обычно у главного жирника, у задней стены мехового полога.

Под него стелют самую лучшую, новую, еще не использованную оленью шкуру.

Ни одного вопроса, ни одного замечания, пока гость не насытится. Хозяева подают то, что сберегли для зимних месяцев на непредвиденный случай. Иной раз отрезают и от жертвенного куска вяленой оленины. Из вороха шкур, из недр священного кожного мешка достают последнюю щепотку черного кирпичного чаю и почерневший, замусоленный кусок сахара...

Но уже после первого глотка живительного напитка гость должен сказать свое слово. Пыныл. Весть. Он должен рассказать о себе, о своей семье, о близких, о друзьях. О событиях в своем стойбище, селении, об услышанном, увиденном в дороге. Если пыныл сам по себе скуден, можно добавить сказания и легенды, неизвестные здешним жителям. Гостя долго не отпускают. Беседа может длиться до утра. На этих огромных просторах встреча с новым человеком всегда радует, вселяет уверенность, ослабляет чувство отчуждения и одиночества.

Провожают гостя тоже словно родного. Женщины плачут и причитают, будто гость уходит в вечность. Да это так и есть. Вряд ли им доведется встретиться снова...

Берзин, Мальсагов, Куркутский и Галицкий допивали последнюю кружку чаю в домике Булатова. Здесь же был и Мандриков, озабоченный, возбужденный не меньше, чем сами отъезжающие.

— Малкова и Черепихина не жалеть, — говорил он в напутствие. — Ищите среди местного населения людей активных, настроенных в пользу Советской власти. Будет в том необходимость — разрешаю всем, кроме Берзина, остаться на месте до прихода весны. Постарайтесь охватить как можно больший район.

Отъезжающие встали, направились было к двери, но Булатов остановил их:

— По русскому обычаю надо бы присесть перед дорогой...

Все заулыбались, опустились на скамью.

Милонэ тоже посидела вместе со всеми, потом, облаченная в меховой кэркэр, вышла из домика.

Погода была неважная. Низкое серое небо висело

над Анадырским лиманом, скрывая противоположный берег. Лишь черный мыс Обсервации высвечивал из серой пелены.

Берзин шел, размахивая небольшой кожаной сумкой, в которой лежали разные бумаги, и разговаривал с Волтером.

— Ты, Аренс, тут остаешься за комиссара охраны... А твоя задумка, — сделать из автоматического ружья «Ремингтон» пулемет — это здорово, настоящее изобретение. Значит, к весне у нас будет десять пулеметов...

— Сделаю... — ответил Волтер. — Будет у нас десять пулеметов...

Ни Берзин, ни Мандриков не хотели растягивать прощание. Поцеловались молча, остальным пожали руки, уселись на нарты и медленно отъехали от берега.

Мандриков смотрел им вслед и думал о Берзине.

Отчаянный парень! Преданный революции. На него можно положиться как на самого себя, может, даже больше... Да, с его отъездом многое осложняется в Анадыре. Сегодня утром он встал с головной болью — мучила мысль: верно ли он поступил, заменив смертный приговор домашним арестом.

Дорогой Август! Едешь ты сейчас по белому безмолвию, по великой чукотской реке, и не подозреваешь даже, как терзается твой товарищ!

Вчера он предлагал Берзину поехать вместо него. Уж очень больным выглядел Август. Трудные годы не прошли даром. Как-то, еще во Владивостоке, сидя на чердаке дома Матвеева, Берзин рассказал о себе Мандрикову... Шестеро было детишек в бедной латышской семье. Вечный голод. Белый хлеб он впервые увидел в Цесисе, поступив в ученики парикмахера.

Когда началась первая мировая война и кайзеровские войска стали угрожать Прибалтике, романтически настроенный юноша «сбежал на войну». Его зачислили стрелком в первую роту второго Рижского полка. И сразу же он был ранен. Получив двухмесячный отпуск по ранению, Август вернулся на родной хутор, что неподалеку от Цесиса. Там и встретил весть о Февральской революции. «Еще во времена солдатской службы я познакомился с латышскими социал-демократами, а потом и с большевиками, — рассказывал Берзин. — Буд-

то разошлись облака, и я увидел настоящий свет. Тогда я и понял и решил для себя — буду бороться за освобождение трудового народа. Прибежал, помню, растерянный пристав в наш хутор, сказал, что царя свергли. Многие не верили, но я-то знал, что именно так и будет. Собрал я рабочих парней, и пошли мы освобождать политических заключенных из тюрьмы...»

Затем, по заданию РКП(б), Берзин был направлен на Дальний Восток и до белочешского мятежа и оккупации был комиссаром железнодорожной станции Хабаровск-1.

Нарты растворились в серой пелене. Провожающие расходились по домам, торопились к топящимся баням: нынче наступает новый — 1920 год.

Вскоре на льду лимана остались лишь Мандриков, Булатов и Милюнэ.

— Вы уж сегодня не ходите в ревком, — сказала Милюнэ, взглядевшись в осунувшееся, посеревшее лицо Мандрикова. — Отдохните. Смотреть на вас страшно — такой худой! Я угощение приготовила и баню натопила...

— Какую баню? — удивился Мандриков.

— Да у Тренева. Они утром помылись, а я все почистила, воды наносила. Веники припасла.

— Где же ты взяла веники? — улыбнулся Мандриков.

— В тундре за радиостанцией, — ответила Милюнэ. — У нас тоже береза растет. Только она по земле стелется. А там такое место есть, видно, как ударил мороз, листья даже пожелтеть не успели. Пахнут в тепле хорошо... Идите!

— Ну что, Булат, попаримся? — подмигнул Мандриков товарищу.

* * *

Громов лежал на кровати и тяжело вздыхал. При каждом его вздохе Евдокия Павловна вздрагивала.

— Кеша, что болит-то?

— Душа болит, душа, — стонал Громов. — Вроде бы так ничего, а помереть охота.

— Господь с тобой!— крестилась Евдокия Павловна.— Бог даст все обойдется.

— А зря ты, Павловна, отдала этому сукину сыну деньги,— уже который раз попрекнул Громов жену.

— Боялась я, Кеша. Думала, придут с обыском, найдут — озлятся совсем на тебя и расстреляют. Два дня приходили, все перерыли... А я им спокойно говорила: нет денег и не было никогда.

— Кишка тонка у них расстреливать. Гуманistes они! Человеколюбь! В чистых перчатках хотят свою революцию делать!

Евдокия Павловна все же приготовила нехитрое новогоднее угощение, накрыла на стол, затеплила лампаду перед образами. Квартира была казенная, и иконы тоже были казенные. В лампаде горел вонючий нерпичий жир, запаха которого ни сам Громов, ни его жена не переносили. Но сейчас, в канун Нового года, они решили терпеть. Когда блики от свечей заиграли на запотевшей бутылке, Громов скосил глаза, крикнул и спустил ноги с кровати.

— Кешенька, родной,— запричитала Евдокия Павловна.— Лежи ты, я в постель подам.

— Не хорони ты меня раньше времени!— отмахнулся Громов, усаживаясь прямо в исподнем за стол.

Он налил большую толстостенную рюмку и с маху выпил. Пожевал кусок кетового балыка, спросил:

— Так и сказали, что в прорубь кинули?

— Зиновьевна говорит — только булькнул...

— Заставить бы его, гада, нырнуть в эту самую прорубь! И жену его, суку червивую!

— Кеша!— простонала Евдокия Павловна.— Не будь неблагодарным. Стараниями Ивана Архипыча ты здесь... Он отвел от тебя расстрел, потом научил, как из шахты выволить...

— За такие деньги как не постараться,— криво усмехнулся Громов.

В дверь постучали. Павловна и глазом моргнуть не успела, как муж оказался в постели, натянул на голову простыню и застонал.

— Кто там?— с дрожью в голосе спросила она из сеней.

— Отворяй, Павловна, свои,— узнала она голос Бесекерского.

Запорошенные снегом, в сени вошли Струков и Бессекерский.

— Никак запуржило? — всплеснула руками Павловна.

— Задудло! — обрадованно сказал Бессекерский. — Не хотел бы я сегодня оказаться на месте Берзина или Хава-на, черт его разбери!

Гости долго отряхивались от снега. Евдокия Павловна помогала им. А Громов тем временем снова уселся за стол, на этот раз в своем парадном халате с кистями на поясе.

— С паступающим, Иннокентий Михайлович! — почтительно произнес Бессекерский и поклонился.

— Здравствуйте, господин Громов! — поздоровался Струков.

— Рассаживайтесь, господа, — сделал широкий жест хозяйин. — Угощайтесь, чем бог послал.

Евдокия Павловна поставила еще две рюмки.

Первую рюмку выпили молча, без тоста. Молча закусили балыком.

Когда налили по второй, Бессекерский сказал:

— За ваше здоровье, Иннокентий Михайлович!

И Бессекерский принялся рассказывать о новых правилах торговли, введенных ревкомом.

— Ежели так будем торговать до весны, разоримся вчистую. Весь кредит пошел псу под хвост: старые долги отменены. Устроили даже торжественное сожжение долговых книг и расписок на льду лимана. Митинговали. Кровопийцами нас называли, слово такое выдумали, язык сломаешь, будто эскимосское — эксплуататорами называли и напрямик пальцем показывали. Вона как теперь живем, служители ревкома.

Струков молчал. Ему еще не верилось, что он снова в Анадыре. Надо же, не думал не гадал, что судьба так повернется. И все из-за чего? Из-за сухой юколы, которой их кормил на шахте Клещин, будто они собаки. Ободрал Струков десны, животом стал маяться да жар появился. А как плюнул кровью на снег, Клещин и вовсе перепугался. Верно сказал Иннокентий Михайлович — тонка кишка... А власть-то все равно держит. И самые бедные, те, у кого за душой ничегошеньки, горой за эту власть будут стоять.

Сквозь усиливающийся вой пурги снова послышался

стук в дверь. Все трое быстро переглянулись. Громов, как был в халате, юркнул в постель, сказав:

— Навестить меня пришли, больного...

— А я-то как?— испуганно забормотал Струков, жалея, что, поддавшись уговорам Бессекерского, встал с постели, в пургу потащился к Громову.

— Выкручивайся!— рявкнул из-под одеяла Громов и застонал.

Павловна открыла. Это был отец Михаил.

Настоятель Ново-Марининской православной церкви, как всегда, был в легком подпитии, из которого, казалось, он так и не выйдет до скончания века.

Вылезая из кровати, Громов укоризненно сказал:

— И что вас черти носят по ночам, да еще в пургу!

— Поздравить пришел,— низко поклонился отец Михаил.— Вас, Иннокентий Михайлович, да вашу супругицу Евдокию Павловну, храни вас господь и помилуй!

— Молился бы лучше в церкви,— заметил Громов.— Где был твой бог, когда нас большевики хватали? Устроил нам красное рождество!

— Так ведь отстранен я,— плаксиво сказал отец Михаил.

— От церкви отстранили, что ли?— спросил Струков.

— От государства отстранили,— продолжал причитать отец Михаил.— Ходил я к этому сатане, к Мандрикову, просил вспомоществования, чтобы уголь привезли в храм божий, а он, иноверец проклятый, и говорит мне: большевики церковь, мол, отделили от государства. Мы вас не знаем и не ведаем. Живите отдельно. А когда уходил я из этого богохульного места, остановил меня у дверей и пригрозил: будешь агитировать против большевиков — храм закроем, а самого пошлем уголь рубать...

— Ну и как теперь — молишься за них?— ехидно спросил Громов.

— Господь с вами!— замахал руками отец Михаил.— Вслух-то остерегаюсь, а мысленно все кары господни призываю...

— Да что-то толку мало,— заметил Бессекерский.

— Придет, придет кара с неба, — торжественно про-

изнес отец Михаил.— Господь пошлет им наказание! Гром грянет с небес и поразит красный флаг.

— При чем тут флаг? — поморщился Бессекерский.— Их самих надо поразить, большевиков.

— Их тоже, их тоже, само собой,— торопливо проговорил отец Михаил, протягивая дрожащую руку за рюмкой.

— На бога надейся, а сам не плошай! — вдруг встрял в разговор молчавший до этого Струков.

— Ну, а что слышно оттуда, с материка? — спросил Громов.

— Ревкомовцы говорят, Красная Армия взяла Иркутск,— сообщил Бессекерский.— Будто бы Колчак отступает к Чите... Партизан красных развелось! Беспоят японцев, американцев...

— А что — телеграммы были?

— Сам я не видел,— ответил Бессекерский.— Надо бы у Тренева спросить, он вхож в ревком, дружбу с ними водит.

— Ну, лиса,— погрозил кулаком Громов.— Мы еще до него доберемся!.. Булькнули... я его булькну!

Последние слова были понятны только Евдокии Павловне, и потому гости непонимающе переглянулись между собой.

— Что верно, то верно — Иван Архипыч оказался куда хитрее и осмотрительнее всех нас,— заметил Струков.

— Мне кажется,— заговорил Бессекерский,— не надо так строго относиться к Тренину. Он еще нам пригодится. Кое-что он и для вас лично, Иннокентий Михайлович, уже сделал: много приложил стараний, чтобы отменить расстрел, придумал трудовую повинность... Если бы не Иван Архипыч, разве вы, Евдокия Павловна, решились бы пойти к Мандрикову?

— Боялась идти я к этому узурпатору, поги не шли,— всхлинула женщина.

— Уж это вы справедливо сказали, матушка,— отец Михаил уже порядком нагрузился.— Узурпатор, дьявол, нечистая сила в облике человека.

— Передашь Тренину — пусть выберет время, зайдет ко мне,— сказал Громов Бессекерскому.— И пусть не вляет. Намекни ему — знаем и все видим. Неизвестно еще, чей пароход придет первым — большевистский или

наш. Владивосток-то в руках японцев и американцев. А эта Красная Армия — лапотники да голодранцы, нацепившие красные звезды, — вряд ли одолеют регулярные воинские части...

Глава третья

...Выехали 31 декабря... 1—2 января были далеко от Анадыря... 3 января разыгралась пурга. Поставили палатку... 4—5—6—7 января. Пришлось выждать и снова в пути... 8 января. Выехали рано. Доехали до чукчей и там почевали... 9 января. Опять ночевали у чукчей. Выехали ночью, чтобы утром рано приехать на Белую... 10-го. Сегодня утром приехали в 6 часов на Белую. Явился к вахтеру, он оказался знакомым Галицкому... Мы оставляем его на службе под присмотром местного населения...

Выдержки из дневника А. Берзина. ГАМО, ф. 69, оп. 1, д. 4, л. 18—68, копия

Берзин сидел на нарте Куркутского, спиной к каюру, и смотрел, как постепенно исчезал в молочно-белой пелене Анадырь. А потом... возникло такое ощущение, будто нарты плывут в воздухе. Горизонт исчез, исчезало и представление, где земля, а где небо.

Ваня Куркутский громко кричал на собак, то и дело щелкая бичом. Остальные каюры тоже гнали свои упряжки, словно опасались погони.

— Ты чего так торопишься, Ваня? — спросил Берзин.

— Пурга догоняет, мольч. Доспеет она — худо будет. Пурговать придется.

— А разве можно от пурги убежать?

— Мольч, от этой можно, — уверенно сказал Куркутский. — Она морская. По берегу идет, в тундру не лезет.

Примерно через час показались берега, покрытые снегами. Там, где кончалась река, высились торосы, светящиеся изнутри зеленоватым светом.

Но нарты все еще шли по речному льду, изредка выбирались на берег, спрямляя дорогу.

Берзин несколько раз вынимал карманные часы —

время шло удивительно медленно, словно девятнадцатый год не хотел уступать место новому, двадцатому.

Незадолго до полуночи он велел остановить нарты.

— Пошто?— спросил Куркутский.

— Новый год встретим. Двадцатый год наступает.

— Заодно и полозья новойдаем,— обрадовался каюр.

Собрались у нарты Куркутского. Берзин достал флягу с вином, две жестяные кружки. Пили по очереди, и каждого Берзин поздравлял с наступлением Нового года. Торопливо выпив, каюры бежали к своим нартам и принимались войдать — наносить на полозья тонкий слой льда.

И снова в путь.

Берзин подремывал на нарте, мысленно благодаря заботливую Милонэ, которая ухитрилась не только сшить наружную кухлянку, но и меховую рубаху из пыжика. Было тепло, хоть в снег ложись.

На первой же ночевке Берзин в полной мере оценил всю практичность чукотской дорожной одежды.

Утром он проснулся первым. Конечно, не очень тепло, но и замерзнуть, пожалуй, он не замерз. В домике к утру бывало куда холоднее, чем в двойной меховой кухлянке в снегу: палатка защищала только от ветра.

Берзин рукавицей сбил шнел с оторочки. Хранить руки от холода научил Ваня Куркутский. Надо втянуть их вместе с рукавицами внутрь кухлянки и — не только руки согреешь, но и отсыревшие рукавицы высушишь.

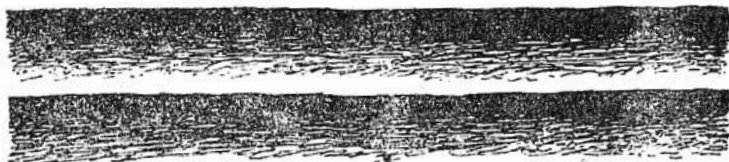
Волтер дал в дорогу особо надежный примус, над которым колдовал несколько дней. И впрямь примус оказался отличным, пока он шумел, растапливая для чая снег, в палатке становилось совсем тепло и с потолка начинало капать.

После первой ночевки, несмотря на ветер и снег, решили ехать.

— Догнала-таки нас пурга,— сказал Берзин Ване Куркутскому.

— Догнала, дикоплещая,— выругался каюр.

Снег был рыхл и глубок. Каюры и пассажиры шли, держась за нарты, но собаки часто останавливались, при-



ходилось поднимать их ударами бича. Часа через два Куркутский сказал:

— Однако, моляч, станем... Все равно никакой езды! Мука одна.

Снова поставили палатку, а собак расположили кругом, чтобы было теплее. Берзин заметил: при сильном ветре температура воздуха поднималась и становилось теплее. Но вместе с теплом приходила и сырость.

Сидя у горящего примуса, при свете стеариновой свечи Берзин записывал в походный дневник скудные события прошедших дней.

За стенами палатки каюры кормили упряжных, и сквозь вой ветра доносились обрывки речи, рычание дерущихся из-за юколы собак.

На ужин ели ту же юколу, пили чай. Но этого было мало, и Берзин скрепя сердце разрешил сварить пельмени, приготовленные в дорогу заботливой Милюнэ. И когда она только успела — два мешочка намороженных пельменей!

За пельменями, за чаепитием разговорились. Один из каюров, чуванец Могонин вдруг обратился к Берзину:

— Пошто на тебя Биссекер суп имеет?

— Какой суп? — не понял Берзин.

— Слость и гнев, — пояснил Могонин. — Прямо трясся, когда говорил, чтобы покинуть вас в пургу. Так прямо и сказал — как пурга дунет, оставьте их в палатке подальше от Анадыря. Пустьдохнут мерзляками. И посулил, агады мы возвернемся без вас, — щедро наградить...

— Ну, а что же не уезжаете? — спокойно спросил Берзин.

— Как можно! — Могонин изобразил на своем узком лице ужас и крайнее возмущение. — Все же вы люди, хоть и большаки!

— Товарищ Могонин, нет у тебя еще классового сознания, — сказал ему Берзин.

— Нету, — согласился Могонин.

— Бессекерский и все торговцы всегда будут иметь зуб на большевиков, потому что мы отобрали все их богатства и передали народу.

— Не усе, — перебил Могонин.

— Что не усе?— спросил Берзин.

— Все в складах осталось, оннак... Думали, ожидали — раздача будет... Всем поровну, а ничего нету.

— Никакой раздачи не будет!— решительно ответил Берзин.— Все средства производства — сети, невода, рыбалки, катера, кунгасы — переходят в общественное пользование... И строго будет соблюдаться правило — кто не работает — тот не ест.

— Кака разница тыгда?— любопытствовал Могонин.— Что тыгда робили, что цицась. Кака разница?

— А та разница,— терпеливо объяснил Берзин,— что раньше тебя обманывали, эксплуатировали, а теперь твой труд оплачивается сполна.

— Хорошо, значит, будете платить?— обрадованно заключил Могонин.

Берзин промолчал. Платить особенно нечем. Да и товаров на складах оказалось не так уж много. Перед Новым годом выдали полной мерой продукты, а после решено было урезать пайки, иначе до парохода не дотянуть.

Четыре ночи провели в палатке путники. Под конец все друг другу осточертели, особенно Могонин, притворявшийся дурачком. Выведенный из терпения Галицкий обозвал его провокатором. Каюр обиделся и замолк. Его молчание встревожило Берзина, и он по ночам просыпался, зажигал спички, чтобы удостовериться, все ли каюры на месте.

* * *

Отворачивая лицо от ветра, Теневиль возвращался из стада в стойбище. Оленей подогнали как можно ближе к ярангам, чтобы в ненастье не так далеко было ходить. Здешние пастбища были хорошие, в защищенных от ветра ложбинах. Теневиль думал оставаться здесь до самой весны, а перед отелом перегнать стадо на правый берег и там дать возможность важенкам отелиться.

Все жители стойбища почитали Теневиля хозяином, главой, и оставляли ему для яранги самое возвышенное, переднее место. Но Раулена ставила жилище на привыч-

ном месте, а жены покойного Армагиргина, как и раньше, занимали место «переднедомного».

Перед тем как принять важное решение, Теневиль собирал стариков, лучших пастухов и спрашивал у них совета. Сначала пастухи выжидали, отмалчивались, но потом привыкли, осмелели. Дела в стаде шли неплохо. Теперь бы не дать оленям разбредиться в пенастье, держать их у корма да волков отгонять.

Теневиль пришел в ярангу, и ожидавшая его Раулена подала ему гнутый отросток оленьего рога — тивичгын — снеговывивалку.

Очищая себя от палившего снега, выбивая снежинки из торбасов, он разговаривал с женой.

— Сильно метет?— спросила Раулена.

— Метет, но проблески уже есть,— ответил Теневиль.— Пурга тоже устает. Вон уже пятый день беспустеся, пора и отдохнуть.

— Эль-эль шаманил всю ночь.

— Это он хорошо делает. Вчера палил три оленя,— вздохнул Теневиль, подумав про себя, что шаману не мешало бы чуть раньше взяться за свой бубен.

Пока Раулена готовила еду, Теневиль играл с сыном, а потом достал заветную тетрадку, купленную в Ново-Маринске, и углубился в свои записи.

Раулена изредка посматривала на него и думала: «Стал эрмэчином, хозяином стада, пора бы бросить детскую забаву, нет — продолжает чертить, выдумывает новые значки, да и жепу не забывает учить».

Теневиль взял оставшийся огрызок карандаша, что-то начертил и спрятал тетрадку в укромное место.

Весь день Теневиль чинил парту.

Ночью пурга кончилась. А утром крепко спавшего Теневиля разбудили крики.

— Нарты едут! Четыре упряжки приближаются к стойбищу!

Страх шевельнулся в душе Теневиля. Он быстро оделся и вышел.

Солнце еще пряталось за дальним хребтом, но небо уже было светлое, звезды погасли, и под аллой зарей, сколько хватал глаз, лежали розовые снега.

С вершины ближайшего холма в тучах наметенного снега спускались упряжки. Теневиль с некоторым облегчением заметил, что нарты идут с противоположной

оленьему стаду стороны. Эти путники могли быть только с Ново-Марининского поста. Только оттуда. Но зачем их так много? Похоже, на каждой нарте по два человека. Видать, тангитаны едут...

Сердце сжалось от дурного предчувствия: может, старый Армагиргин был прав? Вот ведь не успели расположиться, а они уже тут как тут.

Лай становился громче — собаки чуяли оленью стадо и неистово неслись по склону.

Первая нарта уже была совсем близко, и Теневиль узнал в каюре Ваню Куркутского. От сердца немного отлегло, когда тот весело крикнул:

— Какомэй, мольч, Теневиль!

— Етти, Ваняй!

— Ии,— ответил по-чукотски Куркутский.— Привез тебе новую власть. Власть бедных...

Еще одно знакомое лицо — со второй нарти поднялся родич Вани Куркутского — Михаил Куркутский. Учитель, познавший тангитанскую грамоту. И, несмотря на неутрахающую тревогу, Теневиль подумал: хорошо бы с ним потолковать, показать ему свои значки, посоветоваться.

Тем временем с нарти Вани Куркутского встал незнакомый Теневилу тангитан, подошел и крепко пожал руку, сказав при этом:

— Здравствуйте, товарищ!

— А где старик-то?— спросил Ваня Куркутский.— Пошто не стретит гостей?

— Он в вечности,— ответил Теневиль.

— Какомэй!— горестно воскликнул Ваня.— Доспел-таки?

Пока они разговаривали, учитель объяснял что-то тангитанам, и те внимательно слушали. Теневиль уловил и имя Армагиргина.

— Помер старик-то!— обернулся к остальным Ваня Куркутский.— Ушел сквозь облака, по ихним понятиям. Теперь обитает при северном сиянии.

— Как он умер-то?— спросил он по-чукотски.

Теневиль коротко рассказал.

— Своею смертию, по старости помер,— сообщил Ваня Куркутский.— А кто теперь эрмэчин?

— Все сообща,— ответил Теневиль и предложил:— Давайте сначала распряжем собак, посадим на цепь, что-

бы к оленям не убежали. Поедим горячего.

— И то верно! — отозвался Куркутский. — Намерзлись мы, в палатке матерчатой почевали.

Свободные от пастбы молодые парни помогли каюрам распрячь и посадить на цепь собак, накормить их, а остальных, гостей вместе с учителем, Теневиль повел к себе. Уж так полагалось — глава стойбища должен был принимать гостей в своей яранге.

Берзин вошел в чоттагин кочевой яранги и почувствовал, что здесь совсем не так, как в жилище Тымнэро в Анадыре. Не было прочного, устоявшегося запаха тюленьего жира и псины. Воздух был свежий, нагретый ярко пылающим костром. Женщина тихо произнесла:

— Еттык.

Маленький мальчишка высунулся из полога и с любопытством уставился острыми глазенками на приезжих.

До того, как гости будут накормлены, не полагалось расспрашивать, и поэтому разговор шел какой-то несвязный, о том, о сем. Михаил Куркутский расспрашивал Теневиля о смерти Армагиргина и все ответы переводил тангитанам; те слушали с нескрываемым интересом.

— Значит, вы говорите, что стадо теперь общее? — спросил через Михаила Берзин.

Теневиль кивнул.

— Но есть кто-то главный в стойбище?

— Армагиргин, уходя сквозь облака, передал мне и стадо и людей, — ответил Теневиль. — И люди просили меня быть главой стойбища, но олени принадлежат всем.

— А сам много ли оленей имел?

— Четыре оленя...

— Родственником доводился умершему?

— Не был я ему родичем, — ответил Теневиль, — я пришлый в этом стойбище, с разоренных краев, с Тапюрера сюда прикочевал. А у него детей не было.

— И что же, он взял да и отдал вам стадо?

— Такова была его воля, — вздохнул Теневиль. — Но я не до конца исполнил ее. Он хотел, чтобы я единолично владел стадом, был настоящим хозяином, каким был он сам... А мы сообща решили владеть...

— Выходит, вы нас опередили, — усмехнулся Берзин. — Тут ничего удивительного нет. Идея общего владения богатством, стадами, заводами, землями живет в недрах человеческого сознания вечно, особенно у неимущих. В том и мудрость Ленина, что он извлек эту идею и создал из нее науку революции. Переведи-это товарищу оленеводу, — попросил Берзин Михаила.

Куркутский замаялся.

— Трудно это переводить...

— Ну хотя бы в общих чертах...

Михаил перевел, как смог. Теневиль понял одно: приежжие одобряют его действия.

Раулена внесла большое деревянное корытце, наполненное свежим оленьим мясом, и гости принялись за еду.

Некоторое время в чоттагине слышалось только чавканье, хруст разгрызаемых костей. Подошли каюры, присоединились к трапезе. В чоттагине было холодно, но понемногу, по мере того как люди насыщались, становилось теплее. Раулена, подавая в чашках горячий олений бульон, с огорчением сказала:

— Чаем не можем угостить — нету его у нас давно...

Ваня Куркутский быстро поднялся и, выходя из яранги, весело сказал хозяйке:

— Ставь большой чайник! Заварка есть.

За чаепитием Михаил Куркутский рассказал о переменах в центре Чукотского уезда, о Советской власти.

Теневиль слушал и не верил своим ушам. Неужели это и впрямь могло случиться?

— Милюнэ научилась писать и читать по-танги-тански, — сообщил в заключение Михаил Куркутский.

— Какомэй! — только и могли произнести изумленные Раулена и Теневиль.

Большой сход стойбища Теневиля собрали в старой яранге Армагиргина, в которой жили две вдовы. Яранга была просторная, чистая. Пришли все — и стар и млад. Женщины почти все с грудными младенцами. Детишки смачно сосали материнские груди и таращили глазенки во все стороны. Прикладывались к грудям и довольно большие ребята лет шести-семи.

— Товарищи! — начал Берзин и подождал, пока Михаил Куркутский не произнес уже ставшее знакомым «тумгытури».

«Надо бы в следующий раз самому произносить это слово — тумгытури», — подумал Берзин и продолжал:

— Заря новой жизни взошла над Чукоткой. Советская власть установилась в Анадыре. Власть перешла к тем, кто работает, кто пасет стада, добывает уголь, кто охотится. Именно эти люди стали хозяевами жизни, отобрав у торговцев награбленные богатства. Отныне все будет по справедливому закону — кто не работает — тот не ест... Что такое Советская власть? Это власть народа. Она идет от мудрости всех людей. Советская власть сегодня — главная власть на всем протяжении от Петрограда до Дальнего Востока. Нас сюда послал ревком, чтобы помочь вам избрать новую, справедливую форму правления... Товарищи, у кого какие будут предложения в состав нового Совета?

Все молчали. В тишине было слышно сопенье ребятишек.

Поднялся старый пастух Кымынто. Опершись на гнутый отросток оленьего рога — тивичгын, — заговорил:

— Мы рады, что наступило новое время на всей земле, где живут люди... Такое мы слышали только в древних сказаниях, как несбыточное, невозможное. И вот оно случилось. Значит, не одни мы думали об этом! Когда наш Теневиль сказал, что сообща будем владеть стадом, мы поначалу не поверили ему... Ты, Теневиль, не обижайся. Наверное, он чуял, что жизнь идет к этому... У нас нет другого человека, который бы мог возглавить Совет, кроме Теневиля...

— Кэйвэ! Кэйвэ! — раздались одобрительные голоса.

Куркутский объяснил процедуру голосования. Все с явным удовольствием подняли руки и долго не опускали.

Берзин повернулся к Теневилю, пожал ему руку.

— Ну вот — ты теперь законно избранный председатель кочевого Совета!

Часть людей разместили в яранге Армагиргина, а Михаил Куркутский с Берзиным вернулись в ярангу Теневиля. Решено было выезжать через день: надо бы-

ло дать отдохнуть собакам, высушить и починить одежду.

Разглядывая кухлянку Берзина, Раулена сказала:

— Похоже, Милюнэ шила.

Берзин подтвердил догадку, и женщина обрадовалась, будто письмо получила от подруги. Она разглядывала каждый шов и что-то бормотала про себя с улыбкой.

После вечернего чаепития Михаил Куркутский обратился к Теневилью:

— Сказывают, ты пишешь?

— Мое письмо отлично от тангитанского,— ответил Теневиль.— Немногие его понимают.

— А кого обучил?

— Вон Раулену, пастуха одного из нашего стойбища, немного Тымнэро разумеет, но я давно ему вестей не посылал...

— Покажешь нам, как ты пишешь?— попросил Михаил Куркутский.

— Отчего не показать,— с готовностью ответил Теневиль и полез в кладовку.

Он разложил перед гостями отполированные дощечки, на поверхности которых чем-то острым были нацарапаны различные знаки. Некоторые напоминали схематическое изображение людей и животных. Значки располагались рядами, как буквы в строке.

— А можешь нам прочесть, что здесь написано?— попросил Михаил Куркутский.

— Можно...

Теневиль взял доску.

— Приезжал Черепак... С нарты не мог слезть. Думали, замерзший, оказалось, пьяный. Торговал у меня красную лисицу. Дал полплитки чаю и горсть махорки. Уезжал утром злой, мало наторговал. Ночевал в яранге Армагиргина.

Теневиль «читал» легко, быстро, едва только взглянув на значки.

— Здорово!— воскликнул Берзин.— Надо же такое! Послушай, товарищ Теневиль, тумгытум,— произнес он наконец чукотское слово, сам удивившись этому.— Скоро откроем школы, много школ по всей Чукотке! Может, твою грамоту распространим на весь народ, а?

— Не знаю, — нерешительно ответил Теневиль. — Может, тангитанская лучше будет?

— Надо будет с учеными посоветоваться, — сказал Берзин. — С Академией наук. Но я чую — у тебя то, что надо здешним людям!

Берзин впервые ночевал в чукотском пологе, теплом, хорошо выбитом стараниями Раулены на чистом снегу тундры. От меховых стенок пахло зимним ветром и свежестью. Но это продолжалось недолго. Не прошло и получаса, как от единственного горящего жирника стало так жарко, что пришлось спешно разоблачаться. Пример подал хозяин. Он снял с себя все и небрежно накинул между ног лоскуток пыжиковой шкуры. Разделась и хозяйка, оставшись в одной набедренной повязке. Тугие, налитые молоком груди смущали Берзина.

Спали крепко и сладко. Можно было высунуть голову в чоттагин, что и сделал Берзин, последовав примеру Теневиля. Все тело было в мягком тепле — постелью служила оленья шкура, одеялом — несколько сшитых вместе пыжиковых шкурок — а голова на холодке, на свежем воздухе. На следующее утро, после трапезы Берзин поехал в оленье стадо на гоночной нарте Теневиля. Нарта оказалась игрушечной, ребенок мог бы поднять ее одной рукой, но она легко выдерживала тяжесть двух человек. На другой нарте, следом за Теневилем, ехал Кымынто с Михаилом Куркутским.

Остановили упряжки поодаль и подошли к пасущимся оленям. Берзин, проваливаясь в мягком снегу, следовал за Теневилем. Стадо было огромное. Оно занимало всю долину и поднималось на склон соседнего холма. Снег вокруг был истоптан оленьими копытами, разрыхлен до самой земли. Вокруг лежали сухие травинки, веточки и олений помет, похожий издали на мелкие масляны. Воздух был пропитан густым незнакомым Берзину запахом.

— Что же они тут едят? — растерянно спросил Берзин, нагнувшись к земле.

— Мох, — ответил Теневиль. — Тут хорошее пастбище.

На обратном пути Берзин спросил Теневиля:

— Скажи, товарищ, все оленные люди живут, как вы?

— Нет,— покачал головой Теневиль.— По дороге в Усть-Белую встретите стойбище Кымыта. Большинство оленеводов так и живут.

Отдохнувшие за эти дни, отогревшиеся в теплом пологе, собрались в путь.

Берзин вырвал из своего дневника листок бумаги и написал удостоверение Теневиллю:

«Дано сие удостоверение от имени Совета рабочих депутатов Анадырского края товарищу Теневиллю, не имеющему ни имени ни отчества, в том, что он избран на законном основании, согласно революции пролетариата России, председателем кочевого Совета стойбища Теневиль. Комиссар охраны ревкома Август Берзин».

— Храни эту бумагу! — сказал на прощание Берзин.

Все тепло попрощались с обитателями стойбища, и цепочка нарт двинулась дальше, вверх по великой чукотской реке.

Глядя на удаляющееся стойбище, Берзин думал о способности человека приравливаться к любым условиям природы. Казалось, зачем жить человеку среди снегов и холода? А вот живет и, видно, считает эту жизнь самым высшим счастьем. Посели того же Теневиля во дворце, он помрет от тоски и неудобств.

К концу дня достигли стойбища Кымыта. Три ветхие яранги стояли на возвышении, почти у самого берега реки. Два пастуха вышли и безмолвно уставились на приезжих. Выглядели они крайне изнуренными. Они вяло отвечали на вопросы и не проявили никакого интереса к путникам.

Оживились лишь во время чаепития.

Старший, невероятно грязный, в рваной кухлянке, рассказал:

— С осени нас преследуют беды. Сначала болели олени, а потом волки нагрянули. Охранять стадо некому — все болели в то время. Половину оленей потеряли... Нам бы дожить до лета, до рыбного хода. Оленей горстка, мы их бережем. Если и их поедим — помрем... Дожить бы до лета...

Берзин с Миханлом обошли все яранги. Люди бедствовали, это было ясно, и нуждались в немедленной помощи.

— Сколько нам осталось до Белой?— спросил Берзин своего каюра.

— Тясов десять, молч, не более... Погода доспелась, хорошая...— ответил Ваня Куркутский.

— Вот что: оставим здесь всю юколу и копальхен, который взяли. И пельменей второй мешок. Чаю, сахару...

— Так таких стойбищ по чукотской землице вона сколько!— протянул Куркутский.— Ежели каждое кормить да одаривать— ницыво не хватит.

— Надо помочь,— решительно сказал Берзин.— Отдать все, что можем. Это мой приказ! А к ночи поедем дальше. Луна полная— все впдать.

— А митинг?— спросил Якуб Мальсагов.— Советскую власть выбирать не будем?

— Да ты погляди на них!— резко возразил Берзин.— Им не до митинга, не до политического устройства! Их накормить надо! Понимаешь— накормить!

* * *

Десятого января, рано утром четыре упряжки пришли в Усть-Белую. Впервые Берзин видел большое чукотское селение. Яранги стояли кучно, и среди них выделялось несколько домиков, склады.

Нарты направили к домику вахтера продовольственного склада, знакомого Галицкого.

Щуплый молодой человек вышел на стук и удивился, увидев столько народу. Галицкий в двух словах объяснил, в чем дело. Вахтер молча провел людей в жарко натопленную комнату, где убирала кровать молодая чукчанка. Она довольно хорошо говорила по-русски.

Перед глазами Берзина еще стояла удручающая картина стойбища Кымыта.

— Дела откладывать не будем!— сказал он после завтрака.— Первым делом идem к Малкову. К вечеру надо послать минимум две упряжки с продовольствием в стойбище, к голодающим. Вы что же, не знаете, что там люди голодают?— обратился Берзин к вахтеру.

— Да они все время голодают,— равнодушно ответил парень.— Из года в год. Привыкли...

— Привыкли?— громко спросил Берзин, и женщина, вздрогнув, обернулась на разгневанного тангитана.— А тебя всю жизнь заставить голодать — привыкнешь?

— Так это же чукчи!— усмехнулся вахтер, слегка напуганный гневом нового начальника.— Они всегда так живут.

— А вот теперь они так жить не будут!— Берзин стукнул кулаком по столу, и вахтер втянул голову в плечи.— Идем к Малкову! Галицкий, возьми оружие!

Малков жил в хорошем доме, срубленном из анадырской лиственницы. Он уже знал о приезде ревкомовцев, но, видать, не ожидал, что те так скоро нагрянут к нему. Руки у него тряслись, глаза часто-часто мигали.

— Здравствуйте, дорогие товарищи!— встретил он, кланяясь.— Почему вы не остановились у меня? Есть отдельная гостевая комната. Проходите, проходите! Никитишна! Ставь на стол угощение!

— Мы уже позавтракали, гражданин Малков!— сухо сказал Берзин и добавил:— Именем революционного комитета Анадырского края приступаем к обыску! Давайте, товарищ Галицкий.

Сам Берзин уселся у стола, накрытого вязаной скатертью, и достал походный дневник.

Малков, перепуганный и растерянный, застыл в дверях. Когда Галицкий приступил к обыску, направившись прямо к ящику, обитому блестящей белой жестию, он вдруг всхлипнул:

— Товарищ! Да что же это такое?

— Вы знаете стойбище Кымыта?— гневно спросил его Берзин.

Малков кивнул.

— У вас есть с ними торговые связи?

— Помаленьку...

— Почему вы не помогли им? Почему не дали кредит?

— Так ведь нечем потом им отплатить-то этот кредит,— дрожащим голосом ответил Малков.— Уж очень бедные они...

В железном ящике оказались деньги.

Галицкий вывалил всю груду на стол перед Берзиным. Считать пришлось долго. Оказалось — 23 тысячи русскими деньгами и 1200 долларов.

Малков смотрел на деньги и первно облизывал пересошные губы.

— Вон сколько нажил, паук! — бормотал Берзин, выписывая расписку. — Ставьте здесь свою подпись.

Малков вывел какие-то неразборчивые каракули — руки его не слушались.

Берзин поглядел на подпись и сказал:

— Распишитесь еще раз, да поразборчивее! А теперь — пошли на склад!

Весть о приезде представителей ревкома уже облетела все селение. И когда Берзин с Галицким и Малковым вышли на улицу, оказалось, чуть ли не все жители Усть-Белой столпились возле дома купца. Они что-то кричали по-своему, и Берзин чувствовал: люди одобряют его действия.

— Товарищи! — сказал он. — После конфискации имущества вашего эксплуататора и контрреволюционера Малкова мы соберем сход. Я сделаю доклад о текущем моменте, а потом изберем Совет, новую власть трудового народа и бедняков.

Многие понимали в Белой русскую речь и переводили остальным сказанное светловолосым худым тагитаном.

Большие богатства лежали на складе у Малкова. Оглядев штабеля с мукой и сахаром, ящики с табаком и плиточным чаем, рулоны различных тканей, Берзин сказал Галицкому:

— Ежели нам все это считать — застрянем тут надолго. Сделаем так: заберем ключи, а вы тут останетесь с Мальсаговым и доведете дело до конца.

Недалеко от продовольственного склада располагался другой — керосиновый. Малкова пока посадили туда, снабдив теплой одеждой и оленьими шкурами.

Сход собрался в малковском доме.

Берзин рассказал о победах Красной Армии на Сибирском фронте, о революционном перевороте в Анадыре.

— Громов, Струков и их приспешники хотели затопить в крови революцию, но это им не удалось. Чем сильна революция? Она сильна тем, что на ее стороне

все трудовые люди... И их много, гораздо больше, чем угнетателей. Я призываю вас, товарищи, бороться с ними беспощадно. Пусть все услышат, что чукчи, коряки и камчадалы восстали и свергли власть буржуазии, а также арестовали купцов, которые поддерживали капитализм...

Товарищи, на Дальнем Севере нет больше места эксплуататорам! Да здравствует социализм!

Жители села с удивлением, напряженно слушали посланца новой власти.

— Вы должны крепко подумать и поставить во главе селения людей, которые могут защитить ваши интересы, людей, которые понимают нужды бедного человека. Через три дня мы снова соберемся, а пока думайте!

В оставшиеся дни описали продовольственный склад Малкова и направили нарты с продуктами в стойбище Кымыта. Они вернулись на следующий же день, и Михаил Куркутский рассказал, как жители стойбища поначалу никак не могли поверить, что продукты им дают без всякой оплаты и даже не записываются в долговую книгу.

— Шибко теперча рады оленные люди!— говорил Взя Куркутский.— Доспели!

Через три дня на очередном сходе жители Усть-Белой избрали председателем местного Совета Падерина, товарищем его — Дьячкова, а секретарем — Кабана.

Пятнадцатого января ранним морозным утром Август Берзин и Михаил Куркутский выехали в Марково, оставив Галицкого и Мальсагова довести до конца национализацию рыбалок, сетей, неводов и других орудий производства.

* * *

Берзин не верил своим глазам. После утомительной однообразной белизны, нарушаемой лишь далекой голубизной возвышающихся на горизонте горных хребтов, увидеть настоящую березовую рощу, соснячок с зелеными иголками, просвечивающими сквозь снег!

Селение Марково располагалось в широкой долине, защищенной со всех сторон довольно высокими горами. Леса уходили вдаль, и казалось, им нет конца.

— Послушай, Миша, а не сбился ли мы с пути? — пошутил Берзин, оборотившись к товарищу. — А вдруг неведомые силы чукотских шаманов перенесли нас в Россию?

— Это и есть Россия, — с улыбкой ответил Михаил Куркутский. — Те, кто называют себя чуванцами, — это потомки первых русских землепроходцев, поселившихся здесь лет двести, а то и больше тому назад. Говорят, сам Семен Дежнев зимовал здесь, прежде чем пуститься в дальний путь в Якутск. Казаки, построившие невдалеке от этого места крепость, постепенно перемешались с местным населением, юкагирами, ламутами. От этого смешения язык такой — вроде бы русский, понять можно, а все же чудной на новое ухо...

Избы были добротные, хорошо срубленные, просторные. Прозрачные дымы поднимались в небо и растворялись в воздухе: сразу было видно, что здесь топили не каменным углем, а хорошо просушенными, жаркими дровами. И запах жилья был привычным, он навевал щемящее сердце воспоминания о родном хуторе.

С берега реки, где в сугробах хоронились многочисленные лодки, упряжки поднялись в село и остановились у дома, возле которого стоял крепко сбитый молодой парень в кухлянке с широким воротом, в прорезь которого была видна сильно выпуклая тельняшка.

Берзин первым сошел с нарт, представился парню:

— Комиссар охраны Чукотского революционного комитета партии большевиков Август Берзин. А это секретарь — Михаил Куркутский.

— Шутите, братцы, — прищурился парень. — В Новомаринске сидит Громов.

— Сидит — это верно, — улыбнулся Берзин. — Но в тюрьме.

Парень пристально всматривался в лица приезжих.

— Вот мой мандат!

— Мандриков? Владивостокский? Который в учредилку ездил, а потом большевиком стал?

— Он самый! — подтвердил Берзин. Ему парень чем-то нравился.

— Ну, в таком случае — прошу вас к себе! Ну, братишки! Ну, молодцы!

Он еще что-то бормотал про себя, а потом, уже в комнате, спохватился и, явно волнуясь, сказал:

— Я ведь тоже большевик, ребята! Как я ждал вас! Чекмарев моя фамилия, Василий, на Балтике служил...

Жена Чекмарева, по виду местная жительница, сдержанно поздоровалась с гостями.

— Ты знаешь, кто они! Наши! Товарищи из Анадыря! Погодь, сейчас в подвал слазаю.

Он дернул за железное кольцо люка возле печки, запалил свечу и нырнул в подпол. Появившись довольно быстро, он открыл крышку железной коробочки из-под американского трубочного табака «Принц Альберт» и вытянул оттуда двумя пальцами бумагу.

— Вот мой мандат.

Берзин взял листок и прочитал не без волнения:

«Мандат выдан товарищу Чекмареву Василию Михайловичу в том, что он действительно является чрезвычайным комиссаром по продовольствию в Тургайской области. Всем Советам, ревкомам и исполкомам предлагается оказывать всяческое содействие в выполнении возложенных на него обязанностей по доставке хлеба фронту и Петрограду.

Что подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель Совета народных комиссаров

В. Ульянов-Ленин

Управляющий делами В. Бонч-Бруевич»

— Но как вы здесь оказались? — удивленно спросил Берзин. — И почему мы ничего не знали о вас?

— Это длинная история, — усмехнулся Чекмарев. — Матрена Ивановна, поставь самовар, и вообще ставь все на стол! Сегодня у нас большой праздник!

— В Тургай я, братишки, поехал сразу после победы Октября. Добрались до Южного Урала не скоро — на железных дорогах черт знает что творилось, а

дальше, в Оренбургских степях, хозяйничал атаман Дутов. Повернули в Кустанай, а там — такая неразбериха! Сразу три власти существовало! Совет рабочих и солдатских депутатов, Городская дума и пехотный полк! Пошли к солдатам. Получили от них полную поддержку. К концу года отправили два эшелона хлеба. А тут меньшевики да недобитые царские офицеры путаются под ногами. Агитацию ведут против Советов. Решили — надо брать власть в свои руки. И вот в ночь с 25 по 26 декабря наш отряд и распропагандированные солдаты пехотного полка захватили телефонную станцию, телеграф и другие учреждения. Избрали ревком — меня председателем, а моего друга матроса Иосифа Родзевича комиссаром связи. Ох, трудно нам пришлось, братишки! Недобитки слухи распространяют — будто мы хлеб в Германию отправляем! Население коситься стало. Да вот еще — по приказу Ленина наш отряд должен был возвратиться в Петроград. Отправили третий эшелон. Зашевелилось контрреволюционное подполье. Перестрелку устроили, ранило меня. Но тут рабочий класс поднялся. Силы. Создали новый Совет... Приехали в Петроград, сижу в казарме, лечусь, а тут посыльный из Смольного. К Ленину вызывают... Пошел. Дотошно расспросил Ильич о делах в Кустанае, расспросил, откуда я родом, я ведь пензенский... Ну, говорю Ильичу, рана затянется — готов выполнить любое задание революции. Весной восемнадцатого года мы вместе с дружкой моим Иосифом Родзевичем отправились на Дальний Восток... Связались с тамошними большевиками и получили задание — выехать сюда. Родзевич на Сахалине застрял, а меня понесло аж вот докуда... Вот так, братишки, — закончил Чекмарев свой рассказ. — Сколотил я тут приличную группу, можно было хоть завтра брать власть в свои руки, но решили дождаться вестей с Ново-Марининского поста... А вы, значит, опередили меня. Молодцы, братишки!

В тот же день Берзин, Чекмарев и Михаил Куркутский отправились к фельдшеру Черепяхину. По дороге к ним присоединилось еще несколько человек, предупрежденных Чекмаревым.

Черепяхин открыл свой склад, набитый товарами, казалось собранными со всего света. Под стропилами

крыши висели гирляндами белые песцовые шкуры, красные лисы, горностаи...

— Подлец!— только и мог сказать Берзин.— Где твои лекарства? Где они?

Несколько бутылочек темного стекла с неразборчивыми надписями на этикетках— вот и все хозяйство «лекаря».

— Да дикий шаман по сравнению с тобой благородный человек!— с возмущением говорил Берзин.

Он объявил оглушенному и растерянному Черепахину о конфискации товаров и приказал сдать все специальной комиссии.

Вечером на общем собрании древнего села Марково приняли резолюцию. В ней говорилось:

«Заслушав доклад товарища комиссара охраны Берзина о перевороте в Сибири, все с великой радостью встретили свержение всем ненавистного кровопийцы Колчака. За его безжалостные расстрелы и вообще за уничтожение трудовой массы как Колчаку, купцам, так и его прислужникам шлем позор и презрение; а передовым бойцам за святую свободу и товарищам, находящимся у нас, на холодном севере, как-то: товарищу Мандрикову, Берзину, М. Куркутскому и другим сотрудникам, освободившим нас от уз Колчака и его прихвостников, шлем свой привет и от всего сердца желаем им успеха в их трудовой работе. В свою очередь мы, изнуренные холодом и голодом, протягиваем вам свою мозолистую руку и все марковцы от мала до велика заявляем во всеуслышание всему народу, что мы стоим за власть Советов, за власть своих рабочих и всеми силами будем поддерживать ту власть, которая нам показала путь к спасению, хотя бы от нас потребовалось для всеобщего освобождения отдать наши жизни.

Да здравствует власть Советов на земном шаре!

Да здравствует Анадырский революционный комитет!

За здравствуют передовые работники!»¹

¹ ГАМО, ф. 33, оп. 1, д. 1, л. 1—2 (подлинник).

Глава четвертая

28 января 1920 года Анадырский уездный Ревком объявил о подготовке к выборам в уездный Совет, которые намечалось провести по возвращении ревкомовцев из Марково.

Однако позиции свои Ревком закрепить не сумел. Не было создано революционного отряда для защиты завоеваний социалистической революции.

Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск, изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1974, с. 154

— Павловна, мы пойдем!— сказал Громов, прислушиваясь к вою ветра.

— Кешенька, ну куда вы в такую погоду? А если увидят?

— Такая погода в самый раз для нас, Павловна,— ответил Громов.— Мандриков сидит у себя в домике, с Волтером в шахматы играет, а его верные дружки захоронились!

Евдокию Павловну беспокоило и то, что все трое — и муж, и Струков, и Бессекерский — порядочно выпили.

Громов напялил на себя волчью доху, на голову водрузил огромную шапку. И впрямь, чтобы узнать его, надо было подойти вплотную: густой мех хорошо скрывал лицо.

Едва вышли на улицу, как их подхватило ветром и понесло в сторону лимана. Упали на снег, зацепились за сугробы. Между порывами ветра, задыхаясь, откашливаясь от попавшего в горло снега, от дома к дому медленно пробирались к Треневу.

Ногами разгребли снег возле двери, и Струков постучал кулаком.

— Кто там?— послышался испуганный голос Тренева.

— Отвори, свои!— стараясь перекричать ветер, ответил Бессекерский.

— Кто свои?— переспросил Тренев.

— Бессекерский!— рявкнул торговец.

Дверь со скрипом отворилась, и ветер задул свечу, которую держал в руках Тренев. В наступившей кромешной тьме он с ужасом узнал голоса Громова и Струкова.

— Проходите в дом,— срывающимся голосом пригласил он неожиданных гостей.— Я сейчас дверь закрою.

— Хорошенько запри!— прошептал над ухом Струков, обдав Тренева густым, давно не выветривавшимся запахом сивухи.

Загремела в темноте щеколда, и все вошли в кухню-переднюю, освещенную керосиновой лампой. У печки, спиной к ней, стояла бледная, испуганная Агриппина Зиновьевна в своем неизменном халате с драконами.

— Здравствуйте, Зиновьевна!— чинно поздоровался Громов.— Не пугайтесь, мы не большевики!

— Проходите, господа, в комнату,— взяв себя в руки, стараясь не выказать охватившего его страха, сказал Тренев.— Зиновьевна, принеси, что у нас есть. Дорогие гости, наверное, согреться хотят.

— Это уж точно,— крикнул Громов, усаживаясь прямо на кровать. Он оставил в кухне свою волчью доху. Остальные тоже разделись, и, содрогнувшись, Тренев понял: пришли они надолго.

Гости расположились словно у себя дома, говорили громко, смеялись.

Агриппина Зиновьевна с каменным лицом подавала на стол обычное анадырское угощение: малосольные лососевые брюшки, красную икру, японские рыбные консервы. После первой рюмки Громов, вытерев тыльной стороной ладони рот, обратился к хозяину:

— Ну как служится у большевиков, Иван Архипыч?

— Да вы что, господин Громов!— Тренев выразил на своем лице крайнее оскорбление.— Какая служба?

— А в следственной комиссии?— напомнил Струков.

— Господа,— с дрожью в голосе заявил Тренев.— Я согласился войти в следственную комиссию только ради вас...

Тут подала голос молчавшая до этого Агриппина Зиновьевна:

— Вместо того чтобы спасибо сказать... Нехорошо, господа, неблагородно. Знали бы вы, сколько претерпел Иван Архипыч, чтобы вызволить вас сначала из

тюрьмы, а потом с Угольных копей. Он ведь рисковал не только имуществом, но и своей жизнью!

— Однако его не приговорили к расстрелу! — напомнил Струков.

— Ну и что? — с вызовом ответила Агриппина Зиповьева. — Еще успеют, если дознаются, что он помогал вам!

— Господа, не след нам пререкаться сегодня, — миролюбиво сказал Громов. — Мы пришли к тебе, Иван Архипыч, как к человеку ясного ума и благородства. Твое бескорыстие нам тоже хорошо известно...

Тренев поднял голову и встретился с Громовым взглядом. «Не верит, что деньги утоплены в проруби, точно не верит».

— Ты вот нам расскажи, как большевики думают жить дальше?

Тренев разлил по рюмкам водку. Выпили.

— Видите, какое дело, господа... — вкрадчиво заговорил он. — В Петропавловске тоже установлена Советская власть...

— Когда же? — Громов был поражен.

— Вроде числа десятого... января, — продолжал Тренев. — Теперь Мандрников каждый день обменивается телеграммами с тамошним председателем ревкома Маловечкиным. Готовят съезд Советов, так это у них называется. Соберут рабочих с Угольных копей, инородцев с дальних окраин, с Дежнева, Уэлена. Таким образом, будет создано управление, как бы имеющее законную силу, избранное народом.

— Ну, этого им не видать! — зло произнес Громов. — Тоже мне — народная власть! Голодранцы, лодыри, дикари, охочие до чужого добра! Разве будет порядок в государстве при такой власти? Да они тут все растащат в три дня! Каждый будет хватать все, что плохо лежит! Советы!.. Я им покажу Советы!

Громов совсем перешел на крик, и Тренев с беспокойством прислушивался к вою ветра за окном.

— Людишек всяких развелось — так и норовят в карман влезть, присвоить чужое, — продолжал, брызгая слюной, Громов.

— Кстати! — Тренев вымученно улыбнулся. — В первые дни вашего ареста, когда я упорно занимался облег-

чением вашей участи, ко мне приходила супруга ваша, Иннокентий Михайлович. Она принесла валюту и золото с просьбой запрятать все... Но, господа, я сам ждал ареста, обыска, всего, что угодно... Честно говоря, я было наотрез отказался взять сверток, но Евдокия Павловна так просила, прямо настанвала... Она сама подала мысль утопить сверток в проруби возле моей бани...

— Утопил?— с явным недоверием спросил Струков.

— А что было делать?— развел руками Тренев. Он собрал всю свою волю и старался говорить спокойно, ровно.

— Своими руками?— продолжал допытываться Струков.

— Не мог же я доверить кому-то другому,— печально усмехнулся Тренев.

— Никогда не поверю!— взревел пьяным голосом бывший начальник колчаковской милиции.

— Да ты что!— прикрикнул на него Громов.— Подзреваешь честнейшего человека? Да если бы не он, ты, господин Струков, сейчас гнил бы на шахте или глодал сухую юколу!

Струков втянул голову в плечи. Черт знает что такое! Никогда не угадаешь, куда поведет этого сумасброда...

— Иван Архипыч, не слушайте дурака,— обратился Громов к хозяину дома.— Болтает пустое. Это у него бывает, находит на него... Не в деньгах счастье, как говорится. Вот вы лучше скажите, Иван Архипыч, как вы думаете, долго продержатся большевики?

— Ну, как бы вам сказать...— пожал плечами Тренев.— Это зависит...

— Верно, Иван Архипыч, зависит!— поднял палец Громов.— Да вы не думайте о деньгах! Нет их и нет! Лежат на дне Казачки! А может, их течением унесло... Ведь верно, Иван Архипыч?

— Течение, оно, конечно, так-так-так.— Тренев был в полном замешательстве. Поверил Громов или играет с ним? Смирился с потерей? Нет, такой человек не выпустит из рук деңьги. Черт дернул взять этот сверток! Леший попутал. А теперь вот изволь выкручиваться.

— Нынче у нас другая забота,— с нажимом сказал

Громов, глядя в глаза Треневу.— Вернуть себе власть Тренев внутренне содрогнулся.

— Другого выхода у нас нет,— продолжал Громов.— Весной— придет пароход, не придет— нас все равно расстреляют. Долго они с нами нянчиться не будут. Не такие они дураки, чтобы терпеть за своей спиной врага.

Громов смотрел в бегающие глаза Тренева и все больше и больше убеждался, что деньги его лежат здесь, в этом доме, где-нибудь в потайном уголке. «Ничего,— со злорадством думал он.— Ты у меня на крючке! Раз а три нырнешь в прорубь— сам в зубах принесешь. Ты у меня в руках и чуеть это».

— Нужно запастись оружием и действовать, пока не вернулся латыш со своими друзьями,— продолжал Громов.

— Оружие есть,— шепотом сообщил Бессекерский.— Мне удалось припрятать семь винчестеров. И еще на-берем...

— Иван Архипыч.— Громов смотрел на Тренева с ласковой, даже умильной улыбкой.— Уж извини нас, но будем собираться у тебя... Дом твой в удобном месте стоит, в окошко в хорошую погоду ревком виден с красной тряпкой на крыше, да и листовки тебе на стену клеют... Платят тебе за это?

— Ну что вы, Иннокентий Михайлович!

— Сволочи!— выругался Громов.— Скоро они доберутся и до твоей задницы— заставят носить на ней свои большевистские лозунги!

Гости уходили поздней ночью, в пургу.

Тренев запер за ними дверь и в изнеможении повалился на измятую Громовым кровать. Вошла Агриппина Зиновьевна и молча положила на лоб полотенце, смоченное в уксусе.

Пойти в ревком и рассказать обо всем Мандрыкову? Поверит ли он? А самому как потом жить? Ну хорошо, с деньгами останешься, а дальше? Большевики в Америку не отпустят. А если Громов возьмет верх? Тогда летом на свенсоновской шхуне можно будет удрать отсюда... А они сейчас могут вернуть власть, если решатся на кровопролитие. По всему Ападырю среди торговцев нынче озлобление против ревкома... Чью сторону взять?



Тренев стоил и метался в постели, и Агриппина Зиновьевна, понимая его, ни о чем не расспрашивала.

* * *

Булатов, Милюнэ и Мандриков пришли в ярангу Тымнэро.

Пурга то ненадолго стихала, то занималась с новой силой. Намело высокие сугробы, скрыв почти по крыши все дома Анадыря.

Мандрикова удивляло, что круглые жилища чукчей ветер как бы обходил стороной.

Обитатели яранги сидели в чоттагине. По заведенному обычаю Тынатваль тут же занялась приготовлением чая, а Милюнэ стала переводить завязавшийся разговор. Сначала шли обычные вопросы о жизни, о дороге на Угольные копи.

— Как тебе нравятся новые цены на перевоз угля и на товары?— спросил Мандриков.

— Очень хорошие цены!— с жаром ответил Тымнэро.— Справедливые! Теперь не так обидно...

Мандрикову был симпатичен этот чукча, обстоятельный, казалось, всегда углубленный в свои мысли. Среди нескольких человек, намечаемых ревкомом в будущий Совет, был и он, Тымнэро. Об этом и пришли поговорить с ним Мандриков, Булатов и Милюнэ.

— А сети так и не взял,— с упреком заметил Мандриков.

— Не могу чужое брать,— упрямо заявил Тымнэро.

Тынатваль подала чай, сахар и толстые американские морские галеты, которые Тымнэро тут же раскрошил своим большим охотничьим ножом.

— Скоро в Анадыре новую власть выбирать будем,— начал Мандриков.

— Опять?— испуганно спросил Тымнэро.

— Да ты не пугайся,— улыбнулся Мандриков.— Ревком—это переходный период, как бы мостик к настоящей Советской власти, власти народа. Эту власть избирают сами жители, выдвигая из своей среды лучших людей, тех, которым можно доверять. Так будет в скором времени и в Анадыре. Сегодня такая власть

почти во всей России. И мы вот пришли к тебе, чтобы сказать — хорошо бы, Тымнэро, и тебе быть среди тех, кто будет избран... Люди, беднейшие жители Анадыря, знают тебя, твою честность, трудолюбие, твою трудную жизнь — они, я уверен, проголосуют за тебя.

Тымнэро внимательно слушал то, что говорил Мандриков, и страх поднимался у него в душе. Ну зачем они хотят его вовлечь в свои дела? Кому он мешает?

— Я не буду, — решительно заявил Тымнэро и, прежде чем Милюнэ открыла рот, добавил: — Не хочу ввязываться в их дела.

— Так это же и твое дело! — не выдержала Милюнэ. — Смотри: середина зимы, а у тебя будто осенний недостаток: и чай есть, и сахар!

— Все это я заработал, — упрямо ответил Тымнэро. — Не брал даром, как некоторые. Это справедливо: кто не работает — тот не ест. Я живу согласно этому правилу, и больше мне ничего не надо. Пусть другие сидят с властью, а мне она не нужна.

— Если все так будут рассуждать, — грустно сказала Милюнэ, — вернется Громов, а то и Солнечный Владыка. И снова нас не будут считать за людей...

— Ну и пусть не считают! — вспыхнул Тымнэро. — Я тоже, между прочим, не очень-то их за людей считаю! Разве настоящие люди будут из-за власти убивать друг друга? Разве настоящий человек обманывает другого? Разве врывается в чужой дом и переворачивает все вверх дном? Разве настоящий человек из-за денег готов другому горло перегрызть?

Булатов и Мандриков внимательно прислушивались к разговору Милюнэ с Тымнэро.

Тынатваль с большим закопченным чайником так и застыла у костра, беспокойно поглядывая на мужа.

— Не хочет он, — вздохнула Милюнэ и взяла чашку.

Мандриков и Булатов понимающе переглянулись.

На обратном пути Милюнэ передала содержание перепалки со своим родичем.

— Еще не созрел политически, — грустно сказал Булатов, — или, как говорит Ваня Куркутский, не доспел...

Мандриков некоторое время шел молча, потом вдруг остановился и громко сказал:

— А все-таки он мне нравится, этот Тымнэро! Наступит время — и он поймет нас, сам придет к нам!

В своем домике Булатов зажег лампу, и Милюнэ принялась готовить ужин.

Мандриков присел к столу. Достал список предполагаемых членов Совета, снова перечитал его и, дойдя до имени Тымнэро, остановился. Подумал, но вместо того чтобы вычеркнуть, наоборот, подчеркнул его имя жирной чертой.

— Михаил Сергеевич,— смущаясь, обратилась к Мандрикову Милюнэ.

— Что, Маша?

— Я тут говорила Булату... У нас будет ребенок...

— Да? Вот это здорово!— Мандриков искренне был рад.— Поздравляю вас!

— Рановато еще поздравлять, Михаил Сергеевич,— усмехнулся Булатов.

— Ну, все-таки!

— Михаил Сергеевич, помните нашу свадьбу?— спросила Милюнэ.

— Ну как же! Очень хорошо помню. Вот тут сидел Громов и накачивался водкой!

— «Горько» кричал,— напонила Милюнэ.

— Маша просила сказать тебе,— Булатов замялся,— женитьбенный листок бы нам надо...

— Сделаем! Завтра же выпишем справку от имени ревкома.

— Спасибо!— просияла Милюнэ.— Конечно, вам не до этого, но так хочется, чтобы была настоящая крепкая бумага, как мандат.

Снаружи раздался стук в дверь. Милюнэ выглянула в сени и сообщила:

— Волтер пришел.

У Арсена на правой щеке темнел огромный кровоподтек.

— Кто это тебя, Аренс?— встревоженно спросил Мандриков.

— Ремингтон.

— Кто?— не поняв, переспросил Михаил Сергеевич.

— Пулемет... Я делал пулемет. Он меня ударил...

Последние дни Аренс возился с автоматическим ружьем «Ремингтон», пытаясь сделать из него пулемет. Испытывал он его за Второй бухтой: иногда оттуда доносился оглушительный оружейный треск.

— Аренс,— укоризненно произнес Мандриков,— на-

до поосторожнее, так можно и голову потерять.— И добавил, улынувшись:— А у нас каждая голова на счету...

Миллионэ приложила к кровоподтеку лоскуток ткани, смоченный в ледяной воде.

— Бессекерский много ходит!— возбужденно рассказывал Волтер.— К Треневу ходит. К Громову ходит. К Струкову ходит! Нехорошо это! Я думаю— видел Громова...

— Неужто встал?— сказал Мандриков.

— Я думаю, так,— нерешительно произнес Волтер.— Большая шуба, большая шапка— трудно узнать.

Мандриков уже в который раз подумал о том, что с отъездом Берзина с охраной стало худо. Надо срочно создавать народную милицию. Поставить караульных у домов арестованных.

— Пойдем, Булат, проведем Громова. Кто-нибудь бывал у него, проверял, как он соблюдает условия домашнего ареста?

Булатов растерянно развел руками:

— Ну больные и больные, как-то в голову не приходило...

Они шли, держась друг за друга, в пурге.

Порой Мандрикову мерещились какие-то тени, но когда подходили— оказывалось— стена дома, сарай.

Булатов громко постучал в дверь.

Ждать пришлось довольно долго.

Наконец послышался испуганный голос хозяйки:

— Кто там?

— Мандриков. Отворяйте!

Евдокия Павловна долго возилась с засовами, никак не могла открыть дверь, а когда открыла и увидела на пороге троих ревкомовцев, испуганно вскрикнула:

— О господи!

— Не бойтесь,— усмехнулся Мандриков.— Проведать пришли больного.

— Хворает, бедняга, так хворает...— запричитала Евдокия Павловна.— Боюсь, к весне совсем ослабнет...

В комнате, кроме хозяев, находился отец Михаил. Он был, как всегда, изрядно пьян. Сам Громов лежал в кровати, до самого подбородка укрытый одеялом.

— Здравствуйте, Иннокентий Михайлович!— поздоровался с ним Мандриков.— Как здоровье?

— Какое у него здоровье? — снова запричитала Евдокия Павловна. — Не ест ничего...

И впрямь лицо Громова было бледным, голос дрожал:

— Мне худо, Михаил Сергеевич... Худо.

— А вы, отец Михаил, уходите отсюда, — обратился к священнику Мандриков. — Господин Громов находится под арестом, и для посещения его требуется специальное разрешение.

Испуганный священник заторопился:

— Хорошо, хорошо! Иду! Простите, ради бога!

Вскоре ушли и ревкомовцы. Как только за ними закрылась дверь, из кладовой вылезли Струков и Бессекерский.

Громов уже сидел за столом и дрожащими руками пытался наполнить стакан. Горлышко бутылки звякало о стекло.

— Давайте! — Струков сначала сам хлебнул прямо из горлышка, потом налил Громову.

— По ночам шарить стали, сволочи! — выругался Струков. — Поторапливаться надо, Иннокентий Михайлович, иначе они нас опередят, как в прошлый раз.

— Оружие я раздал, — сообщил Бессекерский. — А вдруг нагрянут с обыском? Может, и не арестуют, а вот ружья отберут...

— Да, господа, решаться надо...

— У нас уже все продумано и готово, — продолжал Струков. — Засады будут устроены в домах наших милиционеров, Учватова и у меня. Главный наблюдательный пост у Тренева. Весь ревком, таким образом, оказывается под перекрестным огнем.

— Лучшее время для выступления — тридцатое января, — сказал Бессекерский. — Тренев говорит, на этот день назначено заседание ревкома. Вся головка соберется. Ходят они обычно без оружия, редко кто берет с собой револьвер. Долго не продержатся, даже если отстреливаться вздумают... А нам в этот день нужно быть у Тренева, чтобы руководить выступлением.

* * *

— Покажи, что тут сочинил? — с улыбкой попросил Мандриков, протягивая руку к листку бумаги.

«Удостоверение

Дано Чукотским ревкомом в том, что Мария-Милюнэ, урожденная стойбища Армагиргина, и Александр Терентьевич Булатов из села Заходы Смоленской губернии являются мужем и женой, что и удостоверяется. Председатель Чукотского ревкома Михаил Мандриков».

— Ну, Булат, — разочарованно произнес Мандриков. — Что ты написал? Это же первая женитьбенная бумага, выданная именем революции! Надо поторжественнее! Поройся-ка там в ящиках, посмотри, нет ли бумаги покрасивее. Сейчас сам напишу вам мандат о революционной женитьбе.

Булатов вырвал из какой-то конторской книги довольно плотный лист и подал Мандрикову.

Михаил Сергеевич придвинул к себе бутылочку с японской тушью и принялся писать. Писал он быстро, размашисто, но каждую букву выводил аккуратно. Закончив, прочитал, улыбнулся и подписался.

— Ты, как лицо заинтересованное, не можешь подписывать эту бумагу. Вернется Михаил Куркутский — распишется за секретаря. А пока — на, держи!

Булатов быстро пробежал глазами написанное и улыбнулся. Аккуратно сложил листок, спрятал его во внутренний нагрудный карман.

— Вечером покажу Милюнэ.

— Так вот. Надо ввести комендантский час, объявить Анадырь на военном положении, у домов, где содержатся Струков и Громов, поставить вооруженную круглосуточную охрану, — сказал Мандриков. — Сегодня и этот вопрос обсудим на заседании ревкома. Но главное — это кандидаты от большевистской группы на предстоящих выборах в Совет. Этот список мы выставим от имени ревкома на общем сходе... Сход можно назначить на второе февраля, сегодня тридцатое — время на подготовку есть... Как ты думаешь, включим Тымнэро в члены Совета?

Булатов с сомнением покачал головой:

— А если откажется всенародно? В неудобном положении будем...

— Слушай! Да что мы с тобой голову ломаем! От имени местного населения в Совет выставим кандидатуру твоей Милюнэ! Грамотна, политически правильно ориентируется... Да у нас просто нет лучшей кандидатуры!

Булатов подумал и сказал:

— Это невозможно.

— Почему?

— Она — моя жена.

— Ну и что? Жена большевика — такой же политический ответственный работник, как и ее муж! — заявил Мандриков.

— А потом будут говорить — ревкомовцы своих проталкивают в Совет, — угрюмо произнес Булатов.

— А мы и будем своих проталкивать! Таиться нам нечего: кого считаем нужным, полезным для истинной народной власти — того и будем поддерживать. Давай садись и пиши воззвание к жителям Анадыря — «Второго февраля сход всех жителей для избрания Совета депутатов». И припиши еще — пусть каждый подумает, кого включить в Совет. «Совет — это орган трудящихся, тех, кто работает, кто представляет беднейшую часть населения...»

После обеда, ближе к ранним сумеркам, стали приходить ревкомовцы.

Вошел механик Фесенко и с удивлением сказал:

— Или мне померещилось, или и впрямь так: будто Громов попался мне навстречу.

— Не может быть, — спокойно ответил Мандриков. — Мы только вчера его навещали: похоже, скоро концы отдаст, не встает с постели.

Обычно на заседания ревкома приходила и Милюнэ. Она и на этот раз шла по улице Анадыря, одетая в теплый меховой кэркэр, под которым алела новая, купленная в лавке Сооне-сапа, шерстяная кофточка. Всегда, подходя к зданию ревкома, она останавливалась и подолгу любовалась развевающимся на ветру красным флагом. Сегодня он был особенно красив: Волтер сменил обтрепанный пургой и даже кое-где порванный первый флаг ревкома и повесил новый. Он трепетал на легком ветру, как бы перекликаясь цветом с нарядной кофточкой Милюнэ. Погода установилась, наступило полнолуние. Скоро должны вернуться Берзин и его товарищи. Как хорошо, свободно дышать! И чувствовать будущее, видеть его и ощущать внутри себя!

Милюнэ вошла в ревком и заглянула в комнату. Заседание еще не начиналось. Булатов сидел у стола

и писал очередное воззвание. Он трудился старательно, выводил каждую букву.

Милюнэ вытерла пыль, вытряхнула консервные банки-пепельницы и занялась в коридоре печами.

Один за другим сходились ревкомовцы, и каждый тепло здоровался с Милюнэ.

Последним пришел Волтер. Кровоподтек его превратился в синяк, но опухоль спала. Он улыбнулся Милюнэ и скрылся в комнате.

* * *

Струков, наблюдавший за зданием ревкома из дома Тренева, обернулся к своим и сказал:

— Все. Они в мышеловке.

Он вошел в комнату, оставив наблюдать Бессекерского.

За богато накрытым столом сидели сам хозяин, Иван Архипыч Тренев, одетый строго и торжественно, его супруга Агриппина Зиновьевна, в черном кружевном платье, и Иннокентий Михайлович Громов, возбужденный, краснолицый, с лихорадочно бегающими глазами.

— Минут через десять начнем, — спокойно проговорил Струков. Он налил водки, выпил и закусил безвкусным китайским огурцом из запасов Сооне. — Огонь по сигналу откроют двое наших милиционеров и Учватов. Пощекочем немного, а потом предъявим ультиматум — полная капитуляция. Надеяться им не на что.

Треневы сидели молча, словно на поминках.

Захмелевший Громов взглянул на Тренева и вдруг сказал:

— А понырять придется, Иван Архипыч...

Тренев сначала не понял, о чем он, а когда смысл сказанного дошел до него, побледнел, руки у него задрожали.

— Лежу я, болею, — продолжал Громов медленно, размеренно, — и размышляю. В Казачке зимой течение слабое, а сверток-то тяжеленный. Не может его унести. Смекаю — лежит он там и дожидается, пока кто-нибудь нырнет за ним... Глубина там небольшая, но водичка холодная! Бр-р! — Громов передернул плечами. — Но вы, Иван Архипыч, привычный к холодной

воде. Слышал я, после баньки любите понырять... Верно ведь?

В ответ Тренев только вздохнул.

Агриппина Зиновьевна с нескрываемой ненавистью посмотрела на Громова, но тот выдержал, не отвел своего улыбочивого издевательского взгляда.

В комнату вбежал Бессекерский. Лицо у него было перекошено от испуга.

— Один вышел! — крикнул он. — Сюда идет!

— Ах, черт! — выругался Струков и, выхватив револьвер, бросился в сени.

Со стороны ревкома к дому Тренева приближался Булатов. Он держал в руках большой лист бумаги, с одной стороны намазанный клеем. Он чему-то улыбался и, похоже, даже напевал про себя.

Струков перекрестился и чуть приотворил дверь.

Булатов подошел к стене, принялся наклеивать лист, водя по нему оленьей рукавицей. Он стоял боком к Струкову, который целился ему в голову. Нет, там тяжелый меховой малахай. Руки парня были высоко подняты. Лучше под левую подмышку. Как раз в сердце.

Раздался выстрел. Он был негромкий.

Булатов как-то удивленно оглянулся и рухнул. Но слабый выстрел услышали и в других домах. Пули защелкали по крыльцу ревкома. Струков и Бессекерский выскочили на улицу, за ноги оттащили убитого за сарай. Уходя, Струков невольно глянул в широко раскрытые, удивленные глаза убитого и почувал, как по спинной ложбинке у него заструился холодный пот.

Бегом вернулся в дом, разбил оконце в сенях и оттуда принялся стрелять по крыльцу ревкома.

В комнате слышали выстрелы.

Агриппина Зиновьевна истово крестилась и шептала молитвы. Иван Архипыч нервно хрустел пальцами, а Громов, усмехаясь, ел красную икру и иронически поглядывал на хозяев.

Отворилась дверь ревкома, и кто-то попытался выйти на крыльцо, но тут со всех сторон ударили выстрелы.

Милюнэ с удивлением смотрела, как то в одном месте двери, то в другом как бы сами собой возникали маленькие круглые дырочки. До нее еще не дошло, что

в них стреляют. Мандриков схватил ее и потащил в комнату:

— Да ты что! Под пули встала! Убьют!

Ревкомовцы были несколько растеряны. Они стояли посреди комнаты и молча вслушивались в грохот стрельбы.

— Спокойно, товарищи! — слышался голос Мандрикова. — Это явно провокация, попытка контрреволюционного переворота. У кого есть оружие?

— Я имею, — сказал Волтер.

— У меня есть, — Фесенко поднял над головой револьвер.

У остальных оружия не было.

Наконец Милюнэ словно очнулась, поняла, что происходит.

— Там Булат! — закричала она. — Там Булат! Они убьют его!

Она рванулась к выходу, но Мандриков остановил ее.

— Машенька, не ходи! Булат не даст себя так просто убить... Будь благоразумна, Машенька...

— Булат! Мой Булатик, — всхлипывала Милюнэ. — Они его убьют из маленького ружья! Пустите меня! Пустите! Я не хочу, чтобы он был один!

Крик Милюнэ удручающе подействовал на остальных.

— Маша! Они нас только пугают... — успокаивал ее Мандриков. — С Булатом ничего не случилось... Не надо плакать... Товарищи, — обратился к друзьям. — У кого есть оружие — займите места у окон и дверей. Следите за домом Тренева и Бессекерского.

Выстрелы не прекращались ни на минуту. Порой казалось, что стреляют из пулемета.

— Попытаемся выйти отсюда, — сказал Фесенко, — они нас как кур перестреляют прямо на крыльце. А отстреливаться нечем — у нас всего шестнадцать патронов.

— Надо было делать охрану! — крикнул Волтер.

— Спокойно, товарищи! — Мандриков строго посмотрел на Волтера. — Будем держать оборону. Они не знают, сколько у нас оружия, сколько патронов.

Милюнэ, казалось, успокоилась. Она лишь часто всхлипывала.

Никто не заметил, как это случилось. Милюнэ как ветер промчалась мимо Волтера, Фесенко, толкнула дверь и в одно мгновение оказалась на улице.

— Маша! Маша! — закричал, бросившись следом, Мандриков, но его остановил Волтер.

Милюнэ бежала, не отрывая глаз от темного пятна под приклеенным воззванием. Это была кровь. Кровь Булата.

Она упала, судорожно хватая пальцами пропитанный кровью снег. Послышался страшный, раздражающий душу крик. Казалось, кричала не женщина, и даже не зверь, кричало — само горе, обрушившееся столь неожиданно и теперь лавиной хлынувшее паружу.

Агриппина Зиновьевна усерднее зашептала свои молитвы.

Струков хладнокровно наблюдал за обезумевшей от свалившегося на нее несчастья Милюнэ, потом сказал Бессекерскому:

— Надо ее втащить сюда... Пойдем...

Они подняли Милюнэ, совсем обессиленную от горя, и втащили в комнату, посадили на стул, но она тут же упала будто подкошенная.

— Приведите ее в чувство! — приказал Громов.

Агриппина Зиновьевна замешкалась было, потом схватила со стола свою недопитую рюмку, приподняла голову Милюнэ и, увидев ее обезумевшие глаза, сама едва не лишилась чувств.

— Выпей, Машенька! — Она силой разжала ей рот и влила водку.

Милюнэ поперхнулась, закашлялась и узнала наконец Агриппину Зиновьевну.

— Что с моим Булатиком? Что с ним сделали? Зачем убили его?

— Успокойся, Маша, успокойся, — уговаривала ее Агриппина Зиновьевна.

— Где мой Булат?

Милюнэ поднялась.

— Сначала помоги нам, потом увидишь своего Булата, — сказал Струков. — Иди обратно и скажи — пусть сдаются!

— Почему вы стреляете? — выдохнула Милюнэ.

— Пусть сдадутся! — повторил Струков. — Без всяких условий! Полная капитуляция!

— Ты попроще выражайся,— посоветовал Громов.— А то она все перепутает,

— Не перепутает! — ухмыльнулся Струков.— Она баба грамотная, королевских кровей.

— А не лучше ли написать им? — предложил Бессекерский.— С письмом и отошлем бабу...

— Ну, сука большевистская! — Струков погрозил ей револьвером.

— Господа! — дрожащим голосом вдруг заговорил Тренев.— В моем доме прошу вести себя прилично.

— И вправду, господа, не надо терять самообладания, — примиряюще произнес Громов.— Давайте, Бессекерский, будем составлять ультиматум. А вы, Иван Архипыч, помогите... Вы же на юридическом учились...

— Прежде всего — без ругани и угроз, — сказал Тренев.— В таком духе приблизительно: предлагаем незамедлительно сдаться. Вы окружены, и сопротивление бесполезно. Будучи противниками напрасного кровопролития, предлагаем капитулировать, сдать оружие и выйти из здания ревкома... Гарантируем жизни...

— Во! Видали, как надо? — Громов умиленно посмотрел на Тренева.— Сохранение жизни! Они должны клонуть на это.

Бессекерский написал ультиматум, сложил вчетверо листок, сунул его Милюнэ:

— Иди обратно! Сделаешь — получишь Булата...

— Не пойду! — мотнула головой Милюнэ.

— Пойдешь! — прошипел Струков и нагло соврал: — Твой Булат ранен, но жив. Хочешь его видеть — чеши обратно в свой ревком и отдай эту бумагу Мандрикову.

— Не пойду! — повторила Милюнэ.— С Булатом пойду... Живым или мертвым... с ним...

— Ах ты! — Струков грязно выругался и ударил Милюнэ по голове.

— Умоляю вас! — заломил руки Тренев.— В моем доме! Прошу вас!

Струков схватил Милюнэ за меховой воротник кэ-кэра, протащил через сени и вытолкнул на улицу. Прикрывая дверь, он крикнул в сторону ревкома:

— Эй вы! Не сдадитесь — пристрелим бабу! Слышите!

В морозной тишине слова разносились четко и ясно.

Милюнэ повалилась в снег. Она поняла слова Струкова. Собрав остатки сил, чуть приподнявшись из колени, закричала:

— Мандриков! Пусть стреляет! Пусть убивает!

Струков направил на нее револьвер.

— Прошу вас! Умоляю! — Тренев вцепился в его руку. — В женщину!

— Ну и что? — огрызнулся Струков. — Дикая сволочь она, а не женщина!

— Стойте! — голос Мандрикова разорвал колющий, морозный воздух.

Над Ново-Мариинском на мгновение нависла злобующая, напряженная тишина.

Мандриков обернулся к товарищам.

— Милюнэ беременна! У нее будет ребенок!

— Это что же — сдаваться будем? — спросил Фесенко.

— Да, придется выбросить белый флаг, — кивнул Мандриков. — Они убьют Милюнэ...

Он помолчал, всматриваясь в напряженные лица товарищей.

— Мы должны спасти Милюнэ, — продолжал Мандриков. — Что же — посадят нас в тюрьму — будем продолжать борьбу и в тюрьме. И еще — Берзин на свободе. Кто за то, чтобы сдать?

Никто не спешил поднимать руки.

Тогда Мандриков поднял свою. За ним — Василий Титов, потом Аренс Волтер. Один за другим, медленно поднимали руки члены ревкома.

Фесенко сидел, весь напрягшись, словно готовый к прыжку.

— Ну что, Игнат? — спросил Мандриков.

— Я против, — с каким-то судорожным вскриком выкрикнул он, и не успел Мандриков ответить ему, как раздался выстрел и на пол с глухим стуком упал револьвер. Тело Фесенко медленно сползло со скамьи.

Мандриков подошел к нему, тихо сказал:

— Что же, Игнат, прощай!

— Выходят! — вбежал в комнату Струков. — Наша взяла!



Он на ходу опрокинул в рот рюмку водки и снова вернулся в сени.

Теперь можно пошире отворить дверь. Отсюда, из сеней треновского дома, голос Струкова был хорошо слышен.

— Становитесь в пяти шагах друг от друга! — командовал он. — Руки держать на голове! У кого есть оружие — бросайте в эту сторону!

Он считал про себя... Вот и Милюнэ присоединилась к ним. Должен быть еще один.

Но больше никто не выходил.

Кажется, нет моториста Фесенко. Чего же он там, заснул, что ли?

— Где Фесенко? — крикнул Струков. — Пусть выходит!

— Фесенко застрелился, — ответил Мандриков.

— Не врешь? — Струков чуть высунулся из двери, опасаясь, что из глубины ревкома Фесенко может выстрелить. Но выстрела не последовало.

Из домов, откуда шла стрельба, уже выходили вооруженные люди и окружали ревкомовцев, выстроившихся в ряд с поднятыми вверх руками.

— Обыскать их! — крикнул Струков.

Оружия ни у кого не оказалось.

— Отвести в дом купца Бирича.

Новый, недавно выстроенный дом Бирича стоял несколько на отшибе и хорошо просматривался со всех сторон. Заранее было решено на первое время посадить сюда арестованных.

По улице Анадыря шла удивительная процессия. Замыкала ее еле державшаяся на ногах Милюнэ в кэкрэе. Прежде чем войти в дом, уже окруженный охраной, она оглянулась на красный флаг, все еще трепещущий на высоком флагштоке над зданием ревкома.

Струков проследил за ее взглядом и гневно приказал Учватову:

— А ну, влезь на крышу и сорви эту большевистскую тряпку!

Учватов полез, но никто из ревкомовцев не видел, как он сорвал флаг, бросил на землю, как подбежал Струков и стал с остервенением топтать его...

— Дело сделано,—доложил он Громову, войдя в дом Тренева.

Громов долго не отвечал. Потом вдруг обратился к Треневу:

— Ну как — нырять будем?

Тренев вскинул голову, и Громов ядовито усмехнулся:

— Я пошутя... Вы отплатили... сполна... Господа! — торжественно произнес он, меняя тему разговора. — Прошу наполнить бокалы! Недолго тешились большевики! Агриппина Зиновьевна! Иван Архипыч! Поздравляю вас с возвращением законной власти! Отныне в этом краю действуют законы военного времени, введенные его превосходительством адмиралом Колчаком на всей контролируемой его доблестными войсками территории. За нашу победу! Ура, господа!

— Ура! — прохрипел неожиданно для себя Тренев.

— Ну, а теперь можно и отдохнуть, — устало проговорил Громов, ставя на стол пустую рюмку. — Павловна, однако, заждалась. Будьте здоровы, господа, всего хорошего!

У двери он остановился, посмотрел на растерянно-го, как-то сразу сникшего Тренева и поманил к себе Струкова, сказал уже в сенях:

— Тренев пусть дома сидит. Чтоб к бане своей ни ногой.

— Слушаюсь, ваше благородие!

* * *

В здание бывшего ревкома прибежал милиционер:

— Баба беснуется! Просит выпустить или подать раненого Булата, ейного мужика.

Громов со Струковым переглянулись.

— Где тело? — спросил Громов.

— В угольном саре у Тренева.

— Оттащите на Казачку, на лед. А ей скажите, что пытался бежать, пришлось пристрелить.

— Иппокентий Михайлович! Почему только его? Всех надо при попытке к бегству, всех до единого! — горячился Струков. — На кой хрен нам держать их живыми? Да при первом же удобном случае они всех нас вот! — он сделал движение погтем на столе, будто давил вошь.

— Не будь жестоким, Струков! Зачем же так? — усмехнулся Громов. — Женщину хоть пожалей.

Струков удивленно взглянул на начальство, пошмыгал носом.

— Ну, бабу-то можно оставить, ладно... — согласился он и добавил: — Звери мы, что ли? Тоже ведь жалость имеем. К тому же она забрюхатела.

— То-то! — вроде бы похвалил его Громов. — Действуй!

Шаги часового отчетливо были слышны — высушенный на морозе снег яростно скрипел. Время от времени Мандриков принимался стучать в окошко, потом, следуя за шагами часового, переходил к двери.

— Прекратить! — кричал охранник.

— Позовите кого-нибудь! — требовал Мандриков. — Мы хотим вести переговоры.

Милюнэ совсем обезумела. Товарищи с трудом удерживали ее. Стоило им чуть ослабить усилия, как она вырывалась, подбегала к двери и начинала колотить в нее кулаками:

— Где мой Булат? Отдайте мне моего Булата!

А потом заливалась громким плачем.

— Послушайте! — крикнул наконец выведенный из себя Мандриков. — Если вы не позовете кого-нибудь из вашего начальства, мы разобьем окна!

— Приказано стрелять в таком случае! — невозмутимо ответил часовой. — И вообще — не мешайте исполнять мои служебные обязанности!

То ли угроза подействовала, то ли самому начальству и впрямь понадобилось прийти сюда, но на переломе дня, когда снова начало темнеть, в дом пришел Струков.

— Где ваши обещания о приличном обращении? Варвары! Среди нас — беременная женщина. У нее законное право знать о судьбе своего мужа! Почему вы ее мучаете? Где наш товарищ Булатов? — обрушился на него Мандриков.

Струков слушал, и насмешливая улыбка кривила его потрескавшиеся губы.

— Вас сегодня переведут в тюрьму, — злорадно сообщил он. — Женщину велено помиловать, в смысле того, что она останется в доме...

— А где Булатов?

— Вы скоро воссоединитесь с ним,— загадочно ответил Струков и поспешил к выходу, заметив, что из рук Волтера рвется Милюнэ, не спуская с него безумных глаз.

Мандриков подошел к Милюнэ, опустился перед ней на колени.

— Машенька, дорогая, возьми себя в руки. Булат, наверно, в тюрьме... Не надо показывать врагам свою слабость. Успокойся, Маша. Пусть Булат гордится тем, что ты не склонилась перед этими зверями, не молила их... Ты же — жена большевика! Гордись этим!

Милюнэ всхлипнула, и Волтер, почувствовав, как обмякло ее тело, отпустил ее.

В окошко лился лунный свет, такой яркий, что в комнате тоже было довольно светло.

Послышались шаги. Отворилась наружная дверь, потом, впустив облако морозного воздуха, в комнату, где сидели арестованные, вошли четверо.

— Выходить по одному! — раздался приказ. — С поднятыми руками! Расстояние — пять шагов! Не скопляться! Баба остается здесь!

Все по очереди подходили к Милюнэ, прощались с ней. Она, немного успокоенная, обняла Мандрикова, сказала:

— Увидишь Булата, скажи: я жду его! Пусть за меня не волнуется, пусть бережет себя. Помогите ему — он ведь ранен.

— Обязательно поможем! — обещал Михаил Сергеевич. — Ему с нами будет легче.

Первым вышел Мандриков.

Яркая луна висела на чистом небе Анадыря, высвечивая дома, высокие берега лимана, мачты радиостанции. Под ногами хрустел снег. Мороз был крепким.

Миновали церковь. И вот — Казачка... Послышалась какая-то неясная команда. Мандриков оглянулся. Конвойные разбежались. И в ту же минуту он ощутил... тупой удар... Падая, успел заметить, что и друзья его повалились на лед. Казалось, стреляли отовсюду. Это была засада.

Михаил Сергеевич, собрав последние, быстро угасающие силы, привстал на колени:

— Труссы! Расстреливаете, а показаться боитесь!

В ответ ему лишь яростнее засвистели пули. На белом снегу, при ярком лунном свете, он был отличной мишенью.

Вскоре все смолкло.

Струков в сопровождении четырех конвойных спустился на лед Казачки. Не торопясь, обошел убитых, ткнув каждого носком торбаса.

— Вон там,—кивнул он чуть выше,—лежит еще один. Оттащите туда, сложите их вместе,—и, тяжело ступая, направился к дому Тренева.

Ногой распахнул дверь.

Играл граммофон. В табачном дыму он видел неясные лица, бледные, с лихорадочно блестящими глазами.

— Господа! — крикнул он с порога.— Все! Конеч ревкому!

Захмелевшая, какая-то отчаянно веселая, Агриппина Зиновьевна поднесла ему большую рюмку, поцеловала и, взмахнув рукой, закричала:

— Ура герою! Ура избавителю!

* * *

Через пять дней с верховой стороны показались нарты—это возвращались Берзин, Мальсагов и Галицкий. Михаил Куркутский остался в Марково.

Всех тронх схватили, как только нарты достигли берега, и в тот же вечер расстреляли.

Милиционер, приставленный охранять оставшуюся одну Милонэ, доложил начальству:

— Кажись, рехнулась баба... Пищу не берет, воет диким голосом...

— Плачет, что ли? — спросил Струков.

— Не, воет.

Струков вопросительно взглянул на Громова.

— Да выпусти ее. Пусть идет куда хочет...— устало махнул рукой тот.

Милонэ поначалу не поняла, что ее выпускают. А когда вышла, от слабости упала прямо на крыльце. Охранник поднял ее, легонько ткнул в спину:

— Топай домой! Топай!

Она шла, словно в тумане. В усталом, отяжелевшем мозгу ярким лучиком билась одна-единственная мысль: «Где Булат? Где мой Булатик?»

Вот дом Тренева. На стене, под отрывками звания, по-прежнему темнело на ослепительно белом снегу кровавое пятно. Что вело Милюнэ? Какие высшие силы указывали ей дорогу? Об этом никто не знает. Она шла прямо туда, где на льду тундровой реки Казачки лежали тела расстрелянных, тела ее товарищей.

Возле Булата она остановилась, словно застыла в оцепенении, потом медленно опустилась рядом с ним на колени, зашептала:

— Булат! Милый мой, родной! Счастье мое недолгое! Ты вознесся в Зенит. В мир героев, в «царство окровавленных». Теперь вы все там...

Булатов лежал с широко открытыми, удивленными глазами. Снежинки падали на них и не таяли. Милюнэ считала их меховой оторочкой кэркэра и замороженно смотрела, смотрела в эти желтоватые зрачки, из которых давно уже ушла жизнь.

На второй день Громову доложили:

— Околеет баба. Сидит. Совсем помутилась. Увидит кого и давай лаять по-собачьи, отпугивает, знает.

— Пусть похоронят,— распорядился Громов.

И снова Тымнэро долбил мерзлую землю. Он работал с остервенением. Ему помогал Ваня Куркутский. Сменяясь, они трудились весь день и к середине наступившей ночи вырыли большую глубокую яму.

— Кажись, в ледяную линзу попали,— тихо сказал Куркутский.

— Это хорошо,— отозвался Тымнэро.— В вечной мерзлоте они будут храниться вечно.

Тела на нартах перевезли на кладбище.

Последним опускали Булатова.

Милюнэ не отходила от него, осунувшаяся, похулевшая, с безумно горящими глазами.

— Подождите,— попросила она, когда Тымнэро и Куркутский взялись за него. Она сняла со своей руки оленью рукавицу и положила на лицо мужа.

Несколько дней и ночей на окраине древнего андырского кладбища на холмике свеженасыпанной земли можно было видеть женщину в кэркэре.

Она безмолвно сидела, обратив лицо к Зениту, туда, где живут погибшие герои.

Год 1969, 21 сентября. Накануне 50-летия Первого Ревкома Чукотки, накануне векового юбилея со дня рождения вождя революции Владимира Ильича Ленина со всеми почестями благодарные потомки хоронили останки героев... Север отдавал последние почести тем, кто 50 лет назад поднял красный флаг над тундрой, кто первым принес в далекий край ленинское слово правды.

Газета «Советская Чукотка» от 23 сентября 1969 года, № 232

Полвека прошло с тех пор.

Уже скоро год, как Милюнэ жила в столице Чукотского национального округа, в городе Анадыре, в многоэтажном красивом доме на проспекте имени Отке.

Она жила у сына — Булата Александровича Милюта, старшего геолога Анадырской комплексной геологоразведочной экспедиции, окруженная заботой и лаской его жены — Натальи Николаевны и двух внуков-студентов, которые на зиму уезжали во Владивосток, в университет. Милюнэ все никак не могла привыкнуть к новому облику старинного чукотского селения, к огромным домам в несколько этажей, к шумным улицам, по которым проносились автомашины, к телевизору, к телефону, ванной — многим непривычным вещам, о которых она знала лишь понаслышке в тундре. Она помнила Анадырь совсем другим, таким, когда он еще назывался Ново-Марининским постом и был небольшим поселком в несколько десятков домишек, с церковью и длинным приземистым зданием уездного правления.

Она жила воспоминаниями, которым, казалось, не будет конца... Они всплыли, всколыхнулись, слеза она вышла из вертолета, привезшего ее из тундры.

...В тот год, год великого несчастья, когда был расстрелян первый ревком Чукотки, летом пришел пароход с отрядом большевиков. Арестовали всех участников контрреволюционного переворота и увезли во Владивосток. Избрали новый уездный исполком во главе с Георгием Шошиным и Василием Чекмаревым.

На могиле расстрелянных ревкомовцев поставили памятник — деревянный обелиск с жестяной пятико-



нечной звездой. На восточной стороне обелиска было
выжжено:

Спите спокойно

Спите спокойно, борцы за свободу,
Вечным, безмолвным, таинственным спом.
В тундрах далекого дикого края
Смерть вас сразила кровавым серпом.
Пали вы жертвой от рук капитала,
Пали в кровавой борьбе.
В душах друзей по идее создали
Вечную славу себе.
Спите ж, забывши тревоги земные,
Спите, как братья народной семьи.
С Родины дальней приветы родные
Вас не пробудят от мертвой тиши.

Были на обелиске и другие надписи, но в памяти
Милюнэ остались именно эти строчки.

Все это время — первое лето — Милюнэ помнила
смутно, и многим она казалась в самом деле лишив-
шейся ума. А потом из тундры приехал Теневиль и
увез ее в стойбище. Она долго упиралась, не желая по-
кидать дорогой могилы.

— Новому человеку надо расти крепким и силь-
ным, — убеждал ее Теневиль. И она наконец согла-
силась, почувствовав в его словах правоту и заботу о
будущем ребенке.

В тундре она успокоилась, пришла в себя. Здесь
она была в привычном ей с детства окружении, на
вольном просторе, и со временем ей стало казаться,
что жизнь, прожитая в Ново-Марнинском посту, — это
причудливый, странный сон.

Родился сын. В тундру пришли новые люди — учи-
теля, врачи. Стойбище Теневиля влилось в большой
оленоводческий совхоз «Снежное».

Милюнэ вместе со всеми старательно училась гра-
моте. Учился и Теневиль, с горечью убеждаясь, что
его «грамота» куда сложнее русской. С помощью рус-
ских букв легко обозначились звуки чукотской речи. В
начале тридцатых годов появился первый чукотский
букварь, и Теневиль окончательным образом перешел на буквен-
ную грамоту, спрятав подальше свои записи на до-
шечках и чайных обертках.

Милюнэ назвала сына Булатом.

В отделе регистрации, в Анадыре, куда Милюнэ не-
надолго приехала, она попросила записать сына Була-

том Александровичем Булатовым. Но сотрудник, рыжеволосый и скучный человек, криво усмехнулся и назидательно сказал:

— Каждому хочется породниться с героем... Давайте запишем так: Булат Александрович Милюнэ.

— Милюнэ — не годится, — возразила она. — Это женское имя. Пусть лучше будет Милют.

— Пусть будет Милют, — согласился рыжеволосый. Это была последняя поездка Милюнэ в Анадырь. Она пришла на могилу, поглядев на покосившийся, побелевший от дождей и снегов обелиск, и снова прочитала выцветшие слова, врезавшиеся ей в память:

Спите спокойно, борцы за свободу,
Вечным, безмолвным, таинственным сном...

Закончив среднюю школу, Булат уехал в далекий Ленинград. Вернулся он через пять лет, сильно повзрослевшим и удивительно похожим на Александра Булатова. Милюнэ до боли в глазах вглядывалась в знакомые черты и невольно вспоминала, как говорил ей Булат-старший: «Почему, когда я смотрю на тебя, мне плакать хочется?» Ей тоже хотелось плакать, глядя на эти теплые, чуть желтоватые глаза, на мягкую добрую улыбку...

Булат работал в тундре — искал драгоценный драгоценный металл. Упрашивал мать переселиться в Анадырь.

Шли годы. И вот однажды он приехал не один, с молоденькой, светлой и пышноволобой женщиной — женой.

Милюнэ ласково смотрела на Наташу и думала: как переменился мир! Когда она выходила замуж за тангитана, многим это казалось необычным, из ряда вон выходящим. А теперь вот сын женился на тангитанской женщине, и никто не видит в этом ничего особенного.

Потом стали приезжать впуки. Они носились по тундре вместе с оленеводами, ночевали в стаде, ходили с бабушкой за грибами и ягодами и тоже звали ее в Анадырь. Она не спешила. Ей было хорошо здесь, спокойно.

Здесь, в тундре, она получила весть о смерти Тым-пэро. Он был уже глубоким стариком и жил в одном из первых каменных домов Анадыря. Дочка его рабо-

тала в Анадырском краеведческом музее, приезжала к Милюнэ, выпрашивала про ревком...

А потом пришел черед уйти сквозь облака и Теневиллю с Рауленой. Они умерли в один месяц, вознесясь к северному сиянию тихим зимним днем.

После их смерти пусто стало в тундре.

И тогда она согласилась переехать к сыну.

Дом стоял на высоком месте, из окон большой квартиры виднелся и Анадырский лиман, и лежащий чуть поодаль у старого Ново-Мариинского кладбища колхозный поселок Тавайваам.

В день приезда Милюнэ пошла посмотреть памятник первому ревкому, о котором она много слышала. Памятник ей не понравился, и она тихо сказала сыну:

— Они были другие...

Милюнэ с сыном спустились вниз, прошли мимо морского порта. Мать часто оглядывалась. За мостом она остановилась и долго смотрела на вывеску хозяйственного магазина.

— А где церковь? — спросила она.

— Какая церковь? — удивился сын. — Сколько здесь живу — никакой церкви не помню...

— А большие железные мачты?

— Вот мачты — помню. Несколько лет назад их свалили — проржавели они. Рядом новые дома построили.

На холмике уже не было деревянного обелиска.

Милюнэ села на крепкий дерн, смахнула с ресниц слезу, сказала:

— Здесь лежит твой отец...

— Я знаю, — тихо ответил Булат.

Каждый погожий день бабушка Милюнэ приходила на этот зеленый холмик. Она шла мимо нового красивого Дома культуры, школы, мимо телецентра, возле которого возвышалась высокая железная мачта, похожая на ту, что стояла у домика радиостанции. Слева оставалось бывшее здание уездного правления, справа — хозяйственный магазин на месте церкви, где служил отец Михаил... Воспоминания мешались, обгоняли друг друга. Нижняя часть Анадыря тоже сильно переменялась, но и здесь вдруг попадался уголок той далекой поры, и Милюнэ казалось, что время повернуло вспять, перенесло ее в годы молодости.

Мимо проносились машины, впереди гремел морской порт, Анадырский лиман был полон кораблей.

Удивительно ясная осень стояла в тот год в Анадыре. Было тепло и безветренно.

Милюнэ садилась на зеленый холмик и смотрела на большие красивые корабли на рейде, на остров Алюм-ку, на дальние зеленые берега.

Однажды, когда она сидела на пожухлой траве, со стороны нового Анадыря подъехало несколько автомашин. Какой-то человек подошел к Милюнэ и сказал:

— Бабушка, вам придется уйти отсюда.

Милюнэ испуганно посмотрела на него, на людей с лопатами, деловито примеривавшихся к зеленому холму, спросила:

— Что вы собираетесь делать?

— Решено перезахоронить героев, — коротко объяснил человек. — В братской могиле у памятника, на мысу... Отойди, бабушка, не мешай.

Милюнэ послушно отошла и присела чуть поодаль. Зачем тревожить прах умерших? Она почувствовала неожиданную боль в сердце и судорожно глотнула воздух.

Когда добрались до мерзлоты, зазвенели ломы и лопаты. Куски льда, смешанного с землей, летели в разные стороны и таяли на ярком осеннем солнце.

Людей было много, работали они споро.

Вдруг все разом остановились.

Милюнэ встала с бугорка и подошла к краю разрытой могилы.

Те двое, что стояли в яме, наклонились. Милюнэ видела, как один из них осторожно снял с лица Булата меховую рукавицу, которой она прикрыла тогда лицо мужа... Она увидела его глаза. Точно такими, какими они были в последний раз, в феврале двадцатого года... Ее Булат, пролежавший пятьдесят лет в вечной мерзлоте, был такой же молодой, как тогда... Он был моложе своего сына!

Пораженные увиденным, люди молча обнажили головы.

Милюнэ не отрывала взгляда от широко раскрытых, смотрящих в голубое осеннее небо новой Чукотки глаз Булата.

Она слабо вскрикнула и потеряла сознание,

Очнулась Милюнэ в незнакомом месте. Все кругом было белое, и даже сам Булат, ее сын, и его жена Наташа тоже были в белом, будто собрались в снежную тундру на песцовую охоту.

— Где я? — тихо спросила она.

— Лежи, лежи, — ласково произнес Булат. — Ты в больнице... Сейчас тебе уже хорошо, не волнуйся...

— А что с теми?

— На новом месте похоронили, — ответил Булат. — У памятника...

— Ты видел его?

— Не успел, — вздохнул Булат. — Говорят, они были такие, как пятьдесят лет назад... В ледяной луже лежали...

— Я видела, — прошептала Милюнэ. — Это правда. Булат был точно такой, каким я его хоронила. На лице его не было страдания... Только удивление. Он всегда был такой.

— Говорят, — сказала Наташа, — у него под свитером нашли какую-то бумагу. Трудно разобрать, что там, но будто бы ваше имя написано...

Милюнэ вздохнула и закрыла глаза.

Потом жители Анадыря часто видели невдалеке от гранитной плиты глубокую старуху в старинном чукотском меховом одеянии — кэркэре, молча, часами сидящую на корточках над Анадырским лиманом.

Иногда она подходила к плите и, беззвучно шевеля губами, читала золотом начертанные строки:

**«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ЧЛЕНЫ ПЕРВОГО
РЕВКОМА ЧУКОТКИ, РАССТРЕЛЯННЫЕ
БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ**

2 и 8 ФЕВРАЛЯ 1920 ГОДА

МАНДРИКОВ М.

ГРИНЧУК С.

БЕРЗИН А.

КУЛИНОВСКИЙ Н.

БУЛАТ А.

МАЛЬСАГОВ Я.

БУЧЕК В.

ТИТОВ В.

ВОЛТЕР А.

ФЕСЕНКО И.

ГАЛИЦКИЙ М.

Вечная слава вам, герои борьбы за власть Советов
на Крайнем Севере!»

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая		3
Глава вторая		22
Глава третья		48
Глава четвертая		76

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая		117
Глава вторая		156
Глава третья		176

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая		225
Глава вторая		252
Глава третья		278
Глава четвертая		311

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая		331
Глава вторая		356
Глава третья		377
Глава четвертая		398
ЭПИЛОГ		424

ЮРИЙ РЫТХЭУ
(Рытхеу Юрий Сергеевич)
КОНЕЦ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Роман

Редактор Т. Мирзоян
Художник В. Петров-Камчатский
Художественный редактор В. Покусаев
Технический редактор Л. Дунаева
Корректор Г. Голубкова

ИБ № 1720

Сдано в набор 19.08.81. Подписано к печати
10.11.81. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат.
Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л.
22,63. Усл. краск. отт. 22,53. Уч.-изд. л. 23,54.
Тираж 50 000 экз. Заказ 339. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграф-
фии и книжной торговли и Союза писателей
РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Электросталь Московской области, ул. им. Те-
висяна, 25.